

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

12

1998

1998

Н[О]ВЫЙ М[И]Р

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 12(884)

Декабрь, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — «Глубокочтимый Александр Исаевич!...» К 80-летию А. Солженицына	3
АНТОН УТКИН — Самоучки, роман	4
СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ — В саду, а не в раю, стихи	110
ЛЕВ СМИРНОВ — Под водою, стихи	113
РИТАЛИЙ ЗАСЛАВСКИЙ — Кончилась великая империя, стихи	115
РОМАН СОЛНЦЕВ — Что будет, стихи	117
ОЛЕГ ЛАРИН — Блудное лето. Сцены из захолустной жизни	119
ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ — Радуга, дождь, туман, стихи	140
АЛЕКСАНДР СОРОКИН — Невидимые спицы, стихи	142
ОЛЬГА КУЧКИНА — Письмо, стихи	144
НИНА ГОРЛАНОВА — Рассказы о чудесах	146

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

АНДЖЕЛО МАРИЯ РИПЕЛЛИНО — «Я играю, потому что не хочу умирать», стихи. Перевод с итальянского и предисловие Евгения Солоновича	159
---	-----

ПОЛЕМИКА

МАРИНА НОВИКОВА — Время и вечность	163
------------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Охота в ревзаповеднике. Избранные страницы и сцены советской литературы	170
--	-----

ОПЫТЫ

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН — Три монумента	197
------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА — Старый русский. Поздняя проза Сергея Залыгина	204
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Сергей Боровиков. Неизвестная заря	222
Юрий Иванов. «Трудным росчерком пера...»	226
Александр Коган. Факультет нужных вещей	229
Михаил Горелик. Моление о дожде	232

Алексей Смирнов. — Гюнтер Тюрк. Тебе, моя звезда... Избранные стихотворения и переводы в редакции В. И. Каледина	234
Елена Ознобкина. — Людмила Поликовская. Мы предчувствие. Предтеча... Площадь Маяковского 1958 — 1965	236

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВАДИМ КОЖИНОВ — Идеализм и «континентальность» России	238
ВАДИМ БАРАНОВ — Максим Горький — «агент влияния». Текст и подтекст в переписке Горького со Сталиным	243

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	249
Периодика (составитель Андрей Василевский)	252
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1998 ГОД	260
SUMMARY	272

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПИСАТЕЛЯ,
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ РУКОВОДИВШЕГО НАШИМ ЖУРНАЛОМ,
АКАДЕМИКА РАН

СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ЗАЛЫГИНА
С 85-ЛЕТИЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ПОСТОЯННОГО АВТОРА,
НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА, АКАДЕМИКА РАН
АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА
С 80-ЛЕТИЕМ!

РЕДАКЦИЯ «НОВОГО МИРА» ЖЕЛАЕТ СЕРГЕЮ ПАВЛОВИЧУ
И АЛЕКСАНДРУ ИСАЕВИЧУ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ
И НЕИЗМЕННО ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
С НАШИМ ЖУРНАЛОМ!

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3331 экземпляр журнала «Новый мир».

А. И. СОЛЖЕНИЦЫНУ

Глубокочтимый Александр Исаевич!

Я еще никогда не решался досаждать Вам приветствиями. Десять лет, пять лет назад во мне слишком сильно было чувство, что право приветствовать Вас должно бы считаться резервированным лишь за теми, кто на деле, а не на словах разделил опасности Вашей борьбы *тогда*. И только сегодня, в пору, когда самая память о вчерашнем дне как будто вытеснена забывчивым, как всегда, шумом дня нынешнего, я решаюсь взять слово от лица многих — всех тех, кому не нужно было непременно ощущать себя во всем и всегда с Вами единомысленными, Вашими, как говорят люди в словах нестрогие, «поклонниками», чтобы твердо держать в памяти, сколь многим мы Вам обязаны и в какой мере импульс сделанного Вами существенен для самой идентичности наших поколений. То соглашаясь, а то и разнореча с Вами в душе, мы прожили сознательную жизнь из десятилетия в десятилетия Вашими читателями, Вашими мысленными собеседниками, и это никогда не уйдет из состава нашей сути. «Поклонник» — слово несуразное, а «единомысленник» — пристойное, но только совсем непритязательному слову «читатель», как кажется, свыше назначено быть именованьем такой жизненно-повседневной связи с писателем, которая приближается чуть ли не к сакраментальной нерасторжимости.

С незабвенным выходом в свет того одиннадцатого новомирского номера жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тонус: проснись, гляди-ка, история еще не кончилась! Чего стоило идти по Москве домой из библиотеки, видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих всё один и тот же, уже разошедшийся журнал! Никогда не забуду одного диковинно, по правде говоря, выглядевшего человека, который не умел выговорить название «Новый мир» и спрашивал у киоскерши: *«Ну, это, это, где вся правда-то написана!»* И она понимала, про что он; это надо было видеть, и видеть тогдашними глазами. Тут уж не история словесности — история России.

Дай Вам Бог сил!

С низким поклоном и уставным многолетием
Сергей Аверинцев.

АНТОН УТКИН



САМОУЧКИ

Роман

Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый Рок настиг —
И мы, в борьбе, природой целой
Покинуты на нас самих.

Ф. И. Тютчев.

Несколько лет тому назад я, еще не закончив образование, начал писать для одного модного журнала, выходявшего под претенциозным девизом наподобие следующего: «Вы понимаете, что происходит». Надо оговориться, что ни тогда, ни позже как раз никто ничего не понимал из того, что творилось вокруг. Вчерашние школьники и отставные военные, товароведы и прорабы, превратившиеся вдруг в «крепких хозяйственников», воры вне всяких законов, сомнительные авторитеты и убежденные домохозяйки в мгновение ока наживали состояния; город лихорадочно реставрировался, а в раскрашенных граффити подъездах запахло сушеной коноплей. Шальные деньги кружили голову, и отнюдь не только тем, на кого просыпались сладостным и неожиданным дождем. Они легко приходили в руки и исчезали тем легче, как дым. Их провожали рассеянными улыбками и о них не слишком сожалели. Все стало можно, все оказалось рядом.

Кухня, наша московская кухня — этот «английский клуб» застоя, парламент молодости, средоточие умственной жизни, — превратилась вдруг в скучную комнату для приготовления пищи. Ароматы таящейся под спудом свободы, пряные, волнующие ароматы откровений, мистических эманаций, полетов мысли и души, сменили запахи импортных полуфабрикатов, а священный чай стали заваривать прямо в кружках — тоже импортных, толстых, как ноги слона или поленья, поставленные вертикально. Воду для него кипятили в микроволновых печах. Переселения, отъезды следовали один за другим бесконечной чередой, и старым друзьям нельзя было больше позвонить, набрав, к примеру, 241..., а требовалось путаться в мудреных кодах экзотических стран, то и дело рискуя угодить к девушкам, для которых нет, так сказать, заповедных тем. Либо приходилось старательно выводить на почтовом конверте что-нибудь вроде: «Улица полковника Райналя, Лион...» (все это, конечно, по-французски).

Появились круглосуточные услуги и не закрывающиеся на ночь кафе, танцевальные заведения, которые пышно именовали клубами. Там, коротая свободные вечера, веселилась молодежь, и в самый глухой час ночи, когда шаги прохожего на пустынной улице раздаются за километр, заведения были полны беспечными людьми. В воздухе, повитом дымом модных

сигарет, реяли соблазны и предчувствия, и даже девушки здесь оценивали себя баснословно, словно были принцессами исчезнувших королевств. Неистовствовала музыка, и люди, большинство из которых никогда не покидали пределов кольцевой дороги, ощущали себя причастившимися всех тайн огромного мира, по-прежнему парившего в безбрежности темных галактик.

Мой редактор, такой же, как и я, молодой человек — ниспровергатель устоев, которые, скажем прямо, пошли трещинами задолго до его рождения, и бунтарь, впрочем, в самом узком смысле этого слова, а заодно неистовый почитатель Набокова и Джойса, обрушивал на меня мутные потоки своих восторгов.

— Старик, — восклицал он, — ты только подумай! На десяти страницах описывается, как человек — не кто-нибудь, а человек — испражняется. И это прекрасно!

Как бы то ни было, я терпел подобные разговоры единственно потому, что обычно они скрашивались, вернее, смачивались чашечкой-другой превосходного кофе, который в редакционном буфете умели готовить выше всяких похвал.

Кроме того, как это делают все редакторы, он частенько вымарывал из моих репортажей именно те строки, которые мне нравились больше всего, и заставлял вписывать другие, писать которые я не имел никакого желания.

Именно в это время редактор был одержим новой концепцией нашего журнала — его владелец выкупил старое название, под сенью которого бывшие хозяева, наследники великих диссидентов, в протяжении всех мрачноватых перестроечных лет насаждали демократию с той же страстью, с какой некогда император Юлиан насаждал культ Диониса на просторах своей собственной, трещавшей по швам империи.

— К черту этот хлам! — кричал редактор. — Нам интересно все, что подсмотрено с черного хода. За что мы платим. Кто на что живет, кто с кем спит, кто чем болеет... Вот тебе вечные ценности, — неизменно добавлял он, устало отмахиваясь от табачного дыма, которым исходил я, словно был огнедышащим драконом, а не добропорядочным гражданином государства, обновленного до такой степени, что оно как будто уже не существовало. — Старик, пойми, побольше натурализма. Пора открываться.

Словом, это был человек восторженный во всех отношениях, больше всего на свете любивший здоровый образ жизни, на который у него не было времени, жену, которую боялся, и детей, с которыми не знал, что делать.

На этот раз нужно было как можно быстрее создать рубрику под названием «Мои неудачи». Героями нового раздела, подробности которого, по мысли редактора, обязаны были завоевать внимание публики, должны были стать люди желательного молодые, испытавшие на себе все превратности липкого от крови, страшного и соблазнительного времени. Идеалом здесь мог послужить персонаж, который начал бы с того, что учился конструировать самолеты, а закончил — этакий несостоявшийся ученый — их продажей, в мгновение ока наживший миллионы, разорившийся и готовящийся нажить новые. Или нужно было создать героиню — молодую женщину, не желавшую жить на одно мифическое жалованье и потому прокладывающую сквозь Сциллу искушений и Харибду околичностей нелегкий, почти страдальческий путь, используя средства все без исключения.

Наш журнал являлся читателям еженедельно, а потому и несостоявшихся ученых или проституток — в прошлом балерин или студенток консерватории — требовалось множество. Спору нет, все они были рядом и дышали с нами одним и тем же губительным для любых легких московским воздухом, но все-таки, как ни крути, не так-то просто было откапывать каждую неделю по разорившемуся миллионеру.

Задача была поставлена — осталось найти пути для ее разрешения. Новое время требовало своих героев, вскормленных тяжеловесными, драгоценными секундами — по центу за штуку.

— Думай, старик, думай, — бросил на прощанье редактор. — Что делать, журнал должен быть интересным, — вздохнул он.

Вздохнул и я.

По дороге домой я, хмуро поглядывая по сторонам, проклинал в душе и редактора и миллионеров. Мимо, обгоняя грустные троллейбусы, мчались стаи автомобилей, произведенных ведущими фирмами мира, и в каждом из них сидело по миллионеру, а то и по два; на обочинах дорог в принужденных позах стояли вчерашние балерины, и тусклый свет ларьков бросал свои лучи на зеленое стекло пивных бутылок, которые миллионеры разорившиеся благодарно принимали из подрагивающих рук продавцов, наверняка сегодняшних студентов и миллионеров будущих.

Я мысленно перебирал своих друзей, приятелей и знакомых, но как назло никто не подходил в злополучную рубрику. Одни из них торговали родиной в рядах компрадорской буржуазии, искренне полагая, что недурно зарабатывают, другие, как бурлаки свои лямки, влачили безнадежное существование, все еще называясь государственными служащими, а третьи вообще ничего не делали, ни о каких миллионах не помышляли, студентами отродясь не состояли, но жили, как ни удивительно, лучше всех прочих, валяясь на продавленных диванах и поплывавая в потолок. «Проиграли мои уроды», — цедили некоторые из них убитыми голосами, имея в виду одну известную футбольную команду, и было заметно, что при любой власти и при всякой погоде подобные огорчения останутся для них самыми болезненными.

Таким образом, все они хотя и не бедствовали, однако только еще готовились заработать свой первый миллион, а журналистика — не литература, и ее интересует результат — блестящий или смахивающий на катастрофу, а не какие-то там приготовления и нелепые планы. Стоит ли говорить, что я сам и того менее подходил на эту роль.

— О себе писать нельзя, — с досадой говорил редактор, хотя и разъезжал на автомобиле стоимостью в приличную квартиру и то и дело болтал по телефону сотовой связи, в то время как на его столе, размерами напоминавшем стол петербургского градоначальника начала века, рядами стояли обыкновенные аппараты, точно боевые машины десанта в парке воинской части ноль шестнадцать шестьдесят.

И это было то немногое, в чем я мог с ним согласиться: ни он, ни я не были созданы для подобных рубрик.

Поставив последнюю точку, я начинаю осознавать, что настает самое время рассказать о себе — благо это не потребует слишком много слов. Как и все остальные, сначала я родился, потом учился, как большинство. От матери я перенял привязанность к Исторической библиотеке и прочим книгохранилищам, а отец (конечно, бессознательно, как говорится на исходе века, генетически) возбудил во мне тайную страсть к одному напитку, который испокон — чего греха таить — надежно заменял многим из соотечественников и личную жизнь, и кодекс гражданских прав. Когда я достиг призывного возраста... На этом месте своей несложной биографии я обычно спотыкаюсь и не могу удержаться от того, чтобы передать слово одному несчастному нашему поэту, который исчерпывающе выразил самую суть этих вещей ровно за сто тридцать один год до того момента, когда я издал первый истерический звук под голубым небом земли.

Кто любит дикие картины
В их первобытной наготе,

Ручьи, леса, холмы, долины
 В нагой природы красоте;
 Кого пленяет дух свободы,
 В Европе вышедшей из моды
 Назад тому немного лет, —
 Того прошу, когда угодно,
 Оставить университет
 И в амуниции походной
 Идти за мной тихонько вслед.

Так писал поэт.

По мнению моих родных, мне всегда недоставало мужественности. Родители, словно предчувствуя будущие неурядицы с характером, дали мне имя твердое, как камень, — они назвали меня Петром. Что до фамилии, то она у меня довольно смешная; когда люди слышат ее впервые, на их лицах появляются сдержанные улыбки, что как будто дает мне право лишней раз не произносить это нелепое сочетание звуков.

Итак, вместе с другими новобранцами трое суток я валялся на спортивных матах знаменитого ГСП на Угрешской улице, поедая домашние пирожки, а потом был привезен в пульмановском вагоне в какую-то литовскую глушь. Эшелон остановился на поляне, окаймленной дремучими елками, с ветвей которых клинообразными бородами свисал сивый мох. Кроме елок поляна была оцеплена еще сурового вида солдатами, взиравшими на нас с предельной долей презрения. Потом мы обнаружили себя в бараке с грязными стенами, где нам предстояло смыть гражданскую скверну и облачиться в хлопчатобумажные костюмы и вожделенные полосатые маечки. Рядом с богатырской деревянной колодой стоял человек с закопченным лицом, в черном комбинезоне и с огромной секирой на железной ручке. Как выяснилось, этой секирой он рубил наше прошлое, перед тем как забросить груды локутов в страшную печь с весьма кинематографической заслонкой. Наше партикулярное платье вылетело в трубу черным дымом, и, смешавшись с его клубами, рассеялись неосторожные мальчишеские фантазии. Затем явился человек без секиры, с орденской планкой на кителе и еще более свирепым выражением на лице и предложил не терять драгоценных секунд. Время пошло, добавил он, взглянув на руку, на которой вовсе не было никаких часов...

В общем, я повстречал там совсем не те обстоятельства, на которые уповали мои родные, но делать было уже нечего.

Дома после работы мое уныние приобрело угрожающие формы. Прибегнув к помощи телефона, я принялся выполнять редакционное задание. После нескольких звонков, когда меня называли идиотом, глупо ухмылялись, тяжело дышали в трубку, предлагали приехать в гости, купив по дороге непременно бутылку, я принялся смотреть телевизор, тупо уставившись в экран, который, если смотреть снаружи, действительно выглядит голубым. Поискав газетный лист с программой, я вспомнил, что наступила новая неделя, и побрел вниз по лестнице к почтовому ящику.

В ящик конечно же уже успели набросать всякой дряни — предлагали отдых на далеком атолле, круиз, тренажер, средство от полноты, хотя мне — скажу без обиняков — требовалось средство как раз противоположное, садовый домик за двенадцать миллионов или коттедж за четыреста — каждому свое, как однажды написали «дети тумана», когда научились писать. Я вытащил газету с программой, развернул, и из нее выпал конверт. Поначалу адрес мне ни о чем не говорил, напротив, еще усилил мое недоумение. «Краснодарский край, г. Лабинск». Вернувшись в квартиру, я приглушил нечеловеческие звуки телевизора и с любопытством вскрыл этот конверт. То, что я прочел, надолго отвлекло мои мысли о миллионерах, разорившихся ученых, куртизанках и лишило и без того скупого сна. На

казенной бумаге с печатью нотариальной конторы г. Лабинска меня уведомили о вступлении в наследство жилым домом общей площадью пятьдесят четыре квадратных метра, с приусадебным участком, расположенными в поселке Адзапш Лабинского района Краснодарского края. Ошибки быть не могло — и имя и адрес были указаны предельно точно и разборчиво. Нотариус приглашала прибыть в город Лабинск для совершения формальностей. И только чуть позже я обратил внимание на приписку, которая — рукою нотариуса — сообщала, что драгоценный дар следует мне от гражданина Разуваева. Тут же прилагалась и копия с самого завещания. В горле у меня пересохло, я сунул в рот сигарету и заметался по комнате. Наследство — это слово иногда бывает страшным. Нас с этим человеком кое-что связывало... Да, именно так — кое-что связывало. Мы вместе служили в армии — это было не так давно, но давно, когда у нас была еще армия, а не большой партизанский отряд, тотемом которого запросто могла служить черная глупая птица.

Промучавшись всю фиолетовую ночь, к утру я набрался решимости, позвонил моему редактору домой и изложил дело.

— Что ж, поезжай... — неуверенно пробурчал он и сердито добавил: — Не забудь, что к пятнице ты должен сдать заметку про метрополитен.

— Помню, — так же сердито отвечал я.

Сезон отпусков был на исходе, поэтому билет на самолет достался мне без труда. В сумке погромыхивали вещи, собранные второпях, сердце стучало в груди.

Битком набитый желтый автобус полукружием скользнул к самолету, и толпа вывалилась на взлетную полосу как разноцветный мусор из самосвала. На верхней площадке трапа стояла стюардесса и равнодушно взирала на наше скопище. Я всегда был больше летописцем, а потому опустил сумку за спинами штурмующих на выметенный турбинами бетон и приготовился ждать, уворачиваясь от резкого, сухого запаха авиационного керосина.

Друзья тащили пьяного мужчину и никак не могли всучить ему чемоданчик, он глупо хохотал и порывался попрощаться с кем-то невидимым, оборачиваясь и валясь на головы другим пассажирам. Две девицы, похожие как две сигареты из одной пачки, в темных очках, хотя не было солнца, и в туфлях на огромных платформах тоже стояли поодаль — молча и совершенно неподвижно, наблюдая давку сквозь свои черепашины очки с невозмутимостью последних могикан. Мимо них обильно вспотевшие люди волокли какие-то короба, тюки, щедро обмотанные клейкой лентой, как ноги гипсового больного, — ох уж эти мне позорные приметы времени... Наконец очередь дошла и до меня, и я протянул стюардессе с потасканным и смертельно усталым лицом свой мятый, безобразно скомканный билет.

Кое-как я пробрался в тесноте салона к своему месту, трижды споткнувшись о чьи-то ноги и непристроенные сумки, и рухнул в кресло, украшенное кокетливой салфеточкой, которая задумывалась как ослепительная и некогда в самом деле такой была. Через секунду явились девицы, показавшие похвальную выдержку при посадке, и оказались моими соседками. Они чинно уселись, сняли свои очки, извлекли из сумок дорожное чтиво и устались в глянец журналов злыми, непроницаемыми глазами. Все это девицы проделали с тем однообразием, которого любой уважающий себя старшина желает для своих новобранцев. Еще разок показалась стюардесса, послала в салон вялую улыбку, самолет покатился по взлетной полосе, где-то внизу подпрыгивая на стыках бетонных плит, и город, расчлененный лентами автострад, поплыл прочь в бурой смеси тумана и выхлопных газов.

Очень скоро в иллюминатор нельзя было разглядеть ничего, кроме распущенных облаков, которые тревожно неслись мимо, словно обрывки газет по голой осенней улице в революционный год. Зажглось табло с перечеркнутой сигаретой, и тут же к туалету потянулись первые курильщики, на ходу разминая белые трубочки. Достав письмо лабинского нотариуса, я опустил голову и скосил глаза на девиц. Ближняя ко мне изучала именно тот журнал, чьим корреспондентом я себя называл. Как назло он был раскрыт на моей последней статье, где редактор излагал свои взгляды на современное нам искусство. Вторая девица — дальняя — тоже теребила журнал — один из тех, в которых фотографий раз в шесть больше текста. Она задумалась над кроссвордом: сколько я мог рассмотреть, его составители предлагали разрешить следующие загадки: «Что лежит в основе спонсорства?», подобрать «русский эквивалент заморскому слову „шарм”», угадать, что «есть „кусачего” в модной одежде?» или решить, кем являлся «польский король Казимир Великий как представитель династии». Над черно-белой решеткой кроссворда пестрели фотографии — с одной из них некие мужественные юноши, обуздав едва распустившиеся таинственные улыбки, глянули нам с девицей прямо в лицо озорными глазами хищных животных, сулящими декамероновские наслаждения. Они рекламировали одежду, призванную одновременно завоевывать взыскательных женщин и внушать доверие деловым партнерам. Один из этих пиджаков показался мне знакомым. Похожий был на Павле, когда он впервые втиснул свое плотное тело в четырнадцать метров моего монплезира, где я помещался вместе со всеми моими сокровищами, как крестьянин в избе со своей скотиной: старейшим «Underwood'ом», звонким, как револьвер, скрипкой, обнажившей дерево из-под красного лака в местах сцепления с человеческой плотью, на которой, по преданию, играл Пушкин проездом в Уфимском наместничестве и на которой моими детскими стараниями больше играть уже никто не будет, — так что по-своему я был богат.

Там я и сидел до поры, в осаде от перемен, уже без принципов, но еще с убеждениями. Мой пожилой сосед, на удивление мирный, мельком взглядывая на заглавие книжки, с которой я выскакивал в коридор к оглушительному телефону, неизменно спрашивал: «Над чем бьется пытливый ум?» — и, не дожидаясь ответа, сворачивал в уборную.

А я, в качестве дипломной работы, решал проблему со следующей формулировкой: что же такое наша непутевая государственность — злая скандинавская инъекция или же дреговичи, вятчи и поляне сами обладали крупницей государственного гения, который циркулирует в нашей крови, подобно морфию, гонит нас и по сей день, и мы движемся, то пускаясь бешеным наметом, затаптывая своих же младенцев, то бредя по колону в крови и месиве талого снега, потрясая иконами, темными чадом раскаяния, от неизвестного начала к неизвестному концу.

И я, хотя и не смог ответить на этот вопрос, на который в течение добрых двухсот лет безуспешно отвечали люди куда более искушенные в делах минувшего, постиг первую ступень незнания. Тогда-то, вопреки моему упрямству и самоуверенности, вполне простительной в молодые годы, я впервые осознал, что есть на свете вопросы, ответов на которые нет и не предвидится.

Труды над дипломом я перемежал поисками работы и, словно совершая некий ритуал, смысл которого я наконец перестал понимать, раз за разом возвращался домой с отказами от терпящих бедствие издательств, переполненных редакций и научно-исследовательских институтов, где не имел никаких знакомств. Чтобы притупить горечь неудач, несправедливо казавшихся мне временными, у станции метро я покупал бутылку пива, а потом заходил в булочную. Так продолжалось почти до осени. Дошло до

того, что мне захотелось встретить кого-нибудь из старых друзей. То ли небо вяло моему хотению, то ли это грустное, созерцательное время года возбудило во мне предчувствие, но чего я желал, то и случилось.

День, когда я встретил Разуваева Павла, был воскресный, тихий, задумчивый. Солнце неярко золотилось в кронах деревьев, и город был как мудрый человек. Я шагал по узкому тротуару мимо фонарных столбов, которые казались мне крепко вбитыми в тугую землю колями золотоискателей, застолбивших все возможные ответы раз и навсегда. Я хорошо помню большую синюю машину, которая, вынырнув откуда-то из-за спины, резко затормозила, словно споткнулась, смирив бег огромных тяжелых колес, и они покатались неторопливо, как колеса детской коляски на Гоголевском бульваре, когда можно идти рядом и, точно четки, перебирать глазами мерно перекатывающиеся спицы.

— А я ведь уже полгода здесь, — рассказывал он мне, сбиваясь от восторга, — работаю... весной приехал.

— Где работаешь? — спросил я.

— Да, — махнул он рукой, — занимаюсь кое-чем. Адрес твой потерял, понимаешь, а у вас тут даже справочного ни одного не осталось, такие дела. Ты за хлебом? Пойдем зайдем. Жди, Чапа, — сказал Павел кому-то внутрь своего никелированного чуда, похожего на бронетранспортер.

Я накопил на удивление черствых булок, и мы зашагали обратно к подъезду. Черная машина сопровождала нас слева, точно луна в известном романсе, потом припарковалась и замерла, целиком отразившись в луже, образ которой, по странной прихоти коммунальных служб, является для меня одним из самых ранних детских воспоминаний.

— Это кто же такой — Чапа? — спросил я в лифте.

— Это водитель мой, — объяснил Павел. — Чапа его зову.

— Как собаку.

— Мы, Петя, хуже собак. Разве не так?

— Пожалуй, — согласился я, чтобы никого не обижать.

В армейской дружбе есть что-то звериное и не требующее слов. Можно просто сидеть рядом и смотреть в разные стороны, ощущая при этом всю палитру общения. Он допил чай и еще раз внимательно обследовал мое жилище. Вместе с ним мои глаза не без некоторого удовлетворения проделали путешествие по голым стенам, пыльным и беспорядочным градам книг, а оттуда к лампочке без абажура и к одежному шкафу, три створки которого были истыканы ножом, словно бедра святого Себастьяна стрелами злобных святотатцев, — путешествие, которое мои глаза свершали ежедневно по несколько раз в минуты суровых раздумий.

Я отлично знал, что для него занятия, подобные моему, были чем-то вроде телевизионного сообщения, что английская королева родила пару мышат, а далай-лама принял крещение по православному обряду, и — подзреваю — если бы не некоторые обстоятельства нашей совместной двухгодичной повинности, он бы недоумевал, как, зачем и для чего такие люди вообще живут на свете. Думаю, ничего против он не имел, потому что нельзя же быть против травы, которая произрастает далеко от твоей газонокосилки; к тому же волки червей не едят. С другой стороны, зная меня, он невольно допускал, что те занятия, которым я предаюсь, могут иметь какой-то смысл — пусть даже и самый ничтожный, однако вникать в него — значило совершать преступление против человеческой природы.

Моя мнимая ученость произвела на него некоторое впечатление. Он долго смотрел на книжный шкаф, раздутый от разноформатных книг, как брюхо осла, больного тимпанитом. Похожим взглядом дети таращатся на прилавки с игрушками или кондитерскую витрину.

— Ты их все читал? — спросил он.

— Половину — точно, — ответил я подумав.

Павел происходил откуда-то с Кавказа. Отец его попивал, то и дело уезжал на заработки в Геленджик, да так и сгинул на задворках кафе при каком-то доме отдыха. Мать, тянувшая хозяйство, умерла двумя годами позже от официально не существовавшей малярии, а старший брат, однажды исчезнув из поселка, или станицы, как принято называть в тех краях небольшие скопления построек, вернулся только через четыре года, украшенный одной татуировкой, двумя скромными шрамами на подбородке и приобретя стойкое неприятие минусовых температур. Некоторое время он болтался на побережье — от Адлера до Анапы, после чего пропал вторично, да так надолго, что Павел стал забывать черты его лица. Вернувшись из армии, Павел, согласно ожиданиям, дома никого не застал, а старуха собака, которую забрали соседи, околела за месяц до его возвращения. Тогда он перебрался в Туапсе и стал работать в туристическом клубе, развлекая группы из обеих столиц водопадами и дольменами, исколотыми ножами грамотеев. Время от времени в его жизни возникали какие-то мужчины крепкого сложения, с лицами «солдатских императоров», передавали от брата скупые приветы и щедрые денежные подарки, просили показать горы, ходили на охоту, которая обыкновенно заканчивалась пьяной стрельбой по опорожненным бутылкам, или таскали его за собой по прибрежным ресторанам, где он сидел, слушая их разговоры, составленные из непонятных слов. Потом они исчезали и являлись новые, неся очередную благую весть, и забытый брат, словно невидимое и могущественное божество, осенял из последней своей среднеазиатской темницы скромное существование самого близкого своего родственника.

Как ни странно, вынужденные невзгоды первого года службы и невзгоды другого рода года второго поселили в нас обоих чувство взаимной симпатии, ибо там, где мы были, чувства выражаются скупой, хотя и с предельной искренностью. И его неприхотливость, и моя кажущаяся нежизнеспособность были подвергнуты извечному испытанию, берущему начало в танталовом водоеме.

Нам мерещились виноградные гроздья, колбасы домашнего копчения, булки, горы батончиков, и мы представляли себе, как мы будем все это есть, а потом будем спать, и снова есть, и спать, и есть — обязательно около печки, и так без конца, пока родина снова не позовет нас ночевать в снегах, резать дерн, приукрашивая природу, чтобы привести ее облик в согласие с мироощущением старших офицеров, и совершать прочие бессмысленные действия, отлично известные каждому солдату.

Вернувшись домой, я быстро позабыл эти мудрые уроки и перестал дорожить простыми радостями света, раз за разом подвергая сомнению великие истины, отпущенные однажды, зато Павел никогда не имел опасной склонности к отвлеченным идеям. В нем засела та суровая природная сила, которая была чужда обманчивым рельефам приобретенных мускулов, которую завещают поколения предков, привыкших повелевать своими желаниями, — людей, каждый из которых твердо знал, кто родил его и кого родил он сам.

Может быть, он захотел стать похожим на своих московских подопечных, неизменно приносивших с собою многозначительный привкус столицы — привкус света и радости, а может, посланцы брата мало-помалу привили вкус к красивой, ослепительной жизни, а главное, указали пути, которые ведут к этому блеску — блеску калифов на час.

Теперь они, в прежние времена покупавшие своей хмельной щедростью все надежды такси и частного извоза, представляли в ореоле славы, разъезжали по серпантину Большого Сочи на дорогих автомобилях, виданных только на картинках в кубриках матросов торговых судов, в окружении молчаливых «оруженосцев» и в сопровождении женщин тоже невиданных — высоких, стройных красавиц, знавших себе цену; однако цена

эта, как смутно подозревал Павел и как это обстояло на самом деле, всегда была немного завышена. С другой стороны, это были не те девушки, которые заклинали духов гор романтическими куплетами о непрочитанных книгах и дружбе, похожей на извращение, терзая гитары, головешки ночных костров и кутая плечи полинявшими отцовскими штормовками и истрепанными спальными мешками, из которых торчала свалывшаяся вата.

Словом, и те и эти рождали в нем неприятное чувство, что он находится где-то на обочине жизни. Ветер перемен дохнул ему в самое лицо, и уворачиваться было как будто незачем.

А может быть, он решился на выход в свет, когда откапывал палатку, поставленную на северном склоне горы Фишта. В этой палатке еще жила студентка одного из славнейших институтов. В то время как она испытывала третью степень охлаждения и видела мир из-под приспущенных век зеленым, теплым и ласковым, он, коченея от режущего ветра, через шаг проваливаясь в снег по бедра, тащил ее в спасительный и первозданный уют охотничьего домика, то и дело ударяя прекрасное лицо, изуродованное гибельным блаженством, крепкими, мужскими ударами. Возможно, именно в этот день у него впервые родилось желанием своими глазами увидеть жизнь, к которой он возвращал пятьдесят три килограмма мяса, костей и жидкостей и девять граммов души, готовой взмыть в небо как истребитель, получивший команду на взлет.

И — вполне вероятно — двумя часами позже, расслабленно куря у железного ящика, служившего печкой и дымившего в пять щелей, прислушиваясь к звукам ломившейся внутрь бури, он отчетливо подумал, что разница между теми, кто находится на острие жизни, и теми, кто ближе к ее основанию, всегда казавшаяся ему непроходимой и словно священной, на самом деле почти неразличима, а временами становится и просто никакой.

Вот вкратце все, что я узнал от своего Паши, точнее, что он сообщил мне в иной последовательности, с другой интонацией и другими словами и что я привожу здесь, сведя ветвистые диалоги в однопартийное эссе и опуская то, что, по моему мнению, оскорбило бы литературу.

Был самый конец лета, когда истомленные зноем деревья покрываются пылью, трава беспомощно жухнет, а в природе накапливается усталость, которую чувствует человеческий глаз. Вечера стали холоднее, ранними утрами иней покрывал земную плоскость колючим серебром. Москва никогда не выглядит безлюдной, но все же принято замечать, что в эти дни она особенно пуста. Мне тогда ехать было некуда, и я обрадовался старому знакомому. Наши встречи делались все чаще и чаще, а в скором времени стали почти ежедневными. Контора, из которой Разуваев вершил свои пока непонятные мне дела, располагалась на Полянке, через четыре переулка от моего дома. Чтобы дойти туда пешком, даже не утруждая себя скоростью, требовалось всего-то минут пятнадцать немного запутанной ходьбы тесноватыми проходными дворами, под низкими арками, раскрашенными не хуже неолитических пещер.

Как я уже сказал, Павел передвигался по городу в своем шикарном автомобиле, сверкающем никелированными фрагментами и сочной темно-синей краской. В книгоиздании такой цвет величают благородным, и в этом, что ни говори, есть доля правды.

— Поедем ко мне, — сказал Павел, — посмотришь на мою... — При этих словах водитель по имени Чапа заговорщицки мне подмигнул и улыбнулся блаженно и загадочно, словно только что увидел светлый, чудесный сон.

Контора занимала первый этаж неотреставрированного особняка, а сверху ютились какие-то агонизирующие учреждения прежней неправед-

ной власти. У Паши имелся отдельный вход — крылечко, украшенное неуклюжим современным литьем и мраморными ступенями, сразу за которыми мокла под осенним дождем злополучная наша страна.

Внутренности сей драгоценной шкатулки превосходили самые смелые ожидания: по углам были натыканы уродливые пластиковые пальмы, рядом с синтетическими диванчиками стояли по стойке «смирно» сверкающие плевательницы — на тот, видимо, случай, если кому-нибудь вздумается сплюнуть, — окна были наглухо забраны салатowymi вертикальными жалюзи, а невнятный шум кондиционеров и полное отсутствие персонала увеличивали назойливое сходство с усыпальницей. Мы прошагали анфиладу безлюдных комнат, пока не очутились в просторном холле. За столом сидела по-настоящему красивая девушка и разговаривала по телефону на немецком языке.

— Интим не предлагать! — вдруг закричал Павел, хлопнул меня пониже спины и протолкнул в следующую дверь, да так быстро, что я не успел разглядеть, какое впечатление произвела эта сомнительная шутка на прекрасную секретаршу.

Две огромные квадратные картины в узких полированных рамах висели по обе стороны стола. Я спросил, сколько он за них отдал. Судя по цене, это были очень хорошие картины. К тому же они ничего не изображали. Мне хотелось узнать еще что-нибудь, но в голове вертелась его давешняя выходка, и это сбивало с мысли.

— Не в казарме все-таки, — заметил я.

— Как сказать, — отозвался он загадочно.

В кабинете имелась еще одна дверь — через нее можно было попасть в маленькую каморку. Перегородка делила ее надвое: в одной половине около одностворчатого, узкого, как бойница, окна стояла железная армейская койка и металлический офисный стул с черным сиденьем, а другая служила уборной. Единственной роскошью здесь можно было счесть сверкающий унитаз, раковину умывальника и душевую кабину из прозрачного пластика.

Окно выходило в глухой дворик, где когда-то были гаражи, и упиралось в корявые колени разросшимся тополям.

— Что же ты квартиру-то нормальную не снимешь? Или не купишь? — спросил я, рассматривая этот диковатый интерьер.

— Не люблю быть в разных местах, — объяснил Паша, плюхаясь на кровать. — Да и что там одному-то делать?

— Не знаю... Жить, наверное.

— Жить не получится, — почему-то сказал он.

На широком подоконнике мигал зелеными цифрами электронный будильник, а на стене над кроватью булавкой была приколотая черно-белая фотография семилетней давности: в поле стоит солдат, за плечами у него по мерзлым комьям пашни волочится погасший парашют. Я знал эту фотографию очень хорошо, потому что сам нажимал на спуск фотоаппарата «Смена» негнушимся пальцем. Еще секунда, подумал я, и бросок ветра толкнет купол, нижние стропы вырвет из рук, и они обожгут закоченевшие пальцы; солдат потащится за куполом как всадник, у которого нога застряла в стремени. Но это будет через секунду, а пока солдат стоит, и в воронке поднятого мехового воротника сияет глупая и счастливая улыбка.

Когда мы вышли из кабинета, Павел познакомил меня со своей сотрудницей.

— Алла, — как невеселое эхо повторила девушка вслед за Павлом и грустно улыбнулась. Очертания губ у нее имели выражение легкой обиды и отливали скромным перламутром.

Эта секретарша, по первому взгляду показавшаяся мне одним из тех манекенов, которые составляют важнейший признак процветающих дел, оказалась обладательницей непритворно милой улыбки и владелицей естественных манер. Ужимки и кривляния здесь не культивировались, однако и увядающее кокетство не возбранялось. Вдобавок выяснилось, что мы с ней учились в соседних школах, и у нас нашлись даже общие знакомые.

Ее немецкий напомнил мне одну насущную проблему. Незадолго до того в некоей монографии я натолкнулся на любопытную ссылку. Цитата была взята из немецкой книжки, а немецкого-то я как раз не знал.

Должен признаться, что во всякого рода правилах я не был силен, этикет мне никак не давался, и это досадное обстоятельство вкупе с настырным любопытством не раз служило мне плохую службу. Твердо я доверял лишь одному правилу: «Друг моего друга — мой друг», и наоборот. Эти нехитрые аксиомы заменяли мне любезность, избавляли от ненужных рассуждений и до поры казались простыми и надежными рекомендациями на все случаи жизни.

Ее красота, спокойная и печальная и оттого величественная, так меня поразила, что я — сам первый враг наглецов — унизился до хамства:

— В Исторической библиотеке содержится одна книга, написанная по-немецки...

Алла смотрела на меня и ждала, что последует дальше. Честное слово, не знаю, что мною двигало, когда я сказал:

— Вот было бы здорово, если б вы перевели мне пару страниц.

Даже Павел бросил мне несколько веселых и понимающих взглядов, однако Алла не повела и бровью.

— Давайте книжку, — сказала она просто, — я переведу.

— Книжка-то в библиотеке, — радостно сообщил я.

— Так вы ее возьмите, — посоветовала она невозмутимо.

— Да все дело в том, что эту книгу не дают на руки. Она там чуть ли не в единственном экземпляре, — объяснил я.

— Тогда ксерокопию сделайте.

— И ксерокс не разрешают делать.

Она задумалась ненадолго.

— Тогда выучите немецкий.

— Ничего не остается, — ответил я со вздохом. Я уже чувствовал провал и начал медленно краснеть, но она неожиданно согласилась:

— Вы это серьезно?

— Абсолютно, — невнятно заверил я, страдальчески посмотрев на Разуваева.

— Тогда надо ехать, — вмешался Павел. — Чапа вас подбросит. Только потом чтобы сразу сюда, скажи ему.

Всю дорогу Чапа мигал мне, как маяк терпящему бедствие пароходу.

Мы поднялись в отдел редких книг. Часа через полтора она положила передо мной лист бумаги с переводом. Только сейчас я обратил внимание, что пальцы ее были свободны от каких бы то ни было украшений, а ногти подстрижены коротко, по-мужски.

— «...народ этот, сентиментальный, но не добрый... три случайности свершили эту судьбу...» Интересно, — сказал я и аккуратно сложил лист вдвое.

Мы вышли из библиотеки под вечер. На улицах было еще людно, но основная масса часа пик уже растекалась по разноцветным венам метро. Я еще держал в руке листок с переводом и размышлял, на какой странице моей работы были бы уместны эти обидные слова.

— Чем это вы занимаетесь? — спросила Алла, кивнув на листок.

— Хочу выяснить, как образовалось государство у восточных славян.

— Ну и кто же мы такие?

Той осенью в подобных мимолетных вопросах я усматривал непозволительную беспечность и в глубине души сердился на всеобщее равнодушие к загадкам вселенной.

— Лучше и не спрашивать, — отмахнулся я, но это не было шуткой. В самом деле, кто может ответить на такой вопрос?

— Что-то мудрено, — сказала она.

Еще раз мне пришлось махнуть рукой.

— Понимаете, одни вопросы влекут за собой новые вопросы, одни выводы требуют других.

— Червь познания, — заметила Алла.

— Это не червь, — ответил я. — Это змей. Знаете, как в сказке — одну голову рубишь, а на ее месте тут же две новых вырастают. И вся эта простая конструкция уходит куда-то в бесконечность, а мы делаем вид, что что-то познаем. Никто ничего не знает. — Непонятным образом я разошелся не на шутку, раскидывая по сторонам хмурые взгляды. — И так без конца. Вот говорят — нельзя представить бесконечность. А и конечность поди-ка представь! Черт знает что.

Только сейчас я заметил, что закончилось лето. Первый приступ ненастья прошел, и дожди, собираясь с силами, ненадолго уступили место прохладному солнцу, которое задумчиво лежало на тихих улицах, на крышах домов, уже остывших от тяжелого августовского зноя. Небо потеряло глубину, деревья занялись холодным осенним огнем. Первыми вспыхнули клены, оторвавшиеся их листья как искры затрепетали в воздухе и кружась полетели к земле. Кое-где в углублениях асфальта блестели лужи, в которых тонули листья и отражения.

На прощанье в кафе у метро мы выпили минеральной воды.

— Вы его близкий друг? — спросила Алла, имея в виду Павла.

— Бывает, наверное, ближе, — усмехнулся я.

— Пока есть такие мужчины, стоит оставаться женщиной, — заметила она, но сказано это было без всякого интереса. В устах красивой и неглупой женщины все прочие комплименты утрачивали обаяние. — Он еще умеет мечтать, — добавила она и выразительно вздохнула.

— Не замечал, — рассмеялся я.

— А я, — произнесла она невесело, как-то по-детски склонив голову набок, — уже устала мечтать. Я больше не могу. — Светлые волосы с обманчивой безыскусностью обрамляли ее лицо. Прикрытая челкой, продольная предательская морщинка пересекала высокий прямой лоб и разглаживалась ближе к вискам. Алла имела привычку немного щурить глаза, напоенные серьезной печалью; от этого они словно веселели и, меняя грусть на забаву, становились лукавыми. — Давай на «ты», — предложила она.

— Давай, — сказал я, — а вы, то есть ты... — сбился и не мог закончить начатое.

— Я, — произнесла она утвердительно и весело и посмотрела мне прямо в глаза. — «Я зеркало души твоей, всмотришь в меня сильнеей...»

— За этим дело не станет, — заявил я панибратски. — Каким же образом почитательницы столь утонченной поэзии сводят знакомство с грубыми торговцами?

— Да очень простым, — откликнулась Алла. — Была у меня подруга. Хотя почему была. Она и сейчас есть. Просто живет не здесь. Замуж вышла — уехала. Они живут в Кении, муж там работает. Дом стоит прямо на берегу океана. Муж такой смешной, представляешь — коллекционирует военные шапки: фуражки всякие, шлемы, эти... как их?

— Каски? — предположил я.

— Каски. — Ее глаза остановились, их взгляд отразился от пространства как от невидимого зеркала и ушел обратно. Несколько секунд она сидела не говоря ни слова, словно пыталась примерить на себя чужую судьбу, и решала, хотела бы она жить на берегу океана, где бесконечной

чередой идут к берегу плоские волны, с человеком, который собирает военные шапки.

— Ну и что дальше? — осторожно напомнил я.

— А... В общем, она меня с Павликом познакомила. Они тогда только открылись — нужен был человек. И я как раз без денег сидела. Случайно так получилось.

Подруга была той самой студенткой, которая на свою голову полюбила горную природу и которой Павел по долгу службы, как будто оспаривая слова нестареющей песенки, устроил дополнительный день рождения. Когда Павел появился в Москве, он первым делом нанес визит ее родителям, теща себя мыслью, что для него начинается светская жизнь, и был принят как нельзя лучше.

Я продолжал свои исследования:

— А раньше что подделывали?

— В Париж моталась с одним антикваром.

— Вдвоем? — деланно ужаснулся я.

— Он был толстый и жадный, и он это знал. — Она посмотрела на меня с усмешкой. — А я ему переводила.

Темнота вечера сделалась уже холодной, воздух быстро остыл и словно загустел. Небо вбирало в себя отблески уличного электричества, и в нижнем его слое пробивалась ядовитая краснота. Мы спустились на тротуар и пошли к станции.

На прощанье она улыбнулась немножко виновато, словно извиняясь, что обрекает меня на одинокий путь домой.

Весь следующий день я провел за письменным столом, приискивая место для давешней добычи, а вечером появился Павел и избавил меня от этого занятия.

Работа историка сильно напоминает работу следователя — следователя по особо важным делам. Следователя, распутывающего в тишине коллективные преступления, заговоры правительств, напрасные метания одиночек и заблуждения народных масс, которые сносила, сносит и будет сносить земля. Еще одно свидетельское показание, еще одна улика — все нужно приобщить к делу.

— Что такое меценат? — спросил Павел с порога.

— Вообще-то это не что, а кто. Это был такой в Древнем Риме человек, он оказывал покровительство искусству.

— Типа спонсор?

— Типа спонсор, — ответил я. — Почему ты спрашиваешь?

— Да... — Он удовлетворенно улыбнулся: — Меня тут так называли.

— Да ну! Кто? — Я даже привстал от восхищения.

— Помог, понимаешь, одной галерее. Слушай, есть одно дело. Есть один клиент, короче. Сможешь ему растолковать, что там написано, в книгах в смысле? Что за писатель, когда жил, про кого написал? В двух словах. Возможно такое?

— Что автор хотел сказать своим произведением, — добавил я, подавив зевок.

— Именно, — ответил Павел с ноткой восхищения, показавшего, что я верно угадал требования «клиента».

— Ну и кто он такой, чем занимается? — осведомился я.

Павел прошелся по комнате опустив голову, посмотрел в окно, опрометчиво отвернув шторы, с которой посыпалась пыль, как снег с зимней елки, и вспорхнула перламутровая моль.

— Да это я, — произнес он, улыбаясь смущенной и вместе с тем счастливой улыбкой человека, делающего сюрприз, прежде всего приятный ему самому. — Я.

— А тебе-то зачем?

— Нужно, — коротко сказал он. — Мне нужно. Табула раза, — неожиданно произнес он с изяществом младшего Катона.

— Как ты сказал? — переспросил я озадаченно.

Он повторил.

— Кто же это тебя научил таким словам?

Паша порылся в кармане и вручил мне затасканный, потертый на сгибах листок, на котором была начертана транскрипция этого древнего изречения.

— А то я как баран, — мужественно признался Павел. — Москва все-таки и вообще...

— Да ну. Глупости. — Я снял с полки несколько увесистых томов. — Вот, — сказал я и хлопнул ладонью по переплету, — «Война и мир»... — Я вопросительно взглянул на него.

— Слышал, — кивнул он, но книги не принял.

— Ты что, читать не умеешь? — рассердился я.

— Умею вроде, — как-то не слишком уверенно произнес он, — но не могу. Даже газет не читаю. Только платежки — еще куда ни шло.

Некоторое время я раздумывал. Делать мне, если не считать смертельно надоевшей дипломной работы, было решительно нечего. Здесь должен признаться, что склонность к безделью и по сей день является отличительной чертой моего характера, в ту же пору я наслаждался свободой вдвойне, так что был готов во всякое время к любым услугам. Бесспорно, невозмутимость моего болота была мне очень дорога, почти как настоящим лягушкам, но все чаще меня посещала мысль, что жизнь — хитрющая иллюзия — крадется прочь за моим немывтым окном, а за ней вприпрыжку бежит молодость. Я не на шутку стал опасаться навсегда почить в обществе плохо освещенных химер да полумифических героев, скупо прописанных на едва сохранившихся скрижалях истории. «В последний раз», — шептала обманщица шорохом осеннего ветра, шелестом приговоренных листьев. В домах напротив зажигался свет. Свет заката таял далеко в небе, под сенью сиреневых облаков.

— Хорошо, — сказал я, — я тебе помогу. Хотя и не понимаю, зачем тебе это нужно.

Когда он ушел, я долго сидел в темноте и, время от времени прикладываясь к чашке с остывшим чаем, вспоминал другие ночи — черные ели под Гайжюнаем, широкие просеки, уложенные бетоном, и на них поднявшие хвосты самолеты, гудящие, как майские жуки.

Для меня началась другая жизнь — жизнь с обязательным двухчасовым круговоротом. По утрам я продолжал свои исследования, а в перерывах освежал в памяти подробности фабулы того или иного шедевра отечественной словесности.

Заниматься у меня в комнате или где-нибудь еще Разуваев решительно отказался, не выдвинув против этого никаких серьезных причин. Мне, впрочем, причуда эта пришлась по душе — я и раньше замечал, что думать лучше во время движения. Дорога приносила неожиданные мысли; ко всему прочему моя келья мне осточертела.

Каждый день, но в разное время за мной заходил Павел, и мы спускались к его внушительному автомобилю, который сделался нашей аудиторией. Чапа, оказавшийся добродушным парнем атлетического сложения примерно наших лет и приверженцем того стиля в одежде, который в последние времена побил у нас все рекорды моды и который принято называть спортивным, выводил машину из тесных переулков на волнистую грудь Садового кольца, и мы по два часа, что называется, наматывали круги или увязали в пробках под тихий, шелковый шелест мотора.

— С чего начнем? — спросил я, чувствуя себя настоящим миссионером.

— Тебе лучше знать, — резонно ответил Павел. — Ты только объясни сначала, зачем вообще все это нужно — ну, искусство там и все такое.

— Очень просто, — без запинки начал я, — одним нужно, чтобы избавиться от скуки, вторые подражают первым, а третьи... ну вот тебе зачем-то ведь нужно?

— Нужно, конечно, — согласился Павел. — Но я не знаю зачем.

— Вообще-то считается, что искусство изменяет мир и делает человека добрее и достойней собственного разума, — с расстановкой проговорил я, а подумав, добавил: — Кроме того, иногда за это можно получить неплохие деньги.

— Неплохие — это сколько? — деловито подхватил он.

— По-разному. — Я подивился такому вопросу. — Зависит от времени и места.

Конкретных и знаменитых сумм я пока не называл, ибо не мог же я в самом деле погружать в филологическую премудрость человека, не способного в правильном порядке перечислить буквы родного алфавита.

— Да, — вспомнил я в предисловии, — и еще... Искусство призвано привести человеческое устройство в согласие с замыслом Творца.

— Это кто еще такой — Творец? — наивно поинтересовался Разуваев. — Бог, что ли?

— Бог это, бог, — не выдержал Чапа и даже раздосадованно качнул своей коротко стриженной головой.

— Помолчи, — сказал Павел и обратил на меня вопрошающий взор.

— Так и есть, — подтвердил я, кивнув на Чапу. — Он правильно сказал. Только никто хорошенько не знает, в чем этот замысел состоит.

— Ну, это-то понятно, — удивился Павел. — В том, чтобы все было хорошо.

— Что — все? — переспросил я.

— Ну как что? Все, — решительно пояснил он. — Чтоб небо не падало, короче.

— Ладно, — решил я, — черт с тобой, открою секрет: искусство — это как зеркало. Человечество любит смотреться в зеркала. Считать свои морщины, так сказать. Само по себе изображение ничего не может, — прибавил я со вздохом.

— Чапа, понял что-нибудь? — спросил Павел.

— А как же, — ответил Чапа, круто бросая автомобиль в щель между двумя вишневыми «пятерками», на крышах которых по какому-то праву были прилеплены синие колпачки сирен. — Я сообразительный.

В одежде мой друг проявлял удивительную разборчивость и подавлявшее меня разнообразие. Пиджаки и галстуки, или иначе «гаврилки», сменяли друг друга как на подиуме, но один наряд всего более был ему по душе. Он состоял из черного ворсистого пиджака и тоже черной водолазки, бравшей, как кредиторы, за самое горло и подпиравшей подбородок, точно воротник инфанты, и имей Павел лицо поуже, а волосы потемней, он и впрямь походил бы на герцога Альбу с полотен великих испанцев. Поверх водолазки лежала короткая серебряная цепь — точь-в-точь знак отличия ордена Алкатравы. Одетый таким образом, он чувствовал себя заметно свободней, и беседы наши в эти дни затягивались дольше обычного, обнаруживая живой характер и приобретая неожиданные направления.

Нельзя сказать, чтобы Чапа оставался равнодушным к нашей паралитературе. Иногда я замечал в зеркале заднего вида его веселые серые глаза в желтую крапинку, на мгновение отрывавшиеся от дороги, и усмешку, создававшую уверенность, что он проявляет к сумасбродным глупостям интерес больший, чем можно было в нем предположить по первому взгляду. Примечательно, что он как будто искал встречи именно с моими глазами,

призывая в свидетели или приглашая разделить забавное наблюдение. Как бы то ни было, у меня рождалось чувство: он знает о своем хозяине что-то такое, чего я за ним не знаю или забыл за время семилетней разлуки.

Чапа был, видимо, больше чем водитель — Чапа был друг, поэтому, когда я однажды познакомил экипаж синего автомобиля с соображениями одного дипломата относительно пропорций счастья, глупости и любви, Чапа, к моему изумлению, осудил Софью с предельной жестокостью.

— Да сука, — мрачно сказал он. — Проститутки кусок. — Он поискал место, куда бы сплюнуть, потом нажал кнопку стеклоподъемника и выпустил наружу влажное доказательство своего возмущения.

Поначалу меня выводили из себя комментарии такого рода, но я же не был убежденным профессором, поэтому быстро привык и почти перестал обращать внимание на эти замечания. Однажды я все-таки рассердился и спросил напрямик:

— Слушай, ты вообще кроме «Маши и медведей» читал что-нибудь?

— Читал, — спокойно ответил Павел и загнул мизинец. — Таможенный сборник — раз, Уголовный кодекс — два...

— Новый, — добавил Чапа с глупым смешком.

Больше никаких вопросов я не задавал и, как умел, делал свое дело.

Мы продвигались довольно быстро и через месяц с небольшим докатили уже до «Мертвых душ». Здесь Павел выслушал меня особенно внимательно, еще внимательней слушал Чапа. Оба они были серьезны, как аспиранты на лекции опального гения, затравленного властью рабочих и крестьян.

Единственным, что мешало мне излагать свое прочтение классики, были беспрестанные телефонные звонки, вторгавшиеся в наш тенистый мирок с систематической назойливостью, и я, кажется, думал о том, что если эти звонки и есть ключ к успеху и неотъемлемый его атрибут, то мне, пожалуй, никогда не разбогатеть. Порою они надолго затыкали мне рот и буквально вышибали нас из круга — тогда надо было куда-то мчаться, и мы ехали, ныряя в повороты и блуждая в разломах центра, или неслись к окраинам, наперегонки с торопливостью прочих участников движения.

Чичиков им понравился, им было понятно, чем он занимался и чего, в сущности, хотел от своей неугомонной жизни.

— Был у меня один приятель, — сказал как-то Павел, — так он в Восточной Сибири банки прогоревшие скупал. Неплохо наживал, — прибавил он после долгого раздумья. — Ну и что с ним дальше было, с этим Чичиком?

— Кто бы знал? — вздохнул я.

— А моего грохнули, — сказал Павел задумчиво. — Он вышел из дома, его прямо у машины расстреляли. Он по земле катался, все равно достали. Семь дырок сделали...

— Искусство условно, — твердил я после каждого похожего заявления, однако под крышей синего германского автомобиля верили мне плохо.

Постепенно мы перешли на вечерний график. К ночи мы колесили без всяких помех, бездумно разглядывая город, с которого темнота и пустота как будто стирали тщеславный грим и косметику процветания. И он походил на стареющую женщину, принявшую ванну, чтобы отойти ко сну. За отсутствием людей, ежедневно прикрывавших эту наготу, становился заметен мусор, убожество витрин, голые и чахлые деревья — сбитые на обочины пасынки и падчерицы жестокого города, пучки трещин на грязных стенах, отвалившаяся штукатурка на цоколях и неумытые окна зданий.

С огромных подсвеченных щитов улыбались в никуда яркими губами рекламные герои, на время ночи утеравшие свою власть над погруженными

ми в сон миллионами, и тщетно всматривались честными, пристальными глазами в безлюдную дорогу, и оттого их беспомощные улыбки вызывали еще большее недоумение.

Павел преуспел, а точнее, как он сам говорил, нажился случайно, как это тогда произошло со многими. Немало соотечественников однажды буквально обнаружили себя состоятельными людьми и удивились, до чего же это просто.

Его криминальный брат большую часть времени проводил на родном берегу в черноморских портах, где встречал плывущие из Турции сухогрузы с контейнерами медикаментов, а Павел размещал их в столице и в прочих населенных пунктах, где еще звучала русская речь. Краем уха я слышал, что у этого родственника имелись чрезвычайно выгодные договоры о поставках обезболивающих препаратов для МЧС — контракты, способные озолотить даже прирожденного ленивца.

Поддавшись настояниям «семейного» интереса, Павел перебрался в Москву. Он быстро осмотрелся, благоразумно отложив на потом удивления и восторги. Москва ему, в общем, понравилась. По своей природе он был человек деятельный, в его глазах не существовало проблем, которые казались бы ему неразрешимыми. Москва же была способна закружить в вихре движения и надежд и менее расположенную к тому натуре. Все здесь создавало убеждение, что и ты как-то причастен к безостановочной суматохе, плоды которой погружали совесть в летаргический сон.

С другой стороны, причерноморский юг чем-то сходен со столицами — там всегда ощущалось приторное дыхание если не свободы, то по крайней мере ее предчувствия, и дух кустарной предприимчивости как будто обитал в виноградных лозах, которыми южные жители затеняли свои цементные дворики.

Каждое лето отдыхающие, рассеявшись по побережью, приносили с собой признаки нервного, нездорового родства с северным средоточием главного смысла и результатами поползновений слабого ума, а море, равнодушно ворочая щепки тяжелыми волнами, приглашало к фантазиям и давало понятие о далеких манящих государствах. Но отдыхающие уезжали: запыленные поезда мчали их на север, самолеты оставляли в небе призрачные, тающие на глазах следы, а Павел оставался и мог только гадать, с какими божествами ведут они беседы, вернувшись домой, и какие тайны поверяют им эти божества, обитающие по соседству.

Кроме меня в Москве у него были уже и другие знакомые. Кое-кого из них я видел. Один носил часы за двадцать семь тысяч долларов или около того.

— А что в них такого? — поинтересовался я.

— Очень удобно сидят на руке, их и не чувствуешь совсем, — доверительно сообщил он и даже оголил запястье, чтобы я мог хорошенько разглядеть это дорогостоящее достоинство. — Видите?

— Как будто, — выдавил из себя я, сдерживая икоту.

Одевался он так же, как и Павел, словно жил уже однажды — в эпоху Возрождения. Нос у него был сломан и в середине утолщался и как будто вилял на одутловатом лице, огибая некое незримое препятствие. Его пиджак плохо сходил на животе, а тыльная сторона коротких пальцев служила почвой какому-то рыжему кудрявому мху.

— Горохом торгует, — со смехом сообщил Павел, когда мы остались одни. — Наш, из Краснодара пацан.

Благодаря Павлу в ту зиму я побывал во многих местах, куда бы самостоятельно не попал ни за что, и повидал многих людей, на которых при других обстоятельствах не обратил бы сугубого внимания. Впрочем, всего скорее, эти люди рассуждали точно так же.

Другой его приятель был беззаботный гуляка. Он играл в букмейкерской конторе, располагавшейся в подвале где-то в районе Трубной площади. Он был полноват, с лицом нежным, как у девушки, а может быть, как у евнуха, и только редкая крапинка и синеватый отлив на подбородке выдавали искомую сущность. Дела его, скорее всего, были никудышные. Однажды я отчетливо услышал, как он сказал какому-то парню с тусклым ленивым взглядом из-под прикрытых свинцовых век:

— Предков разменивать буду. Моя доля — пятьдесят штук... На полгода хватит, а дальше в петлю. — Он вздохнул и недоверчиво понюхал пальцы обеих рук, а потом так же недоверчиво посмотрел на стоявшую перед ним пивную кружку и раскрытый пакетик чипсов.

Но не о них речь — эти связи были вполне бескорыстны.

Павел стремился приобщиться к культурным пластам всякой глубины залегания. Далекая столица издавна пользовалась его уважением — она представлялась ему сокровенным оазисом. Каким-то образом, непонятным прежде всего ему самому, он то и дело обнаруживал себя в знакомстве с блистательными москвичами и теми, кто уже готовился вычеркнуть из памяти и паспорта менее звучные названия мест своего рождения. Откуда они брались, где и как сводил он с ними дружбу, он зачастую затруднялся мне объяснить: просто оказывались рядом; были и такие, которые находили его сами. Они величали его по имени-отчеству и давали понять, что не сегодня-завтра станут прибавлять еще имена деда и прадеда — для пущей важности. Люди эти представляли разные направления и методы творческих поисков всех видов искусств, но цели их были едины. Почти все они докучали ему ежедневно, отнюдь не лениясь злоупотреблять смертельно перегруженной телефонной сетью и терпением Аллы, весьма, впрочем, ограниченным.

Пользуясь его открытостью, известной простотой и невежеством, они пытались вызвать в его душе сочувствие к судьбе отечественной культуры и порадеть за нее кошельком. Их не смущал даже его облик, не имеющий ничего общего с их смутными идеалами, и род занятий, добросовестные размышления над коим запросто изнуряют натуру, чересчур обремененную атавистической моралью.

Способность любить свое удовольствие за свой же собственный счет, не укладывая обстоятельства в горизонталь безысходного тупика, дана очень немногим, однако именно о них людской род передает в поколениях благодарные воспоминания и не жалеет времени на изучение их жизненных перипетий.

Он же устаивал их вниманием, что вовсе не было странным: все это ему нравилось. Их лесть, состряпанная зачастую и неловко и безответственно, тешила самолюбие и приглашала взглянуть на себя другими глазами — взором, подернутым флером самообольщения.

К чести их надобно сказать, что ни в лицо, ни за глаза они не позволяли себе над ним потешаться, хотя, конечно, поводов к тому бывало довольно и мысли их сомнений не оставляли. Несмотря на то что его ремесло да и сам образ жизни не находили в них понимания, они относились к нему без эмоций, как к злу необходимому, наподобие проливного дождя, от которого надо бы укрыться, но иногда недурно подставить посудину и собрать пресной водицы. Он был для них чем-то вроде офицера автоинспекции или чиновника таможенной службы. Почти все мы считаем себя выше названных господ, но только единицы осмеливаются вступать с ними в серьезные пререкания.

Однако Павел, распределяя вспомоществования, хотел судить самостоятельно и беспристрастно. Всего скорее, затем-то он и обратился к образованию, ничуть не пеняя на судьбу, которая отвела ему во время оно такие скромные возможности.

Если выйти из метро на «Маяковской» и миновать мрачную колоннаду Зала Чайковского, спуститься по тротуару Садового кольца, повернуть налево и обойти несколько мусорных контейнеров, как раз попадете туда, куда однажды угодил и я, повинувшись бесцеремонной Пашиной прихоти и вопреки своему желанию, — в восемь часов вечера, в самом начале осени. Павел позвонил мне утром и сказал, что собирается на выставку. Сам он появился у меня в половине восьмого, одетый прямо-таки вызывающе.

— Ну-ка, — озабоченно проговорил он, — дай я на тебя погляжу... Нет, так не годится. Есть у тебя костюм?

Я ответил, что костюма у меня нет, но, чтобы придать себе более солидный вид, я готов переодеться в строгие брюки. Павел придиричиво осмотрел этот ансамбль: низ ему потрафил, а вот моя кофточка никак не вязалась с его представлениями о гардеробах порядочных людей. Надеюсь на чудо, он сунул печальное лицо в душную темень одежного шкафа, вместо выходных костюмов заваленного книгами и съжившимися от старости апельсиновыми корками.

— Нехорошо опаздывать, — изрек он, когда застоявшийся автомобиль выскочил на Садовое кольцо.

Минут через пять Чапа затормозил у первого же магазина, где продавали одежду. Паша ворвался внутрь, напялил на меня пиджак, подтащил к зеркалу, повертел, помычал, оторвал этикетки, схватил с вешалки первый попавшийся галстук, с полки прихватил белую сорочку, расплатился и под шальные взгляды весь день скучавших продавцов выскочил на улицу. Свой туалет я завершал в машине. Через пять минут я экипировался надлежащим образом и был готов предстать пред очи самых строгих ценителей классического костюма.

Впрочем, к началу мы все равно не успели. Прежде всего я увидел каких-то людей, стоящих в темноте у входа в подвальчик, своим неровным косяком напоминавший богатырский зев русской печки. Каждый держал в руках по одноразовому пластмассовому стаканчику. На свету, застывшем в дверном проеме, клубился пар. Мы спустились вниз по выщербленным и неровным ступеням. Коридорчик, в котором вежливо потягивало «травкой», геометрически вильнул, и нам представилась ярко освещенная комната без окон, метров пятидесяти площадью. На дальней от входа стене, в лучах боковой подсветки, висел сам предмет — кусок фанеры, на котором в четыре кольца клейкой ленты была продета свежеспиленная ветка ясеня. Рядом в опрятной рамке находилось отпечатанное лазерным принтером *moralité*.

Помещение, полное серым дымом сигарет, было еще полно мужчинами и женщинами, в основном молодыми, и все они тоже отхлебывали из белых пластиковых стаканчиков рубиновую жидкость, а жидкость после каждого глотка кровавыми каплями задерживалась на ребристых стенках, в канавках колец. Мы выделялись в толпе своими пиджаками и галстуками, потому что, кроме нас, никакой строгости ни в ком заметно не было. Напротив, все намекало на то, что мы попали на выставку, так сказать, костюмированную.

Бал здесь правила мода разогнанного Тишинского рынка, когда вещи настолько стилизованы, что никак не поймешь, то ли это ужасное старье, то ли плод годичных трудов и гордость какого-нибудь парижского ателье. Мужчины щеголяли платками и ушными серьгами, а девушки с изможденными лицами носили с трогательным изяществом черные бушлаты, вызывающие в памяти казенные наряды революционных матросов. И девушки и юноши дружно топтали пол массивными альпинистскими ботинками, наличие которых как будто намекало на то, что их обладатели время от

времени вырываются из чахоточного града и покоряют горные вершины, хотя это все-таки было и не так.

Вежливо и даже по-приятельски здороваясь с некоторыми из них, Павел протиснулся прямо к произведению. Подойдя вплотную, он долго стоял и смотрел на загубленную ветку. Я читал пояснение:

«МОЙ ПУТЬ — ПРОНЗАТЬ ОДНИМ.

А что скажет Ю?»

— Ну как тебе? — наконец спросил он озабоченно.

В ответ я сделал головой, руками и даже всем корпусом некий неопределенный жест, который должен был изобразить степень моего восхищения.

Между тем комната наполнялась новыми и новыми поклонниками неизвестного мастера. Входящие мельком взглядывали на композицию, живо напоминавшую украшение только что отстроенного лютеранского храма, и после бурных приветствий подключались к тесному разговору. Впрочем, это храм и был.

Только один молодой человек, едва появившись, тут же отправился изучать экспозицию, внимательно посмотрел на стену, оглянулся в поисках поддержки с чуть виноватой улыбкой человека, не знающего, как тут быть: отнестись ко всему как к шутке, или здесь было бы уместней морщить лоб и наслаждаться долго, то отходя, то приближаясь, постоянно меняя угол зрения. Если не считать меня, он был единственный зритель. Я ответил ему загадочной улыбкой, и тогда он тоже улыбнулся открыто и облегченно, охотно признавая себя дураком. Потом, я видел, он отыскал каких-то своих знакомых и весело с ними болтал, однако то и дело воровато находил глазами экспонат и несколько испуганно на него поглядывал.

К нам протиснулся высокий человек, с большой лысиной и седеющей бородой, облаченный в выдавшие виды джинсы и какую-то распашонку.

— А это мой друг, подающий надежды... — попытался представить меня Разуваев.

— Дожить до ста, — поспешно договорил я, ибо начало этой затертой до дыр рекомендации сулило несусветную чушь. Наверное, он слышал ее в каком-нибудь фильме.

— Ну, эти надежды мы все когда-то подавали, — сказал хозяин бороды и зашелся тяжелым кашлем. — Юра, — добавил он, потоптался, повел бородой по пустым стенам, как бы желая спросить отзывы, но стесняясь.

— В этом искусстве много сложной философии, — уклончиво молвил я.

Он посмотрел на меня как архиерей на старообрядца — пристально и настороженно, стараясь взвесить меру иронии, но улыбнулся снисходительной улыбкой светского человека.

Паша, наверное, переживал тяжкие минуты. Было хорошо видно, что ему за меня стыдно. Юра по-прежнему натянуто улыбался.

— Хотите вина? — спохватился он.

В ту же минуту в наших руках оказались пластмассовые стаканчики.

— Молдавское, — поспешно сообщил Юра, прочитав вопрос в легком движении лицевых мускулов. — «Кодру».

Очень скоро Юра нас оставил. Мы торчали посреди зала в своих пиджаках, словно и сами превратились в экспонаты этой странной выставки — в экспонаты, до которых никому нет дела, напоминающие к тому же сотрудников известных органов на детском празднике. То и дело возбужденный гул взрывался всполохами хохота, а квадратные метры задыхались от сомнительных благоволий, и пустота просачивалась сквозь голые стены, словно кровь, пот и слезы красивших их маляров.

Однако искусство искусством, а жизнь ковыляла своим чередом. Я хочу сказать, что за первым стаканчиком последовал второй, а там и третий, и следующий по счету. Точнее, стаканчик-то был один — все тот же

пластмассовый. Каким-то образом я оказался вовлеченным в разговоры с людьми, с первого раза показавшимися мне очень знающими.

— Граббе зря написал эту статью, — говорили мне. — Знаете Граббе? Нельзя писать о том, чего не знаешь! Нельзя.

Граббе я не знал, статьи его не читал, однако постарался ответить таким образом, чтобы в случае чего не сойти за обманщика.

Мой неизвестный собеседник распалился не на шутку и потрясал номером «Газеты». Я подливал горячего в его праведное негодование и вместе с ним безжалостно судил проступок неведомого мне Граббе.

В эти минуты у входа образовалось скопление людей — как будто две волны встретились и столкнулись, рассыпая сотни брызг.

— О-па, — обрадованно воскликнул толстяк. — Минутку. — Он протиснулся к этому скоплению.

Я посмотрел туда, куда он указал, и увидел человека лет сорока в грубом сером свитере, висевшем на острых плечах, как поникший парус. На локтях свитера были нашиты кожаные кружки. Цвет лица у него был нездоровый, и глаза выражали какую-то отрешенную усталость, — пока он разговаривал с толстяком, они смотрели куда-то в сторону и жили жизнью, самостоятельной от всего остального.

— Кто это? — спросил я, когда толстяк снова оказался возле.

— Это гений. — В его взгляде появилось умиление, которое так хорошо дается полным людям.

В этот момент гений прошел совсем рядом, и я хорошо видел его остановившиеся глаза.

— Придуманное искусство — это уже не искусство, — заметил мой новый знакомый.

Очередная порция рубинового вина смягчила мою нетерпимость. С этой минуты я принялся разглядывать экспозицию несколько более благосклонно, но еще позволял себе рассуждать:

— Как на это посмотреть. Это ведь тоже придумать надо: ветку спилить, скотч купить. Ю-то что об этом говорит? — сказал я, робко поглядывая на гения, безжизненную руку которого вот уже минуту безжалостно трясла и мяла какая-то пожилая женщина с пучком седых волос на затылке и кошельком из джинсовой ткани, который покоился у нее на груди.

Несколько мгновений толстяк осмысливал мои слова, болтая в стаканчике остаток вина, потом спросил:

— Вы кто?

— В каком смысле? Пока никто. Студент вообще-то.

Толстяк покачал головой с таким видом, как будто знал ответ наперед. Он стряхнул со своей лоскутной жилетки черные капли пролитого вина и заговорил уже спокойнее:

— Губит людей социология, губит.

В этот момент гений прошел еще ближе, и я хорошо видел, с каким мучением ему давался каждый шаг. Очевидно, он слышал мои слова, потому что повернулся и посмотрел на меня своими студеными глазами. Они были настолько неподвижны, что нельзя было разобрать, какое выражение скрывается в этом взгляде.

— А вы что же, в самом деле смысла ищете? — спросил толстяк миролюбиво.

— Боюсь, что так, — ответил я.

— Это все социология, — снова сказал он. — Подумать только.

Мне показалось, что он вот-вот заплачет — так проникновенно это прозвучало, и я ощутил, что неизлечимо болен социологией.

— Вот, кстати, и Граббе...

Голова моя сокрушенно закачалась, словно давая понять, что я очень разделяю его недоверие относительно человеческого рода, по крайней

мере относительно некоторых его представителей. Я еще пытался защитить принципы, но при виде всеобщего воодушевления махнул рукой и, потягивая искрометное, соглашался решительно со всем. Пустота стен казалась мне уже исполненной вдохновенного, первоизданного смысла. «Надо же, — думал я, — ничего лишнего — святая простота», а ветку на куске картона я соединил с удивительной волей мужественного творца. Мне показалось даже, что на мгновение и я усмотрел в ней смысл — тоже первоизданный. Она казалась мне образом, символом, знаком. Мой собеседник почувствовал слабину и глухо зарычал:

— Вербальная культура умирает, визуальная наступает.

— А то нет, — милостиво согласился я.

— Никто больше ничего не читает. Буква шелухой становится.

— Еще бы, — отвечал я с воодушевлением. — В самый корень смотрите.

Вокруг бурлило море общения. В гомоне голосов я различал свой собственный:

— Сюжет умер, фабула сгнила — все передохло. Впрочем, туда и дорога.

Белые стены еще оставались белыми и блестели масляной краской, сияние их ослепляло, но потом стены потекли и накренились. Потом пропал Паша, и я понял, что катастрофа близка. Дальше пошло уже не кино, а настоящий фотофильм. Живые картины сменяли друг друга в последовательности непризнанного искусства...

Помню еще высоченные потолки абсолютно незнакомой квартиры, куда мой пьяный взгляд просто не дотягивался, в желто-зеленых потеках и хлопьях вздувшейся и отставшей побелки. Я был представлен каким-то людям, восседавшим, как судилище, за огромным кухонным непокрытым столом, — впрочем, готов присягнуть, что никого не интересовало, кто я таков. У стены размещался дубовый резной буфет — мне казалось, что он вот-вот свалится мне на голову, когда кто-нибудь, выбираясь из-за стола, случайно его задевал и он, громяхая скрытой за дверцами посудой, трепетал и трясся, как анатомический скелет.

Напротив меня восседали невозмутимые и неразговорчивые молодые люди и время от времени прикладывались к стаканам, совершая сдержанные, изящные глотки. Если на свете еще есть те англичане, которых так любили уничтожать в прошлом столетии все остальные, то мне казалось — это именно они. Их невозмутимость и брезгливое достоинство обнаруживали способность укрощать безумства общения. Впрочем, они назвались драматургами, а неумная хохотушка, руководившая весельем, оказалась ведущей какой-то радиопрограммы.

— Где мы? — осведомлялся я через каждые три минуты.

— Мы на Рождественском бульваре, — терпеливо поясняла какая-то незнакомка, — у меня в гостях.

Какие-то люди приходили и уходили, был еще какой-то ребенок, мелькала женщина в халате — совершенно из другой оперы, один раз ухнула пробка из-под шампанского, но вот пил ли я его, этого я — как говорили много лет назад уничтожители англичан — решительно не умею сказать.

— Где Паша? — мусолил я свой неразрешимый вопрос.

Драматурги смотрели на меня укоризненно.

— Какой еще Паша? — удивлялась радиожурналистка и, не глядя на стаканы, добавляла в них бурой жидкости.

— Надо же! — восклицал я, прихлебывая. — А мне всегда казалось, что я ненавижу виски!

Радиожурналистка хохотала и плескала на стол неизъяснимо отрицательный напиток. Драматурги все время молчали и только пускали дым. Потом они куда-то ушли...

Мы с радиожурналисткой сидели на мокрой скамье, рядом стояли пресловутые пластиковые стаканчики и все время падали, до тех пор, пока коктейль из водки, дождевой воды и прелых листьев не придавил их наконец к скользкому дереву. Она почему-то плакала и беспрестанно твердила: «Бунюэль — стерильность кадра» (знаки препинания здесь, конечно, условность). А я говорил: «Дух изгнания» — и пытался то ли высказать какую-то застарелую обиду, уже и не помню на кого, то ли сделать из нее союзницу в каком-то жестоком и принципиальном споре. И мне казалось, что, наверно, это очень романтично и совсем не плохо — быть Демоном и парить над землей, презрительно поплеывая вниз. Напоследок небесные хляби разверзлись и окропили нас материнским сочувствием природы. Так плакала осень, и мы плакали вместе с ней.

Очнулся я дома.

Утром, если четыре часа пополудни можно считать утром, я дал себе три клятвы: первая — никогда не пить никакой жидкости крепче кефира, вторая — прекратить эти дурацкие уроки, но выполнил только последнюю, а именно: к вечеру привел себя в порядок и крепко стоял на ногах. Моя одежда оставалась у Павла, и ее нужно было выручать, ибо я совсем не привык к представительским костюмам. К тому же один из них — именно тот, который я познал в эту волшебную ночь, — нуждался в серьезной чистке. Схватив свою голову в руки и следя за тем, чтобы она не раскололась, как переспелый арбуз, я побрел в контору, по три раза останавливаясь в каждой подворотне. В конторе было, как всегда, пусто, только Алла сидела за своим столом и, глядя в маленькое зеркальце, подкрашивала губы.

«Чего они все красятся?» — злобно подумал я, будто мне было до этого дело.

Алла предостерегающе кашлянула, энергично потеряла губу о губу, спрятала зеркальце и сказала:

— Он не один.

Я отпрыгнул от двери как тактичный кузнечик.

— Да нет, — строго сказала она. — Там режиссер. Денег просит на фильм.

— На какой еще фильм?

— Ну, фильм он хочет снять, кино. На съемки.

Я распахнул дверь. Павел важно сидел в кресле, словно первый секретарь горкома средней руки, и внимательно слушал длинноволосого молодого человека, бродившего по комнате и потрясавшего папкой из черного дерматина, откуда загнутым углом, как манишка из смокинга, выглядывала девственно-белая бумага.

— ...Виктор дотрагивается до нее... — Режиссер оглянулся на шум и замолчал.

— Виктор ее трогает... — напомнил Павел, весело на меня взглядывая.

— Не трогает, а дотрагивается до нее, — с плохо скрытым неудовольствием уточнил кинематографист. — Дальше...

— А зачем он ее убивает? — перебил вдруг Павел. — Можно же, наверное, как-нибудь по-другому решить вопрос.

Режиссер опешил и несколько мгновений не произносил ни звука.

— Но ведь он — ~~киллер~~ профессиональный убийца, — невнятно молвил он. — Это же сценарий... — начал он, однако тут же сник.

Я слушал этот диалог, мои глаза метались между ними, потом в ожидании уставились на режиссера, а режиссер смотрел на картины, изображающие нечто, с тоской и сочувствием.

— Почему бы им не полюбить друг друга? — спросил Павел и ткнул пальцем в страницу сценария.

— И пожениться, — с тихим презрением добавил режиссер.

— А что? — невозмутимо воскликнул Павел. — Жениться-то надо. Никуда не денешься. — Сказано это было с трогательным смирением перед глупыми людскими обычаями.

Паша обладал драгоценным свойством пленять сердца нестяжательной внешностью и простотой — он не боялся казаться смешным. Это подкупает людей, как будто давая им чувство превосходства, а главное, успокаивает, если они верят неподдельности таких проявлений, и люди смягчают в ответ.

— Что значит — надо? Не надо, — обреченно упрямо ответил режиссер.

— Почему это?

— Такова жизнь, — коротко, но емко, как сам кинематограф, ответил тот.

— Неужели у жизни не бывает хороших концов? — вздохнул Павел.

— Это не жизнь, — хмуро отбивался режиссер, — это искусство.

— Да вы не сердитесь, — сказал Павел значительно мягче, — я в этом ничего не понимаю.

— Тут чувствовать надо, — тихо ответил режиссер.

— И не чувствую, — радостно подхватил Павел. — Вон у меня специальный человек, — он повел головой в мою сторону, — чтобы все пояснить. Человек, что ты скажешь?

Режиссер недоверчиво на меня посмотрел, уверенный, что перед ним ломают комедию.

Я, как ни был возмущен таким поворотом, постарался придать своей физиономии брезгливую значительность критика и сноба и не знал, как бы поправдоподобней отразить на ней неизбывную думу об искусстве. Более того, я вспомнил, что, согласно Бодлеру, человеческое лицо призвано отражать звезды, но звезд под рукой не было, и я как смог отразил прохладный свет неоновой лампы.

— А в чем спор? — любопытствовал я небрежно.

Режиссер молчал, устремив глаза горе, словно призывая в свидетели нерожденную десятую музу и ее стареньких сестричек.

— Ну хорошо, — сказал Павел, — все хорошо, все, в общем, у нас получается, позвоните двадцать первого. А сценарий оставьте.

— Слушай, — обратил он ко мне свои сомнения, когда режиссер нас покинул. — Я что-то не пойму. Мы вот с тобой изучаем литературу, все такое... Там все про любовь или про... — Он замялся, подыскивая слово.

— Про все такое, — помог я.

— Вот-вот. Да и люди все порядочные. Ну, Сонька там проститутка, ну это ладно... А сейчас — он ее убивает, они его убивают. Он мне говорит, режиссер, что в этом фильме... как его... американца какого-то... — сморщился он, — сто шесть убийств — это подсчитано. А у нас, сказал, будет на два больше. Сто восемь жмуриков, — промолвил Павел, брезгливо поджав губы. — Целая рота, даже больше.

— Жанр, наверно, такой, — ответил я неуверенно. — Надо быть солидной, — с издевкой указал я на картины. — Пока эта гадость будет здесь висеть, так они будут ходить и просить на свои убийства.

Павел поднялся с кресла, сунул руки в карманы брюк и остановился напротив своих живописных шедевров.

— Да ты знаешь, сколько они стоят?! — возмутился он.

— Ты мне говорил, — напомнил я. — Но надо заменить.

— Но я не хочу про убийства. — Он выругался. — Я хочу про любовь. Расскажи мне про любовь, друг.

— Расскажу, — буркнул я обреченно.

И я в нарушение графика рассказал ему, что однажды над морем парили паруса, такие же алые, как губная помада фирмы «Ревлон». Паша ничего на это не сказал, но я понял, что история пришлась ему по душе.

— Я хочу море, — решил он. — Давай купим море. Хорошее море.

Мы бросились на поиски моря, в один день объехав девять антикварных магазинов. Нашим взорам представляли орденосцы, рогносцы, домохозяйки в чепцах и даже один поручик в распахнутом сюртуке, как две капли воды похожий на Лермонтова, — без сомнения, все жестокие крепостники, самодуры и красноносые пьяницы.

Вперемежку с тяжелыми канделябрами, которыми, наверное, аристократы били по головам подневольных актрис и совращенных горничных, нашлись и пейзажи на любой вкус, но только не на наш: пашни густого коричневого цвета да бесчисленные деревеньки — исконная прелесть русских мест.

За деревеньками державно стояли еловые стены и нагие березовые рощи томились светлой любовью, раскрывали свои клювы непременно грачи, крупный рогатый скот топтался на милостивых полянках, а в роскошном салоне при «Метрополе» имелось даже альпийское озеро, похожее на опрокинутое и чудом не расколовшееся зеркало, в которое гляделся мрачный дождон. Этот плод болезненной меланхолии под потемневшим лаком нам пытались всучить как образец немецкого романтизма, но мы-то хотели жгучего юга — моря и солнца, отвоеванного нашими предками у горских народов.

— Посмотрите на раму, — говорил продавец с чувством, но вежливо. — Вот это рама.

Однако Павел оказался на высоте и по очереди отверг все притязания хитрых надувал.

— Отвали, — сказал он продавцу.

Человек, возросший на природе, инстинктивно чувствует красоту.

Словом, было все — не было только моря, живого, мутного, покрытого блестящей чешуей волн, сверкающего под солнцем, как кольчуга витязя, как скользкая кожа дракона, на взволнованную поверхность которого можно было красным фломастером подрисовать алые паруса далекого судна, несущего рукотворное чудо.

— Алла, — сказал тогда я, — позвони своему антиквару. Если это удобно.

— Это удобно, — сказала Алла, потянувшись как кошка и флегматично потыкала кончиком пальца в кнопки набора.

Ближе к вечеру перезвонил антиквар и пригласил на смотрины.

— «Море» есть? — спросили мы его.

— Есть, — заверил он. — Есть два «моря».

Антиквар жил и работал на Большой Никитской. Когда мы проезжали через площадь, я показал на церковь, одетую в реставрационные леса.

— Смотри быстрее, — вскричал я, — чтоб ты знал. В этой церкви Пушкин венчался.

Павел повернул голову, Чапа притормозил.

— Пушкин был фуфлю и баклан, — раздраженно сказал Павел, а Чапа взорвался бешеным хохотом.

Я беспомощно замолчал, уставившись на церковь без крестов, которая спряталась от нашего конкретного времени за строительный забор. Куполок ее был несоразмерен массе трансепта и притвора, как головка крупного животного, вымершего многие тысячи лет тому назад. Сразу за забором вековые тополя, распустив ветви, как наседки свои крылья, охраняли покой традиции.

— Почему баклан? — спросил наконец я.

— Надо было козлу этому голову отстрелить, — сказал Павел. — Этому...

— Дантесу, что ли?

— Да, Дантесу, — значительно проговорил Павел. — И было бы все хорошо. Писал бы свои стихи, и все бы его уважали.

— Существует мнение, — возразил я, — что это было скрытое самоубийство.

— Что-то я не догоняю, — покачал головой Павел.

Мне показалось, что ему до слез жалко Пушкина и что, попадись ему Дантес в каком-нибудь ночном клубе, он не задумываясь его бы прикончил, не прибегая к услугам дуэльного пистолета и глупых формальностей.

— Время было другое, — сказал я. — Понятия другие.

Вообще, глядя Чапе в бритый затылок, я изрекал непозволительно много банальностей, утешаясь единственно тем, что банальности не что иное, как непреложные истины, а они всегда кажутся нам не заслуживающими внимания, потому что пугающе просты.

— Странные понятия, — заметил Павел.

— Здесь вроде, — сказал Чапа и тем положил конец спору. — Приехали.

Мы внимательно осмотрели антикварные «морья», томившиеся за железной дверью, как невольницы в гареме у безобразного султана. Одна картина изображала пустынный берег, каменной трапедией врезающийся в темную поверхность воды, на которой дрожала лунная дорожка и, приспустив косые паруса, дремала фелюга, но Паше понравилась другая — боковой вид с горы, утыканной кипарисами; она, кстати, была и побольше. Ее мы и выбрали и вечером водрузили над письменным столом в Пашином кабинете. Полотна новых кистей — эти мерзкие фавориты дурного вкуса — попали в опалу и были тут же свергнуты в чулан.

И в нашем времени при всех недостатках есть приятные черты: то, что Хрущев давил бульдозерами, мы удаляли бережно и не забыли вытереть пыль.

— Ну-ка, ну-ка, — озабоченно выдохнул Паша, усаживаясь в кресло и оглядываясь на пейзаж. — Так ничего не видно. — Он вышел из-за стола и опустился на диван рядом со мной. — На Туапсе похоже, — сказал он. — Горы такие же. Все такое же.

— Красота! — сказал я. — Хорошие у вас места?

— Хорошие, — хмуро ответил он. — Даже очень хорошие. Если там не жить.

Встреча с кровожадным кинематографистом навела меня на мысль о театре. Не то чтобы я хотел передоверить этому искусству свои просветительские обязательства, но пьесы пишутся для сцены, и я рассудил, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Очень кстати одна моя знакомая закончила репетиции дипломного спектакля, и наступал долгий период премьер. Правда, пьеса была французская и не имела отношения к русской классике, но мне показалось разумным начать знакомство с театром в более непринужденной обстановке.

При встрече с подопечным я был краток: древнее искусство, читать ничего не надо, надо сидеть и смотреть. Всего-то ничего. Камерный зал, все по-домашнему, люди простецкие, сиденья жесткие.

— А какой в этом смысл? — спросил зевая Разуваев.

Театра я не переносил и частенько бывал к нему несправедлив.

— В том-то и дело, что никакого. Фиглярство, одним словом.

— Что? — переспросил он.

— Ну, это когда кривляются, — пояснил Чапа.

— Когда кривляются, — подтвердил я.

Тайное общество скрытых эрудитов сжимало свои объятия.

— Ладно. — Он бросил взгляд на часы. — Разок глянем.

В тот же день я повидался со знакомой, которая носила звучное имя Анастасия, и она провела нас в пустой зал, стены и потолок которого были оклеены черной бумагой. Слева, похожая на боковую кафедру готического собора, нависла кабина, откуда во время представления режиссер управляет светом.

Это была пьеса Этьена Лорана, написанная в один из двадцатых годов. Дело там было вот в чем: в маленьком французском городке находился при смерти человек, наживший значительное состояние в каких-то туманных, далеких и давних колониальных авантюрах. Человек имел сына Алена, Ален имел жену Софи. Женщина эта угнетала слабовольного супруга. Ален не видел дальше собственного носа, а это всегда создает нехорошие обстоятельства, ибо глупость — вот главная основа большинства трагедий. Ален тайком попивал, человек был неплохой, но безвольный. Старый дедушка, которому давно отказали в здравости рассудка, бесстрастно наблюдал, как все обитатели дома изводят служанку по имени Алекс, и только иногда позволял себе улыбнуться в седые усы затаенной улыбкой.

Служанка была совсем молоденькой девчушкой, ее взяли из деревни. В то время как хозяева предавались мечтаниям и один за одним создавали химеры, достойные Манилова, она в одиночку вела весь огромный дом и все успевала. Вытирая пыль, она напевала гасконские песенки. На нее зарился конюх — грубый детина, которому были недоступны высокие чувства.

Все там крутилось вокруг этого наследства: дома, сада и каких-то бумаг. В дом приходили гости. Среди них являлся бедный художник-парижанин; было непонятно до конца, любил ли он Алекс или просто ощущал в ней родную душу, но приходил он в этот дом именно из-за нее, терпеливо снося глупое празднословие самодовольных хозяев, кюре и офицера местного гарнизона.

Был еще и старик-аптекарь, который время от времени появлялся на сцене, но я никак не мог понять, какая роль на него здесь возложена.

В общем, то была немного странная пьеса.

— У нас тут банкиры были. Ну до чего ж идиоты! Везде охранников своих рассадили. Только для них играли — никого в зале больше не было, — щебетала Настя, пока мы шагали по коридору, обшитому зеркалами.

— Ну, мы-то не банкиры, — самодовольно улыбнулся Павел.

Он молча высидел все три акта, в перерывах глотал ледяное пиво, а потом внимательно смотрел на сцену из коричневого полумрака импровизированного партера.

Актеры в пьесе были заняты молодые, играли они почему-то неважно. Только служанка привораживала к себе взгляд. Свою роль она понимала как будто лучше остальных. Павел первым обратил на это внимание, однако мне и самому так показалось.

— Так не бывает, — заметил он, когда мы вышли на улицу под ленивый моросящий дождик.

Вместе с тем другое, не менее важное обстоятельство заявило о себе. «Море» возмущало его душу и вызывало законный интерес к «визуальному искусству», как изволил выражаться присной памяти выставочный толстяк. Не мешало бы взглянуть, что оставили нам живописцы. Само собой, что и тут мы прибегли к суррогату, скупая альбомы у отвратных спекулянтов, облюбовавших козырек Дома книги на бывшем Калининском проспекте. Цены там были баснословные, но влюбленные, как известно, денег не считают, особенно когда они есть.

Автомобиль понемногу заполнился искусством. Оно лежало грудями на заднем сиденье, книжечки поменьше забили бардачок и приступку заднего стекла. Чапа ворчал и норовил выбросить альбомы из салона. Однажды Паше тоже захотелось узнать, что таится в здании, окруженном станом сомнительных букинистов, и, пока я копался снаружи, он проследовал в магазин.

Я нашел его в отделе, который торговал по принципу комиссионного магазина. Он стоял у прилавка и один за одним уважительно, почти благоговейно перебирал тома. Издали он был похож на случайно разбогатевше-

го кандидата наук, не желающего расставаться с квалификацией. Павел изучал книги со знанием дела и даже зачем-то пробовал их на вес, как отборные плоды диковинного авокадо.

— Смотри, — показал он мне одну, — обложка заклеена, — он полистал страницы, — здесь остался след шоколада. Что можно сказать?

Книжка была озаглавлена так:

Мирра Лохвицкая.
«Под небом родины».
Стихотворения.
СПб.
1892.

Я пожал плечами:

— По крайней мере, ее читали.

— Да, эту книгу читали, — согласился Паша. — Ее читали в лучшие времена, потому что во время чтения могли есть шоколад. Книгу берегли, потому что скотч постарел — обложка заклеена давно.

— Наверное, денег нет у людей, — сказал я. — Деньги, наверное, нужны.

Воображение есть первый шаг в направлении добра. Многие добрые дела обязаны этой тягостной способности.

— Хорошо жили, — повторил Павел и вздохнул. — Шоколадки ели. — Он открыл книгу наугад. — «Я хочу умереть молодой», — наморщив лоб как первоклассник, прочитал он первое, что попало на глаза. — Странное желание. — Обложка захлопнулась. — Ребята, вижу, были чумовые! — заметил он с чувством.

Разбитного вида продавщица, сложив руки на груди, исподволь прислушивалась. Она была крашенная блондинка с надменным взглядом прохладных серых глаз.

— Девушка, — позвал ее Паша, — это в магазине заклеили? — И он провел пальцем по желатиновой полоске клейкой ленты.

Продавщица, взмахнув руками, нехотя отвалилась от стены и склонила голову, чтобы лучше видеть:

— Нет.

На обложке с внутренней стороны наискось было написано химическим карандашом: «Клавочке от Вавы. Живи долго и счастливо. 4 апреля 1934 года».

— Скажите нам, — попросил Павел продавщицу, — кто принес эту книгу?

Продавщица, по-видимому, отвечать не собиралась. Она пожалала плечами и принялась поправлять ценники, прикрепленные к обложкам книг металлическими скрепками. Рука Павла немедленно скользнула в карман — он носил деньги прямо в кармане, бумажника у него не было — и потянула за край десятидолларовую бумажку.

— Не надо, — сказала она, покосившись на купюру, и в ее глазах вспыхнуло и мягко погасло обещание блаженства вполне земного.

Павел нравился девушкам — он умел так мило улыбаться. Через несколько минут она вручила нам листок с телефоном, а еще через сорок минут, с помощью специальной телефонной службы, мы узнали точный адрес, по которому следовало вернуть собрание стихотворений.

Мы долго топтались перед обшарпанной дверью в подъезде дома дореволюционной постройки, еще дольше курили, примостившись на широком каменном подоконнике, где оказалась пивная банка с обрезанной крышкой, набитая скорченными и зловонными окурками.

Павлу не нравилось, что людям приходится продавать свои книги, да еще с памятными надписями. Он догадывался о причинах подобного по-

ложения дел. Безусловно, он отдавал отчет, что речь могла идти необязательно о пожилом человеке, поставленном в отчаянные обстоятельства, однако такая вероятность казалась ему ничтожно малой, хотя и правдоподобной. Он восстанавливал справедливость, как он ее понимал, всюду, где находил ее попранной и поруганной. Свидетельствую здесь, как выразился некогда Булгаков, что он слыхом не слыхивал еще ни о странностях Гаруна аль-Рашида, ни о героях Эжена Сю, одержимых добродетелью, свершаемой при тусклом свете газовых рожков. Он полагал, что если хорошо ему, то нужно, чтобы и всем остальным было тоже хорошо. Был ли это каприз? Он не был капризным человеком.

Не знаю, существовали ли вещи, которые представлялись ему невозможными. Его уверенность заражала; это была даже не уверенность, а сознание своего существования — сродни той, которая направляла неуклонное движение ранних общественных формаций, и это чувство роднило его с мироощущением древних обитателей земли. Не могу не понимать, что следующее мое высказывание по ходу повествования обернется парадоксом, однако смею надеяться, что я внимательный наблюдатель: он чувствовал ответственность за мир. Мир разумен, полагал он, и все его тайны заключаются в одном лишь предложении: все должно быть хорошо, иначе и жить не стоит.

Соединять несоединимое, изменять мир было его призванием. До поры скрытое, это стремление проявило себя, как только к тому появились средства. Оно было данностью — почти то же самое, что цвет глаз, не потворствовать ему было трудно. Средства же — а под этим существительным я понимаю здесь все расхожие значения — представлялись ему единственно достойными, и часто, очень часто оказывалось, что они действительно куда важнее доброго слова.

Случалось, милостыня, которую он раздавал по собственному произволу, создавала эффект совершенно противоположный тому, на который он мог надеяться. Однажды по какой-то надобности мы заехали на рынок. Ах да, там у него открылась аптека. Его внимание привлекла пожилая женщина, одетая опрятно, но чрезвычайно бедно — настолько бедно, что самая эта залатанная опрятность уже смотрелась неподдельной нуждой. Она брела вдоль лотков, выискивая ящики с забракованной картошкой, и украдкой наполняла этими отбросами потрепанную хозяйственную сумку, которая была в ее руках. Прядь седеющих волос выбивалась из-под серого шерстяного платка, и она снова и снова убирала ее тыльной стороной руки, отставив пальцы, испачканные картофельной жижей. Павел шагал за ней, оглядываясь на меня с ужасом. Я стоял поодаль и ощущал себя участником общего дела: творить добро чужими руками — занятие заманчивое и всегда приятное. Не скрою, в такие минуты меня посещала сумасшедшая надежда, что вот сейчас прямо на глазах свершится чудо, Павел раздаст всем сестрам по серьгам, осушит все слезы, над нашими очагами навсегда воссияет ласковое солнце, и больше не умрет Осирис, от века приходящий в мир следить нескончаемый земной круг.

В конце концов Павел улучил мгновение и попытался сунуть ей в сумку деньги, и немало.

Она слабо отбивалась, по-видимому опасаясь его обидеть, глядела на него виновато, отрицательно мотала головой и медленно пятилась, и вдруг слезы брызнули из ее глаз, как будто она взглянула на себя сверху и только сейчас осознала крайность своего положения... Денег она так и не взяла и побрела прочь, продолжая плакать и унося гнилую картошку.

Он стоял посреди майдана как изваяние, мешая движению зевак и покупателей. Кто-то его пихал, кто-то бранился, а он недоуменно озирался, словно видел впервые и базарную сутолоку, и дома вокруг, и самих людей. В кармане у него требовательно блеял радиотелефон, и Павел так же удивленно, с тем же пристальным изумлением прислушивался к этим звукам и

заглядывал в собственный карман глазами, выразившими полнейшую растерянность, как от приступа внезапной болезни. А ведь он чувствовал в себе потребность и, главное, способность положить к ногам этой женщины не только немощный казначейский билет, но вообще всю картошку и все, что ни продавалось на этом торжище за деньги.

Быть может, именно тогда его впервые посетило тревожное предчувствие, рождающее сомнение в своих силах: насколько огромен мир, который ему вздумалось походя отремонтировать, насколько гармоничен, соразмерен и равен сам себе во всех своих мельчайших частицах, которые просвещенному взору способны показаться досадными недоразумениями.

Но недруг, а возможно, недуг оказывается таким вездесущим, таким ежедневным, что поневоле напрашивается мысль: добродетель — скорее не поступок, а образ жизни.

— Заедем на склад, а потом вернемся, — предложил Паша и тем преврал мои размышления. — Ничего-ничего, — имел обыкновение приговаривать он, когда неожиданные обстоятельства поселяли смятение в его сознании, не унавоженном софизмами утонченной культуры, — сознании неухоженном, самодовлеющем, как уголок дикой природы.

Складом служил ангар какого-то монтажного управления, в районе Филевской поймы. В этом месте берег реки навечно завален горами песка и щебенки, там дремлют на приколе унылые ржавые баржи, а над водой нависают краны, отражаясь в наползающих волнах.

На складе заправлял неразговорчивый армянин. Щеки его покрывала двухдневная щетина. Коробки с таблетками стояли друг на друге на деревянных поддонах, расхोдившихся в безбрежность ангара.

— Это все лекарства? — спросил я, восхищенный размахом торговли.

— Лекарства, — ответил Паша рассеянно, а армянин посмотрел на меня исподлобья в первый раз за все то время, что мы провели в ангаре. Армянин носил двубортный пиджак из какой-то красной бархатистой ткани, который сидел на нем мешковато, и белую рубашку с расстегнутой верхней пуговицей. Брюки были ему длинны и внизу собирались нанизанными на ноги складками.

— От чего тут? — Я приблизился к коробкам и попытался прочесть название.

— От жизни, — усмехнулся Паша, и они со складским принялись мудрить над какими-то бумагами. Время от времени они поочередно отрывались от своего занятия и выкрикивали в телефонную трубку свирепые ругательства неким безответным собеседникам.

Мне всегда казалось, что преуспевающие люди должны обедать в дорогих ресторанах, среди себе подобных, в окружении услужливых, вышколенных официантов,двигающихся как тени и изъясняющихся полуулыбками, но у моего Разуваева и здесь была своя точка зрения. Сложно вообразить харчевню грязнее той столовой, где в тот день мы утолили голод.

В ста пятидесяти метрах от остатков Пименова монастыря к глухой ограде завода «О» прилеплено двухэтажное желтое здание. С улицы оно прикрыто несколькими исполинскими тополями, растущими прямо из потрескавшегося асфальта. Сплошные окна, идущие по всей обшарпанной стене, казалось, лет десять не знали ни тряпки, ни губки. На всем лежала печать запустения, и внутри было еще неопрятней.

Павел взял из стопки липкий поднос и встал в короткую очередь, состоящую из двух мужчин в рабочих блузах. За кассой, возвышаясь над аппаратом как гора, восседала толстая крупная женщина преклонных лет.

— Согласна, — радостно откликнулась она на любой запрос посетителей, без разбору приветствуя и запеканку, и постные щи, и треску под маринадом.

К моему удивлению, Павла тут принимали за своего человека. Необъятная кассирша приветствовала его как хорошего знакомого. Когда очередь на раздаче истошилась, она с трудом выбралась из своей кабинки и, оглядываясь на кассу, повлекла свое грузное тело к нашему столу.

— Опять эти приходили, — зашептала она Павлу на ухо, но так, что я слышал. — К Александру Яковлевичу.

Павел нахмурился и сдвинул брови, между которыми легла складка — жесткая, как противотанковый ров.

— Зина, никто сюда не залезет, — мрачно сказал он и раздавил дном стакана забравшегося на стол таракана. — Здесь им ловить нечего.

Кассирша слушала молча и с сомнением качала головой. От нее исходил теплый запах парного молока, и я наконец понял, что напоминала ее грудь. Она была похожа на тесто для пасхального кулича — живой, самостоятельный организм.

— Компот сегодня какой? — деловито спросил Павел.

— Компот кончился, — сказала она. — Из сухофруктов был. Морс есть. Сейчас принесу.

— Проблемы? — осведомился я, когда Зина отправилась за морсом.

— Да есть одни уроды, — неохотно ответил он.

Я счел за благо его не торопить.

— Столовую хотят.

— Да зачем тебе эта столовая? — с сомнением в голосе сказал я.

— Я хочу, чтобы все здесь оставалось как есть. Что непонятного? Свекольный салатик. Чем плохо? Ватрушки венгерские. Борщик. Майами. — Он усмехнулся своей забывчивости. — Да пускай люди едят. Да и я привык. Здесь дешево, мало таких мест осталось. А я внизу склад себе делаю. — Тут он осекся, вскинул на меня глаза и закрутился.

— А эти?

— А на этих мне... Я их уже предупреждал как-то. Больше не буду. — Глаза его вдруг помутнели, сделались студенистыми, как бывает у некоторых людей в приступе страсти. Но это была не страсть.

Клюквенный морс, который принесла Зина, на мой вкус был очень приятный. Павел оглядел пространство зала. Возможно, с похожим выражением триста лет назад царь Петр оглядывал болотистые низины к северу от Саарской мызы.

Я не стал спрашивать, какие средства для усмирения конкурентов у него имеются, было и без того ясно, что такие средства есть. Почему-то я не подумал, что у противника тоже должны быть какие-то средства.

Вечером мы снова стояли под высоченной дверью дома на Новокузнецкой улице и безрезультатно топили в оправе выпуклую кнопку звонка. Павел скривил губы и потряс злосчастным томиком стихов. Минут через пять-шесть щелкнул замок соседней двери, дверь словно охнула, вздохнула и распахнулась, выпустив спертый воздух прихожей, но несколько секунд из нее никто не выходил. Потом раздалось шарканье обуви, свободно болтающейся на ногах. Показалась немолодая женщина в зеленом незастегнутом пальто с беличьим облезлым воротником. Из-под пальто выглядывала светлая ткань байкового халата, в руке женщина несла пакет, доверху набитый мусором. Женщина обошла нас, бережно держа пакет, спустилась на несколько ступенек, но все-таки обернулась и глянула на нас.

— К Клавдии звоните? — спросила она. — Не дозвонитесь.

В глубине квартиры тонко залаяла собака, подбежала к двери и, вероятно, стала скрестись в нее передними лапами.

— Почему?

— Умерла она, — сказала женщина и оглянулась на дверь. — Приду, хороший! — сказала она громче, изменив голос.

— Как так умерла? — спросил Павел. — Когда?

Женщина немного насмешливо покосилась на Павла.

— Обыкновенно. Не знаешь, как умирают? — Она переложив ручки пакета из одной руки в другую, и на площадку вывалилась пустая консервная банка, на стенках которой виднелись мазки засохшей и почерневшей томатной пасты. Банка, подпрыгнув на ребре, затанцевала на кафельной плитке. — От зараза, — поморщилась женщина. — Недавно, — пояснила она, когда банка успокоилась и остановилась.

Такого оборота мы не ждали.

— Почему? От чего умерла?

— От старости, — предположила женщина. — Мало ли.

Собака продолжала царапаться и скулила в голос.

— Взяли бы ее прогуляться, — предложил Павел несколько успокоившись.

— А ты лапы потом помоешь, — продолжила женщина.

— Это ее книга? — спросил Павел и протянул ей книгу.

— Откуда я знаю? — сказала она, коротко взглянув на обложку. Потом посмотрела на обложку еще раз. — Она умерла, — повторила женщина со значением, подняла банку и пристроила ее поверх вылезающего мусора. — Умерла. — И, держась за перила, пошла вниз по ступеням.

Почему-то это было и странно и непостижимо. Казалось, никто вовсе не умирает. Ведь каждый день улицы заполняются людьми, и людям бывает тесно на этих улицах.

Ни город, ни мир не замечают наших смертей и ничтоже сумняшеся продолжают начатое неизвестно кем: равнодушные вещи меняют хозяев, дети торопятся в школу, люди, словно разлитая вода, заполняют немедленно все доступные пространства, и даже кладбища не выглядят чересчур разросшимися.

В день нашей смерти кто-то решит, что мир не так уж дурно устроен, кто-то скользнет в пропасть отчаяния и кто-нибудь кому-нибудь обязательно улыбнется. И, возможно, прольется дождь, ибо природа бывает плаксива, и переполненные поезда в этот день будут нестись во всех мыслимых направлениях как ни в чем не бывало, как будто в день нашей смерти и впрямь ничего особенного не произошло.

Мы выкурили еще по сигарете, наблюдая через расколотое стекло лестничного окна, как женщина с пакетом, пришаркивая, идет через двор к бетонной загородке, где стоял мусорный бак, и поглядывали на высокую дверь, пока до нас не дошло, что дверь попросту вросла в косяк и открывать ее некому и совершенно уже незачем.

Около того времени я имел неосторожность поведать ему одну полузабытую историю, никогда, впрочем, не украшавшую школьную программу. В двух словах: в губернском городе неистовствовали актрисы. Местный купец, но выходец из еще более подлого сословия, добился внимания одной из них. Роман, начавшийся нуждой и прихотью, много послужил превращению этой грубой натуры. Между антрепризами она боролась с невежеством своего примата и крохотной прелестной ручкой, достойной небесного лобзания, приоткрыла перед ним тайны самого блестящего света. Спустя несколько лет на Парижской выставке, как-то порезавшись, он обнаружил, что капли, просочившиеся из-под кожи, голубые, как небо над Пензой. Это накладывало приятные обязанности. Одно плохо: порез оказался смертельным.

С ужасом я обнаружил, что слово «театр», как и понятие «живопись», мой друг Павел Разуваев понимал отныне единственным образом: для него театром являлась только эта бесконечно осточертевшая мне пьеса, превратившаяся в вечную премьеру. Пластинку заело, и мы снова и снова ехали в этот театр, занимали места и ждали, когда Алекс умоет госпожу для вящей

и сомнительной славы. Тогда она являлась в обтягивающем платье, с прической Нефертити, усаживалась, как сфинкс, на парашютный шелк, которм художник прикрывал мебель, свет торжественно угасал, и последним исчезало во мраке лицо, на которое ложились румяна адского пламени.

Парижанин-художник, украв дагерротип, тайком писал портрет малышки Алекс, рассчитывая сделать ей незабываемый сюрприз. Этим художник рассчитывал поддержать малышку, изнемогавшую под бременем насмешек и обид. В доме было без изменений: конюх чистил незримых лошадей, Алэн пил пустоту из пустой бутылки, Софи интриговала и изменяла ему с офицером, дедушка готовился к смерти и вел длинные беседы с кюре, которого играл тощий как щепка актер с хищно загнутым кончиком носа. Все содержание Павел знал уже наизусть и скучал, когда на сцене не было Алекс.

Таким-то образом я заподозрил, что в его голову втемяшилась вздорная и опасная мысль, что нужно любить актрису. Без всякого сомнения, эти создания казались ему пришельцами из другого мира, существами высшего порядка, причастными многих секретов голубой планеты. Втайне он мечтал об одной из них: такая связь придала бы ему значительности в мнении окружающих, да и в собственных глазах тоже. Такая связь примирила бы его с надменным городом, в котором он сам оказывался все еще пришельцем.

— Ну какая из них? — спросил я напрямик. — Небось хозяйка или эта...

Ах эти актрисы, их слезы словно драгоценности, окаменевшая роса, любовь их возвышает, — сильфиды, коварные и нежные, капризные, не знающие, что такое кухня, подруги высокой печали, средостение наших помыслов и судьба отставных ротмистров с изрядным запасом неумытых душ.

Моя пронизательность смутила его.

— Мне чего-нибудь попроще, — улыбнулся он криво и мотнул головой в сторону сцены: — Вон та. Служанка.

Роста, как я уже говорил, она была небольшого и издалека казалась совсем девочкой. Две косички торчали в разные стороны. Выражение ее глаз можно было скорее угадать, чем увидеть.

Обычно после спектакля Павел залезал в свою машину и терпеливо ждал, пока театральные дубовые двери не выпустят переодетую Алекс. Как было ее настоящее имя, мы еще не знали. Автомобиль медленно ехал вдоль тротуаров, по которым шагала эта девушка, и доезжал до станции метро, куда она входила и пропадала до следующего раза, растворяясь в могущественной толпе. Сквозь тонированное стекло Павел задумчиво наблюдал, как Алекс перешагивает лужи, обходит прохожих и уклоняется от нетрезвых знакомств.

После этого настроение у него заметно портилось, он прятался в свою «камеру» и, играя пультом телевизора, валялся на койке, стилизованной под нашу с ним раннюю молодость.

— Почему-то ты никак не хочешь понять, что искусство всего лишь условность, — с легкой укоризной твердил я, — а не руководство к действию. И уж тем более не инструктория.

Жизнь без сословий ежедневно, ежесекундно, круглосуточно предлагает людям множество возможностей. Если у нас водятся деньги, мы можем, например, в считанные часы перенестись на любой из шести континентов, а можем — и эта возможность вполне полноправная — вовсе никуда не переноситься.

У тех, у кого по каким-либо причинам денег не имеется, выбор тем не менее ничуть не беднее: двадцать сортов круп, тридцать видов плодовых деревьев, осень, зима, весна и лето, лекарственные растения, город или деревня, дождь, снег, гроза и погожие рассветы. Но никому еще не удава-

лось улететь сразу на шести самолетах или объединить времена года, что бы там ни говорили приверженцы пятого измерения.

Однако надо спешить, время бежит быстро, без всяких капризов, стрелки часов дисциплинированы, как хорошие матери, сердце стучит, словно молотобоец: тук-тук, тук-тук, и раздумья — это тоже оно, губительное, самовластное время.

Что ж, решительные выбирают, а нерешительные остаются самими собой, выходя из гигантского магазина без серьезных покупок.

— Что бы тебе не влюбиться в Софи? — сказал я Разуваеву как-то между прочим. — На ее лице видны отпечатки неподдельных страстей. Обрати внимание, как она смотрит на Алена и на прочих.

— А как? — спросил он с заинтересованным удивлением.

— Оцениваю, — отвечал я. — Она знает толк в мужчинах. Если б не знала, то не сумела бы сыграть такую сложную роль.

Паша скосил на меня глаз. Белок его был мутно-красным, а зрачок, улавливая желтый луч софита, переливался спокойным и шутливым презрением, точно промышленный алмаз. Я потянул его за рукав, но меня перебила Софи. Соседи обратили на нас неодобрительные взоры, и мы снова послушно уступили на сцену.

Софи сидела на маленьком стульчике, Алекс расчесывала ей волосы.

Софи. Алекс!

Алекс. Да, мадам.

Софи. Ты знаешь, что такое... любовь?

Алекс. Да, мадам. Вчера господин Жанé послал меня на конюшню за своей плеткой. Я пришла туда, и там никого не было. Только конюх Жан-Пьер.

Софи обернулась и внимательно посмотрела на Алекс. Алекс прижала к груди гребень.

Алекс. Он положил мне руку на грудь и крепко сжал ее — вот так — и говорит: «В этой ладони, малышка Алекс, моя любовь — самая сильная из тех, что встречаются на свете».

Софи (*вырывая у нее гребень*). Как ты глупа!.. Ну что же ты замолчала? Что случилось дальше?

— Надо с этим заканчивать, — недовольно сказал мне Павел после спектакля. — Всякие скоты еще лапать будут! Скотобаза, — подчеркнул он, чтобы не оставалось сомнений в отношении его состояния. — Руки поотрываю.

Во время очередного просмотра — уже восьмого по счету — я осмелился выразить свои сомнения в доступной и понятной форме и наклонился к нему, вонзая в темноту, как булавки, необходимые слова, сочленяя краткие части спасительного заклинания:

— Искусство условно.

Однажды случилась неприятность настоящая, не имевшая к вымышленному пространству сцены ни малейшего отношения: Алекс вышла из театра вместе с конюхом. Они не спеша шагали вдвоем и разговаривали весьма натурально. Павел, поджав губы, смотрел на это из окна машины, которая по обыкновению катила вдоль тротуара с черепашьей скоростью.

— Условно, говоришь? — усмехнулся Павел.

— Решительней надо действовать, — неуверенно посоветовал я, с некоторым разочарованием глядя в спину Алекс. Мне тоже начало казаться, что воздушная малышка не имеет права изменять образу в той реальности, из которой она ступает на сцену.

Мимо машины сновали темные фигуры прохожих, заслоняя «дутую» оранжевую куртку Жан-Пьера, который прохаживался у края дороги с поднятой рукой. Алекс стояла сдвинув ноги, как солдатик, взявший на караул.

— А ну-ка, — скомандовал Павел.

Чапа с готовностью подрулил к актеру.

— Куда? — спросил он в опускающееся стекло.

Жан-Пьер разглядел в салоне нескольких человек и оглянулся на Алекс.

— На Лубянку, — проговорил он нерешительно, стараясь заглянуть в глубь машины, на заднее сиденье, откуда на него с лакомым выражением хищников смотрели наши четыре глаза. — Нет, не поедем, — заключил он и отошел к Алекс.

Стали останавливаться другие машины, и скоро они уехали в каких-то «Жигулях» с разноцветными крыльями.

— На Лубянку, — повторил Павел за Жан-Пьером меланхолично.

— За наркотой небось, — бросил Чапа и зевнул, широко распахнув рот.

— Почему за наркотой? — спросил Павел.

— Да я так, — усмехнулся Чапа и посмотрел на меня весело. — Предполагаю... Ну кто с нами куда поедет, сам подумай? — сказал он Паше.

Павел сделался мрачнее тучи. Он закурил третью подряд сигарету и следил, как кольца дыма постепенно истаявают в сумраке салона или расплющиваются, касаясь крыши.

— А у этого, ну, мужа этой соски, Софи этой, глаза в разные стороны смотрят, — сказал он мне. — Заметил?

— Нет, — сказал я.

— В разные стороны, — подтвердил он.

В довершение всей подозрительной буквальности служанка все-таки сошла со сцены, и они превратили свое существование в безумный, хмельной дурман. Мне представлялось, что это странное и страшное соревнование, что они вооружились совковыми лопатами и наперегонки выбрасывают из кузова в небытие полные лопаты своих рассыпчатых песчаных жизней, бисквит крошится, и невесомые крошки времени, синтезированного количеством, все взлетают, взлетают снизу вверх и кружат как перья, соединяясь с кремнистой пылью звезд. А я, как будто колхозный учетчик или свирепый сержант, считаю эти лопаты и, поглядывая на командирские часы, рисую в своем журнале аккуратные наклонные галочки. Даже самые события остались теперь в памяти лишь цветами: синий свет ночей, непроницаемо черные, как мир под одеялом, стены помещения, где давалось бесконечное представление, желтые слепые глаза софитов, впивающихся в стертый паркет подмостков, и нежно-бесцветное стекло бутылок от нежнейшего пива «Sol».

Знакомство наше произошло слишком буднично, чтобы писать о нем подробно. Раз после спектакля мы столкнулись с ней на выходе: она была одета в короткую дубленку и замшевые ботинки на каблуках, следы дурацких румян Алекс еще палили ей щеки, как неизбытая аллергия. Сначала она делала вид, что нас помнит, но, когда увидела машину, поняла, что это действительно так. Впрочем, наши лица не могли не примелькаться в продолжение доброго десятка представлений. Павел предложил ее подвезти, она согласилась неожиданно легко, по дороге заехали в какое-то заведение попробовать какое-то пиво и допробовались до половины третьего, — для начала было совсем неплохо.

Глаза у нее были веселые, в зависимости от освещения иногда серые, иногда голубые. Под левым глазом, почти на виске, была крохотная светлая галочка шрама. Шрам напоминал значок эламской клинописи или ласточку, парящую высоко в небе, и придавал ее взгляду постоянное озорное выражение. Это был такой шрам, которым можно было любоваться.

— Откуда у вас этот шрам? — спросил я (тогда мы были еще на «вы»).

— Память о детстве, — улыбнулась она. — Я, когда была маленькая, каталась на санках, санки перевернулись и попали мне острым углом, — рассказала Ксения. — А что, очень заметно? — Она достала сигарету из Пашиной пачки и осторожно вставила фильтр между изящно покрашенных губ.

— Маленькие шрамы иногда очень уместны, — ответил я. — Почему-то они добавляют прелести, а почему, не знаю. Видимо, шрамы способны украшать не только мужчин.

Пепел она стряхивала не щелчком, а неумело, шлепая по сигарете подушечкой указательного пальца: сигарета двигалась, но пепел не падал, оставался на месте перегоревшим хоботком.

В ту ночь мы судили решительно все: достоинства ночных заведений, напитков, кино, которого уже не было, и книги, которых и не думали читать, проблемы ценообразования, знаки зодиака, погода — это все получало признание либо подвергалось остракизму. Выяснилось, что говорить о погоде вопреки расхожим представлениям по-настоящему занимательно. Мы ругали дожди, холод и мрак, сетовали на скорый перевод часов. День рождения Ксении приходился на двенадцатое октября, и Павел запомнил эту цифру. Двенадцатое октября к тому времени уже прошло.

— Опоздали, — сказала Ксения. — Теперь целый год ждать. А за год всякое может случиться.

— Да уж, — произнес я значительно.

— Ничего-ничего, — ответил Павел, — мы свое возьмем.

Как выяснилось, делать подарки он любил и умел. Превосходные подарки, которые запоминаются до последних дней и отнюдь не только теми, кому они предназначались.

— А вдруг ничего не выйдет? С ней, в смысле, — спросил я как-то.

— Все выйдет, — заверил меня Паша.

Его самоуверенность, впрочем без капли самодовольства, меня немного раздражала. Скоро открылось, что с конюхом Ксению не связывало ничего, за исключением роли в спектакле. Однако наличие свободы не означало ее отсутствия или, попросту, ни к чему не вело.

— Откуда такая уверенность? — пробурчал я.

— А я все, что хочу, могу, — объяснил он просто. — А что не могу, так того я и не хочу.

Со временем образовалось некое подобие традиции, и все еще упростилось, когда Алла стала разделять наше вымученное общество. Она собралась менять работу, так что обрела статус независимый. От Паши она пока не уходила, согласившись доработать до начала весны. Он ею дорожил и не чинил никаких препятствий.

В Москве тем временем начались обложные дожди, и я стал забывать, как выглядит небо без своих серо-седых овчин. Земля насквозь пропиталась влагой, целыми днями стоял глухой шорох дождя, как будто это лес шумел под ровным ветром. Наполовину обнажились деревья, листья усеяли мостовые и, неубранные, прели, прибитые к бордюрам. В лужах надувались и лопались пузыри, равномерные потоки взбивали пену, дрожавшую по краю асфальта и на границе неглубокой воды. По голым улицам гулял ветерок, нагнетая нежелательные температуры, но отопление еще не включали, и город очень смахивал на душевнобольного, принимающего холодный душ.

Ночи в Москве совсем не то, что в каком-нибудь маленьком городке. Там живут для того, чтобы жить, — здесь не живут, здесь делают. Там и в полдень кажется все сонным, здесь даже в самой непроглядной ночи угадывается скрытое от глаз вращение упрямой, осознанной жизни. Город спит — и все же не засыпает до конца, готовый вскочить, восстать и раскрутить никогда не остывающий маховик бешеного бытия. Об этом напо-

минают звуки поздних автомобилей, сухие на бесснежном морозе, пьяные крики загулявших компаний, бредущих по широкому тротуару, глухой лай бродячих собак, их сиплая перебранка, хлопки, похожие на выстрелы, и выстрелы, похожие на хлопки, приглушенное освещение круглосуточных киосков — все это создает тревожное обаяние, и даже в полную тишину, которая никогда не длится долго, впрыснуто беспокойство. И если шагать во мраке, под неуютным светом фонарей, мимо серых домин, оглядывая ряды окон, темных одинаковой темнотой, в душу закрадывается невольное беспокойство. Сон в этих громадах тяжел, а время особенно неумолимо и всегда опережает свое собственное изображение, придуманное изворотливыми людьми. Да это и не сон вовсе, а настороженная дрема военного лагеря, забытого некогда в этих местах. Такой стала Москва, грязная, но соблазнительная, — купеческая дочка, начитавшаяся книг и пошедшая по рукам.

— Отличные деньки, — приговаривал Паша, а я только пожимал плечами.

Его голос на ночном мертвенном просторе звучал неестественно громко и уносился, словно прозрачный призрак, в безжизненные переулки, а сами они в своей пустоте выглядели шире, основательнее. Казалось, он нашел применение деньгам и почувствовал себя в Москве своим человеком. Это был его город, но ведь и нашим он тоже был. И был он еще каких-то неизвестных нам людей, которых мы видим во множестве каждый день.

Одним из таких вечеров мы с Аллой пошли шататься. Между нами исподволь происходило незаметное сближение — на морском радаре так сближаются две пульсирующие точки потерявших управление кораблей, повинующихся невидимым течениям.

Мне нравилась ее самоуверенность, вполне оправданная; она была веселая, а я люблю веселых людей, — быть может, они действительно добрее остальных. А самое главное — меня завораживала ее непосредственность. Это качество я невольно ценил по особому счету — сам-то я был предсказуемым меланхоликом, мрачным как мортус. Что-то она находила и во мне — в противном случае мы не оставались бы наедине так часто, как это постоянно происходило.

— Почему я так люблю танцевать? — спрашивала она меня, а я только пожимал плечами и загадочно улыбался, и противный дождь казался мне официальной стихией любовных историй.

Уже третий день подряд с обеда моросило. Мутное беззвездное небо, грязно-сиреневое над зданиями, цеплялось за шпильки мокрых высоток. Тротуары и мостовая блестели водой, которая брызгами летела из-под автомобильных колес, тоже мокрых и блестящих.

В самом деле деловитая осень, если не считать колдовской, пушистой, почти неправдоподобно сказочной зимы, была Москве к лицу больше других состояний. В конце осенних дней чувствовалась какая-то сжимающая сердце мимолетность. Мне нравилось пробираться в толпе, среди женщин, спешащих с покупками к семьям, топтаться у киноафиш и ярко освещенных витрин торговых павильонов, бродить, слоняться, болтать с уличными продавцами всякой всячины, подставляя огонек зажигалки под вздрагивающую сигарету, прикрывая перчаткой слабенький язычок, ловить и отражать быстрые взгляды, мимоходом провожать глазами понравившееся лицо и видеть с бессильной грустью, как навсегда скрывает его людская толща, или равнодушные двери вагонов, или стекла автомобиля. Я чувствовал, что эти минуты особенные: в эти минуты кто-то находит свое счастье, кто-то расстается навек, и меня всегда охватывала тоска по всем бесчисленным возможностям, которые, как песчинки, сыпятся в никуда сквозь бессильно разведенные пальцы.

Жаль, что не придется поболтать вот с этим, и не перебросятся словом с этим, и никогда не познакомится вон с тем, который, нагруженный пакетами, неловко залезает в такси. И мне отчего-то хотелось знать, куда он едет в этой просторной желтой машине, куда торопится в таинственных и скорых осенних сумерках и кто встретит его там, где высадит его неразговорчивый шофер. И куда едут остальные машины, в шесть рядов упрямо ползущие друг за другом; мне хотелось знать, кто их ждет, о чем говорят посетители кафе, сидящие за столиками у высоких окон, выходящих на улицу, для кого покупают цветы и кого жаждут узнать молодые люди и девушки, стоящие на выходах станций метро, нетерпеливо перебирающие лицо за лицом в бесконечном человеческом потоке, и становилось грустно оттого, что людей так много для одного человека.

Улица гнала в помещение, к теплу, свету, к людям, и мы спустились в одну модную забегаловку. Стены внутри были обшиты деревом, бильярдные столы стояли под низкими черными лампами, похожими на соломенные вьетнамские шапки, по ярко освещенному зеленому сукну то летали, то катились разноцветные шары, разгоняя тоску оглушительным стуком. Убранство дополняли колеса фургонов, сбруя, седла и черно-белые фотографии родео и конных заводов, в желтоватых паспортах и в латунных рамках, тонких, как толстые нитки шерстяного клубка.

Нам принесли пиво. На горлышках бутылок, как банки на штакетинах сельского забора, сидели вялые кусочки лимона.

За стойкой, к нам боком, помещался паренек, оседлавший высокий деревянный табурет и болтавший ногами, словно забавляющийся ребенок. Он повернулся, и мы узнали в нем того самого молодого человека, который приходил к Павлу просить на фильм. Он был без компании и тонул в облаке агрессивного одиночества. Увидев нас, он взмахнул было рукой, потом подумал, тяжело сполз с высокого стула и, захватив свое пиво, направился к нашему столику.

— А-а, эксперт, — сказал он мне, грустно улыбаясь, и обратился к Алле: — Мадам! — Его фамилия была Стрельников. Он зарабатывал рекламой, но жаждал настоящего дела.

— Как идут съемки? — спросили мы в один голос. Про кино всегда интересно узнать.

Он приложился к горлышку, снял полными губами лимонную дольку, забрал ее в рот, как корова клок сена, долго жевал и долго пил.

— Какие там съемки, — сказал он, пьяно усмехаясь.

Мы смотрели на него, ожидая объяснений, а он катал по столу пустую бутылку, подталкивая ее зажигалкой.

— Такое уж наше время — ничего не способно произвести... Каждый замысел устаревает уже в замысле. Прокисает...

— При чем здесь время, — пожала плечами Алла. — Время как время.

— Не у всех одинаковые возможности, — трезво сказал режиссер, словно вынырнул на секунду из мутной воды, но тут же опять налился опьянением и продолжил казнить все вокруг.

Официант принес ему сдачу.

— Деньги, — фыркнул он, вываливая из планшета стопку бледных, невыразительных бумажек. — Разве это деньги? — Он помял их в пальцах и сложил обратно. — Вот когда будут в стране нормальные деньги, такие, как раньше, — свои, на которые точно знаешь, что можешь купить, тогда будет искусство.

Алла достала из сумочки кошелек. Новенькая сто долларовая бумажка легла на стол как прокламация.

— Как эти?

Стрельников скосил пьяный, неповоротливый глаз.

— Примерно.

Он взял еще бутылку.

— Тогда будет понятно по крайней мере, кто есть кто.

— Все мы люди, — заметил я, как мне казалось, весьма резонно.

— Не все. — Он зло на меня посмотрел.

— Франки французские очень красивые, — сказала Алла с выражением. — Такие большие, тепленькие. Веселые денешки.

Режиссер ее не слушал, потому что говорил сам.

— Хватит врать! Мы все время врем... Бога нет, — вдруг выпалил он.

— А это здесь при чем? — спросили мы в один голос.

— Так... К слову пришлось...

Казалось, он и сам смутился своей последней выходкой; он посмотрел на нас несколько испуганно, но тут же собой овладел и продолжил раздраженные монологи:

— Мы все словно чего-то ждем, как будто стоим на остановке во время дождя и ждем трамвая, а он да-авно уже не ходит. И дождь никак не прекратит, да и никогда он не кончится, черт его побери, этот дождь. И все это знают, но стоят, друг на друга смотрят. И каждый боится сделать первый шаг. А идти-то надо, крыльев-то нет! — Он поднялся с лавки и поставил бутылку с громким стуком, так что даже соседи посмотрели в нашу сторону. — Стоп, я не то что-то говорю: какие крылья, если дождь идет? Крылья тоже не нужны. — Несколько секунд он провел в глубокой задумчивости, потом сказал: — Ну, все равно. Понятно, что я хочу сказать.

— Кстати, — спросил он на прощание, — сегодня проснулся, пошел в ванную. Возвращаюсь — кровать заправлена, покрывало на ней лежит. А я живу один, — добавил он, подумав, — и кровать я не трогал. Телевизор все время включается сам собой. Не знаешь, что это может быть?

— Ума не приложу, — ответил я.

Он был веселый парень, этот режиссер.

Павел упорствовал в своей ереси, но постепенно мне стала ясна его невысказанная правота. Не имея особенных претензий, он довольствовался внешним сходством. Будучи провинциалом, он и выбрал провинциалку — жалкую дурочку, которую все обижали. Когда она была на сцене, все казалось ему и проще и понятней. Он упустил самую малость — служанку она только играла, но ею не была.

Павел, как тот ковбой, который со словами: «Проклятый черномазый» хладнокровно застрелил актера, игравшего Отелло в каком-то западноамериканском балагане, ревновал смешно и к нагловатому Жан-Пьеру, и даже к безобидному аптекарю, из которого уже сыпался прах. Мне казалось, что ему самому было непросто понять, в кого же он все-таки влюблен — в человека или в роль, в актрису или в служанку, хотя перед началом спектакля он всегда отключал свой радиотелефон, повинувшись театральным объявлениям.

Однажды в буфет зашел детина, представлявший конюха. Павел толкнул его грубо, но тот не понял или не стал связываться.

— Это уже не смешно, — сказал я. — Дурак ты, что ли?

— Да нет. При чем здесь это? — оправдался он весьма бесхитростно. — Мне хочется, вот я и делаю.

Когда мы вернулись в зал, шла вторая сцена второго акта. Гости Софи сидели то ли за чаем, то ли за кофе.

Первый гость. Этот бог у них под ногами валяется, а они все на небо смотрят. А там, кроме туч поганых, нет ничего.

Кюре. Сходите лучше к причастию, молодой человек, ибо злоключения истины в темнице вашего черепа превосходят терпение Господа, не говоря уже о его служителях.

Первый гость. Бог есть, знаете ли, только там, где он есть. Только в тех, в ком сам себя узнает. (Алену.) Вот в вас он себя узнает?

Ален. Н-не знаю.

Софи (*в сторону*). Не думаю.

Официер. Проклятье, я, кажется, порвал свои рейтузы.

Удивительное дело — что происходило на сцене, то каким-то непостижимым образом проникло и в жизнь. Я тоже порвал свои брюки в буфете о какой-то заусенец, отслоившийся от деревянной лавки. В Алекс влюбился аптекарь, которому тоже не нравилось, что девушку лапают на конюшне. Аптекарь был пожилой человек, и ему было нелегко тягаться с конюхом Жан-Пьером, похожим на жеребца. Узнав об этом, жестокая Софи расхохоталась, как кирасир, — она и вправду полагала, что любить можно одну ее, и всякое постороннее чувство расценивала как оскорбление. Павел невзлюбил ее с первого взгляда. Случалось, он корчил ей рожи обращенным к сцене лицом, и, похоже, она их отлично видела.

Нам с Аллой он едва ли не вменил в обязанность всячески поддерживать дух компании. С трогательной озабоченностью он принялся высчитывать совместимость Весов со своим зодиакальным знаком и для этого ездил в какое-то дикое оккультное бюро встречаться с астрологом, и там, заодно с сонмом туманных прогнозов, ему навесили чудовищный счет. Скорее всего, он попросту боялся остаться с ней наедине, боялся сказать лишнее и открывал рот всего охотнее, когда приходилось иметь дело с официантами и барменами.

В середине месяца на несколько дней по каким-то делам приезжал брат. Это был мужчина за тридцать, невысокого роста. Ничего выдающегося или ужасного в его облике не было. Он заметно лысел и потому стригся как можно коротко. Две блестящие залысины продолжали покапывать лоб, дополненный выпуклостями надбровных дуг. Запястье правой руки обнимала толстая золотая цепочка, которая то и дело наползала на кисть, из одежды носил темную косоворотку, строгий черный пиджак и такие же брюки. Он почти ничего не говорил и имел вид апатичного мудреца; на все взирал несколько устало, даже отрешенно, как тот человек с выставки, которого называли гением. По словам Паши, удивить его было невозможно даже вторым пришествием. Казалось, если он встретит инопланетянина, то посмотрит на него спокойным взглядом пожившего волка и скажет негромко, так, чтоб слышал один инопланетянин: делиться надо, хлопцы.

Пока брат был в Москве, Павел забыл о театре и был беспросветно занят. Брат поселился в «Балчуге», по городу ездил на черном BMW седьмой серии. Его сопровождали двое парней — те были поколоритнее, с красными корками мозолей на суставах указательных и средних пальцев тяжелых рук.

Алла брата никогда еще не видела, и он ей не понравился. Это открытие ускорило ее решение сменить работу. У нее была целая куча знакомых, ведших похожую жизнь. Днем все они работали в каких-то фирмах, а ночью наполняли увеселительные площадки и не заглядывали дальше следующей недели. Она наталкивалась на них повсюду — даже в метро, если ехала в метро. Без Паши я начал скучать и несколько раз провожал ее. Мы встречались в конторе и шли гулять по холодному центру или сидели допоздна где-нибудь в гремучем пабе. Ей нравились шумные места, громкая музыка, движение, сутелока многих людей. Беспечность заразительна, как грипп. Жить ночью, признавалась она мне, куда интереснее.

— Мне все надоело, — любила говорить она и шла танцевать.

Молодые люди смотрели на нее с интересом, если не сказать больше, но потом замечали меня и недоверчиво покачивали головами. Она кружилась, дергалась, извивалась у всех на глазах, и все невольно следили за этим танцем. Потом бросала все и, не дожидаясь конца песни, под стоны

и прыжки продолжающейся музыки, равнодушно посматривая вокруг, осыпаемая взглядами, спешила обратно на свое место. Но взгляды ее не отпускали и растягивались, как жевательная резинка, как липкий мед, как патока, вращая в ткань одежды и еще дальше — в самую плоть.

Старинные высоченные деревья шумели где-то на уровне восьмого этажа. Во дворе была детская площадка с качелями, горкой и три скамейки вокруг песочницы, усыпанной желтой и коричневой листвой. На пятчке за качелями двое парней азартно играли в бадминтон, а рядом на задних лапах сидела маленькая лохматая собачонка и наблюдала за полетами волана грустными и терпеливыми глазами и водила туда-сюда умной мордочкой. Из-под челки на нас доверчиво глядели влажно сверкающие черные пуговицы глаз.

— Здравствуй, Савка, — поздоровалась Алла с собачкой.

Оба игрока посмотрели на Савку, желая знать, что он ответит.

Собачка завилала хвостом и приветливо заерзала. Игроки остались удовлетворены такой вежливостью своего питомца.

— Карликовый тибетский терьер, — с гордостью поведал мне длинный, в изношенных спортивных штанах, штормовке и шапочке с помпоном, должно быть, хозяин этого терьера.

— Как дела? — Алла наконец обратилась к хозяину собаки.

— Какие у нас дела? — с нотками возмущения воскликнул длинный и отправился на подачу. — У нас делишки. — Он был высок и худ, словно знаменитый ламанчский идалго.

— Тебе надо на небо почаще смотреть. На звезды, — немедленно рекомендовала Алла, отобрала у него ракетку и неумело подбросила волан.

Длинный хмуро, исподлобья взглянул на пасмурное небо, грубо замазанное рваными тучами.

— Тридцать лет только этим и занимался. И вот результат. — Он без ложно понимаемого стеснения показал многочисленные дырки от моли на своих штанах. В одну из них Алла засунула палец.

— Димка зарплату опять не получил, — сообщил длинный.

— А тебе-то что? — спросила Алла смеясь. Было видно, что такие разговоры ведутся здесь постоянно и намеренно, то ли в виде утешения, то ли в качестве развлечения.

Длинный многозначительно усмехнулся, а Савка зевнул и облизнулся.

— Дай грошик, — попросил длинный. — На сигаретки.

— На, — сказала Алла, доставая кошелек. — Сколько тебе, Альфонс Доде?

Длинный без церемоний заглянул в кошелек и аккуратно вытащил одну бумажку.

— На той неделе отдам, — пообещал он.

Не успел он договорить, как Савку вырвало. Шпроты еще не переварились, и рыбки легли на асфальт в том же положении, в котором лежали в банке, — одна к одной.

Игроки посмотрели друг на друга и несколько времени растерянно молчали.

— А потому что не надо на столе оставлять, — сказал длинный и покачал головой. — Ты мне испортил собаку.

Второй, которого здесь называли Дима-капитан, ничего на это не сказал и, посапывая, направился к волану. Все это он делал серьезно и с усилием, как будто выполнял нелегкую работу. Мы тоже прошли в подъезд.

— Кто это — Дима? — поинтересовался я.

— А, друг детства. Росли вместе. В нашем доме живет. Он военный.

— А этот, длинный?

— Тоже здесь живет. Он бывший скульптор.

— Что значит бывший? — Я даже поперхнулся. — Он что, секретарь райкома, что ли?

— Не знаю, — отмахнулась Алла. — Бывший. Он сам так говорит.

— А сейчас он тогда кто?

— Не знаю. Просто живет. Оба ужасные пессимисты, — сказала она, доставая из сумочки ключи. — Ты думаешь, они воланчиком играют?

— А чем?

— Это они свои несчастья друг другу посылают. «Обмениваются, понимаешь». У них когда неприятности какие, так они в бадминтон играют. Всегда так.

— Пьют?

Алла задумалась.

— Да нет. Как все. В бадминтон играют, сам же видишь.

В комнате, где мы сидели, было два окна, и из одного нам было хорошо видно капитана и бывшего скульптора.

В книжной полке на атласных подушечках были закреплены советские награды: несколько медалей за освобождение восточноевропейских городов и орден Красной Звезды. За подушечками виднелись зеленые корешки собрания сочинений Гейне. Я остановился у этой полки.

— Да это бабушкины, — сказала Алла, заметив мой интерес. — Она воевала.

— А где она?

— На даче. Живет там круглый год.

— И даже зимой?

— И зимой.

— Ты такая красивая, — простодушно сказал я.

— Сплюнь, — ответила Алла.

Мы дружно застучали по столу.

— Это правда, — просто согласилась она, когда стук костяшек застраховал ее красоту. Мы стояли у окна и делали вид, что зачем-то ждем окончания игры.

Капитан и длинный скульптор еще были на площадке. Их спор продолжался в сгустившихся сумерках, при свете дворовых фонарей. Белый волан то стремительно летал от одного к другому, то нехотя, лениво взмывал вверх, мелькая среди оголенных ветвей. Наконец он упал в черную лужу и некоторое время оставался там, слабо подрагивая, как мотылек, угодивший в паутину. Савка подбежал и пытался схватить его зубами, стараясь не замочить лап.

Игра закончилась.

Был третий час унылой ночи. Мы лежали на кровати и не могли согреться, хотя в квартире было тепло. Секундная стрелка настенных кварцевых часов, сухо щелкая, шагала по светлому кругу, как караульный солдатик с негнушимися ногами, останавливаясь передохнуть на неуловимые доли того, что мы называем временем. Как-то боком двигалась по задворкам холодного неба бледная, немощная луна. Одинокие окна соседних домов еще исходили теплым ласковым светом.

— Почему они не спят? — спросила Алла.

Я уже придумал трогательный ответ — настоящее лирическое отступление. Для тех, кто не любит жить настоящим, самое удобное время — ночь. Ночью прошлое видней, будущее заманчивей. Один час похож на другой, ты волен творить свою жизнь как грезу. Ночь — это чистый лист, тогда как день — всего лишь расписание. Я хотел сказать это или примерно это, но Алла меня опередила:

— Ты боишься умереть?

— Уже да, — сказал я.

Спору нет, такой ответ в этих обстоятельствах как будто предполагал два истолкования, но я здесь имел в виду скорее естественный ход вещей, чем внезапно изменившиеся планы.

— А я не боюсь, — просто сказала Алла. — Я боюсь старости.

Ее кожа пахла какими-то очень известными духами, которые рекламируют каждый день повсеместно, и я — на самом доньшке души — чувствовал себя обманутым.

— Ну да, — усмехнулся я и вспомнил девиз многих поколений, уже проросших могильной травой: — Жить быстро, умереть молодым.

— Пожалуй. — Она приподнялась на локте. — Мне так страшно становится, когда я на стариков смотрю. И жалко. Их жалко и себя жалко.

Мы молчали. Было слышно, как в кухне из крана в раковину мерно капает вода. Разгулявшийся за окном ветер шевелил корявую, с наростами, ветку клена, и она беспокойно волочилась по балкону.

— А себя-то чего? — спросил я.

— Я буду долго жить...

Я смотрел прямо перед собой. Ветка черной тенью дергалась на обоях в квадрате замороженного лунного света. В раковину капала вода.

— Да и кто ее не боится, этой старости, — сказала Алла и снова откинулась навзничь, облив подушку волнами волос. — Наверно, только старики.

Все это могло бы быть любовью.

Я уже не помню, кто первый предложил ехать за город. По-моему, я и предложил. Как раз к этим дням я объяснил Паше, чем знамениты «Севастопольские рассказы», и переложил «Казаков» на язык городских низов. Впереди уже восставали, точно Четвертый бастион, исполинские и неприступные глыбы «Войны и мира» и «Карениной», поэтому мне пришла мысль соединить полезное с приятным. Раз уж мы собрались отправиться за город, отчего бы не увидеть своими глазами пристанище их автора, тем более что на хорошей машине до Ясной Поляны езды всего ничего. Девушки отнеслись к нашей мысли с пониманием и даже пообещали взять термос.

На следующий день я зашел в контору, согласно уговору, в половине девятого и стал свидетелем любопытной сценки.

В конторе оказался посетитель. Немного подумав, я узнал в нем директора «выставки». Человек этот сидел съезжившись, его словно корежило. Пальцы его щипали подбородок, терли щеку, забирались куда-то на затылок. Совершенно белый лоб был покрыт мелкими капельками искрящейся испарины.

— Этот мой врач, сука, — нет дома. Звоню, звоню — нет дома, рецепта нет, договаривались же, сука, — повторял он, как заведенная игрушка. — Поехал на Лубянку — никого нет, одни менты — патруль за патрулем. — Дышал он тяжело, как-то нехотя.

— Тебе пора соскакивать, — строго сказал Павел, но тот его едва ли понимал. В конце концов он лег под батарею и, подтянув колени к небритому подбородку, замер.

Паша наблюдал за ним со стоическим спокойствием, но когда таинственный недуг поверг Юру ниц, невозмутимость ему изменила.

— Да черт с тобой, жри, — не выдержал он и бросил Юре коробочку. — Тебе подышать.

Юра с утробным урчанием разодрал упаковку, в которой оказались какие-то капсулы бежевого цвета. Воодушевившись, он выдавливал их из ячеек одну за одной, и его движения чем-то напоминали те, какими закладывают патроны в магазин автомата.

Когда на ладони образовалась горсть этих капсул, он бросил их в рот и запил минеральной водой — бутылка нарзана стояла на столе, — потом присел на край дивана, зубами оторвал от сигаретной пачки кусок карто-

на, свернул трубочку, распотрошил еще одну капсулу, ссыпал белый порошок прямо на ладонь, загнал трубочку в ноздрю и, прижав другую, несколько раз сильно потянул носом.

Еще несколько секунд трубочка сновала по ладони, а когда порошок иссяк, Юра закрыл лицо костлявой кистью, на которой болтались до нелепости огромные часы, и сидел неподвижно минут пятнадцать. Павел, потягивая чай с бергамотом, следил за ним с отвращением.

Наконец Юра поднялся и взялся за дверь. Он повернулся к нам и снисходительно ошупал каждого мутными глазами.

Ну и что? Появились — живем.
К декабрю в окна вату запхнем
И налепим бумажную ленту.
Наспех перезимуем
И в Лету
Бултыхнемся —
Свищи нас потом!¹ —

членораздельно прочитал он.

— Какое лето тебе еще? — рявкнул Павел и сделал последний глоток.

— А это речка такая, в которой каждый по разику искупнется, — проговорил я озадаченно. — Я вижу, у тебя здесь целый медпункт. Пора давать объявление в газету: «Скорая наркологическая помощь». Сам-то балуешься? — спросил я, когда Юра оставил нас одних.

Павел рассеянно на меня посмотрел.

— На своем товаре кайф не ловят, — сказал он назидательно, как крупный буржуа неразумному сыну, которого застал за чтением социалистической брошюры.

Сразу после этого мы выехали, захватив по дороге Аллу и Ксению. Стоял один из тех воскресных дней, когда внезапно появляется безумная надежда, что бабье лето повторится еще раз и времена года начнут движение в обратном порядке.

Не было ни ветра, ни дождя, деревья еще держали последние листья. В лесу пахло влагой, а в садах яблоками, и трава на обочинах была мокра.

Мы ехали под низким и сухим небом, на котором ровным и глубоким слоем были размазаны серые, без малейшей прогалины, тучи. Дорога растилалась среди полей. Изредка к полотну прижимались деревни. За домами на оголенных изломанных ветвях яблонь зеленели поздние плоды, и облетевшие рябины держали свои розовые кисти; кое-где в палисадниках в завитках увядающих листьев криво торчали шары хризантем на высоких, погнутых непогодой стеблях. У серых заборов под прицелом крохотных мезонинчиков стояли ведра с картошкой. Ближе к Москве были еще и астры, а когда широко блеснула свинцовой лентой Ока, осталась одна картошка, и снова по обе стороны дороги, разбитые далекими перелесками, потянулись на просторе унылые поля, одни уже перепаханные, другие в редкой щетине сухой стерни.

По пути я принялся было вести осадные траншеи к исполинским стенам «Войны и мира» и «Карениной», но поскольку мы были не одни, урок то и дело сбивался на посторонние темы.

— Смотри, и равнины у нас есть, и горы... — сказал Паша, с интересом озирая виды. — И море.

— И тайга. — Алла сделала страшные глаза, но ее не поняли.

Чапа летел в левом ряду, как ласточка перед ливнем, и впереди мигали поворотные огни машин, отваливающих направо.

— И тайга, — повторил Паша. — У нас все есть. Все, что нужно.

¹ Стихотворение В. Риммара.

— Для чего нужно?

Этот вопрос остался сиротой. Ближе к Туле яблок становилось все больше, они лежали в канавах обочин гниющими кучами.

— Я давно не был дома, — снова заговорил Паша. — Весной надо будет обязательно съездить. Поедем, девочки? Форельку поймаем.

— А что там есть? — поинтересовались девочки.

— Форель есть.

— А еще?

— Там все есть. Горы есть. Если повыше забраться, там знаете как? Вот снег лежит, а в трех метрах цветы растут.

— А какие цветы?

— Маленькие такие, — пояснил Паша, — красивые.

— Поедем, — решила Алла. — Я буду кататься на лыжах. Там подъемники есть?

Паша, видимо, оказался во власти образа и посмотрел на нее рассеянно, но меня, когда я услышал про подъемник, разобрало зло.

— А я буду собирать цветы, — поразмыслив, сказала Ксения.

— Ах ты, Офелия выискалась, — процедил я.

— Не понял, — сказал Паша.

— А у моих знакомых кошку Офелией зовут, — сказала Ксения.

— А у моих — Муравей.

Мы переглянулись.

— Почему Муравей?

— Ну так зовут.

— Что-то мы запутались в этих кошках, — сказал я и обратился наконец к Паше: — Слушай сюда: если увидишь кого с цветами, сразу говори: «Ах ты, Офелия выискалась».

— М-м, — недоверчиво промычал он. — Зачем это?

Девушки еле-еле сдерживали свои чувства.

— Чапа, запоминай, — сказал Паша, но, подумав, занес в электронный блокнот. — Нет, все понятно, но все-таки...

Часов в двенадцать мы были на месте. Оставив Чапу в машине на площадке, где ожидали несколько экскурсионных автобусов, мы побрели вдоль пруда по мокрой дорожке. Ивы, согнувшись, смотрелись в черную гладь воды. Поверх их отражений неподвижно лежали почерневшие листья и, как оборванные снасти, серебряными нитями висела паутина.

— Почему дорожка мокрая? — спрашивал Паша. — Ведь нет дождя.

Никто этого не знал.

У кассы Паша распахнул свои карманы и стал рыться в кредитных карточках.

— Рейтинг, рейтинг, — сказал он с досадой, — а рублей-то нет.

— У меня есть, — успокоил я, а Алла осуждающе покачала головой.

— Не пойму, мы в Нью-Йорк, что ли, приехали? — спросила она, но Павел благоразумно промолчал.

Поверх обуви мы нацепили огромные тапки и, высоко поднимая ноги, под бдительным оком немых смотрительниц минут сорок слонялись по комнатам.

— Скромно жили, — заметил Паша, бросая послужившие тапки в деревянную кадку, стоящую у входа рядом с зелеными скамейками. На одной из них сидел старичок и сосал трубку, но она не разгоралась, зато из куртки, из-под правого его локтя, вылась сизая струйка. Видно, уголек из трубки выдуло прямо ему в карман и ткань задымила.

— Горишь, отец, — заметил ему Паша.

Старичок устремил на Пашу прозрачно-васильковые глаза и встряхнул куртку. Уголек упал под скамейку и зашипел, соприкоснувшись с мокротой.

— Что сгорит, то не сгниет, — произнес он с серьезным лицом.

— Ну, — огляделся Паша, — что тут еще нужно посмотреть?

— Вы поезжайте в Кочаки, — вмешался старичок. — Не были в кочаковской церкви?

Мы отрицательно поводили головами.

— Там все Толстые похоронены, — сообщил он.

— А сам-то где? — спросил Паша.

— А вот туда, — указал старичок своей трубкой. — Вон указатель.

Мы поблагодарили старичка и потянулись в ту сторону, куда смотрело острое таблички.

Могила Льва Толстого располагалась в конце аллеи, в самом дальнем углу парка, где кончалась дорожка и неухоженный лес сползал вниз по глухому оврагу. Лес стоял пустой, гулкой, как квартира без мебели.

Могила оказалась просто ровным холмиком с прямоугольными краями. Холмик порос травой, и некоторые стебли торчали в разные стороны, как непричесанные космы вокруг лысого затылка.

— У нас тоже так хоронят, — сказал Паша.

— Как — так? — спросил кто-то.

— Ну так. — Он кивнул на могилу. — Кладбища нет. Просто во дворе зарывают.

— Что же, — переспросила Алла, — рядом с домом?

— Да говорю же, вот. — Он показал себе под ноги двумя руками: — Метров двадцать от крыльца.

— Милый обычай, — усмехнулась Алла и оглянулась. — А вот туалет здесь есть, хотела бы я знать?

— Туалет был, мы его проходили, — сказал я.

Мы побрели обратно и опять вышли на перекресток к флигелю Волконского. Направо ровными рядами стояли яблони. На краю сада один на другом тяжелой пирамидой желтели наполненные ящики, кое-где у стволов были разбросаны пустые. Ящики возил маленький трактор с прицепом. Мы взяли по яблоку и устали на дорожку, куда удалились Алла с Ксенией. В аллее показался молодой человек в костюме и прошел мимо нас, осторожно переступая лужи сверкающими туфлями. Он нес ведро с разноцветными астрами, и мы бездумно провожали его глазами. Вокруг было много любопытного и без молодого человека, однако движущиеся объекты всегда привлекают большее внимание, чем многозначительная неподвижность.

— Ах ты, Офелия выискалась, — громко сказал Паша.

Я оглянулся — не было видно никого, кроме этого молодого человека.

— Сюда это не подходит, — сказал я. — Это он, а не она.

Показались наши подружки. Паша надкусил свое яблоко, немного пожевал, подумал и опустил его в карман пиджака.

— Тоже мне яблоки, — презрительно процедил он. — А как правильно? Она — Офелия, он — Офелий, что ли? Или как?

Я не мог понять, придуривается он или говорит серьезно.

— Если он, то Гамлет, — сказала Алла приближаясь. — Ты будешь Гамлет. Назначаем тебя Гамлетом. На сегодня, а там видно будет.

До машины мы шагали молча и глазели по сторонам — на сады да на пруды под салатовой пленкой ряски, но в машине все дурацкие шуточки имели продолжение.

— А он кто будет? — спросил Павел у Аллы, тыча в меня пальцем. Он уже понял, что над ним смеются.

— А он... — Алла вопросительно оглянулась на Ксению: — Ну, кто?..

— А он будет Фортинбрас. — Она повернулась и простерла ко мне руку. — Ты будешь править.

— Бал, — сказала Ксения. — Я хочу танцевать.

— Тризну, — не унималась Алла.

— Глупая шутка, — сказал я недовольно.

— А это не шутка. Это просто глупость, — объявила Алла.

— Они что, американцы? — спросил Павел как будто между прочим и снова принялся за несчастное северное яблоко.

Мы огляделись.

— Кто?

— Ну, эти... Фортинбрас, Гамлет...

— Англичане, — бросил Чапа. — Этот, как его, который это все придумал... англичанин был.

Минут через пятнадцать Чапа привез нас в Кочаки. Церковь стояла на берегу пруда, загнутого свинцовой подковой. По скату берега жался погост, крайние могилы затерялись в высоком бурьяне, а ближние к воде заросли тростником и мелькали сквозь стебли поржавевшими оградами и поперечинами покосившихся крестов. Дальше, за водоемом, поднимались к строениям пустые огороды, на которых там и сям лежали кучки картофельной ботвы. Из нескольких труб выползали едва заметные мутные дымки и, покачавшись над крышами, пропадали в пасмурном небе. Всюду было безлюдно, и только какой-то мужчина в телогрейке бродил, как грач, на огородах по меже с палкой и для чего-то втыкал ее в мягкую коричневую землю.

— Пойдем, Чапочка, — позвала Алла.

Тот посмотрел на кладбище и поежился.

— Не, — сказал он и включил радио, — лучше в машине подожду. Я вообще в такие места просто так не хожу. Только по делу.

Мы стали около запертой калитки ограды. За оградой вокруг церкви тоже шли могилы. Эти были богаче, с памятниками и надгробными камнями. Между ними у стен придела лежали клумбы, чернея голой землей, и на земле стелились еще сухие остатки летних цветов.

Почти сразу к оградке подкатил микроавтобус и высадил своих пассажиров. Среди них оказались и давешний старичок с трубкой, и молодой человек, которого мы уже видели у флигеля Волконского. Старичок приветливо на нас посмотрел. Следом за ними водитель вынес ведро с астрами.

Откуда-то возникла служительница — пожилая женщина в застиранном до белизны фиолетовом халате, такие от века носят уборщицы и сторожа.

— Сейчас я храм открою, — сказала она с радостным возбуждением.

Погремев ключами, она навалилась на тяжелые створки, обшитые железными листами. Листы были густо крашены серебрянкой, внизу рельефной бахромой выступали потеки этой краски, поверх шли скобы с рядами покрашенных заклепок. Скрипя, скрежеща, половинки поползли внутрь притвора и пропали в полумраке.

Она быстро смела с паперти прелые листья и расстелила на пороге влажную тряпку.

Сначала все вместе обходили одну за другой каждую могилу, водитель носил за ними ведро с астрами, и они брали из ведра цветы и опускали по два цветка на надгробные камни. Потом они рассеялись и, сгребая палочками нападавшие листья, разбирали надписи на этих старых пористых камнях, неровно опущенных в землю тяжестью и временем. Мимо нас прошагали двое пожилых мужчин.

— ...Это тот Сергей Николаевич, который умер в Париже?

— Нет, тот, который умер в Ванкувере, — ответил второй и коротко на нас посмотрел. — А этот... — Они удалились и унесли с собой конец фразы.

Шум мотора возвестил о прибытии новых паломников. Их привез автомобиль безнадежно старомодного оранжевого цвета. Это была целая семья — две женщины, мальчик и здоровенный пузатый мужчина. Все как один они посмотрели на Пашину машину, на микроавтобус, оглядели нас с ничего не выражающими улыбками и, гуськом обойдя церковные сту-

пеньки, проследовали за ограду через вторую калитку на деревенский погост. Там, под сенью ветвистого старого тополя, они надолго остановились, окружив какую-то могилу.

Несколько раз служительница в фиолетовом халате появлялась из темноты и, сжимая связку ключей красной рукой, выглядывала гостей. Но ни на нее, ни на распахнутую дверь церкви никто не обращал внимания. Люди микроавтобуса, разбредясь, по-прежнему ходили по некрополю, один снимал видеокамерой.

Все мы, вероятно, подумали об одном: вот стоит храм, который никому не нужен. У каждого здесь были свои боги.

— Зайдем? — Павел кивнул на церковь. — Неудобно.

Мы нерешительно топтались и, кажется, как школьники, подталкивали друг друга локтями.

— Если дверь открыта, — сказал он, — в нее нужно войти.

— Да она же не для тебя открыла, а для них, — возразил я, но не сразу понял, какую сказал глупость.

— Мне нельзя сегодня, — смущенно сказала Алла и потупилась. — Да и платка нет.

Ксения молча курила. «Аннинька», — подумал я по привычке, глядя на нее.

— Ну как хотите, — сказал Паша и пошел к двери.

Мы смотрели ему в спину напряженными взглядами, как будто он шел на битву и мог не вернуться. Посетители закончили раскладывать цветы и стояли группками на дорожке. Некоторые говорили по-французски.

— О чем речь? — спросил я Аллу.

Она прислушалась.

Астр оказалось слишком много. Водитель вытащил оставшиеся цветы и, забрав ведро в машину, положил этот букет на приступку ограждения.

— Не понимаю, — сказала наконец она. — Далеко — не могу разобрат. — На ее лицо легла тень, она нахмурилась, и я понял, что это неправда, что она все прекрасно поняла, но почему-то не хочет сказать.

Когда мимо проходили говорившие по-французски, она отвернулась и громко проговорила, словно желая сменить тему:

— Не забудь мне завтра Лохвицкую. Ты говорил, у тебя есть.

Паломники погрузились в микроавтобус и отбыли восвояси. Еще через несколько минут уехали на своем «Москвиче» другие. Мы с Аллой и Ксенией молча прохаживались по церковному двору и, поглядывая на небо сквозь переплет ветвей, ждали Пашу. Наконец он появился и подбежал к нам.

— Дайте денег, — понизив голос, попросил он и воровато оглянулся.

Алла достала кошелек и испуганно протянула ему несколько бумажек.

Он снова надолго исчез в церкви, а потом вышел уже вместе со служительницей, сжимая в руке пучок свечей. Подойдя к машине, он вручил свечи Чапе.

— Там святая женщина похоронена. Отовсюду люди едут поклониться, — объясняла ему служительница, — из Тулы, из Калуги, у кого какая болезнь или несчастье какое, тоже... Из-под венца ушла, чтобы Господу служить.

— Почему, зачем ушла? — спросили мы.

— Ушла, чтобы Господу служить, — пояснила женщина.

Она провела нас за ограду на погост, к той могиле, которую только что навестили люди оранжевого «Москвича». В ногах находился продолговатый подсвечник, похожий на поднос, с тремя рядами гнездышек, прикрытых колпаком из плексигласа. В нескольких стояли толстые и высокие, бурые, недавно горящие свечи. На камне, как оплечье, лежало белое узкое полотенце с какими-то неяркими выцветшими узорами и бахромой на концах.

С овальной фотографии на нас смотрело сморщенное, как высушенная груша, старушечье лицо под белым платочком, в складках которого спокойно мерцали добрые глаза.

— Пошла белье мыть, и тут она явилась ей, Богородица. И с тех пор стала у ней сила такая — исцелять людей, — бормотала служительница.

— И чего сказала? — спросил Павел. Ксения дернула его за рукав.

— Богородица, детка, Богородица, Божья Матерь, — подтвердила женщина и перекрестилась в который раз.

Павел не стал переспрашивать.

Алла и Ксения не говоря ни слова смотрели на фотографию. На их лицах проступила какая-то озабоченность, какое-то неверное и неуловимое воспоминание, как будто они старались вызвать из глубин памяти что-то далекое и давнее, как клочок неприкаянного сна, но это выражение едва показалось и еще стремительней улетучилось. Служительница тяжело нагнулась над могилой и убрала с пластика несколько слетевших с дерева листьев.

— Враг силен, — вздохнула она и покачала головой, словно сомневаясь, что возможно его одолеть, этого извечного невидимого врага.

День продержался, но к вечеру природа раскисла и зарядил мелкий дождь, который то усиливался, становясь щедрее, обильно посыпая землю колючими бусинками капель, то ненадолго прекращал. Мы попрощались со служительницей и медленно пошли к машине. Смотреть назад не хотелось, но головы то и дело непроизвольно поворачивались. Прежде чем окунуться в чистоту салона, я не удержался и окинул церковь и погост последним взглядом. Через несколько часов здесь наступит ночь: последний свет растает и исчезнет и все погрузится во тьму. Над деревней задрожат редкие, плоско растянутые огни, ветер пошевелит мягкие ветки тополей и упругие ветки кленов и приподнимет, сбросит с пористых камней утерявшие цвет листья. Сверху на них упадут новые — мокрые и тяжелые от дождя. Съежаты астры на озябших надгробиях дворян, и качнутся ровные огоньки догорающих свечей в подсвечнике вёщей крестьянки. И мирликийский чудотворец в каменной епитрахили, потертой на плечах временем и непогодой, будет по-прежнему смотреть в темноту на пустынную дорогу тусклыми, потрескавшимися глазами.

Ехать в путешествие всегда приятнее, чем из него возвращаться. Мы чувствовали себя осоловевшими, притихли и молча смотрели в разные стороны, но потом поели сосисок в придорожной закусочной, похожей на трущобу из книг Джанни Родари, выпили пива и развеселились. Паша опять зазывал в свой аул, и фантазии снова заворочались у нас где-то между шей и седьмым позвонком. Захотелось, чтобы дорога не кончалась, захотелось поехать куда-нибудь дальше, колесить на просторе, в сонных полях, все видеть, до всего дотронуться глазами.

Дорога бежала полями. Полотно ее разматывалось нескончаемым пожарным шлангом. Туманная темнота растворяла свет фар, и в этом свете — двух столбах, горизонтально выроставших над колесами, — вращались свинцовые капельки, как пылинки в солнечных лучах. Остатки веселья испарялись. Тут оно затихло окончательно. На беззвездном пространстве неба не было видно ни одной светлой частицы, глаза различали лишь сгустки темноты неправильной формы, с рваными краями — то был рельеф облаков. Все мы ушли в себя; каждый думал о своем. Я думал о том, что вот опять грядет зима, долгая, унылая, и мир на какое-то время станет черно-белым, что впереди ждет много-много мрачных и темных дней, и мы будем барахтаться в этой темноте, как под брошенным на нас черным покрывалом, на изнанку которого наши звезды и серп месяца, наспех вырезанные из пищевой фольги.

Чапа вел машину молча и сосредоточенно, голова его склонилась на грудь как будто в гордом поклоне и оставалась неподвижна на частых пе-

репадах шоссе. Из полей к дороге приходил ветер и беззвучно терся о стекла машины, влипал, как присоска, в борта или шнырял по днищу, и уносился в зияющую бездну полей, и снова возвращался и нырял под колеса, слизывал с покрышек кусочки мокрой земли, а потом, как озорной мальчишка, давил в бок автомобиля изо всех сил, стараясь вытолкнуть железо с проезжей части в липкую грязь.

И среди этой темени и неслышной тишины случайные мысли мешались с обрывками прошлого неправдоподобной мозаикой.

Два последующих месяца, когда солнце было окончательно изгнано с нашего грязного небосклона, а тучи и мокрая земля не успевали обмениваться влагой, остались в моей памяти то ли нелепым и нетрезвым маскарадом, то ли неистовым карнавалом бессмыслицы, вереницей одинаковых суток — одинаковых, как шарики разлетевшихся по полу бус.

Мы кружили по холодной Москве, словно мотали пряжу, — впрочем, этот образ устарел еще до изобретения печатного станка. Я выуживал из своей корзины то Иудушку, то Клементинку де Бурбон или висельника Ставрогина, и мы вместе разглядывали в невидимых лучах серого света, едва проникавших сквозь тонированные автомобильные стекла, всех этих несчастных, каторжников и проституток, героев своих времен, снисходительных к себе студентов, смешных скупердяев, всю жизнь наживавших горы мусора, благодушных идиотов, не лишенных доброты, — одним словом, всех тех, кому не жилось на этом свете, потому что не хватало любви, или тех, у кого ее было в избытке.

— Может быть, хватит? — осведомлялся я каждый раз, но Павел продолжал упрямо слушать о похождениях недотыкомки.

Еще разок мы заглянули на «выставку», скорее всего просто потому, что случайно оказались поблизости. Вся картина повторилась абсолютно, разве что пластиковые стаканчики содержали на этот раз не вино, а пиво; белые стены по-прежнему были пусты, а посредине зала красовалась уличная урна, раскрашенная в национальные цвета Норвегии и изнутри укутанная пакетом. Около нее толпились люди, бросали туда окурки и с интересом наблюдали, как огоньки жадно поедали вонючий целлофан. Никому не нужный Паша важно расхаживал по залу в своей «гаврилке» и ощущал себя меценатом. Я смутно чувствовал, что за всеми этими мусорными корзинами и ветками таятся некие выстрадавшие смыслы, а то и горько прожитые жизни, но разгадывать их я не имел ни желания, ни сил, ни, главное, способностей и испытал несказанное облегчение, очутившись на свежем воздухе.

В поисках настоящего искусства мы кочевали по стынущему городу, а потом принимались искать самих себя, переходя из бара в бар, и, опорожня тяжелые пузатые кружки, вливали в себя огромные порции умеренно газированного напитка, известного на весь мир.

Предметом нашего внимания оставалась русская литература, но к этому стволу я прививал время от времени шедевры мировой, почти каждый день что-то перечитывая, и обнаруживал, что самому мне далеко не все понятно. Павлу все было интересно, и он старался все запомнить. Суждения его не поражали гибкостью.

— Знаю я таких баб, — сказал он о жене Лаврецкого. — Ну их к черту.

А про Базарова сказал, уверяя:

— Больной, больной, есть такие люди.

Выводы он делал с моих слов, и с некоторых пор меня беспокоил вопрос: а может быть, это я сам, дитя инфантильной эпохи, делил своих персонажей на добрых и злых, плохих и хороших, не давая себе труда представить в полифоническом единстве доступную нам часть мироздания? Простой вопрос о смысле искусства, поставленный передо мною

Павлом на первом занятии, разросся в целую проблему, распутать которую не помогали даже соображения светлых умов прошлого, предусмотрительно оставленные в письменной форме. Чем больше я размышлял, тем меньше мог сказать что-нибудь уверенное и неизменное.

Больше того, сюжеты обращали нас к мысли, что причины и следствия совершенно переплелись и всюду царит произвол некоего плохо изученного феномена. Персонажи будто взбунтовались и ставили вопрос решительно. Кто они в самом деле были: существа или призраки наших фантазий? Мы поселимся в вас и пожрем вас изнутри, обещали они. С вашей помощью мы продолжим наши жизни, оборванные обгрызенными перьями писателей, если только вы в свою очередь не сыграете с нами какую-нибудь злую шутку. И эта последняя оговорка таила в себе жуткую перспективу.

Заброшенные в мир художественной прихотью изоощренных умов, рожденные в искрах оплывших свечей, неприкаянные и часто неотпетые, они жили и не жили, были и не были, в самом деле обитая наши души и головы. И мы невольно их жалели, жалели о них, и если не могли выпить за их здоровье, то уж не забывали помянуть, оплакивая их и — на всякий случай, за компанию — себя тоже, хотя чувствовали себя людьми, а не героями романа, и, может быть, потому, что начинали догадываться — все может случиться.

Итак, какую тоску заливали мы мексиканской водкой, какую печаль топили в маленьких рюмках с посыпанными солью краями, какую сладость, какую горечь осязали в кристаллах этого белого обманчивого вещества — не могу сказать определенно. Отлично помню только, что вечерами шелкали в воздухе команды, которыми переставляла по сцене, точно шахматную фигуру, свою бедную служанку капризная мадам, а мы видели, как дрожал от обиды и невозможности счастья волевой подбородок с ямочкой, где при любом освещении штрихом стояла тень, и, боясь пошевелиться, поглощали глазами выверенную красоту мизансцены, движения света и людей.

Пашино увлечение зашло далеко, пересекая тот заветный рубеж, который отделяет намерение от последствия и за которым начинается биография. Он собирался сделать абсолютно серьезное предложение, но тянул и откладывал со дня на день. Аптекарь, хоть и был стариком, оказался куда проворнее.

Здесь следовало бы сказать подробнее, но я веду рассказ от первого лица и многих вещей не знаю наверняка, а могу только предполагать.

— Ах, если бы вы знали, — говорила она со сцены, то и дело встречаясь блуждающим взглядом с нашими внимающими глазами, — как я люблю чудеса! Рождение — это очень важный праздник. Только кажется, что это пустяк. Но откуда он мог узнать об этом дне? Наверное, я проговорила. — Алекс довольно хихикнула. — Разве это не чудо, что кто-то неизвестный бережно подбирает твои слова? Вдыхает в них жизнь? Гербарий вечно живых слов. Для кого-то они не более чем сор. Так вот. Утро было восхитительно, воздух был прозрачен и дрожал на солнце, а пруд весь переливался бликами. Я отправилась в молочную лавку — вы знаете молочную лавку папаши Адо, ту, что за ратушей, там еще над дверью висит высушенная тыква, — и там в витрине стоял... мой портрет. — Она склоняла голову набок, и ее взгляд, когда она вертелась на одной ножке, как циркуль, проводил на подмостках задумчивую окружность. — Как он смог его исполнить — ведь он видел меня урывками, несколько раз и не подолгу. Оказывается, это так просто — надо только верить... Вы смеетесь?.. Но почему?

Куда бы она ни шла в своем городишке, повсюду ей улыбалось собственное изображение, как если бы на всех площадях и улицах были развешаны приветливые зеркала. Эта сцена поразила Павла и продолжала волновать его раз от раза все сильнее. Он не хлопал в ладоши, не кричал

«браво», но смотрел вперед таким завороченным взглядом, который, наверное, оставлял инверсионный след, хотя я лично его не видел.

«Мы пойдем другим путем», — такая фраза была вполне в его духе, как в духе Гэтсби было поймать время, сидевшее в кустах. Теперь я почти уверился, что мне не миновать стать свидетелем, как Павел, утроив оборот своей торговли, возьмет да и воплотит мечту какого-нибудь литературного чудака. Поговорку об условности искусства я пока отложил, но, сам еще понимавший жизнь как одно сплошное приключение, сделался осторожнее и следил отныне за своими речами.

Наконец стала ощутима хватка зимы, но снег запаздывал. Глина, вспоротая на газонах колесами машин, порванная ногами неосторожных пешеходов, стала, обожженная морозом. Дни сузились и вдвигались в мутный сумрак легко и до конца, как ящики офисного стола, ночи входили в город как неприятель. Обнаженный и простуженный, он ждал снега точно небесной манны.

Бывало, по несколько раз в сутки мы пересекали Каменный мост. С одной стороны над коричневой рекой мрачно высилась серая громада знаменитого дома, овеянного трагедией. Он раздвигал облака темной грудой, как разоренный замок тамплиеров, а по вечерам с высот пробивались сквозь тучи шафранные цвета заката и приставали пятнами на плоскость бледных камней. Облака вытянутыми желтыми клубами собирались над далекими окраинами, чтобы утром растянуться над домами мутной непроницаемой марлей. Стиснутая река плескала упругой волной на гранитные ступени набережной, оставляя там следы, черные, блестящие, подвижные.

— ...шум леса и рокот волн — все сливается в единый ликующий и торжественный гул творения. Но как человеку, бедной твари, исполниться этими звуками, внимать им с достоинством?.. Как тяжело быть человеком. Не многим это удается, — говорил то ли кюре дремлющему офицеру, то ли Ален сам себе в пьяном раздумье.

По другую сторону моста в подсветке прожекторов листовым золотом сияли купола соборов; над башнями, повиснув на тонких шпилях, полоскались на беспокойном ветре пестрые флаги. Зубцы картонных стен, раздвоенные на концах, как секущиеся волосы, расходились между башней строгими шеренгами. Эта лубочная картинка и была той последней пядью, которую мы отдадим, как другие отдали Константинополь, когда настанет черед исчезнуть со светлого лица земли. Последние защитники, как водится, набьются в собор и возопят, воззовут к своему божеству, а он отреставрированной фреской будет без участия созерцать резню, как жестокие игры неразумных, ничему не научившихся детей.

Впрочем, такие свирепые пророчества приходили не каждый день. Красота и радость юности, еще не растроченные до конца, развлекали тяжелые мысли, которые возбуждали газеты и сводки новостей. Когда все это еще будет! Мы уже будем мертвы, а мертвые, как известно, не имеют ни срама, ни отчаяния, ни тяжелых мыслей, и пророчества обязать их уже ни к чему не могут.

Завещание вскрыли — дедушка все оставил Алекс. Это, конечно же, оказалось настоящей катастрофой для всех тех, кто обижал малышку и ею беззастенчиво помыкал, потакая низости своего естества. Открылось к ужасу большинство, что эта девчушка имела на наследство кровные права — она оказалась незаконнорожденной дочкой старого моряка. Условие было одно: содержать все беспутное семейство.

Софи слегла, офицер что-то заскучал, и шпоры его уже не звучали так вызывающе звонко. Алену, за которого Алекс исправно платила долги, она простила и многое другое. Он один относился к ней с некой затаенной нежностью, как к дочери, и не давал воли рукам.

— Нам звезды не светят, — изрекал Алэн, глядя в никуда, и благоговейно подносил к губам рюмку зеленого стекла из театрального реквизита.

Наследство почти не сказалось на ее привычках. Она по-прежнему прибирала весь обширный дом. Конюх присмирел и в конце концов взял расчет. Мысль о том, что его рука тискала грудь помещицы, его изглодала. Он устремлял глаза в свою раскрытую ладонь, похожую на саперную лопатку, и подолгу ее рассматривал, поворачивая кисть так и сяк, потом раскрывал вторую и недоуменно переводил взгляд, видимо, не будучи уверен, какая именно вкусила больше счастья. Художник приходил теперь открыто и, сложив на груди руки, как Пукирев на своем известном полотне, терпеливо ждал, когда Алекс домоет пол, или, прислонясь к лестничным перилам, наблюдал суету приживалок, в которых обдуманной прихотью колониального авантюриста обратились все герои этой негероической истории. Он ни во что не вмешивался и был счастлив.

— Вот теперь можно и под венец, — неизменно говорил я, когда занавес раскатывался вниз как подол и опадал, глухо шурша. Впрочем, не было никакого занавеса.

Кое-кто, правда, дерзал морщить нос, но это были гримаски обыкновенной зависти.

— На улице полковника Бартеза подрисовали усы, а на площади Лейтенантов тоже усы и еще бороду, — говорила она художнику голосом, полным блаженства, подняв к нему детское личико. — Шутники, не правда ли?

Алэн сделал отчаянную попытку переломить свою страсть к бутылке. Он получал стол и спал в своей оскверненной опочивальне на втором этаже. Внешне его существование никак не изменилось: все тот же песочный жилет, часовая цепочка и длинный ноготь на мизинце, которым он поддевал крышку немного старомодных часов. Кроме того, он едва не совершил подвиг — выловил щенка из пруда. Но автор пьесы, предвосхищая открытия генов, был убежден, что все решается в колыбели и даже еще раньше. Это только кажется, что пара подвигов может перечеркнуть огрехи совести и природы.

Не знаю, что думал об этом Павел.

— А она-то согласится? — Я не ленился повторять свой вопрос, потому что этот главный аргумент он не брал в расчет.

— Не знаю, — отвечал Паша. — Как-то не задумывался.

Сказано это было таким тоном, будто речь зашла об опорожненной бутылке или о судьбе съеденной котлеты. Он обладал удивительным свойством: был очень спокоен при виде необходимых, но по какой-то причине недоступных вещей и, проезжая по улице, указывал на предмет, как будто знал, что обладание им уже существует где-то в секретном проекте мироздания и надо лишь набраться терпения, потому что все получишь непременно, но только в свое время. И это вожделенное оно как перезревший плод само упадет в руки.

Я уже чувствовал, что Паша наконец изобрел подарок ко дню рождения своей ненаглядной. Впрочем, он держал рот на замке, и только губы, как створки расхлябанной двери, соединенные навесным замком, приоткрывались загадочной улыбкой, которая вызвала к исключительной фантазии. Почему-то мне стало казаться, что Павел решил подарить ей несколько килограммов славы, что Стрельников все-таки написал потрясающий сценарий и написал удивительную женскую роль — специальную роль для Ксении, или для Алекс, или для маленького шрама, — какая тут разница?

Снег выпал за неделю до Нового года, укутал окаменевшую грязь и выбелил город за одну ночь. С этого дня он, прерываясь лишь ненадолго, валил уже каждый день, словно поспешал наверстать упущенное, щедро исправить последствия своего опоздания и покрыть все поверхности дев-

ственной белизной. Небо было сплошь усеяно снежинками и стало непрозрачно, в глазах рябило, было больно от света, который уже лежал повсюду — на крышах и козырьках, в складках одежды и на сутулых плечах. И город, опухший от снега, сделался мягким и живым.

Как будто ему, этому городу с нежным женским именем, бросили простыню или халат — первое, что попало под руку, — и сказали: на, прикройся.

По ночам идущий снег казался просто туманом, настолько малы были снежинки. Небо помутнело, как взбаламученная вода, и в комнатах было светло без электричества. Таинственные тени ластились к стенам, плоскости которых, чудилось, служили перегородками неравнозначных миров. Иногда, в томительные мгновения полуночи, будущее снова виделось непогрешимым и невозможным; настоящее, словно черная дыра, вбирало в себя все, и ничему конца тоже не было видно, как не бывает видно в открытом океане незнакомого берега.

Нам было еще весело вместе, но это было невеселое веселье. Придет трамвай или нет — это как будто уже не имело никакого значения. С нами было все ясно, но наша Ксюша меня удивляла. Я все смотрел на нее и думал: для чего ей все это надо? Она, однако, так самозабвенно глотала виски и водку, что я стал верить в ее сопричастность к ордену беспричинной тоски. Какая-то загадка в ней все-таки была. Про ее семью я ничего не знал, она никогда при мне об этом не говорила. Павел тоже молчал — его это не интересовало.

Иногда мы смотрели друг на друга недоумевающими глазами и думали: что нас, собственно, объединяет? Но на помощь приходил джин-тоник, или пиво, или «отверточка», и веселье, нехотя раздуваемое такими-то механиками, разгоралось с новым бессилием.

Иногда возникал режиссер Стрельников. Человек он был откровенный и вспыльчивый, и мне казалось, что ему приходится держать себя в руках. Поначалу по простоте душевной он требовал от Павла каких-то художественных умозаключений и искренне старался раскрыть перед ним закрома своих замыслов. Потом, видимо, понял: когда у человека есть деньги и он готов потратить их на постановку чужой картины, ему можно простить даже то, что он слыхом не слыхивал о томлениях несовершеннолетних графинь и сомнениях тридцатилетних флигель-адъютантов. День и ночь он думал над сценарием и постоянно жаловался.

— Время наше такое... — постанывал он. — Современность в руки не дается.

— Да, понимаю, — согласился я. — Но выход есть. Честное слово, сюжет перед вами. Да вы так и пишите: вот «новый русский» четвертой гильдии, ему кажется, что он любит актрису. Парочка хоть куда.

— Никакой я не «новый», — прервал меня Павел. — Просто Паша.

— А если нет, так подождите. Скоро увидим, чем закончится.

— Вот именно, должно же это чем-нибудь закончиться! — сказал Павел в сердцах.

— Некоторые вещи, — возразил Стрельников, — такие, например, как жизнь, никогда не заканчиваются.

— Эпическое сознание здесь плохой помощник — только навредит. Несколько поцелуев, немножко мистики, закат на Воробьевых горах, ужин в клубе, пятая скорость — и суп готов. Главное не пересолить. И будет у вас мелодрама с элементами всех родовенных жанров. Слез не хватит. Да мы с вами об этом уже говорили, — заметил я ему. — Полтора месяца назад.

Он выпятил нижнюю губу:

— В самом деле? Что-то не помню.

Павел по-прежнему обедал в своей обшарпанной столовой, не смущаясь насекомыми и бездомными. Столовая работала по своему назначению,

но там уже вовсю готовились к ремонту: у стен были свалены мешки с цементом, стояли стопки ведер, и представитель ремонтно-строительной фирмы — пожилой человек в сильно потертых джинсах — бродил с блокнотом под закопченными сводами, время от времени задирая голову вверх, и подолгу рассматривал красоты времени, обратив к серому потолку откровенно багровое лицо с фиолетовыми прожилками у носа.

Дело шло к закрытию. Зина сидела за кассой на высоком стуле с низенькой спинкой — не больше школьного учебника. Павел сказал десяток слов представителю ремонтной фирмы, потом подошел к раздаче. Зина улыбнулась грустно, у нее были красноватые глаза.

— У меня у мамы пять лет сегодня, — сказала Зина. — Помянем?

— Чего ж, — сказал Павел, зачем-то оглянулся и полез в карман.

— Есть, есть, — угадала Зина его заботу. — Все есть. Люда, посиди! — крикнула она куда-то за перегородку, и на ее место уселась девушка с черным бархатным обручем в каштановых волосах. Посетителей уже не было, и девушка читала какой-то роман в пестрой глянцевого обложке.

Мы устроились в углу. За одним столом ковырялась в тарелке бродяжка в сером оборванном армяке — это была изнанка бывшей шубы, захватанной спереди: на груди и на животе, — а еще за одним мужчина читал газету. Зина принесла водку и только что вымытые, мокрые еще стаканы. Потом сходила за огурцами. Огурцы прибыли в двухлитровой банке и отливали какой-то пепельной, дымчатой синевои.

— «Левша», — прочитал Паша название водки. — Тот самый, что ли?

— Угадал, — ответил я.

Он усмехнулся и передал бутылку Зине, и она осторожно разливала, ровняя край.

— Наша водка, тульская, — сообщила она. — Я сама оттуда. Из-под Тулы.

— Ну, царство небесное, — провозгласила она и медленно выпила. Ее полное лицо пошло красными складками, а родинка, похожая на бородавку, побелела. — Все тогда — в город, в город, а что здесь, в городе-то? До пенсии доработаю, год до пенсии остался, — сказала Зина. — Ну, не год, может, чуть побольше... У нас красиво, — мечтательно протянула она, и на ее глазах выступили слезы. — Домики деревянные, палисаднички... А что толку? Сначала в Каширу уехала, там жила три года.

— Ока широка, — сказал я негромко, припомнив один этимологический апокриф.

— Да, что говорить. — Зина посмотрела в сторону. — Ни там, ни здесь теперь, вот как, Павлик. — Опершись на локоть, она зажала рот ладонью, достала из-под передника цветастую тряпку и вытерла глаза.

Павел играл трубкой своего телефона: то покачивал на пальцах, то сжимал в кулаке, как гранату. Усик антенны гнулся, цепляясь за край стола, и, распрямляясь, туго вибрировал.

— Вот она, жизнь-то какая, — промолвила Зина и опять посмотрела в сторону, — что лучше и не жить.

Я смотрел, как бродяжка шепотью коричневых пальцев захватывала с тарелки крупички гречневого гарнира и высыпала их в рот, отверстие черной овальной дырой.

— Бери огурчики, сынок, — сказала мне Зина и подвинула банку.

Мы сидели задумавшись. Паша взялся было за бутылку, но Зина прикрыла свой стакан ладонью. На безымянном пальце у нее сидело тоненькое серебряное колечко, которое, казалось, вросло в пухлую мякоть фаланги.

— Хватит, еще кассу снимать.

Павел напоследок пнул мешок со штукатуркой, и мы спустились к машине.

— Беленькой скушали? По-онял, — ухмыльнулся Чапа, почувствовав запах водки, но никто ничего не сказал.

Мы ехали, и все эти глуповатые рекламные прелести на придорожных щитах казались мне еще более неуместными, чем когда бы то ни было. Небо, грубо задропированное тучами, тяжело серело, навалившись на самые здания и доставая до асфальта. Голые деревья вдоль улиц, их тонкие ветки выглядели просто засохшими кустами бурьяна и ничем больше.

Перед светофором образовалась пробка, выхлопные трубы выпускали сизые струи, которые рассеивались, оседая гарью на железные борта и обочины.

«Все дым, — вспомнилось мне, и я подумал: — Ах, как верно Тургенев подметил, ах, как верно!»

И еще я подумал, что пора нам переходить к Чехову.

Спустя недельку Стрельников привез нас в какой-то бездревесный переулок, перпендикулярный Чистопрудному бульвару. Мастерская чудес располагалась в кирпичном четырехэтажном доме, подновленном бежевой охрой. Надписи на двери, обшитой вагонкой, никакой не было — одно лишь переговорное устройство с кнопками, и сбоку бдил глазок видеокмеры. Рядом стоял крохотный джип, наглухо облепленный снегом. Дверь открыл мальчик и, ничего не сказав, вежливо пропустил нас внутрь. Надпись оказалась с внутренней стороны двери: ТОО «Чудо» разноцветными буквами. Буквы «о» были белыми, «ч» серой, «у» зеленой и «д» газетно-черной. Кавычки были одного цвета с «д». Мальчик закрыл дверь и проводил нас в комнату. Стены ее беспорядочно покрывали желтенькие липучие бумажки с фломастерными записями и жирными восклицательными знаками. Из мебели были только стол и два серых вертящихся кресла с букowymi подлокотниками. Настольная лампа в черном колпачке нависала с тонкого держателя, изогнутого дугой, как удочка. За столом, уткнувшись в экран компьютера, сидел молодой человек и постукивал пальцами по краю стола, как если бы играл на пианино. Короткие темные волосы аккуратно облегли его абсолютно круглую голову. Ровно подстриженная челка, разделенная на перья, закрывала лоб до половины — на древнеримский манер; на щеках лежали бакенбарды. Подбородок украшала бородка клинышком — волосок к волоску, а в мочке уха блестела маленькая неброская сережка, напоминавшая Зинино колечко. Кудесник, похожий на кота, оценивающе посматривал на Павла зелеными глазами.

— Василий Митрич! — крикнул он куда-то поверх наших голов в дверной проем. Тотчас в комнату зашел кудрявый парень в ярко-красной лайковой куртке и молча прикрепил на свободную стену карту города. Подробность карты превзошла даже мелочность «Устава внутренней и карательной службы» — здесь были отмечены деревья и парковые скамьи.

Павел долго смотрел на карту, потом его палец стал тыкаться в нее, определяя места, где должны будут зацвести и распуститься неисполнимые желания. Владелец ТОО внимательно смотрел за перемещениями пальца и в освободившиеся точки немедленно вонзал крохотные булавочки, на которых были укреплены красные флажки. Когда рекогносцировка закончилась, он сделал два шага назад и охватил взглядом всю панораму.

— Это будет стоять, — промолвил наконец он и почесал нос.

Павел только усмехнулся, взглянул на меня и отвернулся к окну. В длинные вертикальные промежутки жалюзи был виден заснеженный двор и вырастающий из клумбы растрескавшийся бетонный пионер. Откинув голову в пилотке, он самозабвенно трубил в горн. Локоть руки, что держала горн, осыпался на сгибе, и в этой язве виднелась ржавая арматура. П-ф! как будто кости могут ржаветь. Мимо подъездов, огибая клумбу, медленно двигалась спортивная машина. Из опущенного до предела водительского стекла высовывалась мужская рука в черной перчатке, на кисть был намо-

тан поводок, на поводке бежала уродливая собака с горбатой слюнявой мордой, смешно перебирая кривыми лапами.

Павел снова обратил на владельца взор, в котором появилась угрюмая красноречивость.

— Будет висеть, — заверил тот и протянул Павлу карточку с номером расчетного счета. На обратной стороне ее красовалась фамилия, написанная латинскими буквами и забранная в кавычки, как в футляре: «Polisnichenco».

Мы вышли в холл и заглянули в приоткрытую дверь следующего помещения. Комната была заставлена манекенами, наряженными в старинные костюмы, камзолы галантного века с эполетами, галунами и золотым шитьем и в феерические платья из газа и муслина и еще каких-то неведомых сказочных материалов, а в углу стояли тусклые латы и ржавый шлем с розовым султаном. Между чучелами стояли швейный станок и стол, на котором были разбросаны кое-какие выкройки. Сзади неслышно подошел Полисниченко и, благоухая одеколоном, стал за нами.

— Интересует? — спросил он.

— Может быть, — ответил Павел и отошел от двери. — Люблю приколы.

— Взаимно, — сказал Полисниченко.

Чехов лишний раз убедил Павла в том, что только актрисы достойны любви, хотя «Чайка» ему не пришлась по душе. Зато понравился «Вишневый сад» — его смотрели в нашем театре. И как назло Ксения играла Варю, и я опять подлил масла в огонь, заговорив о Чехове.

— Он сам был женат на актрисе, — сообщил я, потеряв всякую осторожность.

Павел затаенно улыбнулся. Больше всего ему потрафил образ Лопахина.

— Наконец-то, — заявил Павел. — Хоть один нормальный человек, а то все психованные.

— Надо же, — заметил Павел, выслушав Петины призывы. — Сто лет прошло, а как будто про сегодня.

— Да не сто, — сказал я угрюмо.

— Почему же он не женился? — спросил меня Павел озадаченно, и черты его лица помяла какая-то наивная растерянность.

— Не знаю, — отвечал я. — Ничего я не знаю.

И это была чистая правда.

С этих пор он прекратил свои рассуждения о женитьбе, которыми допекал меня еще недавно, и погрузился в раздумья.

Мы начали ходить на «Вишневый сад» с тем же постоянством, с которым всю осень наблюдали жизнь маленького французского городка. Сначала мне казалось, что Павел ходит ради Алекс, однако исподволь я уразумел, что есть иная цель. Да, он ходил еще и для того, чтобы увидеть, как Лопахин сделает предложение, и с тайной надеждой ждал, что в следующий раз Лопахин все-таки женится. Но Лопахин никак не хотел жениться и каждый раз убежал на двор.

— Ну что же ты, Лопахин? — трунил я, по-прежнему принимая за шутку все эти странные совпадения. Даже деревья, мимо которых нам случалось проходить, я тоже принимал за шутку.

— Куда спешить? Спешить нам некуда, — говорил Павел степенно, будто опростал самоварчик на террасе с видом на лабаз. — Все в наших руках.

Перед самым Новым годом дошла очередь и до «Арбат блюз клуба» — есть такое место для любителей поименованного вида звуков и пива «ХХ», что в переводе с образного мексиканского языка означает «Два креста». Мы сидели втроем и ждали Ксению. Где-то в зале долго и нудно раздавалась тоскливая козлиная трель радиотелефона. За соседним столиком рас-

положились двое коротко стриженных парней — то ли омовцы, то ли обыкновенные разбойники. Стиль заведения никак не соответствовал их роду занятий. Они изо всех сил старались веселиться и смотрели вокруг приветливо, но это у них плохо получалось. Час спустя подошел режиссер Стрельников, отхлебнул текилы, облизался и осторожно подышал ртом. С десяти начиналась живая музыка. Музыканты настраивали аппаратуру, гудели голоса людей, и в этот низкий гул втыкались, как перья дартса, отрывочные ноты бас-гитары. Мало-помалу звуки делались осмысленнее, слышалась тема. Один из группы приблизился к микрофону. Зал был набит уже битком, несколько человек стояли в проходе с бутылками пива в руках.

— Добрый вечер, — сказал он бесстрастно и подтянул микрофон под свой рост. — Добрый вечер. Сегодня начнем с африканского цикла...

В зале раздались приветственные возгласы.

— Только Африки нам здесь не хватало, — сказала Алла.

В красноватом сумраке подмостков подвижным пятном белела выпущенная кофта солистки.

— Почему она всегда опаздывает? — раздраженно спросил Павел. — Всегда опаздывает.

Взревели черные динамики, прожектора усердно плевались красными лучами. Свет прилипал к стенам неправильными кругами — красными и зелеными. Установка задрожала, заухала, как боевые барабаны в вечерних джунглях, и звуки, переваливаясь, зашагали по кругу в полутемной тесноте.

Стрельников заводился с полуоборота. Первые глотки выталкивали из него энергию, и он беззастенчиво поливал нас идеями и перипетиями сюжетов.

— Она наркоманка, — излагал он новую версию картины, — но она борется. Хранить это в тайне все трудней и трудней...

— Слушай, Стрельников, — спросил Павел недовольно, — чего у тебя все одни проститутки да наркоманы? Нормальных людей не осталось, что ли?

— А ты оглянись, — предложил Стрельников. — Разуай глаза.

Разуваев оглянулся, повел взглядом вверх лиц и затылков. Его глаза задержались на коротко стриженных приятелях. Один из них, убрав под стол кисти рук, закладывал патроны в обойму пистолета. Второй тоскливо смотрел на сцену, прикладываясь к пивной бутылке мокрыми чувственными губами.

— Беспредел какой-то, — сказал Павел отворачиваясь. — Кто-нибудь здесь наведет порядок когда-нибудь?

— Тебя же первого и посадят.

— Может такое быть, — равнодушно согласился он.

— Ну? — спросил Стрельников усмехаясь.

— Tell an every nation what he has done, — твердил худощавый солист. Он сгорбился над инструментом; гитара роняла звуки обманчиво небрежно, они падали точно капли дождя. Ритм подчинил себе пространство, и казалось, самые стены стоят, поддерживаемые этим стуком, неумолимым, как бег времени.

— А ты большевик, Стрельников, — зло сказал Паша, — ты большевик. Времена ему, видишь ли, не нравятся.

— Ладно, будет, — сказала Алла. — Нации имеют право на самоопределение.

— Нации... Знаем мы эти нации, — пробурчал Павел и вздохнул: — И так плохо, и так. Ладно, выпьем.

Мы выпили.

— Да нет, — возразил я неуверенно, — все хорошо. Смотрите, сколько всяких мест появилось. Тепло, уютно, сиди пей, все культурно. Не то что раньше в подьездах давились. Сейчас, наверно, «Агдам» и не купишь.

Павел подмигнул Алле.

— Я в подъездах не пила. — Длинные ресницы мягко прикрыли прекрасные обиженные глаза.

— Неу! you too, — уверяли со сцены два голоса, наложенные один на другой, — мужской и рыкающий женский.

В начале двенадцатого показала Ксюша.

— У меня есть мечта, — выпалила она с порога.

— Говори, — сказал я, — облегчи душу.

Ксюша набрала полные легкие воздуха, скрестила пальцы и сказала торжественно:

— Хочу быть Снегурочкой! Новый год будем встречать в метро.

С минуту висело молчание, мешаясь с табачным дымом, который клубился, извивался над столом голубоватыми распущенными лентами, принимая очертания тайских драконов, потом кто-то спросил:

— В каком смысле?

— На Новый год я хочу нарядиться Снегурочкой и всю ночь ходить по Москве. Разве плохо? Идти по городу и всем проходим дарить подарки, вы только представьте... Только Дед Мороз нужен.

— Интересно, — сказал Паша, бросил в рот сигарету и потянулся к свечке прикурить.

— Что ты? — испуганно вскричала Ксения и прикрыла свечку прозрачно-бледными руками. — Не знаешь, что ли? — Она смотрела на Павла округлившимися от ужаса глазами. — Нельзя от свечки прикуривать. Когда от свечки прикуривают, альпинист погибает. — Отражения белого огня, как пантомима, трепетали в ее зрачках.

— Где, в смысле, погибает? — спросил Павел. Сигарета свесилась у него изо рта, приклеившись фильтром к нижней губе.

— В горах погибает, — растолковала Ксения. — Если он в горах только.

— А-а, — протянул Павел облегченно. — Я думал, вообще погибает.

— Нет, в горах, — повторила Ксения. — Если альпинист в горах находится.

Мы молча смотрели на Ксению. Конечно, никто из нас не желал альпинистам ни гибели, ни каких-либо напастей.

— Просто не надо ничего делать, если не знаешь, — сказала Ксения. — Только и всего.

— Правильно говоришь, — сказал я. — Ничего не надо трогать. Пусть все идет как идет.

Взмокший барабанщик вскинул голые руки и обрушил вниз град ударов. Проекторы с высоты потолка пускали вниз — на столы и на пол — пучки многоцветных лучей.

Поначалу я не придал значения этой мечте, но немного инфантильная затея воплотилась быстрее, чем я закончил пятьдесят девятую страницу своего диплома. Впрочем, до беды было еще далеко: Ксения чуть слышно подпевала музыкантам и качала ногой в такт.

— No job, no money... — Певица стучала об пол толстой подошвой желтого ботинка и встряхивала проводом микрофона. Из длинных рукавов ее балахона выглядывали только кончики пальцев, как у беспризорника, забравшегося во взрослый пиджак. Во время проигрышей, когда не надо было петь, она обращала взгляд к худощавому гитаристу, и они нежно улыбались друг другу.

— Согласен, — заявил Паша. — Будем ездить по Москве и всем дарить подарки. Ты как? — Он повернулся ко мне.

— Не ездить, а именно ходить, — немедленно поправила Ксюша, — в этом весь смысл.

Соседняя компания взорвалась хохотом, одна девушка в вязаной кофточке, надетой на голое тело, отвернулась и прыснула на пол какой-то жидкостью. Мы все на нее посмотрели.

— В этих словах есть доля правды, — ответил я уклончиво.

Музыканты отыграли программу и укладывали инструменты. Случайную тишину тут же замазали звуками из колонок, замаскированных в стенах. Несколько танцевавших прошли мимо нас, покачиваясь, на свои места. Девушка в вязаной кофточке оступилась и упала бы на пол, но Паша успел подхватить ее за талию и, не поднимаясь со стула, бережно поставил на ноги. Она осмотрела каждого из нас с неопределенной улыбкой. Вероятно, у нас был такой безнадежный вид, что она сказала Паше прямо в унылые глаза:

— Что, не живется?

Девушка оглянулась, взвизгнула и вскинула обнаженную руку — она была пьяна. Ксения встала из-за стола и направилась в уборную.

— Убей альпиниста, — сказала Алла, задумчиво глядя на свечку. Голова ее лежала на ладони, далеко отставленный локоть упирался в стол, и на лбу, между бровей, лежал мертвенный восковой блик.

Павел размял сигарету, покрутив ее между пальцев, и поднес к лицу плоский подсвечник. Пятна света коснулись его лица, щеки. Кончик сигареты залез в самую середину огонька и дотронулся до фитилька. Огонек — почти матовый — сразу увеличился, раздулся. Ровное пламя обтекало сигарету, словно вода, потом зашипело и чуть заискрилось. Все мы безмолвно наблюдали, как Павел прикуривает.

Зал почти опустел. «Храброго разбойника Рунцвайса» и его поделника было уже не видеть. Кстати, их я никогда больше здесь не встречал. Может быть, их застрелили, а может, они разобрались, что вместо стриптиза угодили в филармонию. Мы продолжали тянуть лямку изнурительной скуки до самого закрытия, и чем больше пили, тем трезвее себя чувствовали. Когда сонные работники стали громоздить стулья на столы и под нашими ногами бесцеремонно загуляла какая-то не то швабра, не то щетка, отклонялись и мы. Ощущение того, что алкоголь бессилен, давило наши души холодным, ледяным ужасом.

Сивое небо не торопясь крошило легкий влажный снежок, этот хлеб зимы, как будто оно, хмурое небо, было старушкой, а мы голубями.

— Не было денег — веселья было море разлитое, — сказал Паша растерянно. — Теперь девать их некуда — тоска, скукота. Что же это такое, а? — Он посмотрел на другую сторону переулка, где в подворотне около мусорных баков шла веселая возня — две жизнерадостные девчушки валяли своего товарища в сугробе лежалого, нечистого снега.

— Скелетик ты мой, — сказал Павел, посмотрев на Ксению, и глаза его затеплились каким-то новым, незнакомым огоньком, в котором мерцали любовь и надежда. — Скелетик ты мой дорогой.

Должен сознаться, я счел «Новый год» обыкновенной болтовней и забыл о нем, тогда как эта затея неизвестно как переместилась в область самых серьезных начинаний, а завершилась глупо и, вероятно, даже не смешно.

Предчувствие праздника уже витало на улицах. Модные магазины увеличили цены вдвое, а потом объявили тридцатипроцентные скидки. На каждом шагу продавались талисманы — фигурки неких зверьков. Можно было найти любую породу, любой материал. Любимое животное человечества торжествовало свое время. Одно улыбалось, высунув розовые языки, или просто глядело весело, были и серьезные, основательные особи, в шляпах или бантах, в жилетках, под зонтиками, фарфоровые и тряпичные, и даже печальные, с грустно опущенными ушами, но все они знаменовали непремненное счастье, при этом всем до одного.

Кто-то тащил связанные по рукам и ногам елки, повсюду встречались возбужденные раскрасневшиеся дети, сжимавшие в ручонках заветные коробочки с подарками. Все они были укутаны в шубки и пухлые курточки и, похожие на нахохлившихся воробьев, важно вышагивали рядом с родителями.

Алла поехала за город навестить бабушку, но к вечеру должна была вернуться к нам. В течение дня я тоже исполнял формальности и в десять приехал в контору. И подарки, и маскарадные костюмы были приготовлены заранее. Костюмы Ксения взяла из театрального гардероба, а подарки купил Чапа. Вот только Ксения как всегда куда-то запропастилась. Павел сидел на диване в красной дохе. Перед ним на столике среди груды апельсинов высилась массивная бутылка с узким горлом, на диванчике лежали предметы реквизита.

— Надевай, — приказал он и протянул мне шубку с блестками.

— Ты с ума сошел? Где Ксюша?

В трезвом виде я не решился бы выступить в этой сомнительной роли, но бутылочка игристого помогла отложить условности. Наконец позвонила Ксения и сослалась на родителей. Мы договорились, что начиная с трех часов ночи они с Аллой будут нас ждать в «Армадилло».

В который раз весьма некстати Разуваев обнаруживал рыцарские черты. Каприз дамы сердца был для него непреложным законом, а мне отводилась скромная, но необходимая и неременная роль оруженосца. Кто знает, может быть, он боялся упреков в черствости души, а может, просто хотел иметь что рассказать в новогоднюю ночь приятным ему людям. Он испытывал жизнь на всех скоростях и в каждой находил свою прелесть.

Павел пристегнул к подбородку пушистую седую бороду и посмотрел на себя в зеркало. Я держал на руках шубку, на которую сверху он набросил русский парик с соломенного цвета косой и кокетливую шапочку-боярочку, отороченную белым кроликом.

— Ничего, раз собрались, надо идти, — приговаривал он. На капоте появилась новая бутылка и фужеры. Павел освободил содержимое от пробки, и влага, цепляясь за стеклянные стенки, протекла на сияющее железо. Павел накидал туда снега. Мы дважды выпили. Павел удовлетворенно крикнул.

— Ну вот, — сказал он, — уже в полете. Чапа, возьми у него шмотки, — нагнулся он в машину. — И в половине третьего жди на Васильевском спуске. Часок походим — и в кабачину.

Чапа ничего на это не сказал и только покачал головой; он принял через опущенное стекло мою куртку и поскорей укатил, опасаясь, видимо, что мы и его заставим таскать мешки с конфетами и детскими игрушками. Я посмотрел ему вслед с завистью.

— Зато будет что вспомнить, — успокоил меня Павел.

Итак, мне предстояло быть Снегурочкой, а поскольку я был выше ростом, то пара у нас образовалась бесподобная.

— Ах ты, девица-красавица, — произнес Павел, скептически меня оглядев, — молчи — никто не догадается.

— Это плохо закончится. — Я покачал головой и поплелся за ним, влоча свой мешок, набитый мандаринами. Мешок был не слишком тяжелый, из грубой серой ткани, — в такие обычно складывают картошку.

— А все плохо заканчивается, — ответил мне Паша. — Не замечал?

По переходу метро спешили люди. Они бежали, осыпая сводчатые стены гулками дробями шагов. Когда они убежали к поездам, на несколько минут тишина восстанавливалась и переход делался похож на обыкновенную пещеру, а потом новые поезда подвозили новых торопыжек, с надеждой устремлявшихся в переход. Преобладали разнообразно одетые молодые мужчины — они спешили поодиночке, парами и веселыми компаниями. Их возгласы звонко разлетались в разные стороны и отдавались коротким, чистым эхом. Только один никуда не спешил — он, пошатываясь, брел на просторе и, зажмуривая глаза, отхлебывал из горлышка бутылки шампанского. Эту одинокую, по-своему философскую фигуру

обогнал, кажется, весь мир. Перед нами бежали три девушки. Полы их дубленок развевались и заворачивались. У одной из них выпала перчатка, она вернулась ее подобрать, торопливо присела и, показав нам язык, со смехом бросилась дальше.

Мы вышли на платформу, заглядывая в ожидании в зияющие дыры тоннеля. Завиднелись три слепящих огня — два внизу и один чуть выше между ними. Они увеличивались, и тупое рыло вагона вынырнуло из влажной темноты. Один из машинистов приветственно махнул нам рукой, и совершенно пустой поезд с затихающим свистом проскользил вдоль серой платформы. Мимо нас гирляндой мелькали округлые окна вагонов. Только в одном из них, четвертом от головного, лицом к открывающимся дверям сидел какой-то юноша и читал толстую книгу. Это занятие поглощало его целиком. Он не оторвал глаз ни тогда, когда поезд причалил, ни тогда, когда двери со стуком сошлись и поезд, разгоняясь, отправился дальше. Я посмотрел на часы — было без двух минут двенадцать. Поезд унесся в тоннель, как будто тоннель сожрал макаронину или связку голубых сосисок. Вот это, наверное, думал я про юношу, и явила себя жизнь без мифа.

Нарочито громко шаркая по скользкому граниту, мы вышли в центр зала. Метро вымерло на глазах, в одну минуту. Нагие скамьи блестели остатками незатертого лака. Тяжелые бронзовые люстры раскачивались от сквозняка как бумажные фонарики. Всюду валялись жестяные банки, людей не было видно, если не брать в расчет томящегося усатого милиционера и молодого человека в железнодорожной форме. Ровно в двенадцать милиционер закричал «ура!» и сплющил пивную банку, наступив на нее растоптанным ботинком, а молодой человек ликующим движением воздел руку с красным кружком. Было даже немного страшно, потому что в это время в метро еще бывает полно народу.

Через четверть часа или около того снова стали показываться пассажиры — все больше целыми коллективами. Никто уже не торопился, скорее люди брели, покачивая пьяными головами и удивленно взирая на непривычно пустые пространства станций. Мы дождались очередного поезда, который оказался уже не так отчаянно безлюден, и развалились на свободных сиденьях.

На «Маяковской» две уборщицы в черных войлочных сапожках, крепко сомкнув губы, мели по пустой платформе мусор вперемешку с опилками; оранжевые цифры табло невозмутимо сменяли друг друга, накапливаясь и снова рассыпаясь в нули. Пашина красная доха отразилась в блестящих столбах и заплескала на стали размытыми багряными языками, а сам он был заметно удручен пустотой. Он даже заглянул за одну колонну, может быть, полагая, что дети или кто там ему попросту попрятались и сидят на корточках, забавляясь веселой новогодней игрой. За одной колонной и вправду оказалась живая душа — прислонившись к ней спиной и положив на колени растрепанную голову, спал перебравший мужичок. На руку был намотан ремень от сумки, дно ее блестело мокротой, и лужа, приняв причудливую форму, разлеглась в сантиметре от его седалища. В луже, похожие на льдинки, поблескивали осколки разбитой бутылки.

— Где дети? — свирепо спросил я. В вагоне мы еще выпили, и в моем голосе зазвучала мятая жесьть.

— Да, непонятно что-то, — озадаченно проговорил Паша, но его растерянность длилась не более минуты. — Нужно ехать на вокзал, — решил он. — На вокзалах всегда полно народу.

Где-то далеко, в конце зала, тоскливо и безнадежно залаяла собака, забредшая в метро и заблудившаяся в пустоте.

Ближайший к нам вокзал был Киевский. Не успели мы сойти с эскалатора, появился первый ребенок. Дородная женщина, увешанная дорож-

ной поклажей, скорее всего бабушка нашей первой жертвы, вела за руку маленькую девочку. Девочка семенила ножками, обутыми в валенки на резиновой подошве, и, казалось, спала прямо на ходу. Белый помпон на ее шапочке болтался туда-сюда, как головка хризантемы под ветром осени. Паша проворно сбросил с плеча мешок и достал подарок, упакованный в пеструю корбочку. Женщина посмотрела на него равнодушно, но потом увидела меня, и в ее глазах заметалась подозрительность. Девочка бесстрастно и машинально протянула ручку, глядя на Пашу сонными глазами. Ей, наверное, казалось, что она просто спит и видит цветной сон.

— Ничего у них не бери! — закричала бабушка и ударила девочку по рукам, но та уже крепко вцепилась в картонные ручки празднично-яркой корбочки, и ее взор прояснился упрямым сознанием.

— Мамаша, мамаша, — сказал Паша обиженно, — вы напрасно ругаетесь. Тут все самое лучшее. — Он принялся перечислять содержимое.

Женщина прикрыла девочку своим тучным корпусом.

— Да вы послушайте...

Женщина слушать ничего не желала и потащила внучку и оклунки прочь. Девочка испуганно выглядывала из-за ее спины, но конфеты из рук не отпускала. В ее любопытных глазенках словно было написано: играешь ты в жизнь или понятия не имеешь о такой забаве — разницы тут ровным счетом никакой.

Поднялся гвалт. Баба оказалась голосистая, и в пустом новогоднем пространстве звуки скандала сделались до того осязаемы, что казалось, их можно увидеть и потрогать руками. От будки контролера отделился милицкий капитан и побрел к нам, лениво поглядывая в сторону. Рядом с ним шагал сержант с автоматом на правом плече.

— Капитан Абрикосовф, — скороговоркой представился капитан и так же лениво, как и переставлял свои ноги в высоких ботинках, согнул руку и изобразил отдавание чести. — Документы, пожалуйста, молодые люди.

— Нет с собой документов, — сказал Павел. — Какие тебе документы?

— Документы на торговлю, — продолжил капитан.

— На какую еще торговлю? — возмутился Павел. — Чего надо?

— Пройдемте, я там объясню, чего надо.

— Зачем? — спросил Павел.

— Затем, что нужна лицензия, — сказал капитан.

— Ну что ты пургу какую-то гонишь, капитан?

— Пурга на улице, — недовольно отрезал капитан.

Мрачным узким коридором мы прошли в комнату. Стены на высоту человеческого роста покрывала синяя масляная краска, стоял дубовый письменный стол, на поверхности которого затертыми кляксами темнели два больших чернильных следа; на потолке трещала продолговатая неоновая лампа; вторая, прикрепленная параллельно, как пристяжная в упряжке, то силилась загореться, и рисунок вспышек был как задрожавшее веко, то потухала, превращаясь в черно-зеленую палку. Нас посадили в железную клетку напротив стола. Мой девичий наряд привлек особенное внимание младшего комсостава.

— Что, голубой? — приставал ко мне усатый сержант.

Я угрюмо молчал. Если я и не был голубым, то был по крайней мере зеленым и еще неизвестно каким от злобы, хмеля, желания спать и прочей разменной монеты крупных купюр удовольствия.

— Слышь, капитан. Позвонить надо, — сказал Паша.

— А кто тебе даст? — усмехнулся капитан.

Когда капитан куда-то вышел, Паша сунул руку под шубу и набрал номер.

— Михаил Иванович? Вынимай с кичи... В менты попали... В метро, на «Киевской». В самом метро, да. Говорят, нужна лицензия. Какая лицензия? Привези им лицензию, — усмехнулся Павел. — Две лицензии? — с недоброй улыбкой переспросил он и дал отбой.

Чем был знаменит Михаил Иванович, я не знал, но совершенно был уверен, что никто не попрется в новогоднюю ночь ради такой шпаны, какой — мне казалось — мы выступали.

Вскоре явились еще два младших сержанта и, равнодушно на нас поглядывая, расселись вокруг стола, на котором выросла бутылка шампанского. Капитан откупорил бутылку. Поползла непрременная праздничная пена, стекая на стол по черной этикетке с золотой инкрустацией. Капитан стряхнул руку, и прозрачные хлопья, рассеиваясь, полетели на пол.

— Жрать-то нечего, — неуверенно сказал один из сержантов и поправил на плече автомат. — Толик ходил — все закрыто.

— Раньше надо было думать, — крикнул второй.

— Как это нечего? — Капитан деловито огляделся и нашел глазами мешок с подарками, подвинул его к себе и запустил туда руку.

— Вообще-то нужно спрашивать, когда чужое берешь, — раздраженно заметил Павел.

— Поговори мне, — сказал капитан.

Капитан попался упрямый. Почти до утра мы сидели в клетке и безучастно взирали на то, как сотрудники управления по охране метрополитена упледали подарки, предназначенные каким-то смутным, нечетким образом Ксениной фантазии.

Чуть попозже в клетку приволокли мертвецки пьяного господина в дорогой тройке, к которой прилипло рвотное ассорти, и злобных, наглых, насквозь обкуренных подростков. Михаил Иванович долго не ехал, но все-таки приехал в сопровождении другого, как две капли воды похожего на самого Михаила Ивановича, человека. На них были расстегнутые пальто из мягкого материала и сдвинутые набок однотонные, узкие, невзрачные галстуки под серыми одинаковыми пиджаками. Оба были сильно навеселе и сыпали такого рода шутками, которые плохо запоминаются. Две минуты они «поздравляли» капитана в мрачном коридорчике, после чего тот открыл клетку, глядя исключительно на ключ. Михаил Иванович важно пожал ему руку и, запахнув свое модное пальто, пошел за нами, обдуманно переставляя ноги.

— А то поехали, — предложил он на прощание. — У нас такие девочки.

Он закатил масляные глаза и приглушенно засмеялся, обнажив поеденные желтоватые зубы.

— Спасибо, — пробурчал Паша, яростно отряхиваясь, — своих девать некуда.

На улице мелкими хлопьями шел снег. Снежинки спускались под наклоном и кружились в безветренном воздухе как хотели. Тротуары сплошь завалило, ноги оставляли в снегу длинные следы. Воздух был свеж и приятно прохладен. С посеребренных веток осыпанных снегом деревьев валились на землю рассыпчатые комья. Иллюминация отражалась в небе мутной красно-сиреневой помесью, заметной даже сквозь белесую ниспадающую завесу. Сквозь марево снегопада проглядывали надписи электрических поздравлений и мерцали разноцветные огоньки гирлянд, опутавших дома и арки мостов. Медленно ездил одинокие машины, притормаживая на занесенной дороге. В жилых домах кое-где горел еще свет, и во дворах изредка слышались запоздалые взрывы петард, на звуки которых тотчас откликались сирены автомобильных сигнализаций.

Мое раздражение начало принимать формы пустопорожного фейерверка. Слова брани я выпускал гроздьями, как затейливый салют, и они лопались с оглушительным возмущением в утомленном хлопьями воздухе первых новогодних суток.

— Дон Кихот... Инфантилизм... Днем надо было идти, а не ночью, в пустоте этой шараться.

— Это кто у нас? — невозмутимо перебил меня Паша.

— А это был такой придурок вроде тебя, — орал я, — тоже весь мир хотел облагодетельствовать. Его свиньи потом топтали.

Паша поднял руки, словно призывая в свидетели холодное небо. На самом деле он просто поправлял рубашку.

— Ты торгуешь наркотиками, — не унимался я.

— Я торгую лекарствами, — ответил он злобно, — а если всякие уроды ими травятся, то я не виноват.

— А кто виноват?! — кричал я вне себя. — Кто виноват?

Я долго еще не мог прийти в себя и рассказывал про Дон Кихота и говорил еще много нехороших слов.

— А ты зануда, — сказал Павел. — Вот не знал.

Алла с Ксенией нас, конечно, не дождалась — когда мы доползли до кабака, праздник уже закончился. Смертельно усталые официанты с синими кругами под глазами смотрели на нас, как полуживые парходные кочегары или чумазые механики на пассажиров первого класса, которым вздумалось скуки ради заглянуть в машинное отделение.

Время исторгло из моей памяти многие подробности, многие же сейчас кажутся мне незначительными, но краткие прорехи похмелья — а они безусловно случались — я посвящал тому, что срочно лепил дипломную работу, если только Паша не тащил меня, так сказать, в ночное, оставшееся в памяти вкусом и запахом какого-нибудь бодрящего напитка. Однажды город выплюнул нас, словно изжеванную, потерявшую вкус жвачку, на условный простор Подмосковья.

Мне все время мерещилась «выставка», и я долго открещивался. Однако место, куда мы попали, отличалось от «выставки» во всех смыслах. Мы ехали на дачу, где жили родители той самой девушки, которая некогда попала в неприятности на коварных склонах Большого Кавказского хребта и была от них избавлена случайностью, счастливо запланированной горноспасательной службой и принявшей облик Павла Разуваева.

Дорога заняла совсем немного времени. Справа рассыпями огней недолго блистало Крылатское, потом пошли гнутые сосны, еще дальше — громада Кардиологического центра, стоящего на семи ветрах, пост ГАИ под холмом и развязка кольцевой, похожая на гигантский калач.

Сама спасенная давно была замужем за каким-то дипломатом и жила, как это уже выяснилось, в третьей стране. Она улыбалась со стен преданной улыбкой дочери, беспечной улыбкой симпатичной девушки, сдержанной улыбкой супруги и, наконец, рафаэлевской улыбкой матери. Паша разглядывал фотографии с интересом, хотя видел их далеко не первый раз. Думаю, если бы не эти фотографии, он бы уже и не вспомнил, какова она собой.

Родители принимали его охотно и даже насильно. Они принимали его еще тогда, когда он наведывался в Москву на несколько дней за снаряжением в магазин «Альпиндустрия», а поскольку Борис Федорович сам во время оно прошел обычными тропами студенчества, собирая картофель под Можайском и вытаптывая примулы в Приэльбрусье — будь то гора Чугуш, или озеро Хуко, или Марухский перевал, — точки соприкосновения у них имелись, несмотря на случайность такого знакомства и в общем-то нелепость подобного приятельства. Когда же Павел появился в Москве с иными целями, не имея здесь интересов, кроме деловых, их уютная, спокойная семья своим расположением как будто освящала его начинания. А эти бесконечно благодарные люди, вкушающие покой, скромно поживали на свежем воздухе и в его глазах своей старомодной отрешенностью олицетворяли, по-видимому, социальные устои, к которым в конце всех концов ведут все пути. Уверен — они были для него образцом к подражанию.

— Чем занимаетесь? — весело обратился ко мне хозяин. В своей фиолетовой спортивной кофте с высоким горлом на короткой молнии он был словно вынут из шестидесятых годов, как будто сошел с черно-белого телевизионного экрана или выпрыгнул из дециметрового пространства старой фотографии.

— Историей. — С некоторых пор мне почему-то перестали нравиться подобные вопросы.

— Замечательно, — каким-то удивленным тоном произнес Борис Федорович. — Цицерон еще говорил: кто не знает истории, тот на всю жизнь остается ребенком.

— А кто ничего не знает? — спросил я.

Профессор пожал плечами.

— Таких нет, — сказал он безразлично.

Среди семейных фотографий, усеявших полстены, притягивал взгляд серенький диплом почетного члена Нью-Йоркской академии наук. По стене, противоположной той, на которой размещались фотографии, во все стороны тянулся книжный стеллаж. Паша украдкой кивал на книги и старался мне подмигнуть, как бы намекая на наше близкое с ними знакомство, но получалось у него примерно так, как перемигиваются при виде хорошенькой девушки, которая с независимым видом проходит мимо праздных приятелей, терзающих беззаботность, как цветок любвишь-нелюбишь.

— А мы, это, — сказал Паша, — литературой занимаемся.

— Хорошо, — таким же удивленным тоном одобрил Борис Федорович. — Великая литература у нас была.

— Раньше вон «Война и мир» эта — четыре тома, а сейчас все какие-то гномы, — пожаловался Паша.

Борис Федорович его не вполне понял.

— Да, уж столько понаделали, что до конца времен не перечеть, — проговорил он рассеянно, изумленно глядя куда-то на книги. Он встал, подошел к полкам и потер стекло тыльной стороной руки. — Показалось, — облегченно выдохнул он и вернулся на свой стул. — Вообще, эти Кирилл с Мефодием здорово нам напортили, надо сказать. Они и русскими-то не были. На много лет отбросили нас. Церкви-то разделились, и пошло-поехало все наперекосяк. И вера у нас неправильная, все у нас неправильное. Язык науки стороной нас обошел. Я к тому — латиницей надо было алфавит делать.

От наших речей начинало слегка повеивать прекраснодушием, тем самым следствием срединной образованности и верным спутником фарфоровой посуды, которое с роковым постоянством бросает страну под ноги обезумевших тварей, не помнящих родства.

— Да-а, искусство кончилось. — Он махнул рукой с выражением безнадежности. — В конце времен живем.

— Искусство кончилось, — заметил я, — а люди-то не кончились.

— Я вам проще скажу, — перебил профессор. — Что такое искусство, для чего оно служит? Для самосознания любого общества прежде всего. А у нас сейчас общество самых настоящих детей. Откуда же у детей качества взрослого ответственного человека? Вот вырастут детки — все у них будет. Искусство в том числе.

— Сколько же им расти?

Наш оратор только развел руками. Дальше случилось нечто такое, от чего я замолчал на долгое время и попросту не смел открыть рта.

— Как же вы называли свою малютку? — спросил Борис Федорович у Павла. — Я ведь помню, вы никак не могли имя выбрать. Выбрали?

— Машенькой называли, — застенчиво сообщил Павел.

— Очень хорошо, — сказала Евгения Семеновна и улыбнулась.

Сияя неподдельным достоинством, Павел извлек из нагрудного кармана пиджака несколько фотографий и церемонно протянул их Евгении Семеновне. Я чувствовал, что лучше мне помолчать, и во все глаза наблюдал этот необъяснимый балаган.

— Ага, ага, веселая такая девочка, — произнес хозяин, с сокровенной улыбкой рассматривая изображение. — Наша Катя тоже была такой маленькой, — с вызовом добавил он, возвращая карточки, словно мы намеревались оспорить эту неоспоримую истину.

— Неужели? — сказала Евгения Семеновна, и все сдержанно посмеялись.

— Счастье — это ощущение. Ощущение скоротечно, — почему-то произнес Борис Федорович, вероятно, ответил какому-то своему внутреннему собеседнику. Супруга бросила на него взгляд быстрый и укоризненный.

Некоторое время разговор вертелся вокруг детей. Потом каким-то образом выбрался на философскую дорожку, утрамбованную донельзя полчищами самоуверенных мудрецов. Паша тут же прикусил язык и только прислушивался, ковыряясь в своей тарелке и с тоскливой надеждой поглядывая на серый экран телевизора, которому никто и не думал давать слово. Борис Федорович установил на столе большущий электрический самовар.

— Уже секвенированы дрожжи, грамположительные бактерии, — это потрясающе! — воскликнул он и подчеркнул: — Потрясающе! О чем мы тут говорим? Структура живого вещества нам уже известна... Вы «Nature» не читаете? Почитайте.

— Можно будет любовниц разводить, — сказал я и посмотрел на Павла.

— При чем здесь любовницы? — запнулся Борис Федорович, но тут же понял и по-детски улыбнулся: — Да, и любовницы. Пожалуйста, кто хотите. Было бы желание.

— Были бы денежки, — вздохнул Павел.

Пожалуй, дом этот был одним-единственным, где он ничего не стеснялся и не опасался что-нибудь лягнуть. Между этими людьми давно уже было все решено, и отнюдь не в этих категориях ума или некоторых других дарований, которые иногда служат подпоркой низшей ступени тщеславия.

— Это безусловно. Каким-то образом породу людей улучшить будет возможно. Этим займутся, — заверил хозяин.

— Страшновато, — заметила Евгения Семеновна.

— Практика показывает, что опасения такого рода почти не оправдываются.

— Откуда вы все знаете? — спросил я улыбаясь. — Все-то вам известно.

Евгения Семеновна послала мне взгляд, в котором ясно читалось: ничего он не знает, только куражится на людях. Любит поговорить, только и всего, а вы все берете за чистую монету. Краник самовара пропускал воду, и капли с небольшими интервалами срывались на жостовский поднос и колебали лужицу, выпукло покрывавшую большой красный цветок.

— Еще не все зло свершилось в мире, — сказал Борис Федорович и уставил глаза в красный цветок. — Далеко не все. — Вымолвив это, он зябко потер свои на диво гладкие руки. Истончившаяся кожа сияла на них, отражая свет желтоватыми суставами.

— Ну довольно, — прервала мужа Евгения Семеновна и вручила ему бутылку коньяка. — Ты сейчас наговоришь.

— Поддельный, не поддельный — не знаю, — усмехнулся тот, откупоривая бутылку и рассматривая жидкость на свет.

Мы выпили по рюмочке.

— А это как же? — спросил я, поднимая глаза горе.

— Вы рассуждаете с позиции человека, а я рассуждаю с позиции обыкновенной бактерии, — сказал он несколько раздраженно. — Я вас не по-

нимаю, — добавил он и решительно мотнул головой. — Не понимаю. — Немного помолчал и вернулся к разговору: — В *это* я не верю как в фантом, — сказал он и повторил: — Как в фантом — не верю... Разве жизнь была? Каждого куста боялись, каждого ручья. Везде какие-то божки мерещились, жрать просили, жадные, наглые. Потом великое открытие евреи сделали — придумали одного бога. Великое, повторяю! Как все упростилось! Потом следующий шаг — Христос. Он всех уравнил, освободил. «Зане свободен раб, преодолевший страх». Душу освободили.

— А дальше? — спросил я.

— Знать не знаю. — Он снова пожал плечами, снял очки и принялся поглаживать подушечками пальцев красный след на переносице.

— Вот и вся любовь, — сказал Павел и вымученно улыбнулся.

— Именно. Разум ответит на все вопросы — рано или поздно. Это очевидно. Вот в это я верю, а больше ни во что. — Он отвел глаза и уставился в ковер на полу. — Там дверь закрыта? — посмотрел он на жену.

Евгения Семеновна поднялась и пошла проверить дверь.

— В конце-то двадцатого века, после Ницше, вопрос стоит так: в конечном итоге вера в бога — это вера в человека. Походили, побродили, носами потыкались — выхода нет, — говорил он, глядя ей в спину. — Хочешь не хочешь, а принимай наследство... — повторил профессор и откинулся на спинку стула. — Мысль того и гляди создаст нового бога. Если старый нехорош. Познание бесконечно — чем не бог? Вы молодые, теперь ваше время настало. Мы-то уже ничего не сможем. — Борис Федорович взглянул на меня. — Что это вы все головой качаете? — весело, со смешинкой спросил он.

— Да так. — Я все представлял, как можно будет, точно лук на грядке, выращивать себе детей, наложниц и копировать самое себя в неограниченном количестве.

— А что такое?

— Сомневаюсь, — сказал я.

— Это вы правильно делаете, — одобрил хозяин. — Сомнение и есть те дрожжи, на которых пироги восходят.

«Хороши пироги!» — подумал я.

Подали самодельный слоеный торт. О вечности больше не говорили — хвалили торт, и Евгения Семеновна показывала нам свою оранжерею и африканские фотографии. Там безраздельно царил экзотика — пальмы, бугенвиллеи и настоящие пробковые шлемы. Зять был полноватый мужчина небольшого роста. Дочка наших хозяев возвышалась над ним почти на голову копной медно-рыжих волос, склоненных набок, как султан ковья под порывом ветра.

— Кем он работает? — спросил Паша. — Все время забываю.

— В посольстве, — напомнила Евгения Семеновна и почему-то загнула.

Между тем была пора расставаться. Мы начали прощаться. Поднимаясь, Павел уронил стул. Евгения Семеновна осталась в комнатах, а хозяин, накинув фуфайку, вышел в холодную веранду посмотреть нам вслед.

Пол в сенях весь покрывали стеклянные банки с соленьями и вареньями, преломляя стеклом сочные цвета своего содержимого. У свободной бревенчатой стены стояли в распорках лыжи. Я потрогал их и украдкой приподнял, пробуя на вес.

— На лыжах нужно кататься не менее двух часов, — строго сказал профессор, заметив мой интерес. — Тогда будет толк.

Его назидательно поднятый, предостерегающий перст ласково уколол пряный и холодный воздух предбанника.

Мы забрались в машину и медленно поехали за ворота. Колеса всей тяжестью навалились на сухой снег, и он скрипел пронзительным скри-

пом. Некоторое время нам еще был виден силуэт пожилого чудака на пороге, в освещенной и насквозь прозрачной веранде, — тонкие, словно нити, рамы были похожи на паутину, а сам он — на ее создателя, вот только непонятно было, что за врагов он караулил и какими мухами питался.

— У тебя есть ребенок? — спросил я Пашу. Этот вопрос уже минут тридцать жег мне гортань, как спрятанный в кулаке окурочок.

— Какой там ребенок, откуда ему взяться? — равнодушно ответил он.

— А... — Я кивнул на карман, куда он спрятал карточки. — А фотография?

— Чужая, — тем же равнодушным тоном пояснил он.

Здесь я даже рассердился на него:

— Зачем же ты врешь?

— Так солидней, понимаешь? Семейный человек — это тебе... Солидней.

— А если они... — от удивления я запинаясь через слово, — ну, если пригласят тебя с женой?

— Приду с женой, — ответил он. — Вон их по Москве-то, жен этих. Как грязи.

— А если с ребенком? — спросил я, зная, что ответ имеется.

Он посмотрел на меня с интересом.

— А что дети, воздушные, что ли? — сказал он. — Напрокат возьму. Пошли, чего стоишь?

Когда-то я полагал, что мир круглый. Теперь я знаю, что он плоский, как блин, и бескрайний, тоже как блин (если вообразить себе бескрайний блин). Я догадываюсь, что его поддерживают четыре кита, что основы эти надежны и жертва Джордано Бруно временами кажется мне напрасной.

Джип, набывчив морду, несся к кольцевой, подминая ленту дороги и пропуская ее между широкими упругими колесами, как черную хоккейную шайбу, пущенную мощным броском. Он несся мимо постовых в оранжевых жилетах, которые понатыканы на этой лесной трассе точно подосиновики, мимо старых дач, заросших березами и липами, в которых теплились уютные огоньки, и мимо новых, поражающих своими дворцовыми размерами, застывших в голом поле бесформенными глыбами облицовочного кирпича с нелепыми башенками. Они жались друг к другу между частых перелесков, в прямоугольниках провисших железных сеток или в кольцах колючей проволоки и словно заранее защищались, хотя на них никто не нападал. Там не горел свет, а сквозные провалы дверей, окна без рам мрачно чернели, нагоняя жути; казалось, что они брошены, так как их владельцев уже нет в живых, что они валяются в кюветах с огнестрельными ранениями, и только их озябшие духи (духи не могут зябнуть, потому что они бесплотны, и я это понимаю) еще снуют среди своих недостроенных склепов, где похоронена молодость и состояния, достойные Скупого Рыцаря. Паша снова извлек свои рекламные фотографии и долго перебирал их одну за одной.

— А мне говорили, ну, люди эти, у которых фотографии эти взял, что дети, пока совсем младенцы, короче, первые три недели видят своих ангелочков и поэтому всегда в одно место смотрят. Где бы они ни были, в одно место смотрят. Может такое быть? — недоверчиво спросил он.

— Кого они видят? — не понял я.

— Ангелочков, — повторил Паша, — ангелочков своих видят. Может такое быть?

— Все может быть, — уклончиво сказал я.

— Может, — уверенно кивнул Чапа, склонив бритую голову. — Мне бабка рассказывала... У них во дворе качели были, короче... В деревне.

— Ну.

— Ну вот, этот ангел, типа, на качелях этих качался... Урод. — Последнее слово относилось к водителю встречной машины, слепившего нас дальним светом.

— А крылья были? — быстро спросил Паша.

— Были крылья, — заверил Чапа. — Все было. Все, как положено.

Мы затихли, потрясенные.

— А дальше? — сказал наконец я.

— Да бабка говорит, отошла от окна за чем-то, я уже не помню, а когда пришла, его уже и нет... Качели, говорит, качаются, а его нет.

И тут я понял, что все, доселе казавшееся бутафорией, на деле есть самая суть бытия. Я понял, чего он хочет от жизни, и понял недостижимость этой простенькой мечты. Что когда-нибудь у него тоже будет такой крепкий обжитой дом, полный книг с красивыми корешками, и пусть его рука не коснется этих сосудов мудрости, зато его дети — а дети обязательно будут — не торопясь прочтут их все до единой. Еще он купит им много всего: велосипеды, горные лыжи, акваланги — и однажды повезет на знакомое побережье. Крабы будут греться на горячих соленых камнях, а он, прищурив глаза, будет смотреть против солнца на горы, где уютится хибарка, в которой когда-то — давным-давно — грели ледяную воду, чтобы оберечь маленькое сморщенное тельце, и, возможно, заедет туда ненадолго. Это и будет его счастье, зыбкое, как весенний ручей, прочное, как элеватор. И родит этих детей актриса небольшого роста, которую будут любить много блестящих мужчин, а она будет любить только его одного.

В первый день весны, как некогда царь-освободитель, рухнул брат. Его расстреляли у входа в Новороссийское пароходство, — так об этом сообщили по телефону, и сразу после этого в контору стали прибывать хорошо одетые мужчины с сосредоточенными лицами. Тротуар был перегорожен дорогами автомобилями, подкрылки которых облепил бурый снег московских мостовых. Брат и впрямь был значительной фигурой в известных кругах — о его гибели написали многие газеты, а «Коммерсант-Daily» снабдил свою заметку жуткой фотографией. В газетах писали о крупных партиях медикаментов, которые проходили таможенную очистку в черноморских портах по до смешного заниженной стоимости и прочее в таком же духе. Павел улетел на похороны и отсутствовал тринадцать дней, а я, оставшись со своими Рюриками, гнал к концу дипломную работу.

Мы встречались с Аллой, два раза ходили в кино, и вместе с Ксюшей ночь напролет просидели в «Осадке», возмещая ей укромное Пашино молчание. Ксюша была необыкновенно оживлена и болтала без умолку. Зрачки казались шире, чем обычно, кожа на лице побелела и посерела. В облике ее проглядывала рвущаяся наружу истерика. Она быстро и бестолково несла какую-то чушь и вдруг заплакала, глядя на нас. Плечи ее жалобно опустились, грудь впала, но голова осталась прямой. Так она и сидела, переводя с Аллы на меня и обратно затравленный взгляд, поскуливая и судорожно всхлипывая.

— Что ты? Что ты? — испуганно забормотала Алла.

Смотрела Ксюша как-то жалко, как неприкаянный шенок, такое выражение я видел у нее впервые. Она даже и не смотрела, а как будто выглядывала сама из себя, из своей оболочки. В лице ее не было ни кровинки, и скулы пошли серыми пятнами, на коже проступила мелкая красная сыпь. Нам это было очень странно, потому что она почти не пила. На нас с интересом стали поглядывать из-за других столиков. Служащий в белой рубашке, на которой болталась именная карточка, остановился поодаль и тоже наблюдал за нами. Алла принялась отпаивать Ксюшу минеральной водой.

Мы отвезли ее домой на такси. В машине она молчала, забившись в угол, съжившись и уткнувшись носом в подтянутые к лицу колени. Из-

редка она всхлипывала с клокотанием. Рука Аллы лежала у нее на спине. Свет фонарей на мгновение выхватывал из мрака и спину и руку, лежавшую на ней, и рука становилась бело-голубой, как конечность лунного пришельца.

Павел объявился в пятницу, разукрашенный парфюмерией усталости. Особенной скорби я в нем не заметил, хотя, возможно, плохо смотрел.

— Пойдем сегодня в театр, — предложил он.

Мне уже давно осточертел и театр, и спектакль, и его нерешительность, и все на свете, но последние обстоятельства были таковы, что надо было соглашаться.

Мы наскоро выпили коньяку и отправились на «Белорусскую» за цветами.

— Еще хочу, — решил Павел.

Мы зашли в кафе и взяли по сто граммов «Наири». В углу, оседлав металлические стулья, галдели азербайджанцы в мешковатых кожаных куртках и ондатровых шапках.

— Да, братишка-то мой... — задумчиво проговорил он, глотая коньяк и безучастно смотря на азербайджанцев. — Зато пожил, — добавил он и затушил недокуренную сигарету, вывернув из нее алый заострившийся кончик. — Зелень он запрятал где-то на участке, точно знаю. Когда на охоту приезжал в последний раз. Точно знаю... Весь дом перерыл — не нашел. — Он посмотрел в пепельницу, черным краем окурка поддел подернувшийся пеплом уголек и снова раскурил сигарету. — Кстати, хотел спросить... Что это за дом красный такой на Красной площади? С башенками. — Он положил сигарету в углубление пепельницы.

— Исторический музей, — сказал я невеселым голосом. — А ты почему спрашиваешь?

— Да так, — неопределенно ответил он. — Просто все забываю спросить.

Дым тлеющей сигареты шел вверх и вдруг как будто приседал, а потом струя опять распрямлялась и вытягивалась голубой ленточкой. В своей стране мы все еще были туристами. Так некогда дорийцы — будущие Периклы и Праксители, — отойдя от костров, шатались с факелами по сожженному Кноссу и тупо пялились на яркие стены дворца, лаская животными взглядами нежные, умашенные перси придворных гурий.

Мы пробирались между ведер, из которых торчали пучки роз, мимо запотевших стеклянных ящиков, где тлели свечки, и продавцы заступали нам дорогу, нахваливая свои цветы.

— Не нравятся мне эти розы, — поморщился он. — Неживые они какие-то.

— Может быть, ей нравятся, — предположил я.

— Может быть, — равнодушно согласился он, но поиски не прекратил.

Одна старуха никак не хотела от нас отставать и ковыляла, то и дело заступая дорогу и размахивая каким-то мокрым венником в хрустящей кружевной обертке. Цветы казались пластмассовыми.

— Вы их наркотой накачаете, — сказал он, — их и не довезешь — все осыплются. Бутоны мне найди. Чтоб стояли. — Он сжал кулак и поднял локоть.

От таких речей старуха только сокрушенно качала головой, задумчиво глядя на локоть, и даже не пыталась отвести обвинения.

— Ну что, есть бутоны? — еще раз спросил Паша.

Под ногами хлюпала слякоть. Нежданная оттепель разразилась в придачу дождем, который загнал нас в машину. Там мы и сидели, пока старуха, укрывши курткой свою кавказскую серебряную седину, бегала от па-

латки к палатке в поисках желтых бутонов. Вода змеилась по стеклам, «дворники» как удивленные брови взлетали на лобовом стекле и вместе с дождем сползали к капоту.

— А этот, как его... Ферт? Фет? Что написал? — спросил Павел.

— Стихи писал.

— Тоже про любовь?

— А про что же тебе еще? — Я не был расположен к диалогам и думал о своем.

— Мало ли... — неуверенно протянул Павел.

— Достаточно, — строго перебил его я и продолжил заученным афоризмом: — Любовь и смерть — вот два предмета, достойные искусства. Остальное — не наше это дело. Живешь — и живи. Может быть и хуже.

Снова появилась старуха, кутая в газету букет.

— Только красный, сынок, — сообщила она, — красный. Посмотри, какой — красный. — Она откинула газету, и мы увидели пучок широких листьев, среди которых пропадали тугие зеленые головки, и я никак не мог понять, откуда известно, что тюльпаны будут «красный».

Паша пересчитал стебли, встряхнул букет, проверяя на прочность тугие зеленоватые у оснований головки, помычал и добавил еще мелкую бумажку. Женщина спрятала деньги куда-то в завалы груди.

— На счастье, — услышали мы непременно торговую присказку.

Паша трижды сплюнул, недружелюбно покосившись на удаляющуюся торговку, и подвел итог:

— Вот эти будут стоять.

— Если распустятся, — зачем-то сказал я.

— Куда денутся? — сказал он и еще раз придирчиво осмотрел букет.

В театре царила невиданная суматоха. Я вспомнил, что в переулке ждала карета «Скорой помощи», и перед глазами возник шофер в клетчатой кепке, прикрывшийся газетным разворотом. Дверь в зал была открыта, зрители стояли группами и переговаривались с озабоченными лицами, тут же, смешавшись с ними, топтались актеры в до боли знакомых костюмах. На двух сдвинутых столах лежала наша Ксюша, и над ней колдовал, склонив плешивую круглую голову, серьезный, мрачный доктор с круглыми, как у пойманной рыбы, выпученными глазами.

Мы протиснулись поближе и уставились в бледное ее лицо. Вокруг царила тревожная тишина, словно прелюдия новых несчастий. Переговаривались напряженным шепотом, и я слышал, как одна претенциозно одетая дама безнадежных лет для тех целей, которые преследовал ее наряд, поясняла другой, видимо подруге:

— Передозировка, Нитуля, это когда наркотика слишком много. Но здесь не в этом дело.

— Что это такое? — не понимала та.

— Что-то вроде отравления.

Какой-то парень, стоявший возле, недружелюбно покосился на подруг.

— Какая же это передозировка? — пробурчал он оскорбленно. — Уж не говорите, если не знаете.

Где-то рядом несколько раз чиркнула спичка, и потянуло табачным дымом.

— Перестаньте курить, — не оборачиваясь тут же сказал доктор.

Произошло короткое волнение, в результате которого сигарета была потушена. Послышались шики и смешки, а откуда-то из коридоров прибывали, оповещенные, новые зрители.

— Алекс, Алекс, — весьма театрально звал ее какой-то юноша, может быть, влюбленный, а может быть, просто поклонник, хотя, видимо, все поклонники влюблены хронически и сами не знают, как отделить одну от другой две вялые страсти. Юноша носил длинные волосы, забранные в ко-

сичку, и почему-то держал свою косичку в кулаке, заведя правую руку за голову.

Режиссер Настя стояла сбоку и смотрела на него не мигая. Павел тоже взглянул на юношу ревниво и презрительно.

— Алекс, Алекс, — бормотал юноша, повернувшись к Насте. Косичка его тряслась.

— А может... — не очень уверенно предположила она неизвестно что, отошла в угол и заплакала. Прибежала какая-то девчушка в чешках, заглянула, сказала «ой» и выскочила.

Через пару минут Ксюшу вынесли на носилках. Рядом семенил санитар и в поднятой руке высоко держал колбу капельницы.

Паша положил букет на освободившийся стол. Там же на столе лежала упаковка от лекарства. Он поднял ее и с интересом разглядывал, потом бросил в урну.

— Эх, ребята, ребята, — с досадой сказал врач, не обращаясь ни к кому в отдельности, — куда же вы смотрите?

Мимо нас, опустив лицо, проскользнула санитарка. Врач, присев к столу и сдвинув букет, быстро и размашисто что-то писал в тетради, похожей на амбулаторную карту. Его рассеянный взгляд зацепился за фотографический портрет Станиславского в узкой латунной рамке и повис на нем. Он махнул рукой, перехватил свой металлический чемоданчик и стал спускаться по лестнице. Паша вдруг подошел к урне, вытащил упаковку и еще раз ее осмотрел — с той стороны, где выбит номер партии.

— Надо же, — усмехнулся он с непонятной мне гордостью, — моим травятся.

Через пару минут мы все оказались внизу. Павел стоял у самых дверей, которые были распахнуты настежь и прижаты обломком кирпича, чтобы прошли носилки, и страдальчески смотрел на улицу. Кончик его начищенного ботинка обдала розовая пыльца кирпичной крошки, и кафельная плитка пола была утоптана слабо-багряными очертаниями следов.

— Родителям надо позвонить, — сказал я.

— Да сказали, звонили уже, — проговорила Настя, поежилась и задрожала плечами.

Мы отправились вслед за машиной «Скорой помощи», около Каменного моста потеряли ее из виду, потом нагнали на Люсиновской и к больнице приехали первыми.

— Чего теперь делать-то? — спросил Павел, когда носилки с Ксенией внесли в здание.

— Переживать, — сказал я.

— Не уходи, — попросил Павел. — Посидим. Что-то мне не по себе.

Мы выехали из переулка на Суворовский, проехали надломленными бульварами и в поисках ночного магазина свернули на Тверскую. Прохожих было уже мало, закрытые магазины высвечивали тусклыми витринами, зато вдоль улицы и в переулках, как тараканы в дурно устроенном доме, гнездовьями стояли проститутки. Их крашенные волосы желтели в темноте.

Было промозгло и сыро, хрипло свистящие машины шумно бросали на тротуар ровные фонтаны бурой воды, похожие на вывороченную плугом землю, и они медленно сползали по коническим основаниям фонарей. Фонари, как погубленные цветы, устало созерцали жизнь улицы, роняя продолговатые головки ламп с высоты стройных металлических стеблей. К обочине привалился милицейский автобус, набитый, точно бродячими собаками, молодыми женщинами всех мастей. Двери его были открыты, внутри было темно и тихо. Рядом стоял огромный белый плоский «ford» с синей полосой по борту и тремя мигалками на крыше и прогуливался сержант в бронежилете и с автоматом.

— Да ничего не будет, — сказал вдруг Павел. — Вон, Юра этот с гера слезал — целую пачку сожрал. Только потек весь, и всех делов. — В его голосе сквозила нарочитая беспечность, и чувствовалось, что сам он хорошо это понимал.

Когда мы выходили из магазина, нам пришлось обойти девушку, извивавшуюся в руках милиционеров. Двое тащили ее за руки, а она оседала всем телом и терлась задом об асфальт. Около метался щуплый капитан с рацией и распорядился, размахивая свободной рукой. Прохожие испуганно шарахались и жались к стене дома, где был книжный магазин, и стремились поскорее миновать это действо. Книги, установленные в витрине на наклонных полочках, названиями наружу, лежали будто в шезлонгах, лениво поглядывая, что делается на свежем воздухе. Одна из них называлась так: «Жизнь и нравы насекомых».

К нам прибилась какая-то девушка — она подошла откуда-то сзади и втиснулась между мной и Пашей, судорожно вцепившись нам под локти холодными руками. Ее тень на блестящем асфальте соединилась с нашими под зыбкими штрихами мокрых отражений.

— Можно я с вами здесь пройду до угла? — забормотала она, стреляя глазами по сторонам — туда, где молодую женщину уже несли на руках, лоя ее брыкающиеся полные ноги.

— Сережа-а! — закричала та визгливо, и крик закружился и погиб в стремительном свисте несущихся мимо машин.

Наша новая знакомая заметно продрогла. Ноги ее путались в длиннющей черной юбке, распоротой до бедра по ночной моде, и несколько раз она оступалась, подворачивая высокий каблук, и проваливалась на внешнюю сторону щиколотки.

— Можно не до угла, — сказал Паша.

Девушка слабо улыбнулась, благодаря, но продолжала внимательно следить за улицей, водя глазами, широко раскрытыми испугом и косметикой. Так мы и подошли к машине — втроем.

— А где твои? — спросил Паша, имея в виду сутенеров. — Ты одна, что ли?

— Одна, — сказала девушка и поежилась. — Санта, — кокетливо представилась она Чапе, протянув ему заочеченную ладонь. Ладонки он, правда, не принял и грубо промямлил:

— Ты что, не русская?

— Почему не русская? — удивилась «Санта», — я русская. Из Белоруссии.

— Из Белоруссии, — повторил Чапа и включил зажигание.

«Санта» уселась между нами на заднем сиденье. Немного поколебавшись, она снова взяла нас под руки.

— У вас поесть найдется? — неожиданно спросила она.

— Поищем, — усмехнулся Паша. — Ну что, куда поедем?

— У меня сосед, — напомнил я.

— Понятно, — кивнул Паша, и автомобиль покатило в контору.

В конторе мы вывалили из пакетов снедь, грубо сервировали наш стол, смахнули с водки пробку и наскоро выпили. Чапа не составил нам компании и умчался по своим делам. Девушка сидела смирно и старательно делала вид, что подобная обстановка для нее дело привычное. Разве только картина, около которой электрик не так давно организовал изящную подсветку, ее немного смущала. Она все время на нее смотрела; сначала ненадолго вскидывала глаза, а потом уставилась прямо и открыто ее разглядывала. Вполне возможно, что картина-то действительно была здесь в ее глазах единственная невидаль.

— А эта картина у вас...

— Старая, — не без гордости сообщил Павел. — Ей сто лет.

— Девяносто семь, — уточнил я.

«Санта» не сводила с картины зачарованных глаз.

— Смотри ты, — протянула она восхищенно и взяла бутерброд, — а ведь совсем как новая.

Пальцы несли след давнишнего ухода, а ногти пестрели облупившимся лаком. Глядя на картину, она быстро съела три бутерброда, потом подумала и взяла еще один.

— Выпьешь? — спросил Павел.

«Санта» решительно кивнула.

— А я никогда на море не была, — сказала она и спросила тут же: — Где ванна?

Спустя несколько минут она возникла, белея обнаженным телом. Я поперхнулся и перестал жевать, а она победоносно улыбалась. Один из передних зубов у нее был короче остальных и другого цвета — прозрачно-серого. От пудры ее лицо казалось расплывчатым пятном, как маска, и было светлее туловища и даже белее кожи на груди.

— Ты б оделась, — искоса взглянув на нее, заметил Паша. — Простудишься.

— Да? — спросила она не очень уверенно.

— Точно тебе говорю, — подтвердил Паша и налил еще.

Она оделась и закурила.

— Ну что, Санта, — спросил Паша, — как жизнь?

Пашина простота невольно располагала к доверительным беседам.

— Квартиру снимаем. С подружкой.

— А дома чем занималась?

— На швейной фабрике работала после училища. Девчонки поехали, и я с ними. А что там сидеть-то? — каким-то обиженным тоном сказала она. — Ничего не высидишь. Все бегут, кто может, разбегаются.

— Сколько тебе годов? — спросил Паша.

Я с любопытством ждал, что-то она на это скажет, но она, не усмотрев в таком вопросе ничего неприличного или оскорбительного, просто ответила:

— Девятнадцать.

Наверно, она просто не знала, что это для кого-то может быть оскорбительным.

— Солидно, — заметил Павел.

Она надула губки и объявила:

— Между прочим, я на квартиру коплю!

— Много накопила? — по-деловому осведомился Паша.

— Две тысячи уже накопила, — доверчиво сообщила Санта.

Паша неопределенно покивал и разлил остатки первой бутылки.

Санта выпила еще две рюмки и быстро опьянела.

— Можно я у вас посплю? — попросила она и посмотрела на диван.

— Спи, — разрешил Паша. — Кто не дает?

Она снова сняла сапоги, поправила прическу и положила голову на валик, потом приподнялась, дотянулась до сумочки и, виновато улыбаясь, пристроила ее себе под голову.

— Надо же, — она озабоченно потерла зеленоватый синяк на ноге, — в приличном доме не разденешься.

Мы сочувственно покивали. То ли у нее были железные нервы, то ли она устала до одури, но через несколько минут она действительно спала.

— Гляди, гляди, как распускаются. — Паша показал на тюльпаны, стоявшие у ней в изголовье, на столике рядом с диваном. Бутоны набухли, как нарывы, и увеличились по крайней мере вдвое, а кончики зеленых лепестков, пока еще слипшиеся, осторожно покраснели.

— Эх, пропадет мой дом, — проговорил Павел с досадой. — Пропадет. Если в доме не жить, любой пропадает. Это не я придумал — проверено. Сейчас вот был — зарастает все. А... — Он махнул рукой.

— Продай, — предложил я.

— Что у меня, денег нет? Нельзя его продавать. Родину как продашь?

— Как-то можно, наверное, — сказал я.

— Да он не стоит ничего, — спохватился Павел. — Вон, пиджак мой дороже стоит, отвечаю.

«Санта» пошевелилась во сне и пробормотала что-то невнятное. Мы стали говорить тише.

— Пропадет дом, — повторил он громким шепотом, — жалко, прадед строил.

Я покосился на букет. Бутоны уже чуть приоткрылись — нежно, не смело, как губы для поцелуя.

— Знаешь, — сказал Паша, — раньше я думал, что я все могу. А теперь я вижу, что могу только то, что могут деньги. — Он посмотрел на цветы. — Что там в твоих книгах об этом написано? Мне страшно, — добавил он после продолжительного молчания, а я не без горечи подумал, что это первый шаг к обретению интеллигентности. И это была единственная стоящая фраза за всю долгую ночь.

Я тоже смотрел на цветы. Теперь зеленый цвет остался только у оснований, в тех местах, где заканчивались стебли и откуда вырастали чашечки. Концы разлепились, разошлись, расправились, как надутые ветром паруса, легкие, воздушные; тяжелые, сочные листья изогнулись в куртуазном поклоне и разлеглись на столе.

Сквозь короткий сон я слышал, как в кабинете долго звонил телефон, и слышал, как Павел говорил что-то в свою миниатюрную трубочку.

«Санта» проснулась в половине восьмого и долго приходила в себя, хлопая тяжелыми от косметики ресницами и восстанавливая в памяти события прошедшей ночи. Сначала она испуганно села на диванчике, подтянув под себя ноги, потом встряхнула головой и спустила ноги на пол, поставив ступни на голенище сапога. Павел сидел в кресле, прикрыв лицо ладонью. Я приготовил кофе.

Павел тяжело поднялся, подошел к сейфу и достал три пачки плотной бумаги, перетянутые банковскими лентами. Потом вернулся и прибавил еще одну.

— Держи, — он протянул деньги «Санте», — купи себе квартиру.

Она смотрела на него не мигая.

— Бери, — сказал он и сам закинул в приоткрытую сумочку. — Что ты должна сделать? — спросил он.

— Куплю квартиру, — выдавила из себя девушка.

— Не забудь, — он усмехнулся, — Санта.

Девушка достала тюбик с помадой, но краситься почему-то не стала.

— Меня Света зовут, — тихо сообщила она.

— Ну ладно, подруга, — сказал Паша, — тебе пора.

Она кивнула и стала собираться, трогая свои вещи дрожащими руками. Она никак не могла натянуть сапог на левую ногу и рвала колготки, так что по ляжке побежали стрелки.

— Постой, — спохватился Паша, вытащил из вазы свои тюльпаны и стряхнул на пол воду со стеблей. — На.

Девушка испуганно посмотрела на меня и взяла цветы, причем выронила сумочку.

— Ну что ты? — недовольно сказал Паша, поднял сумочку и сунул ей под прижатый локоть.

— До свиданья, — проговорила она деревянным голосом.

Несколько минут в одних рубашках мы стояли под козырьком. За ночь здорово подморозило, и прямо перед нами с него свисали тонкие желтоватые сосульки.

— Поедем заберем дуру эту, — сказал Павел, не изменив положения головы и по-прежнему глядя прямо перед собой. — После обеда выписывают, звонил туда в шесть.

— Что, — спросил я, — покупаешь?

Он ничего не ответил; повел, разминаясь, плечами и поднял голову еще выше, задрав небритый подбородок.

Уже наступило утро, небо просветлело, обещая ясный день. Красный цвет с едва различимым оранжевым оттенком переходил в сиреневый, как бывает в морозные зимние утра. Тревожные звуки пробуждения бесцеремонно трогали слух. Одиноким пустой троллейбус гнал по улице. Дворник колот лед и скребком счищал его потрескавшуюся скорлупу, обнажая промерзший асфальт. «Санта», слегка балансируя, прошла по этой дорожке, стараясь наступать на расчищенное место, и ни разу не оглянулась. Она шла как по минному полю или ожидая выстрела в спину, которую держала неестественно прямо, как кукла, а букет несла прямо перед собой двумя руками, словно древко штандарта. Мы видели, как она дошла до станции метро. Буква «М» еще догорала, бледно алея над отверстием, которое, точно пылесос песчинки, всасывало в свою утробу серые фигурки смурых невыспавшихся людей.

Холод загнал нас обратно в помещение.

— Вообще-то они вытаскивают, даже после героина вытаскивают, — уже вечером, когда все было кончено и мы уже обо всем знали, говорила мне по телефону Настя, — и здесь все было как обычно, только не то укололи. Сестры не было... Я не знаю. Так получилось... — В трубке послышались рыдания.

Самолет еще висел в воздухе, и я был в самолете и еще созерцал верхнюю сторону облаков, невидимую с земли изнанку, монотонно и уныло простиравшуюся докуда хватает взгляда и напоминавшую снеговые поля Арктики. На бежевой шторке иллюминатора, прямо над выступом ручки, было нацарапано, наверное, ножиком: «Просто Паша». Стюардессы двинулись по салону, заученно улыбаясь, толкая перед собой дюралевый столик, уставленный бутылочками и железными цветастыми банками с яркими надписями. Мои соседки-девицы с интересом взглянули на столик и выбрали фисташки, упакованные в хрустящие пакетики. Звонкие щелчки орешков, шелест пакетиков и легких скорлупок подчеркивал пристойную тишину полета. Где-то впереди захныкал годовалый ребенок.

Мне действительно чудилось, что чем выше мы поднимаемся к небу, чем большую высоту оставляем под собой, тем ниже спускается бог, чтобы умереть нелепо и бессмысленно, как умирают доверчивые животные. Он ходит где-то там, внизу, среди чересполосицы ересей и сект и воинственных религий. И мы вдруг с ужасом понимаем, что мир — эта прекрасная и «чудно устроенная» ойкумена света и чистоты — отдан нам безраздельно, что мы вступаем в наследство неподготовленными, едва усвоив череду уроков, надеяться больше не на кого — все в наших руках, а руки эти дрожат.

В моей жизни это была первая смерть, если не считать петуха, которому отрубили голову, когда мне было восемь лет, случайно раздавленных муравьев да запланированной массовой гибели тараканов. Да, и еще у нас в части повесился ефрейтор. Он был литовец, огромного роста, суровый и мощный — настоящий гигант. Прыгал он всегда первым, как самый тяжелый. Его литовская девушка прислала письмо, в котором было написано, что выходит за другого. Кто бы мог подумать, что гиганты способны вешаться от любви. Он висел в каптерке на парашютной стропе: голова набок, изо рта вылезает кончик фиолетового языка, как будто черники наелся; здорово тогда забегало наше начальство. А мы, помню, все никак не могли взять в толк, как можно вешаться из-за такой ерунды.

После точки, так грубо поставленной малышкой Алекс, точки, расплывшейся в безобразную кляксу, в моих делах образовалось место для не менее значительного многоточия. Многих людей, которые встречались мне в жизни, я запомнил благодаря тем фразам, которыми они меня дарили. Точнее, в памяти оставались сами фразы, а люди запомнились как приложение к этим фразам, как говорящие куклы, хотя они не были куклами. Вот и режиссер Стрельников как-то утверждал: дни наши таковы, что трудно сделать шаг — так и стоишь с занесенной ногой, пока кто-то не избавит от самих себя и не вернет жизнь, не поцелует первым в застывшие, заколдованные уста. Все время кажется, что не следует спешить, что не все еще сделаны дела, не все готово, что, может быть, завтра и случится с нами что-то необыкновенное — нечто, ради чего мы живем на свете, вынося на своих плечах бесконечный бред будней и громогласный абсурд праздников.

А завтра — это уже сегодня. Уже вчера.

Мы встретились с Аллой, и я уже знал, что произойдет, не знал только, как это будет.

Мы брели по улице с непокрытыми головами. Ночь выдалась замечательная, уютная ночь. Деревья намокли, их почерневшие стволы источали сияние, набухшие влагой ветки держали на весу россыпи переливающихся отражений, и крупные капли срывались с ветвей с глухим шумом.

В проеме двух домов светлела церковь. Мы сошли с дорожки и пошли напрямик по газону, где местами еще белел хрусткий, слежавшийся снег. Каблуки проваливались в мягкую землю, вдавливая пряди черной погнувшейся травы. На стене церкви висела мраморная доска, гладкие шляпки ее заклепок сочились отраженным светом.

— «Александр Васильевич Суворов являлся прихожанином этого святого храма», — читал я по складам надпись с мраморной доски.

Мы обменялись безмолвными взглядами. Не было ни машин, ни людей, мы были одни.

— Посмотри, как пусто! — воскликнула Алла и остановилась на дороге.

Широкий перекресток блестел под фонарями выпуклым мокрым асфальтом. Мигал светофор, роняя вниз, нам под ноги, то багровые, то зеленые мазки света, которые сверкали, как блики на складках начищенного голенища. До весны было еще далеко, но ожидание уже влилось в потеплевший, ласковый воздух. Оставалось ждать и нам, а это всегда самое невозможное. Возле светились утопленные в камень окна какого-то кафе под железным козырьком — таких теперь в Москве полно. Полуподвальные окна на цыпочках смотрели на бульвар, по которому уже никто не ходил. Мы вошли.

За одним столиком шумели и спорили о чем-то кашемировые мальчишки, за другими тихонько переговаривались парочки. На металлическом держателе беззвучно мерцал телевизор, звук его был приглушен. На экране мелькали планы пожилых мужчин в галстуках и темных костюмах на фоне компьютерных континентов, и мужчины эти отвечали на вопросы подтянутых деловых женщин в розовом и голубом. В углу картинка висел незнакомый логотип. Беззвучно растягивались рты, произнося диалоги важных политических бесед. У женщин рты казались больше, их накрашенные губы легко гнулись, принимая форму отсутствующих слов. Было это где-то очень далеко, на каком-то краю земли.

— Пиво и апельсиновый сок, — сказал я официанту. Тот записал и собрался уже идти.

— У вас водка есть? — спросила Алла неожиданно.

Официант посмотрел на нее, на меня.

— Как не быть? — сказал он и чуть заметно улыбнулся.

Откуда-то возник черноволосый красавец в белоснежном пиджаке, с гитарой на широком ремне из мягкой желтой кожи, соблазняя посетите-

лей хорошо забытыми ямскими радостями. Кто-то польстился, и он воркующим голосом спел про луну, про коней, бегущих по зимней дороге, и про тоску, затаившуюся под шубами седоков, — все это в роковом созвучии с септаккордом менталитета.

— Ты знаешь, — заговорила она, склонившись над вазочкой, — когда я училась в школе, к нам в девятый класс перевелся мальчишка и сразу в меня влюбился. Жил он где-то далеко, я никогда не была у него дома. Почему? Обычно он приезжал к восьми и бросал льдышку в окно. Напротив было австрийское посольство. Он говорил мне, что все постовые его узнавали и даже из будки не выходили. На выпускной вечер он подарил мне двадцать три розы. Почему двадцать три? Наверное, денег хватило только на двадцать три. Я знала, что не люблю его. Так мне казалось. Приятно было, вот и все. Смешной такой мальчишка... Потом его забрали на войну — помнишь, в Афганистане тогда шла война — и там убили. Я об этом узнала через год или полтора, уже не помню. Одноклассник рассказал. Что я почувствовала? Да ничего. Нет, страшно, конечно. Ужас какой-то.

Черноокий певец появился вновь, стреляя хитрыми, внимательными глазами. «Вьется ласточка сизокрылая под окном моим под косящатым... — спел он. Никого больше не осталось, но до закрытия было далеко. — Есть у ласточки тепло гнездышко».

— Потом я весело жила. Столько было парней, все такие интересные. Они так все классно умели делать. Любить, например. — Она усмехнулась и коротко взглянула на меня. — Все были такие умные, современные. Только со всеми я чувствовала себя одинокой, хотя их я как бы любила, а с ним я никогда не чувствовала себя одинокой, хотя его не любила... Наверное, это и есть любовь... Помню выпускной — коньяк под столом пили, прятались, а то — сказала директриса — аттестат не выдадут, если кого пьяным заметят. Мальчишки-то все равно напились. Всю ночь мы с ним таскались по Москве: он со мной, а я с этим букетом. И ночь и утро. Помню, у меня так каблуки стучали в тишине... Солнце такое было... Птицы на бульварах пели как сумасшедшие. Поливалки ездили, облили нас. Мы с ним ходили до обеда. Потом все утро на лестнице в подъезде просидели. Все не могли никак разойтись... Потом отец мой поднимался, и я пошла. А там у нас дом рядом ремонтировали, через переулок. Он только до него дошел и стал мочиться там в углу — терпел, наверное, всю ночь, стеснялся сказать, а здесь уже не выдержал. Глупость какая-то. Я из окна смотрела, у меня как раз окно на это место выходило. Как-то так смешно было. Смешно... Надо же, я ездила тогда в зимний лагерь, на лыжах кататься. Я даже помню такое слово — леспромхоз. Леспромхоз, — сказала она, прислушиваясь к своему голосу. — Мы все тогда были другие, не такие, как сейчас. А розы тогда были по рублю, — задумчиво проговорила она.

Я было хотел спросить, почему она мне все это рассказывает, но, в общем, сообразил и, к счастью, удержался.

— У меня дома есть выпускная фотография. Большая такая, они у всех есть, там весь класс и учителя в таких кружочках, в овалах. Так вот, смотрю я на него и думаю, что его должны были убить... Мы ценили благородство, чувствовали его красоту. А сейчас мы видим, что в нем одна красота, а смысла в нем нет, и поэтому оно ничего не может. А нашему времени нужен смысл, потому что красоты достаточно в любые времена.

Я не был на той войне, и меня не убивали. Мало того, в меня даже никто никогда не стрелял. Но отчего-то в ту минуту мне было очень нехорошо, и я желал одного — лежать на горячих камнях в долине, где лопочет шустрая студеная речка, в застиранной до белизны, выжженной солнцем солдатской куртке и отражать остекленевшими глазами густую синеву высокогорья.

Но это прошло.

В марте знакомые предложили мне работу — в том самом журнале, о котором уже говорилось, — и я променял время на деньги. Работы было много, была она скучновата; я долго не мог решить, выгоден ли этот обмен. Наши с Разуваевым занятия становились все реже и мало-помалу прекратились совсем.

Удивительно было другое — равнодушие овладевало им постепенно, несмотря на то что имелись веские причины для одного решительного поворота. Еще до смерти Ксюши он уже тяготился своим бессмысленным капризом. Неприятности, вызванные гибелью брата, тоже доходили не вдруг, а с искажением опоздания, как свет далекой звезды. В эти подробности я был едва посвящен. Началось с того, что он перестал появляться в своей конторе и пропадал неделями. Алла на работу уже не ходила — да и без того мы почти не виделись. Однажды она сказала мне, что Павел взял у нее в долг. Это было уже совсем непонятно.

А затем началось, как принято говорить, падение.

— Ты мозги ему запудрил своими балетами, — твердил хмурый Чапа, целомудренный, как пуританин.

Сначала я и сам так думал. Стремление подражать миру в его безумствах то и дело рождает интеллектуальных чудовищ, у которых вместо сердца — камни, что же еще! — а вместо нервов — ровные, рваные строки чужих откровений.

Мы с Чапой ждали Павла. Машина стояла возле офиса горохового «атамана» на Сретенке — между двумя домами прямо напротив детской площадки. Мои глаза нехотя скользили по деревянным истуканам, протравленным огнем, карабкались по острой крыше избушки, путались в грубоватой резьбе наличников.

— Мочить нас скоро будут, — равнодушно сказал Чапа, посмотрел, прищурившись, на лобовое стекло, вышел из машины и долго тер его бежевой тряпкой, разрисованной желтыми утятами с голубыми носами.

— Почему мочить? — спросил я.

— Потому, — зло ответил Чапа. — Меньше знаешь — спишь крепче. Так или нет?

— Наверное, так.

Самодовольное искусство! Самодовольный дурак! Говорю это с той скандальной прямоотой, с какой, если верить нашим летописям, Святослав объявлял войну соседним народам. Искусство потрясает — но и только, и этот ветер никогда не дует долго. Чем сильнее порыв, тем он скоротечнее; даже листья с деревьев ветер снимает только осенью, а летом они остаются на своих местах, дожидаясь своего часа и недовольно уворачиваясь от его нетерпеливых, жадных, невидимых рук. Искусство способно изменить только жизнь художника, да и то в худшую сторону.

— Что же это, а? — рассудил я вслух. — Искусство бессильно изменить мир, страдание не очищает... Как же мы живем?

Чапа посмотрел на меня исподлобья, pokrutil пальцем у виска и отвернулся. Рядом на площадке играли дети. К нам долетали их звонкие голоса, слегка приглушенные послеобеденным солнцем:

— На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, а ты кто будешь такой?

Нет ни добра, ни зла, все равно нам осталось лишь медленное время — тяжелое, неповоротливое, как раствор в бетономешалке, и там барахтаемся мы — то ли червяки, то ли просто кусочки щебня.

Дети еще раз задали свой мудрый, извечный вопрос и рассыпались со смехом, как упавшие монеты, в разные стороны. Появился Павел, мы сели в машину и поехали из переулка. Павел казался мрачнее тучи и молча рассматривал свои ногти, прогнув кисти рук.

— Что будешь делать? — спросил я его. Отвернувшись, я смотрел, как с боков подплывают автомобили, заключая наш погоревший лицей в самую сердцевину пробки.

— Что-нибудь придумаю. — Он недобро усмехнулся, и они с Чапой хмуро переглянулись.

Они довезли меня до работы — бывшего школьного здания с рдеющей черепичной крышей.

— Ну ладно, — закончил Паша, — я тебя сам найду.

Чапа резко затормозил.

— Пошел! — крикнул Паша.

Я попрощался с обоими и шагнул в лужу, в которой таяли мелкие снежинки — последние случайные снежинки этой зимы — и где, словно желток протухшего яйца, болталось отражение фонарной лампы. Парадная дверь была оборудована оригинальной ручкой, исполненной в виде протянутой для рукопожатия бронзовой руки. Я взялся за эту холодную кисть, ощутив холодное пожатие нового времени, которое словно остужало тепло наших ладоней.

Мой рабочий стол помещался у окна, занимавшего две трети стены. Начало весны выдалось особенно мутным — туман владел улицей каждый день, я видел ее безлюдный кусок, а когда темнело, в тумане оставался какой-то свещящийся треугольник, которому трудно подобрать сравнение.

— А вот интересный материал, — однажды сказал редактор и бросил мне на клавиатуру компьютера свернутую газету. — Новая мода. Это что-то новенькое. Какой у нас это номер?.. Седьмое, сентябрь. Черт возьми, это по-нашему. Погоди, — он схватил газету, — когда это было-то?

— Осенью, надо полагать, — предположил я. Мне почему-то вспомнился коммерческий волшебник Полисниченко, его зеленые глаза, которые огульно одобряли какие ни есть сумасбродства и даже нетитулованные заваливающие шалости.

— Да, правильно, — редактор озадаченно поджал губы. Было видно, что думает он совершенно о другом и мысли его далеко. — Вот про таких надо писать. Жалко, что это уже было. Они, конечно, с ума сходят, но, с другой стороны... В общем, лучше так, чем никак.

— Не горюй, — ответил я рекламным лозунгом, — все еще будет.

— Нет, жизнь — это все-таки жизнь, — произнес он восхищенно и даже прищелкнул языком. — Богаче любой фантазии. Правильно я говорю?

На подоконнике верещала магнитола. Бодрый голос радиоведущего наставлял, как бороться с сантехниками, и гости студии все до одного поддельно возмущались бытовым рэкетом; потом были куски какой-то передачи о войне: «А у нас были моряки, — говорила женщина, — они все такие были рослые, здоровые мужчины, и они мне говорили, ну как ты нас потащишь, такая маленькая, брось, ползи назад...» Я слушал и никак не мог представить себе эту женщину, а видел другое — белые обожженные города, жаркое солнце юга. А потом кто-то перестроил частоту и поймал конец популярной песенки, и музыкальный ведущий сказал нарочито ломаным баритоном: «Земля по-прежнему вьертится, и всье идет хорошо», и это — несмотря ни на что — было похоже на правду.

Иногда мне случалось проезжать мимо конторы. Смешной козырек и окна занимали свои места по-прежнему, но отчего-то казалось, что у них есть уже новый хозяин. Вывеска, правда, оставалась все та же. Интересно, думал я, куда делась картина, море... Однажды вечером я заметил коричневое пятно света, как бывает тогда, когда включена не люстра, а настольная лампа, поставленная в глубине помещения. Я выскочил из троллейбуса и долго жал кнопку звонка, пока на пороге не появился мужчина в камуфляже, перетянутый офицерским ремнем, на котором висела кобура. Он стер дрему с заспанного лица широкой ладонью и, недоверчиво на меня поглядывая, сообщил, что теперь здесь будет отделение банка, а о прежнем владельце ему ничего не известно. Все телефоны, в том числе и сокровенный сотовый, молчали как обрезанные, и даже «мобильная» девуш-

ка, нежным голосом сообщавшая, что «абонент временно недоступен», больше не откликалась на мои сигналы. И мне все чаще являлась мысль, что абонент в этом мире перестал быть доступен вообще.

Алла уехала в Лондон — я ее не провожал. День этот жил тихо, тоскливо. Один раз она позвонила — меня дома не было, и с ней разговаривал сосед. Он сказал, что звонок был междугородний, однако она ничего не передала и не оставила своего номера.

Весну я провел со стойким ощущением одиночества, таким же стойким, как запах паркетного лака. А это приходило в противоречие с аксиомой рублевского затворника, согласно которой ощущения скоротечны. Город шелушился грязным снегом, мокрыми хрупкими льдинками, отстававшими от асфальта, обертками от мороженого, шоколадными фантиками, не подверженными гниению, и расползшимися пачками от сигарет.

Центр быстро просох, весенний ветер весело его шупал, запуская пальцы в самые потаенные норы. Но на окраинах еще долго бежали ручьи, и мальчишки, перепачканные теплой землей, как и двадцать лет назад, устраивали запруды из веток и щебня, а шумные, крикливые девочки мелочными камешками рисовали на асфальте дворов решетки классиков, в которых, как лица неумелых портретов, улыбались разноцветные цифры. Из жирного и сверкающего под солнцем бурого суглинка выползали к свету желтые одуванчики и неровно становились на хилых мохнатых стебельках; следом полезла трава, одну за одной прикрывая плечи газонов и полян сочной изумрудной порослью.

Тополь клейким, дурманящим ароматом помогал нашим надеждам и мечтам, год от года все более несмелым, все менее решительным.

Я все еще ждал звонка, а может быть, и двух, однако телефон оживал совсем другими голосами, желаниями и приветами. Дважды звонил режиссер Стрельников в надежде разыскать Павла.

— А что, телевизор включается? — не удержался я.

— Телевизор? А-а, телевизор. Да-да, — пробормотал он, а потом сказал: — Да тут такое творится... — и повесил трубку.

Прошрое и будущее еще существовало, обирая одно другое, но самого времени не становилось все чаще, потому что настоящее — это как раз все остальное. Их колеи никогда не пересекаются, они идут рядом, даже если тянутся, тянутся бесконечно, за пределы беспомощного зрения. Как согрешил создатель, какой мир разрушил, когда вздумал сочинить наш, какие возводил напраслины, кого топил в мутной жиже колебаний?

Сутулые вопросы окружали меня плотным кольцом; мне казалось, что прохожие зрят их во плоти и оборачиваются мне вслед. Шагая после работы по вечерним улицам, я следовал среди них, точно знаменитость, окруженная журналистами, и значки, невинные значки, которыми обозначаемы их на письме, распахнули свои пасти, совсем как «лютые звери» скандинавских древностей, и застыли так навечно, навсегда.

Последний раз я увидел Павла в первых числах мая. Он заметно похудел и осунулся. Я увидел, что он завел себе портмоне, чего раньше за ним не водилось. В одежде бросалась в глаза безразличная неопрятность. Воротник голубой рубашки на сгибе темнел от грязи, а на пиджаке нахальные пятна неизвестного происхождения мозолили даже непредвзятый глаз.

Я проводил его в комнату. Увидев лист писчей бумаги, торчавший в машинке, он усмехнулся, будто припомнив что-то смешное, и щелкнул по нему пальцем.

В течение часа мы пили церемониальный чай, заваривая его прямо в чашках и перекусывая зубами угодившие в рот разбухшие чаинки. Разговор крутился вокруг его дел, большей частью мне непонятных.

Он называл имена разных могущественных людей, среди которых даже памятный Михаил Иванович мог сойти всего-то за подмастерье, но все

эти слова были призваны убедить не столько меня, сколько его самого. Он был не из тех, кто сдается без боя, и даже поверженный, едва ли стал бы просить пощады, однако мне все это больше напоминало ущербные заклинания. Видимо, без брата и без денег он действительно мало что мог.

Еще раз я обратил внимание, что выглядел он очень усталым. Его движения были какие-то неохотные, оживали только отдельные части тела — туловище при этом хранило судорожный покой.

— На дне, — пошутил он и показал мне коробку, плотно заклеенную широкими лентами скотча, взял ножницы и освободил крышку. В коробке, завернутый в известную мне тряпку с уточками, покоился укороченный автомат Калашникова — тоже предмет знакомый. С такими мы служили. Павел бережно, как грудное дитя, взял его на руки. — Игрушечка! — восхищенно сказал он и погладил цевье пальцами, чуть дрожавшими от благоговения, словно то была нежная, шелковистая щека дорогого человека. — Покажу тебе, чтобы ты знал. Пусть у тебя полежит пока.

— Что все-таки происходит? — спросил я.

— Уже все произошло, — ответил он нехотя. О своих делах он никогда не любил говорить определенно. — Да, что деньги — барахло, — проворчал он старчески. — Скоро новые наживу. Кстати, тут этот режиссер... — Он достал из портмоне визитную карточку и протянул мне. — Я ему денег обещал. В общем, ты позвони, скажи что-нибудь. Что-нибудь успокоительное... Ты-то кино не собираешься снимать?

— А мне-то зачем? Я ведь не режиссер, — усмехнулся я и вспомнил выражение «бывший скульптор».

В это время я запрягивал коробку с оружием в груды книг, чихая от немилосердной пыли.

— Едешь? — спросил Павел.

Мне нужно было в университет, и я начал переодеваться. В половине четвертого я закрыл окно, вытряхнул в мусоропровод содержимое пепельницы, и мы пошли к лифту. Когда дверь подъезда за нами захлопнулась, я обнаружил, что оставил дома сигареты.

— Дай закурить, — попросил я.

— Бросил, — сказал Павел. — Пойди купи. Я пока развернусь. — Он мотнул головой в сторону киоска на противоположной стороне улицы.

На тротуаре, чуть завалясь, стояла его машина.

— Сам пока езжу, — буркнул он и звякнул ключами. — Все меня бросили.

Когда я засовывал в карман сдачу — голубую, серую от грязи сторублевку, ветхую, как рубище, проклятый фантик упрощения культуры, — я услышал звук заработавшего мотора, а когда повернулся, то услышал и взрыв. Лужа, прибившаяся к бордюру, вспыхнула оранжевым пламенем, так рекламируют газированную воду — фонтан густого цвета, кажется, прольется с экрана телевизора и затопит комнату праздничными волнами.

Секунду спустя мне под ноги плюхнулся альбом — один из тех, что валялись в машине. Это было собрание репродукций картин Нестерова, с отроком Варфоломеем на обложке. Стоит под пасмурным небом пастушок, узда волочится по траве, и смотрит под черный куколь, а безымянный старец открывает ему светлые и страшные тайны бытия, — кто ее не знает? Капли попали отроку на чело, как будто облака, затянувшие картинное небо, выдавили наконец первый знак дождя. Плохо понимая, что делаю, я нагнулся и выхватил его из лужи и стал вытирать носовым платком коричневые капли грязной воды. Я сделал это так быстро, что альбом почти не пострадал — жирный глянец обложки не пустил воду, и только несколько внутренних листов намокли по краю.

Вытаскивать Пашу мне помогал какой-то мужчина, которого я совершенно не замечал. Ног уже не было, было подобие улыбки, если я правильно понял. Краем глаза я видел, как на другой стороне улицы какой-то

прохожий поднял с тротуара альбом, повертел его и сунул в хозяйственную сумку, точно пустую бутылку.

«Ничего-ничего», — пробормотал бы Павел свою излюбленную скороговорку, но он уже не мог.

Когда мы положили его на тротуар, я наконец обратил внимание на своего помощника. Он оказался совсем стариком и был сильно под хмельком. Его куцый плащ образца семидесятого года оттопыривался, и что-то, может быть, бутылка, ему мешало. То и дело он хватался за это место, полы плаща расходились, и мне становились видны замусоленные награжденные колодки, наколотые на пиджаке. Такие плащи часто встречались раньше у заводских проходных или в пивных самообслуживания, где угощали бледным разбавленным пивом, которое наливали в пустые молочные пакеты, и солеными сушками, крепкими, как камешки.

Стали притормаживать едущие мимо машины, я видел повернутые блины любопытных лиц. Одна даже остановилась, из нее вышел водитель и остался смотреть, положив предплечья на ребро открытой дверцы.

— Где телефон? — спросил я. Голос у меня был сухой, хриплый, а губы покрылись противной солоноватой коркой.

— Позвонили, позвонили уже, — замахали руками продавщицы, вышедшие наружу и белевшие в дверях своими халатами.

Я никак не мог сообразить, зачем на пиджаке наколоты медали, почему-то это меня удивляло. Я вспомнил, что скоро девятое мая. Потом еще что-то противно заблелю, совсем рядом.

В конце концов я сообразил, что это звуки сотового телефона, и увидел маленькую черную трубочку, завалившуюся под колесо и продолжавшую исправно служить по своему назначению как ни в чем не бывало. Было непонятно, почему он уцелел среди всего этого. Я не знал, как его отключить, и стал бить его об асфальт, пока он не замолчал.

— Все, — сказал вдруг старик.

Помню, я хотел что-то спросить, возмутиться, опротестовать, но слова не озвучивались, и я смотрел, как он, растопырив короткие пальцы с толстыми заскорузлыми ногтями, просто, как жалюзи, опустил Пашины веки.

— Накрыть бы надо, — намекнул он, недовольно задирая голову на придвинувшихся вплотную людей. Я сбросил плащ и накинул его на тело.

Показалась «скорая» и встала на благоразумном расстоянии от изуродованной машины. Оттуда выпрыгнули врачи и поспешили ко мне быстрым шагом. Я был весь заляпан кровью, так что им немудрено было ошибиться.

Следом вышел и водитель поглядеть на происшествие, и они с медсестрой о чем-то переговаривались. Водитель что-то ей показывал, размахивая руками. Видно, он реконструировал несчастье, а она, в свою очередь, объясняла ему причины смерти, как они звучат на языке медиков. Я рассеянно ловил обрывки этого разговора, купированного посторонними шурами.

— Болевой шок, — это по крайней мере я услышал отчетливо.

Руки мои блуждали по карманам в поисках сигарет, но сигареты почему-то никак не находились, и руки опять и опять врывались в темные внутренности карманов, выворачивая их наружу, как при рвоте, — оттуда вываливались какие-то бумажки с записями, табачные крошки, и все это падало в лужу, посыпая радужные разводы машинного масла и мои ботинки, стоявшие там же, посреди всего.

Машина нехотя догорала, распространяя острый запах сожженной синтетики — запах, похожий на тот, который излучала горевшая на «выставке» актуальная урна. Было похоже, что снимают кино, вот только камеры нигде не было видно. Я сидел на бордюрном камне и тупо смотрел, как пламя поедало нашу универсальную антологию, и воды пейзажей не тушили пожара, а его питали. Я смотрел, как корчились в нечистом огне обнаженные

коры и курсы, как, обожженные, исчезали города и деревни, как огонь безжалостными гримасами срывал ткани с богородиц и терзал нежную плоть божественных младенцев. Потом уже я увидел свой плащ, застывший широкими складками в причудливом положении чуть поодаль, там, где его бросили санитары, и подумал, что сигареты, наверное, в плаще.

Рядом со мной остановились два подростка и стали смотреть пожар.

— Класная тачка, — сказал один. — Только жрет много. Нечего в городе на такой делать. Зато в гору прет и прет, мне Прохор говорил, зверь, чума. У него у дядьки такая. Он ее в Крылатском гробит. Прет и прет.

Опять задрезжал сигнал радиотелефона, лежавшего под колесом на выпуклой спинке, брюшком кверху, на котором белели щегольские пуговицы кнопок.

— Прикинь, — сказал другой.

Потом я дремал в бессилии, опустив расхлябанный столик, и на него положил руки, а сверху положил голову. Внешние впечатления наплывали преходящими волнами и, сплетаясь с химерами сна, отнимали друг у друга формы и сущности, создавая мнимую бессмыслицу. Дюралевый столик вновь катился по проходу между кресел сам собою. Некоторые из этих кресел занимали неизвестные животные, ряженные людьми. Скорлупки фисташек кружились, как лепестки отцветающей японской вишни. Самолет пролагал свой путь в безбрежном пространстве того самого цвета, с которым людское воображение связывает чистоту снега и оперенья небесных посланцев.

Было дело, я наглотался дымом аквитанской анаши. Мой собеседник говорил по-французски, я по-русски — мы понимали один другого с полуслова. Потом мне захотелось лаять, и я залаял. Лаял не я, потому что лай восходил по гортани и извергался помимо воли и сознания. Я лаял упоенно, а собеседник смотрел в сторону остекленевшими глазами, ослепленный собственным озарением, и дрожала ликующая мысль — наконец я стал самим собой, «без аннексий и контрибуций». Этот дар надо было беречь, но у меня не получилось.

Едва ощутимый вибрирующий гул двигателей проникал извне в солнечную тишину салона. Где-то впереди хныкал ребенок, а потом ненадолго затих и жалобно заплакал, словно предчувствуя что-то ужасное, никем не поправимое. Возможно, чья-то неосторожная, разнузданная мысль, быть может, моя, прервала его покойный сон, и перед ним, как цепь колодезного барабана, размотались картины грядущего существования, и ведро повисло в гнетущей пустоте. Он плакал так безысходно, как будто навсегда прощался с чем-то таким, что несоизмеримо важнее его самого, проницая череду периодов, а в конце узрел какую-то неземную несправедливость, которой нет названия в человеческих языках. В последний раз так плакала Ксения. Девочка или мальчик? — думал я и скорбел за эту искорку родной жизни. Маленький мой, хороший, бормотал я сквозь дрему, не плачь, не надо плакать, все мы летим в этом самолете, и снова летел в пропасть — черную внутри, белую, как саван, снаружи.

И в этот, и в последующие дни рождались дети, а те, что уже были, старились ровно на один день. Дети ничего не понимали и испуганно смотрели на склонявшихся над ними, и глазенки их лезли из орбит, когда зеленый кал извергался в специальные прокладки, не пропускающие влагу. Солнце било им в глаза, как взрослым, но они не привыкли к солнцу, и их сморщенные веки сопротивлялись его лучам. Детям было неудобно, и они засыпали, надолго проваливаясь туда, откуда являлись.

Говорят, были еще и гномы. Это маленький трудолюбивый народ. Он живет глубоко, в самых недрах земли. Там не бывает дней и ночей, и в глубокие расщелины этих пространств никогда не проникает мерцающее сияние бесконечно далеких светил, нежная ласка зари. Их удел — корич-

невый мрак. Свои жизни эти гномы проводят у раскаленных горнов, щурясь от трепещущего жара алых углей. Лица гномов угрюмы, но не злы. Они кромсают породу острыми молоточками, они добывают золото. Они хотят накопить много золота и купить солнце.

Что-то я слышал и еще, но это уже сказки.

А на заводах, в душевой тишине, пахнущей машинным маслом, убивали крыс. Они пищали, сбивались в стаи, подпрыгивали высоко и разбегались, оставляя аккуратные следы крошечных лапок в бурой ворсистой пыли промышленных помещений. А потом выглядывали из укрытий злыми, хитрыми и умными желтыми глазами. Тусклые лампы освещали крыс и людей густым желто-коричневым светом. Свет попадал на их студенистые зрачки, свет падал ржавыми пятнами на прутья арматуры, сваренные друг с другом невыносимыми, жаркими поцелуями сварочных аппаратов.

Мне было двадцать с лишним лет.

Многого я уже не понимал.

Целый день коридор квартиры был битком набит серым сукном милицейских одежд, среди которых поблескивали очки невозмутимого моего соседа. В их обрезанных сверху стеклах отразилось чье-то воспоминание, обернувшееся юродивым криком: «Не принимайте близко к сердцу, старина, она обязательно изменит свое решение... все образуется... старина», но мой собеседник неподвижно лежал в бассейне на надувном матрасе, к которому прилипли осенние листья, и был уже безучастен к нашим стенаниям. Три дня я приходил в себя, хотя это выражение толком ничего не выражает. Еще дважды меня вызывали в прокуратуру, к следователю. К счастью или, наоборот, к несчастью, я не мог сообщить ему ничего, кроме того, что рассказываю на этих страницах. Обыска у меня никто не делал и автомат никто не нашел. Он еще долго лежал у меня на антресолях под гнутой рамой велосипеда «Школьник».

— В рубашке родился, — сказал мне следователь. Он был коренастый и кривоногий, как кавалерист, и вместо «класть» говорил «ложить».

В последний раз я возвращался от следователя на метро. Позже всех в вагон зашел мужчина, остановился посередине и спустил с плеча сумку, набитую газетами и журналами. Дождавшись, когда все рассядутся, он громко начал свою работу:

— Минуточку внимания, уважаемые, — произнес он громко, — вас приветствует пресса «Совершенно секретно».

Сказав это, он поднял руку, в которой веером торчали несколько журналов.

— Не приобретаю этот журнал, уважаемые, — тарабанил он с деланным превосходством, — вы не узнаете, какие вот такие замечательные открытия, которые изучили ученые... — На нем были старые, нечищенные офицерские полуботинки, давно принявшие форму ноги, и на носках подошва отставала черными щелями.

Молчаливые люди сидели рядами друг против друга, как дремлющие парашютисты на скамейках самолета в ожидании выброски.

— ...вас ждут встречи со звездами музыки, кино, а также с семьей Майкла Джексона. — Он немного заикался и слова выговаривал не без труда.

«Уважаемые» солидарно и сосредоточенно молчали. Некоторые смотрели на девушку с обложки, которая лучезарно улыбалась всем подряд как самым близким и дорогим людям. Почему-то было очень странно смотреть, как эта блестящая ухоженная красавица так лучезарно и обещающе улыбается этим утомленным и небогато одетым людям.

Домой меня ноги не несли, и я проехал еще две остановки, тупо наблюдая, как закрываются двери и заходят новые люди. Поднявшись наверх, я побрел в знакомый двор. Окна пустой квартиры непроницаемыми

прямоугольниками смотрели во двор. Я огляделся — двор был пуст, только у помятых мусорных контейнеров какой-то грязно одетый человек рылся в баке, вытаскивал оттуда куски проводов и сматывал их в клубок. Я посмотрел еще и увидел песочницу. Возле на качелях чуть боком сидела старушка. Рядом, у железной стойки, стояла ее палка с коричневой пластмассовой рукоятью. Качели мерно, как маятник, ходили туда-сюда. Это было так необычно, что мне казалось, она непременно должна смутиться и замешкаться. Но ничего не случилось. Старушка смотрела прямо на меня, а я шел вперед, и чем ближе подходил, тем лучше видел ее глаза в сетке глубоких морщин — безмятежные, прозрачные, как у девочки, наполненные пастельным цветом, совсем не ярким, но светоносным и живым. Ее невозмутимость привела меня в рассеяние. Глаза ее смотрели как-то невиданно спокойно, как с иконы, с какой-то легкой, необижающей доброй насмешкой, так что казалось, она знает про меня все-все и знает все, что творится за пределами этого тихого уголка по воле сильных и деятельных мужчин и женщин, желающих жить сегодня, сейчас.

Качели скрипели в пересохших уключинах, металлический звук, тонкий как проволока, разносился по площадке. За ее спиной в проеме строений и железных гаражей искрилось заходящее солнце, слепя и играя длинными лучами в молодой зелени листвы, и обнимало ее плечи в теплой кофте и овал головы золотистой мохеровой каймой.

Я присел на лавку около песочницы и закурил, стараясь не волновать ее своим вниманием. Качели раскачивались все так же размеренно, она наслаждалась движением, не прилагая усилий и не поворачивая головы. Минут через десять она встала с сиденья. Опираясь на свою палку, прихрамывая, она медленно прошла через двор к крайнему подъезду в самом углу дома. Правая нога ей плохо повиновалась. Качели еще раскачивались, раз от раза теряя размах, их звуки делались все короче и прекратились вовсе.

Уже исчезло солнце, кусок неба между домами почти побелел, загорелся ненадолго одноцветной краской, без света, и потух, а я все сидел, закапывая палочкой окурки в плотно сбитый грунт и наблюдая, как медленно сходит розовая краска заката. Я сидел уже так однажды — это было давно. Даже двор был похож на тот — исчезнувший безвозвратно. И площадка, и старые деревья, и качели, и вечер весной, в самом конце учебного года. Тогда я был влюблен, и все было впереди, навсегда.

Наверное, я ждал, что вот сейчас из арки выйдет та девочка, на ней будет синяя школьная юбка и синий пиджачок, а под ним белая блузка с выбитым воротником. Она увидит меня и спросит, давно ли я здесь сижу. Мы поднимемся на чердак и выйдем на крышу, и все окажется таким, каким казалось. Сверху нам будут видны другие крыши, и будет видно, как плывет над городом зарево заката, а еще дальше — красные башни и белую колокольню, с которой Наполеон утащил золотой крест, и еще какой-то причудливых очертаний силуэт, о котором никто толком не знает, что это такое. И с этих высот нам откроется не только наш город — будет виден весь мир — огромный, прекрасный и загадочный, с синими морями, долинами, плоскими и нежными издалека, и голубыми горами, в складках которых незнакомые люди отсчитывают свое время, и откроется такая же жизнь, полная всяких чудес, длинная, как кругосветное путешествие.

Может быть, мы увидим не все, но будем знать, что где-то там, за чертой воображения, разбросаны в степях курганы и селения в зеленых подушках садов, над которыми уже гаснет солнце, дрожат фонарями маленькие городишки и неправильной формы большие города, опутанные бинтами дорог. А между ними сверкают извивы полированных рельсов, и стрелки, как туго стянутые портупей, как пулеметные ленты, врезаются в поверхность неизведанной земли, и недовольно гудят, ворчат паровозы на

разъездах, под строгими семафорами. Бакенщики зажигают огни на далеких реках, пилоты на полпути спускаются отдохнуть на безвестные аэродромы и пьют кофе у высоких круглых столов экономными глотками, глядя сквозь стекло уснувших аэропортов, как на взлетной полосе ветер шевелит серую траву. Их самолеты — белые птицы — отдыхают в темноте, широко разбросав тонкие изогнутые крылья. А за ними, в полях, черные деревни едва восстают из черной земли, и пилоты не видят этих деревень.

Вот как это было — «Сказка королей», потому что все было в наших руках.

Листья дворовых кленов в сумерках соединились, слились и нависли над песочницей темными опахалами. Над аркой вспыхнул желтый фонарик в толстой мутной зарешеченной колбе, и свет потек по бугристым стенам вдоль трещин к неровному асфальту. То тут, то там стали зажигаться окна квартир. Из мрака возникли люстры и абажуры, пестрые квадраты ковров и картин, углы мебели и кое-где — цветы на подоконниках, как узники, приникшие к похолодевшим стеклам. Я сидел во дворе до тех пор, пока не подъехала самая поздняя машина. Она остановилась и стала с горящими габаритами. Около машины показался «бывший скульптор» и его друг, они, переругиваясь, выволокли из нее мраморную глыбу. Навалив ее на две крепкие сучковатые палки, они взялись за концы и, пригибаясь, потащили ее в подъезд. Лохматый Савка закрутился у них под ногами, повизгивая от восторга, а скульптор топал ногой, отгоняя, чтобы не раздавить. Его приятель-капитан шел последним. Несколько секунд в проеме белела его майка, натянувшаяся на напряженной мускулистой спине, а потом проем потемнел и дверь, увлекаемая пружиной, медленно захлопнулась, как будто обложка книги с хорошим концом.

В полдень следующего дня у меня зазвонил телефон. Я надеялся, что это Чапа, но это был отнюдь не он. Кто-то незнакомый сухо поставил в известность о дне и месте похорон.

— Если кого еще знаете, тоже зовите, — сказали мне.

— Кто это говорит? — закричал я.

— Я это говорю. — На том конце усмехнулись и положили трубку.

Я подумал, что тоже нужно кому-то позвонить, но звонить, в общем-то, было некому. Потом я вспомнил о профессоре-генетике, однако телефона его не знали ни Чапа, ни я.

В назначенный час у центрального входа на Востряковское кладбище я застал несколько легковых автомобилей и черный гробовоз. Недалеко от них курили с десяток молодых людей, среди них был и Чапа, и даже торговец горохом со сломанным носом. Скоро на дороге, делящей кладбище на два погоста, появилась сошедшая с автобуса Зина. Из машины извлекли медную урну, и мы потихоньку понесли ее по пустынной дорожке, по обе стороны усаженной пихтами с махровыми ветвями. Остальные, сдерживая шаг, шли следом, некоторые держали в руках ведра с розами и охапки гвоздик пролетарского окраса.

День выдался солнечный, светлый — остатки облаков истаивали высоко в небе, расползались на клочки, как на глазах ветшающие полотнища. Ветер, разбиваясь о стволы осин и берез, продувал кладбищенские аллеи, трепал волосы и одежду. Изредка по бокам, среди молодых деревьев и оград, мелькали согбенные разноцветные спины посетителей. От некоторых подновленных оград исходил резкий запах свежей краски, пахло влагой, прелыми листьями и молодой хвоей. Кое-где в загородках еще оставались кусочки крашеной скорлупы пасхальных яиц и бледные, с расплзшимися рисунками-кляксами обертки дешевых карамелей.

Место для могилы было куплено на песчаной пустоши, где раньше пролегал широкая неустроенная дорога. Около неглубокой и неширокой

ямы ждали рабочие. На стенках, отшлифованная лопатами, лоснилась взрезанная глина. Участники обряда подошли и сгрудились вокруг ямы, опустив равнодушные взгляды в ее полукруглое углубление. Все они были рослые, плотные, коротко стриженные, как парни из нашей роты. И мысль моя бормотала, как забытую молитву, самые первые слова, записанные на нашем языке:

«В лето шесть тысяч четыреста семьдесят второе вырос Святослав и возмужал и стал он собирать много воинов храбрых и пошел на Оку-реку и на Волгу и встретил вятичей и сказал им кому дань даете они же сказали хазарам даем по щелягу от рала».

Из них один чуть выделялся интеллигентной внешностью и видом одежды. Он по-хозяйски разговаривал с рабочими и вообще распоряжался. Его я видел впервые. Работа у них спорилась, они в мгновение ока засыпали яму с урны и принялись трамбовать рыхлую землю тяжелым бревном, к обрезу которого были прибиты толстые рукояти. К Станиславу нерешительно приблизился пожилой могильщик и осторожно кашлянул.

— Слышь, командир, — сказал он Станиславу, — может, и правда подождать, пока земля-то осядет. Годик. Нехорошо получится.

Станислав смотрел куда-то в сторону, не обращая на него никакого внимания. Могильщик терпеливо ждал, глядя ему в лицо. Наконец Станислав как бы очнулся и покосился на него.

— Делай, говору, черт, — приказал он. — Годик, — процедил он презрительно и сплюнул сквозь сдвинутые зубы. — Через годик и ставить будет некому. Всасываешь?

Рабочий махнул рукой своим помощникам, которые стояли кучкой и курили, тихо переговариваясь. Кучка тут же рассыпалась. Могилу они прикрыли плитой и установили обелиск, залив основание жидким раствором. Памятник представлял собою мраморный прямоугольник. На нем был изображен стоящий во весь рост Павел. На пальцах правой руки, свободно опущенной вдоль тела, висели ключи от автомобиля и брелок в виде круглого значка «мерседеса». Лицо Павла выражало тупое самодовольство. Надписей, кроме дат, не было, но все было видно без слов.

Почему это они не додумались класть в свои могилы и машины, и любовниц, как это делали степные вожди в беспризорную пору юности народов?

Глядя на это безумное, бессмысленное великолепие, я не выдержал и приблизился к Станиславу.

— Что же вы глумитесь над ним? Ему бы это не понравилось. — Я имел в виду Павла.

Мы отошли к колодцу — налитой до краев бетонной ванне, над которой изогнулась и повисла лебединой шеей ржавая труба. Вентиль, видно, не закрывался до конца, и вода, как свитая веревка, стекала в загаженное бетонное кольцо, на бортиках которого лежали мокрые тряпки. Рядом дымила куча прелых листьев, сваленных со старых могил. В ленивом огне, который время от времени выползал на поверхность, ежились пластиковые бутылки из-под газированной воды и помятые пакеты из-под сока, распространяя отвратительное зловоние.

— Вы, наверное, считаете себя умнее остальных? — спросил Станислав с усмешкой, и я узнал голос из трубки, сообщивший о дне похорон. Поразительно, что он обратился ко мне на «вы».

— Верно, — сказал я и посмотрел ему в глаза.

— Ну что, — еще раз усмехнулся он и смерил меня презрительным взглядом, — будем устраивать бой за тело Патрокла? — Он, как я заметил, вообще разговаривал усмешками.

— Откуда вы знаете?

— Оттуда, откуда и вы.

От неожиданности я опешил и остался стоять, покуда все они не потянулись к своим колесницам. Ко мне пришла Зина и вывела меня из оцепенения.

Зине, напротив, обелиск понравился, и когда все побрели к выходу, она задержалась и, обойдя памятник со всех сторон, даже погладила нежную поверхность мрамора, словно хотела освободить ее от несуществующей пыли.

Вот такими выдались для нас майские праздники. Солнца было мало, но дворы упрямо зеленели, и запахи возрождавшейся жизни один нежней другого чередовались с головокружительной скоростью.

Однажды позвонил тот самый режиссер Стрельников. Он разыскивал Пашу и сообщил, что переснимает сцену в бане.

— Крови было ну просто океан, — заверил он с осязаемым удовлетворением.

Я выслушал все объяснения, потом сказал:

— Его убили.

— Не понял, что вы сказали? — переспросил он. — Уехал? — Слышно было действительно неважно.

— Убили, — повторил я.

— Как так? — опешил он. — За что?

— А за что сейчас убивают? — сказал я.

Несколько секунд он обдумывал мои слова, потом сказал:

— А-а, понимаю... А я уже сделал предоплату за павильон.

— А он-то, — подхватил я, — он накануне получил партию своих таблеток, ну, знаете, которые он продавал, и у него был готов контракт с семьей челябинских аптек. Представляете, сколько бы нажил?

Хотя линия была грязная и мне плохо было его слышно, трудно было не угадать мою невольную злую иронию.

— Простите, я не то хотел сказать, — смутился он.

— Да и я тоже не то хотел, — невесело ответил я.

— Простите, — сказал он.

— Все нормально, — сказал я.

Мы помолчали еще и повесили трубки.

Что-то и еще случилось, но это касалось одного меня.

Потом — стоит ли говорить — пришло лето. Город Москва стоял в лесах, словно шел 1813 год от Рождества Христова. Ветер, примчавшийся из-за Волги, начисто вымел городскую грязь и нанес сухого, девственного песка, забывая его во все щели, словно строительную пену. Над шоссе и в коридорах улиц дрожал упругий воздух, раскаленные люки канализации саднили, крыши томились и млели. Разогретый асфальт сделался мягким и податливым, как голодная выпившая проститутка, и его, как пластилин, по-хозяйски мяли тяжелые колеса автомобилей. Расплескавшееся у киосков пиво, бесстыдно пролитая моча скапливались, словно пот, в порах этой нечистой кожи. Девушки кусали это каменное тело шпильками — каблуками своих туфель, а старики точили его дряблыми картонными подошвами, — панельки были открыты для всех.

Летом я еще раз встретил Чапу. Живой и здоровый, он покупал сигареты в киоске. Я свистнул. Увидав меня, Чапа сказал что-то своим, коснулся плеча одного из них и приблизился.

— Сам-то как? — спросил он. — Все книжки свои читаешь?

— Ну, — ответил я, извлекая сигарету из протянутой пачки.

— Да, понятно, — сказал он, как бы удивляясь моему упорству и не понимая, как такое занятие может прокормить.

— Ты же вроде не курил? — спросил я.

Он махнул рукой и поплевал себе под ноги.

— Балуюсь... Алка как?

— Не сложилось, — ответил я сквозь зубы.

Он сочувственно покачал головой.

— А я думал, ты уж там детей... читать учишь, — рассмеялся он собственной шутке. — Хорошая телка... баба, — поправился он.

— А ты что? — поспешил я положить конец таким-то комплиментам.

— Да так, — уклончиво ответил он и оглянулся на своих.

Я понимающе кивнул. Ребятишки поглядывали в нашу сторону с недоверием. Было видно, что знакомство с таким типом, каким я им казался, не делало ему чести в глазах собратий. Мы помолчали еще некоторое время, сосредоточенно пуская дым.

— Ладно, пойду, — решил Чапа и развязной походкой ушел к машине.

Праздник подошел к концу. Оставалось только собрать разбитые на счастье чашки, помыть посуду и смести мусор. Навстречу, как свора охотничьих собак, бежали тощие годы. Они угадывались смутно — квадратики садовой дорожки в безлунную ночь. Сколько их будет?

В нашем городе нет кукушек. В нем много чего нет.

Чапа вопреки моим надеждам сообщил мне только то, о чем и сам я догадывался.

Случилось навестить и столовую. Я вышел из метро в час пик, когда с заводов, как в воронку, люди стекались в темную горловину подземки. В здании столовой теперь разместился торговый центр. Первый этаж, где раньше была кулинария, занимал супермаркет, а на втором были развешаны мужские костюмы и тончайшей выделки дамское белье. В красиво огороженном дворике под тентами, среди которых торчали из асфальта остриженные, как пудели, тополя, было устроено летнее кафе. Лестницу было не узнать — сплошь латунь и мрамор. За дубовые перила страшно было браться — так щедро полили их лаком. Я — по старой привычке — и не брался.

Вот здесь, думал я, был буфет с венгерскими ватрушками, а здесь была раздача, где по гнутым алюминиевым направляющим скользили к кассе пластиковые подносы, собирая днищами жирную черноту полозьев. А за кассой сидела тогда со сколотыми передними зубами Зина. Площадь бутика была уставлена рекламными стойками. «Предельно просто», — прочитал я на одной из них, под фотографией удивительно статного белозубого мужчины. Эти слова, пожалуй, и служили издевательской эпитафией моему другу, которую смастерили ему его убийцы. Не успел я оглянуться, как около меня запорхала продавщица, отделившись от стаи своих коллег.

— Вам помочь? — спросила эта пичуга елейным голосом. Я хотел промолчать, но передумал.

— Да, — сказал я. — Мне надо помочь. Я есть хочу. Дайте-ка мне паровую котлету, пюре, запеканку. И шей, что ли, налейте. Четыре хлеба.

Она улыбнулась и непонимающе захлопала тяжело накрашенными ресницами, на которых липкая краска скаталась в крошечные комочки.

— И свекольный салат.

Вот и все, что пришло на память к той минуте, когда самолет выставил элероны и пошел вниз косыми кругами; облака стали жиже и вот уже превратились в дымку. Сквозь ее летучий слой завиднелась земля — бледные квадраты и трапеции, сторонами которых служили полосочки дорог и темно-синие нити снегозащитных посадок.

Я повернул голову к девицам и обнаружил, что «природа спонсорства», как и в начале полета, все еще покрыта мраком неведения. Без определения оставался и «польский король Казимир Великий», зато «шарм» превратился в «обаяние».

По нашему обычаю я долго стоял в проходе, ожидая вместе с остальными, когда подадут трап. Моя сумка почти лежала на голове у переднего

пассажира, который вытирал салфеткой мясистый загривок. Его пухлая рука с салфеткой и массивным золотым перстнем, украшенным вензелем, забиралась за воротник и по ходу дела отчаянно отталкивала мою бесцеремонную сумку. В конце концов мы покинули борт и нестройной толпой устремились на свободу, в переливчатую многоголосицу, в размеренную сумятицу привокзальной площади.

Я пробирался через настоящие шпалеры таксистов; небрежно болтавших связками автомобильных ключей. До слуха доносились их вкрадчивые причитания.

— Энем, Майкоп, Армавир, — негромко выкрикали они поставленными голосами, словно играли в «города» по каким-то своим, известным лишь посвященным, правилам. Со всех сторон, отовсюду посыпались названия населенных пунктов. Как будто кто-то потрянул яблоню, и эти яблоки-слова низвергаются с веток тяжелым ливнем.

Девицы, не глядя по сторонам, чинно проследовали через площадь мимо бесчисленных такси к темно-синему «мерседесу», который так и остался стоять и стоял долго — все то время, что я разбирался с ощущениями и дальнейшими планами.

Здесь еще царило лето, природа старилась медленно, как ухоженная женщина. Черная зелень кипарисов, их плотные, жесткие, непроницаемые шевелюры являли собой отрадную иллюзию неизменности; платаны и каштаны далеко разбросали свои длинные широкие ветви: под их сенью в скверах помещалось сразу по нескольку скамеек, а сами белые скамейки и земля под ними были усеяны плодами, чья коричневая кожица виднелась в лопнувших оболочках. Они лежали на низкой траве, вонзившись в сухую почву тонкими иглами, черными на концах, светлыми у оснований. Ветви каштанов отходили от стволов низко, почти у самой земли. Их листья, как пальцы, тянулись вниз и никак не могли дотянуться и поднять то, что выронули из немощных, изуродованных и обесценивших старостью рук.

В здании автовокзала я заметил еще пассажиров нашего рейса. Моими попутчиками оказались мужчина лет сорока пяти и его дочка — существо, находившееся в том обманчивом возрасте, когда не знаешь, какое слово из двух — девочка или девушка — тут уместно применить. Его голову покрывала смешная старомодная кепка, какие носили по всей стране два послевоенных десятилетия, а она была одета как подмосковная дачница — в спортивных туфлях и брезентовой курточке, с маленьким рюкзаком за плечами. Их я почему-то запомнил лучше других.

До Лабинска мы ехали изредка переглядываясь, однако на автостанции снова стояли друг за другом в очереди у билетной кассы. Скорее всего, я тоже примелькался им с самолета. Было очевидно — они знали, чего ждут, в то время как я тупо пялился в расписание, висевшее сбоку от окошечка на куске белого картона. Наверное, я имел вид столь растерянный, что мужчина несколько раз задерживал на моей особе дружелюбный взгляд, а потом решил и вежливо спросил, дотронувшись до кепки, как будто хотел отдать честь:

— Простите, вы куда едете?

Его внимание оказалось для меня спасительным.

— Мне надо в Аздапш.

— Туда автобус ходит раз в неделю, по четвергам, а сегодня понедельник, — сообщил мужчина.

— Как же быть? — облегченно спросил я и посмотрел на очередь, в которой не придется стоять, немного свысока и с облегчением.

— Надо идти на автобазу и договариваться с лесовозами. Оттуда лес возят, буки, — пояснил мужчина, — они могут захватить. Нам ведь тоже туда.

— Далеко это?

— Часов шесть ехать будем, — сказал он. — Если возьмут.

Мне очень не хотелось терять так кстати посланных спутников, однако пришлось объяснить, что прежде езды нужно отыскать нотариальную контору.

— Знаете что, — мужчина оглянулся на дочку, — пойдёмте вместе. Мы вас подождём, а потом вместе и поедём, — и тут же возразил на мои еще не облеченные в слова сомнения: — Спешить некуда, лесовозы ходят круглые сутки, а контора ваша времени не отнимет — там одни мухи. Это вам не Москва.

Ничего не оставалось делать — только соглашаться. Мы подхватили свой багаж и зашагали на поиски конторы. Она нашлась на удивление скоро — именно там, где искало наше воображение и куда ее поместило предсказуемое прошлое, — на улице Ленина, недалеко от здания бывшего горкома, перед входом в которое на пожухлой клумбе, обложенной беленым бордюром, стоял сам Ильич, простирая руку именно с тем настроением, с каким лет уже сто сорок это делает Креститель волею Александра Иванова.

Оно и верно, вся процедура заняла едва ли больше получаса. Контора пустовала совершенно, посетитель здесь был дорогим гостем. Женщина-нотариус сидела за столом под плакатом одного известнейшего певца, как восседал бы директор департамента под необъятным портретом государя императора. Певец широко улыбался посетителям, гривастый и увешанный первоклассной сбруей — на зависть былинным савраскам. Пожелтевшие углы портрета действительно были усеяны крохотной коричневой крапинкой, выдававшей присутствие мух. Пока мы с нотариусом, с любопытством поглядывая друг на друга, исполняли формальности, мой негаданный попутчик терпеливо ждал в грязном дерматиновом кресле на тонких железных ножках, внимательно изучая какое-то издание с фотографиями икон и энколпионов, покрытых голубой глазурью. Девочка вышла на воздух и ходила под пропыленными акациями, собирая ломкие, пересохшие стручки.

— А вы там бывали? — спросил я нотариуса, кивнув на бумаги.

— Там уже горы, там уже все другое, — неопределенно ответила она. Букву «г» она произносила мягко, как вообще выговаривают на юге, и эта мягкая, как здешний климат, вязаная речь обдувала словно теплый и безобидный весенний ветер.

Наконец все было завершено, и женщина в пластмассовой бижутерии, вздохнув, проводила нас долгим взглядом, в котором читалась то ли страсть к перемене мест, то ли застенчивое предостережение. В любом случае этот вздох показался мне чудом южного такта.

Попутчик сложил свою книгу и встал с кресла.

— Я тут... — указал я на журнал, — краем глаза. Вы по этой части?

— А, да, — улыбнулся он рассеянно. — Реставратор. Катя, пойдём! — крикнул он дочери.

Минут через десять мы оказались на другом берегу плоской как лента реки, у ограды из плит, похожих на бетонные шоколадки, куда с тяжелым ревом осторожно вкатывались машины, груженные необъятными обрубками деревьев.

В будку проходной, где закрывались наряды, вбегали и выбегали чумазые водители, селектор женским голосом звал кого-то на разгрузку, под горбатый кран, который невозмутимо тягал здоровенные бревна двумя блестящими клешнями. Рядом с будкой была пристроена беседка, тонущая в зарослях золотого шара. Мой попутчик поручил мне дочку и багаж и отправился в беседку, где курили водители, договариваясь об оказии. Вскоре он появился с одним из них, и тот махнул в сторону своего «Урала», который, так сказать, дышал в затылок еще одному железному собрату, и пошел в диспетчерскую за путевкой. В кабине второй машины уже дремал водитель.

— Договорился, — удовлетворенно сообщил он.

— А вы по каким делам туда? — поинтересовался я. — Если не секрет. Он улыбнулся:

— Да какие уж там секреты... Патриархия там монастырь строит, а я буду собор расписывать. Правда, собора нет еще, колокольня одна.

Показался водитель. В руке у него белел листок путевки.

— Вы садитесь в переднюю, — предложил реставратор. — Все-то не поместимся. А мы следом поедем.

Отец с дочерью зашагали за водителем. Я вспомнил про деньги и догнал их у самой машины.

— Забыл спросить, — сказал я. — Сколько надо заплатить?

— Ничего не надо, — ответил он.

— Как так?

— Так. У них не принято. Они же все равно туда едут. А вот вы дайте лучше пачку сигарет. Вы ведь курите, по-моему?

— Курю.

— Ну вот. Больше ничего не надо.

Мужчина посадил девочку и махнул мне рукой. Я забрался в передний. Водитель лесовоза был такой же могучий, как и его груз. Всю дорогу он молчал, поэтому я сосредоточился на картинах, плывших со всех сторон в мутноватых окнах, а когда я тянул шею и поворачивал голову, он только искоса на меня поглядывал, сопровождая мое любопытство едва уловимой приветливой улыбкой.

Некоторое время мы кутались в станичной пыли, между нескончаемыми рядами пирамидальных тополей, сверкавших в лучах уходящего солнца изнанкой серебристых листьев. Потом кончился асфальт; то тут, то там возникали и исчезали, как будто стирались, холмы, одни в желто-бурой шерсти пережженной летним зноем травы, другие в шапках еще зеленых деревьев, но уже тронутые осенью, чрезвычайно поздней в этих краях. Поначалу холмы восстанавливали и пропадали, как будто случайность, и снова тянулась невыразительная плоскость, однако чем дальше, тем плотнее они прилегали друг к другу, наползали, что называется, теснились, плавно и уже совершенно незаметно перебирались один в другой, образуя те самые предгорья, которые, если смотреть на хорошую карту, выглядят там короткими серыми космами.

Потом дорога, как медлительная змея, набирая высоту, вползала на поросшие сплошным лесом возвышенности, и машины не спеша и осторожно, словно на ощупь, находили ее стиснутый стволами извилистый путь.

Слева внизу редела река. Вода в реке была по-осеннему прозрачная и даже на глубине просвечивала до самого дна. На камнях в ущелье косо лежала кабина «МАЗа», словно череп, изглоданный временем. Я видел, как зеленая вода свивается вокруг него бурлящими кольцами, а в пустых ржавых глазницах шевелится пена. Могучий двигатель соперничал с глухим рыком воды. Временами дорога была настолько узка, что мне чудилось — вот-вот колеса сорвутся, скользнут по обрыву, и я воображал, как мы летим в эти стремительные, тяжелые струи. Потому что *Никто* больше не хранит нас в пути и все происходит само собой. Однако ж водитель не ведал моих страхов и невозмутимо ворочал руль огромными, оголенными по локти ручищами, на которых неясными пятнами темнели остатки каких-то молодецких татуировок.

Дорога была удивительно пустынна. Уже в поздних сумерках навстречу нам попала ошарашенная овец и двое сопровождавших ее верхами карачаевцев в войлочных шапках. Через пару часов дорога ушла в долину и прижалась к реке, которая здесь распласталась и, не стесняемая горами, широко тащилась по белым плесам. На обоих ее берегах являлись заброшенные деревеньки в сетке начинавших дичать плодовых садилов, крошечные доми-

ки, совсем как кухни хрущевских пятиэтажек, выглядывали из бурьяна провальными очами, а потом перед нами возникли зеленые бараки, вышка с часовым и шлагбаум, одна стойка которого была уложена мешками с песком, напоминая развалины Львиных ворот в Микенах. Из бойницы торчал пулемет. Его облезлое дуло смотрело как-то поверх дороги, как вздорно вздернутый нос.

— Пионерский лагерь, — пояснил водитель. — Теперь здесь пограничники.

Пограничный лейтенант в кроссовках вместо сапог возился с моими документами, подставив их под фару, куда в мгновение ока набилась и заплясала неугомонная мошкара. Я вышел размяться и угостил его сигаретой. Он принял ее молча, как должное, не глядя на марку, и так же молча вернул мне документы, так что невозможно было понять, какое было его решение, но, судя по тому безразличию, которое им владело, все обошлось. Мотор снова зарычал, заглушив на несколько секунд рев потока, и дорога продолжилась, но дальше пошла уже дичь и темень. Небо как-то выгнулось, стало выпуклым, как купол, и на нем вспыхнули звезды — все сразу, словно электричество; опять начался подъем, дорога потянулась вверх узким коридором. Мрак постепенно уничтожил объемы, и густо поросшие склоны превратились в черные плоскости, из которых то тут, то там выступали косматые силуэты первобытных елей. На поворотах задняя машина клала нам через голову конусообразный галогеновый луч, и он беспомощно шарил в темноте, слепо тыкаясь в округлости склонов, как тот прожектор, светом которого в прошедший сезон на темной арене Старого цирка лепили «образ бледного, больного, грациозного Пьеро».

— Здесь, — услышал я сквозь непобедимую дрему.

Я прыгнул с подножки и, пошатываясь, пошел к сплошной горе. Уже брезжил рассвет, небо удивительной чистоты прояснилось и стало бирюзовым, как прибрежная волна, земля была окутана туманом, поднимавшимся на высоту человеческого роста. Я посмотрел назад — машины утопали в тумане почти целиком, из этой ваты торчали только крыши кабин и трубы под водозащитными колпачками, а впереди, наполовину укрытые туманом, виднелись темные деревья. Казалось, кто-то наложил шерсти к их подножиям и они невесомыми купами парили в светлеющем воздухе. Через несколько шагов я увидел домик, крытый дранкой и помазанный побеленной глиной — образец казацкой архитектуры. Ближе к горе виднелись еще какие-то покосившиеся постройки.

Крыльцо в три ступеньки, средняя провалилась, расколовшись надвое по самой середине от старости и влаги. Тут же, справа от крыльца, — милый обычай — высились четыре аккуратных холмика, украшенные железными крестами, дальше — еще несколько холмиков пониже, в общем, целый некрополь. Два крайних выглядели совсем свежими — они сохранили больше формы и еще не успели расплыться, сводя на нет эти бранные знаки человеческой памяти. Большие, тугие, румяные яблоки нападали между могил под грецкие орехи. Они тяжело лежали в траве, как будто вкушали отдых, устав от своей налитой жизни на ветках и пропадая втуне.

«Уралы» давно уползли, и что мне было делать, я совершенно не мог придумать. Наступил рассвет. День занимался солнечный, ясный. Два окна были заколочены, но еще два отражали самое первое дымчатое солнце. Дверь в дом была не заперта, место замка занимала палочка, продетая в гнутые петли. Сунув в рот сигарету, я робко ступил в таинственный сумрак. Половицы натужно скрипели, как персонажи трансильванских легенд, хотя, думаю, здесь имелись свои легенды, просто их я еще не слышал. Убранство первой и единственной комнаты составляли стол и крашенные табуретки; в углу висела икона в окладе, искусно выделанном из пи-

щевой фольги. Украшения этой ризы напоминали пышные одежды новорожденного. Сам лик терялся в кружевах небольшим пожелтевшим овалом, и, приблизившись, я разглядел, что он вовсе не написан, а просто вырезанный откуда-то кусок репродукции. Внутренность разделяла перегородка, на ней гвоздем было пришпилено расписание Адлерского и Анапского аэропортов. У одной стены стояла железная койка, сетку которой покрывал матрас, набитый слежавшимся сеном, а на навесной полке я нашел четыре патрона немодного нынче формата 7.62, гильзу жакана и крепкие латышские спички, — на крышке коробки была почему-то изображена танцующая испанка.

Я разворошил дремучий мирок, и мне захотелось ежиться и дрожать. Какие-то неведомые жучки, гусенички побежали во все стороны, посверкивая глянцевыми спинками, и не на шутку чудилось, что вот-вот летучая мышь с омерзительным визгом бросится в лицо и пронзит скулы загнутыми нестриженными ногтями. Всюду царил тлен и прах, и запах, помимо воли навевающий тоску — особый настой нежилого дома, — преследовал здесь в каждом закутке. Для начала я выставил рамы, между которыми ползали сонные мухи, надеясь, что солнце разгонит всю эту живность, лишив дерево вожделенных мокрот. Потом я позавтракал яблоком, подобранном у могилы, и прилег на кровать, бросив под голову тощую подушку в зеленой наволочке. Под подушкой оказался забытый измятый галстук. «Агтов» было написано на бирке.

Проснувшись, я вскипятил чай и принялся за свои владения основательно. Фотографию, взглянув на нее мельком, я отложил на стол. Пузырьки, еще хранящие запах лекарств, оболочки, кастрюли и гнутые алюминиевые ложки, жестяные коробки из-под чая, стопки отглаженного белья, трехлитровые банки, россыпи пластмассовых крышек и прочее — все это в отвал, как говорят угрюмые археологи. Все мне виделась как живая одна заветная банка — жестяный восьмиугольник, кромка несмело поедена ржавчиной, на гранях у него — золотые слоны, а внутри другое золото — золото шершавых ассигнаций. Забрался даже на чердак — там нашел один тяжелый и темный воздух, да у печной трубы валялась какая-то железяка, которой лет девятьсот назад в этих краях цены бы не было. Замечательно, что я все время оглядывался, как вор, и, так озираясь, неизменно наткнулся на строгие старческие глаза иконописного хозяина в фольговой ризе, — я словно опасался, что меня застанут врасплох, хотя, согласно документам, я был здесь полный хозяин. Это безумие кончилось, как и началось, — оборвалось как-то сразу. Привалившись к стене, я устался на кусок картона, откуда на меня смотрели натужно сосредоточенные мальчишки. На шее у старшего темнел пионерский галстук. Оба были коротко подстрижены грубыми деревенскими ножницами, и только неровные челки прикрывали лбы, как в «залах» деревенских домов бахрома салфетки свешивается на экран телевизора.

Мне и вправду суждено было напугаться, только не того, чего я опасался. Пришла соседка, позвала обедать. Она появилась со стороны гладко выкошенного проулка. Это была дородная женщина лет шестидесяти, чем-то похожая на одну известную киноактрису, всю жизнь игравшую простоволосых героинь.

— Мне Пашка за вас говорил, — сказала она крикливо, — говорил, что приедете. Пойдемте, я борщ сварила, борща вам налью.

— Когда говорил? — спросил я слабя.

— Да когда ж? Когда брата привозил хоронить. В марте, что ли.

Я пошел за ней, на звук ее голоса, как крыса за Нильсовой дудочкой.

— А я слышала утром-то, как машины прошли, слышала, что остановились, а потом глянула — доски с окон кто-то посрывал. Кто-то, думаю,

есть, дай схожу, — рассказывала она глубоким, но легким кубанским голо-
сом, одновременно и высоким и грудным.

Ее жилище отличалось от Пашиного разве только тем, что содержа-
лось в порядке. Такой же домишко, поставленный на высокий фундамент
из гладких речных камней, два навеса для сена с острыми кровлями, бесе-
дочка, плодовые деревья и прямоугольная клумба с космеей на тонких вы-
соких стеблях. Через двор, повиливая, бежал неширокий ручей, в чистой
воде которого можно было порой заметить рябой бросок форели. Могилы
тоже были, но здесь они отстояли от дома, едва заметные в зарослях кус-
тарника.

Навстречу нам, потрясая лохматой головой, выскочил огромный кав-
казец. Она взяла его на ржавую цепь, и скоро он улегся в тень, положив
морду на мохнатые лапы. За ней я пересек дворик, наступая на тень от
бесплодного винограда, которая дрожала на утрамбованной каменистой
земле рыболовецкой сетью. Среди оснований фундамента выделялся один
круглый обработанный камень, имеющий форму таблетки сухого спирта,
увеличенной стократ. Его поверхность была сплошь иссечена выемками,
как будто острием стамески.

— А, это от черкесов остался, что раньше здесь жили, — пояснила
женщина. — Мельница. — Она приблизилась и тоже посмотрела на жер-
нов и потрогала выемки пальцами.

На камне, в промежутках тени, плавали разводы солнца, словно жер-
нов лежал в неглубокой прозрачной воде. День был ясный, но не жаркий.

Мы зашли в комнату, служившую сразу и спальней и кухней. Солнце
лежало на широких досках пола прямоугольными трафаретами, растягивая
форму окошек. Плетеная проводка, вылезая из-под черного выключателя,
взбиралась по стене и на потолке заканчивалась патроном и лампочкой в
абажуре зеленой гофрированной бумаги.

Перед тем как меня позвать, она лушила кукурузу. Посреди комнаты
стоял эмалированный таз, до половины засыпанный бледно-янтарными
кукурузными зернами. Над тазом стояла табуретка, и на ней лежал початок
в листьях настолько сухих и тонких, что они напоминали оберточную
бумагу.

— Вы бы рассказали мне, что он здесь делал, — попросил я.

— Делал что? — Она бросила початок в таз и присела на табурет. —
Брата — Вовку — зарыл, — сказала она. — С дедом моим ямы копали.

Я припомнил холмики, показавшиеся мне свежее остальных.

— Ямы? — спросил я. — Почему ямы?

— Одну Володе, — пояснила она степенно, — другую себе. Вторую-то
себе насыпал.

— Как себе? — На секунду мной овладело смятение.

— Сам себя похоронил, — усмехнулась она.

— Но простите... — Я пришел в замешательство. — Он в Москве похо-
ронен, на моих глазах.

Она пожала плечами и ненадолго задумалась.

— Видать, мертвый уже отсюда поехал, — рассудила она.

Что-то ведь хотела она сказать?

— Сам он, сам. — Она посмотрела на меня с удивлением, как будто
только сейчас, после того как она все объяснила, до нее дошел смысл во-
проса.

Она совершенно не стояла на месте: когда она отворачивалась или вы-
ходила за чем-нибудь на крыльцо, ее низкий голос глухо доносился до
меня из солнечной тишины, когда была внутри, он гудел, как линия высо-
ковольтной передачи.

— На охоту с дедом моим сходили на Кислый. Джайрана принесли.
Там источники, нарзан по скале течет, потому Кислый называем. Пастухи

там балаганы поставили, балаганы теперь стоят, есть где побыть... Дед мой туда пошел-то. Сегодня утром ушел, дня два, может, и проходит.

— А чего там звезда стоит, я видел?

— Так памятник. Тут немец шел через перевалы, к морю хотел, а наши-то не пускали. Ох, сильно бились! Это оружие потом горами, горами лежало. Все понабрали. — Она махнула рукой в сторону самого села и позвала меня во двор. — Я тогда девчонка была. Помню, здесь шел командир и с ним матрос. Наши. Так немец ему прямо в рот попал. Прямо в рот. Командир этот рот открыл, сказать хотел что-то матросу-то, и он прямо в рот попал. Вот здесь он упал. — Она стала озираться и вспорола воздух полной рукой. — На этом самом месте. Во-он горка, видите? Оттуда тот немец стрельнул.

— Да.

Она указала на лысую вершинку, подступы к которой по траверсу террасами закрывали осыпи крупных бледно-розовых камней.

— Так он потом за изгородью у нас лежал, мать плащ-палаткой его накрыла. Часа два лежал, потом забрали его от нас... А мы-то подкрадемся и эту палатку-то поднимем и посмотрим на него, посмотрим. То-то дуры... Дети, чего мы там понимали. Да все равно страшно. — Она присела на минуту. — Здесь у нас два раза немцы прорывались, как его, главный город у грузин, из Тбилиси из этого курсантов привезли, там у них училище было, с голыми руками на перевал ползли, все молоденькие ребятки, так их одними камнями побили, немцы-то, сверху камни катили, да еще и смеялись. Без числа потом лежали, без числа... Так-то оно.

— Сколько же?

— И-и, милый ты мой, кто же их считал? — Она коснулась щеки согнутыми пальцами и проговорила нараспев, качая головой: — Все горы тут косточками усеяны. А то, абхазцы-пастухи говорят, что ни лето, из ледника вытаивают. Подумать страшно. Мы иной раз пойдём с моим да закопаем. А как хоронить? Мы что, понимаем в них, что ли? Так, откинешь с дорожки, и на том спасибо. Раньше туристы ходили, хоронили, звезду вон поставили, с девушками, с гитарами, а теперь никто и не ходит — боятся... Не ходит и песен не поет, — повторила она и, вздохнув, встала со стула.

— Да, — заметил я, — сейчас, пожалуй, еще страшней.

— Ничего, — сказала она спокойно. — Имеем оружие, имеем кони...

Солнце переместилось, переливаясь между ветвей и в прорехах сенного навеса. Его блики, рассеянные на листьях, таяли на глазах, будто высыхали, испарялись. Тени развернулись и стали еще длиннее. Окаймленные движением листьев, они трепетали на белых стенах домика, на траве и — едва различимые — на черно-жирном рубероиде, которым была затянута стенка сарайчика.

— А то пограничники... видели пограничников?

— Да.

В распахнутую дверь к нам вторгнулся шорох травы и листьев под солнечным ветром, голоса птиц, все это перемешивалось, сливалось в неровный ликующий гул. Казалось, что шуршат даже тени, прозрачные рядом и черно-синие вдаль, образуя мягкий фон, который и создает особую, напитанную солнцем, вязкую послеполуденную тишину. В этой дремучей ленивой безмятежности возникали мимолетные звуки, неуместные и одинокие, как одинокие кусты в степи.

— Вот. Пограничники, — сказала женщина. Она вытащила из-под стола ведро, липкое и блестящее по верхнему ободу, над которым закружили согнанные мухи. Одна муха села мне на колено и деловито ползала по остро выступающей чашечке.

— А вы как думаете, есть бог? — спросил я сам не знаю почему.

— Я-то? — Она немного смутилась и улыбнулась застенчиво, как будто речь зашла о первой любви. — Вроде и есть, да никто ж не видел. А

сказать что нет — нехорошо. — Она задумалась и остановилась с тряпкой в руке, прижав ее к фартуку. — Так. Живем...

Загремела цепью собака, вышла на солнце и потянулась.

— А верить-то надо, — сказала она, отвернувшись к вершинке, где когда-то сидел немецкий снайпер, и глядя туда из-под жесткой, дубленой руки.

Я положил локти на колени, и муха взлетела с встревоженным жужжанием.

— Так нет же бога, — усмехнулся я, уткнувшись в ботинки. — В кого верить?

Она вернулась к столу и стала, глядя в окно.

Изнутри оконные рамы были выкрашены синей краской. Через окно нам был виден участок двора. В огороде, окропленная солнечными брызгами, стояла шалашиками срубленная кукуруза. Ветерок, налетавший несмелыми порывами, украдкой шелестел сильно высохшими длинными и узкими ее листьями.

— Просто верить. Без бога.

— Часто он к вам заходил?

— Да заходил, а как же. С дедом с моим все они... Да и так заходил...

Она вышла на крыльцо и выплеснула в цветы бурюю воду из ведра.

— А что говорил?

— Говорил, что... Ничего он не говорил. Все сидит и молчит. У окна любил сидеть. Бумажка его у меня лежит. Посмотри, может, что важное написано. — Она подошла к фанерному буфету и стала рыться на полках, сгребая пустые банки от кофе, открытки, коробки монпансье, съеденных давным-давно, пластмассовые коробочки неизвестного предназначения — словом, все то, что в сельских домах на подобных полках хранится навалом. — Все, бывало, что-то черкал на ней. Цифры какие-то.

Наконец бумажка отыскалась. Это был кусок листа, неровно вырванный из клетчатой тетради. Он и впрямь был весь исписан какими-то цифрами, я разобрал даже номер телефона, судя по номеру, московского, однако этот набор цифр мне был не знаком. Повертев и так и сяк, я хотел уже его отложить, если бы на оборотной стороне не обратил внимание на рисунок, аккуратно исполненный в манере наивного искусства. Рисунок изображал качели, на перекладине которых сидел, откинув кудрявую головку, маленький человечек с крыльями, похожий на летающего муравья. Что-то в этом сюжете показалось мне знакомым, но я долго не мог сообщить, что именно.

— А я слышал, тут у вас гномов видели, — сказал я. — Якобы гномы — ну, карлики такие — здесь какой-то выход имеют.

Она глянула на меня с улыбкой, с каким-то радостным изумлением. Ее подбородок удивленно прильнул к шее, и между ним и шеей образовалась серповидная складка.

— Та ну-у, — протянула она. И звуки, следовавшие за согласными, потянулись в солнечных сумерках комнаты, как источающиеся хвосты комет. — Кто вам такое сказал?

Она заходила по комнате, наполняя ее всю своим несуетливым движением. Пол глухо отдавался под ее тяжелыми ногами, отзываясь на каждый шаг приглушенными вздохами. Мне было слышно, как она тихонько и озабоченно повторяла, уже не вникая в смысл того, что произносила:

— Какие такие хномы... Какие такие хномы.

Дед ожидался только завтра, а то и позже; я допил компот, синеватый от терна, и вышел посмотреть окрестность. Мимо плетенных из веток заборчиков вниз, в село, тянулась почти неезженная дорога. Метров через сто пятьдесят она выводила на поляну, сплошь покрытую рослыми папо-

ротниками. Вокруг высились маленькие ровные хребты — словно стенки пиалы, а в том месте, где — в соответствии с образом — мерещился скол, вставала дальняя вершина — голая, изрезанная водами по всей плоскости, ибо она казалась плоской, похожей на кусок слюды; днем бежевая, а ночью серебристая. Особенно это сходство приходило на ум, когда закат, сверкая и переливаясь, медленно полз по ней снизу вверх и неуловимым движением дирижерской палочки соскальзывал с кончика вершины, возвращая ему привычный колорит.

На этой поляне костенел остов монастыря, точнее, еще не монастыря, а пока только колокольни, поставленной на каменную основу. Все это походило на выброшенную на берег и сожженную каравеллу конкистадоров, хотя дело-то шло о «возрождении». Чуть в стороне под высоким навесом устроилась лесопилка, а еще дальше белел обнаженным деревом свежесрубленный дом столичного священника.

Вернувшись, я еще раз осмотрел домашний погост и к своему ужасу действительно нашел то, на что намекала соседка. С холмика, ближнего от крыльца, на меня смотрел гладкий камень, утопленный в землю и заменяющий табличку. На нем было аккуратно надписано масляной краской: «Разуваев Павел Николаевич», а чуть ниже стояли даты: 1966 — 199... Все как обычно, только отсутствовала последняя цифра. Почему я не разглядел этот камень раньше? Мне уже стало ясно, что завещание он писал, когда приезжал хоронить брата, но объяснить все это я не могу и до сего дня. В белорусских деревнях мне приходилось видеть «смертное» — наборы праздничной одежды, обуви и покрывал, которые старики по обычаю готовили для последнего наряда и смиренно берегли подобно святыне.

Но это было другое.

Ночью воображение все еще совращало меня: соблазнительно мигала луна, когда облака, словно подведенные тушью веки, неторопливо наползали на ее желтый зрачок, холодно горевший впотьмах.

Целый день я провел без дела, хватаясь то за одно, то за другое, по недостатку времени толком ничего не завершил, но клад уже не искал.

Ближе к вечеру зашли реставратор с дочкой показать мне будущий монастырь.

— Ну что? Как у вас? Все в порядке? — спросил он. — Мы у священника остановились. Он сам тоже из Москвы, из патриархии. — Он вдруг рассмеялся: — Они, знаете, как в армии — в такой глуши год за два зачтется. Если вам неудобно, милости просим.

— Есть у вас краска? — спросил его я. — У вас должна быть.

— Да есть, конечно, — ответил он. — Какой вам нужно?

— Белая.

— Этого добра полно, — сказал он, — тюбиков двадцать свинцовых белил.

Мы спустились за краской к дому священника. С крыши смотрела в небо тарелка спутниковой антенны. Свежее дерево обтесанных бревен пахло резко и пряно паклей и смолой. Ноги пружинили на стружках, толстым слоем рассыпанных на земле, под камнями фундамента. Через минуту на крыльцо вышел реставратор и сбежал по желтым еще ступеням.

— В Москве выпал снег, — как-то радостно сообщил он. — По радио передали.

— Что-то рано, — заметил я.

Реставратор пожал плечами. Он шагал широко и без всякого заметного усилия делал такие большие шаги, что я едва за ним поспевал, и ему приходилось то и дело ко мне оборачиваться. Дочка его держалась вровень, хотя роста была совсем небольшого. Помню, я никак не мог сообразить, как это у нее получалось.

— Уже четвертый раз я сюда приезжаю, — посчитал реставратор. — Еще при советской власти хотели начать.

Я еще раз глянул на строительство и повернулся к нему:

— Скажите, а зачем его вообще здесь строить, этот монастырь?

Он усмехнулся с таким выражением, будто ждал чего-то похожего, какого-то подобного вопроса.

— Да я и сам не знаю зачем, честно говоря. У них там свои расчеты. — У кого «у них» он не стал пояснять и усмехнулся еще раз. — Просто место, так сказать, сакральное. Тут, — он повернулся кругом, — по всем горам кельи были. Из Нового Афона монахи, в основном, бежали. Долбили себе пещерки в скалах. С побережья сюда бежали. Из России тоже бежали.

— От кого же они бежали?

— Кто от турок, кто от своих. — Реставратор снял кепку и пригладил волосы, и рука с кепкой еще раз описала полукруг.

Я посмотрел по ходу руки, но увидел только глухие горы, густо покрытые облетающим буком и темно-синей хвоей.

— От этих-то можно убежать, — зачем-то добавил он. — От себя не убежишь.

По лесам мы забрались на верхнюю площадку и увидели то, что снизу загоразивали исполинские деревья.

— Я, знаете, больше на севере работал. Кострома, Углич, ну и так далее — все порушенное стоит... — Он покосился на девочку. — Меня дочка иной раз спросит, а мне и отвечать стыдно.

Горы расходились неровными, рваными цепями. Ближние угнетали мрачной чернотой, за ними выглядывали серо-голубые зубцы, по вершинам чуть тронутые снежной пудрой, а еще дальше залегли легкие, воздушные полоски нежного пепельного цвета.

— Вот там село, — показывал реставратор, — а вот там, отсюда не видно, турецкая крепость. Ну, конечно, развалины одни — все осыпалось. В прошлом году я там, в осыпи, нашел законечник от стрелы.

— То ли дело в Новгороде, — сказал он, и его губы тронула мечтательная улыбка. — Смотришь со звонницы в Юрьевом — там все так плоско-плоско, будто полотна настелили, далеко видать... А здесь как в чашке. Правда, Катя?

Девочка согласно кивнула. У нее под глазами проступали пятнышки мелких веснушек, и синева глаз от этого казалась чище и глубже.

— Странно... — произнес я. — Зачем здесь церковь? Такая красота.

Реставратор, прищурившись, любовался заходящим солнцем.

— Что вы? — переспросил он.

— Говорю, когда вокруг такое величие, и храм не нужен.

Девочка при моих словах повернулась и внимательно на меня посмотрела. Признаться, я не ожидал найти в детском взгляде столько осмысленной серьезности.

— Нет, вы неправильно все понимаете, — мягко сказал ее отец.

Последний густой и вязкий свет заката, бледнея, двигался по Серебряной горе, тщательно вылизывая одну за одной складки и борозды, как хорошая хозяйка очищает от пыли все впадины резной картинной рамы.

— Что, Катя, а как же школа? — спросил я девочку.

— Две четверти здесь ходит, — улыбнулся отец. — В Москве не с кем оставить, — добавил он неохотно и чуть нахмурился.

Нашему времени нужен смысл, потому что красоты достаточно в любые времена, сказала Алла. Это было далеко отсюда, в городе, где плодятся наследники. Я представил, как выглядит в этот час Москва: сумерки, грязные под низким, заложеным небом, возбуждение вечера, дыхание всполохами пара мешается в электрической мгле, в гуще влажного воздуха, нимбы пушистого света вокруг фонарей, молчаливую толпу, сотнями ног сосредоточенно или небрежно говорящую одно и то же, снег, тающий на

ступенях и в переходах метро, следы обуви в этой побуревшей слякоти; от каменных плит и ступеней восходит пар, уборщицы берут длинные швабры, у которых вместо щеток резиновые полосы, и гонят эту коричневую воду по мокрой платформе, являя взору ограничительные квадратики желтого кафеля, люди занимают мягкие коричневые сиденья, толстые женщины ставят пакеты себе на колени, мужчины в толчее неловко переламаывают газетные листы, а разгоряченные люди все забегают и забегают в голубые вагоны, поглядывая по сторонам, и улыбаются всем счастливо и немножко виновато. Вагоны качаются, как лодки у берега, и машинист в вязаном жилете под форменным пиджаком смотрит вдоль состава с подножки кабины и устало говорит: «Отпустите двери».

Смеркалось, и я запалил огарок, через пару минут потекший в консервную банку тягучим сталактитом. Вещи были собраны и дожидались в сумке дорожной тряски. Последним я уложил листок с рисунком, поместив его за край паспортной обложки. Напоследок я приблизил его к искрящему огоньку свечи. Сейчас я заметил, что человечек едва заметно улыбается, потому что на этом месте запнулась то ли ручка, то ли рука. Линия рта загнула его уголки и стала похожа на математический значок бесконечности, а сам рисунок — на персонаж мультфильма, невеселого мультфильма для взрослых.

Ночь порхала, словно бабочка, крыльями глупых мотыльков. Я вышел наружу и уселся на толстый ствол поваленного бука. Передо мною неровной чередой лежали могильные холмики, плотные, словно костяшки худой кисти, загрубевшие наросты этой земли. Мой взгляд приковывал крайний — могила без покойника, курган, оскверненный не гробокопателями, а отсутствием содержимого, рассыпчатый футляр пустоты, страшный символ наших дней. Над нами, в прохладной вышине, моргали, пульсировали звезды, подрагивая в трепете холодного осеннего тока невидимой радугой, словно самое большое в мире колесо, то ли выступающее из мягкой земли, то ли увязшее в ней по ступицу.

Но не было видно того, кто управляет этим колесом, вращая педали, балансируя, хватаясь руками за воздух, под куполом вселенского цирка. Взошла луна и осветила деревья и предметы. Ее голубоватое сияние коснулось поваленного дерева, на котором я сидел. Кора его была серая, толстая, твердая, с редкими складками-швами, как кожа слона.

Ночь посветлела. Я вынес свой подсвечник и установил его на могиле, примяв каблуком неровности земли и пригладив ладонями стебли повлажневшей уже травы. Потом нащупал в кармане куртки тюбик с краской и расщепленной соломинкой вместо кисточки нанес на камень недостающую нужную цифру.

В этот час я поверил, что эти яблоки, уже подгнившие снизу, и эта свежая могила, которая просядет весной, как плomba в дурных зубах, оборванные наличники, морщинистая плоть ореховых деревьев, стопки почерневшей дранки да образок, писанный шариковой ручкой на обрывке бухгалтерской тетради, — это и есть мое наследство, хотя меня никак не оставляла мысль, что где-то здесь меня дожидаются деньги, большие, нешуточные деньги — аккуратные серо-зеленые пачки, обольстительно одинаковые, как слитки монетного двора.

Уже за полночь ко мне зашел реставратор — сообщить, что в восемь утра в станицу пойдет «ГАЗ-66», который привозил бензин в обмен на картошку и который вместе с картошкой увезет и меня, если я выйду на развилку.

— Зимой здесь такой снег, — сказал он, присаживаясь рядом со мной на бревно, — метра четыре, а бывает и одиннадцать. Раньше вертолет ле-

тал из Гудауты, а как война началась, так и не летает больше... Здесь же ополчение собиралось, на помощь абхазам. Это ополчение, кстати, потом Гагру и захватило. Ну вот, когда грузины пришли, летчика этого взяли, чтоб он сюда летел на вертолете. Бомбить. Он один только и оставался из всего отряда, остальные уехали сразу, как война началась. С закрытыми глазами долететь мог, в любую погоду — двадцать лет летал по здешним горам. Повели по взлетной полосе, а там бочка с гудроном стояла, железная. Они там швы заливали, что ли... Так он в гудрон руки сунул, чтобы не лететь. Вырвался и в гудрон руки сунул. Обварил — куда тут лететь? Так мне говорили.

Реставратор отломил от ветки бука высохший прутик и водил им по траве. Луна поднялась из-за горы еще выше и светила нам в спину. Наши тени, неестественно вытянутые, как отображения в комнате смеха, неподвижно лежали прямо перед нами в пространстве прохладного голубоватого света. Двигался только прутик, выросший в целую оглоблю.

— Убили его? — спросил я.

— Да нет. Его здесь все уважали — и те, и эти. Били только сильно...

А потом пустили.

Упало яблоко и глухо ударилось о землю.

— Он уехал теперь в Минеральные Воды; там у него сестра живет... Не смог здесь.

Я вернул ему початый тюбик с краской, и через небольшое время мы простились. Он, высоко поднимая ноги, пошел на дорогу. Его башмаки трагически шуршали в сухой траве.

Всю ночь я почти не спал и каждые десять минут глядел на часы, подставляя циферблат под лунный свет, лившийся с близкого неба в маленькие окна широкой струей, как молоко из кувшина. Едва посветлело, я был уже на ногах и вышел на развилку задолго до нужного времени.

Прохлада забиралась под одежду, хотя солнце, еще розовое вдали, весело блистало в ветвях и на мокрых замшелых корнях деревьев. Иней таял и стекал по ломким стеблям желтеющей травы в холодную землю. Когда часовая стрелка отползла от восьмичасовой отметки наполовину, издалека, снизу затрещал мотор. Спустя несколько минут показалась машина. Это был тот самый «ГАЗ», о котором говорил реставратор, — кузов был завален мешками. Увидав меня, водитель остановился и сам открыл дверцу изнутри, так что мне не пришлось ничего объяснять и ни о чем договариваться — все было ясно. Как будто ему жалко было растрчивать слова впустую.

От самых последних строений, широко расставленных вдоль горы, под которой остался и мой домишко, на дорогу вышел мальчик. На нем были тренировочные штаны с вытянутыми коленками, на острых плечах болтался свитер. Ноги его были обуты в калоши, которые делают из резиновых сапог, обрезая им голенища. Позови мать, велел ему водитель. Скоро показалась и она, точно в таких же калошах и синих спортивных штанах, только ноги у нее были поплотнее и штаны сидели в обтяжку. Женщина волочила мешок с картошкой. Мальчик подхватил его, но не удержал, мы с водителем вышли и бросили мешок в кузов.

— Это вы разуваевский дом купили? — спросила женщина, утирая пот, который катился из-под белой косынки на выпуклый загорелый лоб. Голос у нее оказался неожиданно тонкий, почти визгливый.

— Точно. — Я не стал вдаваться в подробности.

Мальчик стоял чуть поодаль, наблюдал и слушал.

— В газете работаете? — Два передних зуба у нее были вставные и поблескивали металлом.

— В журнале.

— Ага. — Она смотрела на меня изучающе, потом вдруг попросила со смешком: — Может, про нас напишете?

— Да что же я напишу? — растерянно сказал я.

— Да просто напишите, что живут здесь такие. В тысяча, как это, девятьсот девяносто ...-м году. — Она смущенно улыбнулась. — Как мы тут картошку на бензин меняем, про это напишите.

Около нашего с Пашей двора водитель затормозил еще раз и вышел набрать моих яблок, которые ему некуда было складывать. Он рассовывал их по карманам брезентовой куртки, потом я дал ему пакет, и он принялся набивать и его, но яблок оказалось слишком много для одного пакета, они никак не помещались и верхние то и дело валялись обратно на землю. Пока мы собирали яблоки, мальчик куда-то отлучился, а потом он появился снова и встал на дороге. Я забрался в кузов. «ГАЗ» тронулся и, переваливаясь как утка, потащился в заросших колеях. Мальчик будто замороженный не изменял положения и не трогался с места и все смотрел, как уезжает машина с картошкой. Наши взгляды образовали прямую. Я знал, что мальчик, как отрок Варфоломей, запомнит эту картину надолго, может быть, на всю жизнь: грабы и буки, косые пятна света на траве, овальные цифры бортового номера и на мешках — человек из другого мира. До самого Адлера я ел эти яблоки, превращая в кашу бело-зеленую благодать.

В Москве накрапывал дождь, на улицах царила чернильная темень — первый снег, о котором передали по радио, сошел за половину дня. Небо провисало над домами маскировочной сетью, истрепанной и порванной театральной декорацией, заплатанной такой же ветошью, с редкими осколками фальшивых звезд, а воздух на улицах был плотным, кислым, прогорклым от автомобильных газов. Город спрятался под гигантской маскировочной сетью, город надежно укрылся и спрятал своих обитателей. Нам весело в нашем городе, и мы ничего не хотим знать — оставьте нас в покое, было написано на самых высоких домах, полукружиями и прямо, подсвеченными мерцающими буквами рекламных слоганов.

Первый раз я встретился с Ксенией на Ленинском проспекте. Я смотрел в окно автобуса, и мой взгляд врезался в ее огромные глаза.

Изображения Ксении на рекламных щитах появились в одну ночь. В одну ночь рабочие в синих австрийских комбинезонах раскатали огромные рулоны фотобумаги и расклеили улыбающееся лицо, а потом уехали на машинах с выдвигаемыми лестницами. Лицо было помещено без всяких надписей — просто женское лицо на белом фоне. Милого шрама тоже не было — стилисты рекламного агентства знали, за что берут деньги. Волосы были забраны в косички — так носила Алекс. Наверное, все это вызывало недоумение. Я видел, как некоторые прохожие удивленно переглядывались. Что это значит? — хотели, может быть, спросить они. Но спрашивать было некого. Только один человек во всей Москве мог прояснить дело. Глаза Ксении излучали печальное счастье. «У меня все в порядке, — говорили эти глаза. — А как у вас?.. Ничего, потерпите». Сострадание, как гниение в расцвете, как смерть в жизни, таилось двумя осязаемыми точками, блуждающими на дне застывшего взгляда, в глубине неподвижных зрачков. Это был ее день — в такой же день много лет назад она родилась. Сколько именно? На этот вопрос она никогда бы мне не ответила.

Что ж, это был запоздалый подарок. Хотя почему запоздалый? Он был подарен вовремя, вот только дарителя и адресата уже не было на свете.

Вот так-то никак не хотела заканчиваться эта невеселая история, главный герой которой почему-то ошибся, когда подумал, что мог бы рассчитывать на нечто большее, чем дырявая крыша отцовского дома. Хотя большего, наверное, не бывает. Кажется — стоит только протянуть руку, развернуть ладонь линией жизни и судьбы небесным лучам, и кто-то вложит в нее счастье, долгое, как сама жизнь, и оно вправду будет длиться, и ничего не изменится.

В редакции несмотря на конец рабочего дня было шумно: плескались веселые голоса, бормотало радио, в открытую дверь какого-то кабинета надрывно гудел принтер, с безнадежным упрямством трещали телефоны, пищали компьютеры, и только зеленоватый ковролин скрадывал звуки торопливых шагов и случайно упавших предметов. Я отправился прямо к своему редактору и шел по коридору, бросая приветственный жест в проемы прозрачных дверей.

Редактор сидел на столе и смотрел по маленькому телевизору футбольный матч. «Динамо» на своем поле вяло душило «Аланию». Он обернулся, взглянул на меня мельком и не глядя протянул руку.

— Уже приехал? Сейчас поговорим. Куда ты бьешь, придурок счастья! — заорал он и спрыгнул со стола.

— Человек играющий, — сказал я.

— погоди три минуты, скоро перерыв, — попросил редактор и снова взгромоздился на стол.

Разноцветные фигурки бегали среди луж по раскисшему полю, сбивая дерн набухшими бутсами. Промокший мяч летал тяжело и низко, как перекормленный лебедь.

Наконец фигурки прекратили бегать и, понутив головы, потянулись с перепаханного поля. Редактор тяжело вздохнул, нащупал пульт, и экран погас, смиренно пискнув. Редактор посмотрел на меня и хлопнул себя по колену.

— Ну, что интересного? — спрашивал он, увлекая меня обратно в коридор. — Слышал, что Самсонов сказал в Думе? Умора. Люда, Люда! — кричал он через плечо в открытую дверь. — Сбрось мне «Зоопарк». Рассказывай. Как там, в Крыму? Ты в Крыму, по-моему, был.

— В Туапсе, — поправил я. Правду мне говорить не хотелось.

— Это где у нас Туапсе, в Крыму ведь? Или это уже не у нас? Нет, не в Крыму? — бездумной скороговоркой трещал редактор.

— На Кавказе.

— На Кавказе, в Крыму. — Он махнул рукой.

Его голова всегда была забита одновременно всякой всячиной, потому что он все успевал.

В буфете было много людей, нам пришлось даже выстоять небольшую очередь. Перед нами стояла какая-то девушка с зелеными волосами. Кто она была такая, я не знал. Редактор подул на ее волосы и довольно засмеялся. Под напором воздуха волосы взметнулись, разошлись, приоткрыв темные корни, и через секунду вернулись в прежнее положение. Девушка купила банку «Швепса» и отошла, так и не заметив шутку редактора.

Мы взялись за кофе, и я в самых общих чертах рассказал ему всю историю. Говорил я долго. Я рассказал о вертолетчике и о том, как лущат кукурузу в эмалированный таз, — обо всем. Может быть, что-то я и забыл, но суть изложил верно. Редактор, уткнувшись в стол, слушал не перебивая — такое с ним случалось редко.

— Неужели в наше время еще встречаются такие люди? — усмехнулся он.

— Такие люди встречаются в любое время, — ответил я холодно, и мы надолго погрузились в молчание.

— Жалко, — сказал наконец редактор, потеряв ладонью лицо, и посмотрел в пустую чашку, словно собираясь гадать на пресловутой гуще. — Это нам не подойдет.

— Почему? — спросил я.

К столику подошла наша буфетчица, обмахнула стол мокрой губкой и заменила пепельницу.

— Чего писать о мертвых? — нехотя произнес он.

Мы опять помолчали.

— Там гномы в горах живут, — зачем-то сказал я, — под землей. Они времени не теряют.

— М-м, — кивнул он и перевернул в пальцах чайную ложечку. — Интересно.

Я вышел на улицу затемно. Еще несколько раз мне попались рекламные щиты с Ксенией — теперь я обходил их стороной.

— Ничего-ничего, — твердил я заклинание, доставшееся мне по наследству.

Мне вспомнился мальчик. Он стоял на дороге и смотрел вслед удалявшейся машине. Возможно, он думал, что она везет меня в другую жизнь — светлую, веселую, радостную, — в которой нет места скуке, в жизнь, сотканную из удовольствий, стык в стык составленную из дней, наполненных серьезной работой и одухотворенных особенным смыслом, и ночей, исполненных неги, в город, похожий на сказку, в город-тайну, в город, где живет Бог. Где музыка не смолкает до утра, где ночью добрыми глазами смотрят фонари, до рассвета не угасают лампы одиноких мудрецов, в каморки к которым нисходит истина и ласкает их до последней звезды, и много света в маленьких уютных переулках, в стороне от шумных шоссе, а у мореных дверей, прикрывающих обещание, стоят женщины, как сирены, — одна прекраснее другой, и в глазах у них согласие, а в руках изящные сумочки из крокодиловой кожи, а в этих сумочках фотографии любимых раз и навсегда.

А может, он ни о чем таком не думал, а просто стоял и смотрел, — ведь место, где мы повстречались, располагает к созерцательности.

И еще я вспоминал слова редактора: «Чего писать о мертвых?» Вокруг меня спал город, разбросав во сне пригороды-руки, скрючив пальцы с обкусанными ногтями и заусеницами оборванных проводов. Спал под балдахинном всенощного несмелого перезвона церковью, скрежета надежд и тишины беспокойных страхов. И хрипел, и храпел, и трубы его курили, пуская черные клубы, словно искусственные вулканы. Устал он, наш городок.

Я шагал в грязной жиже поздней осени, захватывая мгlistое дыхание ночи, спотыкаясь, проваливаясь в невидимые асфальтовые дыры, уходящие в горячую глубь земли, и вспоминал его слова: «Чего писать... о них... о мертвых?... о мертвых».



СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ

*

В САДУ, А НЕ В РАЮ

* *
*

Эпоха хитрого подтекста
Дала значительный объем,
И фитилек полупротеста
Оправдывал бездарный том.

А ведь изложенная вкратце,
С предельной, грубой простотой, —
Жизнь уместается в абзаце,
Со смертью после запятой.

* *
*

Завсегдатай задворок, заворачивая за углы,
Я во всех городах находил переулки такие,
Где запах олифы и визг циркулярной пилы,
Где товарные склады и ремесленные мастерские.

И со сторожем я заводил разговор не пустой —
Хотелось мне исподволь жизни открыть подоплеку.
А сторож молчал: он смотрел на огонь зимой,
А летом — на реку, протекающую неподалеку.

Я сшивал впечатлений разноцветные лоскутки,
Радовался, что душа накопит простора.
А потом оказалось — можно лишь посидеть у реки
И нельзя передать ни журчания, ни разговора.

* *
*

Кто жертва, кто палач, кто виноват?.. —
Вновь задышалось тяжким перегаром.
О зеках книги,
Горный комбинат —
Все оказалось ходовым товаром.

Тот, кто писал о наших лагерях
И кто скупил построенные домны —
Теперь живут в одном и том же доме
И кланяются вежливо в дверях.

Делились — политический, блатной,
Когда-то враждовали.

Нынче квиты.

Один магнат, стал частью главной свиты.
Другой — стал индульгенцией живой.

* *
*

На маленькой войне нет сводок, только слухи.
Ворота — это фронт, а кухня — это тыл.
Но помнят навсегда и дети, и старухи
Не только кто убит, но кто его убил.

Взрывали за собой дороги и ущелья,
Стирая даже тень халатов с мертвых скал.
Жестокость лишь продлит срок давности у мщенья,
И призраки встают сраженных наповал.

* *
*

Цветок умрет цветком. И в облике едином,
Исчерпав опыт дней и навык ветерков,
Бордовый георгин увянет георгином,
Внезапно ощутив всю тяжесть лепестков.

Отпугивая птиц и тень свою колебля,
Под бездной голубой рассеянно кружась,
Пока не упадет с иссушенного стебля,
Пока не обретет с землей иную связь,

Он все еще цветок. И он сознанием божьим
Исполнен и блюдет всю целостность свою
И принимает мир простым своим подножьем,
Предпочитая быть в саду, а не в раю.

* *
*

Листая том, разглажу лист измятый,
Читаю диссертацию отца.
Он изучал метание гранаты —
Бросок, полет до самого конца.

Открыл он — траектория важна,
Чтоб поразить мишени круг центральный.
49-й год.

Прошла война,
Но тема оставалась актуальной.

Энтузиазм строителей крепчал.
И всем на вахту вставшим миллионам
Товарищ Сталин чутко прививал
Большое уважение к ученым.

У бедности советской на краю,
Бросая вверх учебные гранаты,
Отец мой защитил свою семью,
Добившись удвоения зарплаты.

Он дать сумел нам в детские года
Снег Бакуриани, звездный воздух Крыма.
Все, что потом уже невосполнимо,
Дал вовремя, а значит, навсегда.



ЛЕВ СМИРНОВ

ПОД ВОДОЮ

Русский мотив

Вот эта роща у дороги белой,
А в роще келья с хлебом и водой,
А в келье я, пустынный поседель,
А в снах своих — язычник молодой.

И та же роща у дороги темной,
А в роще яма, глубже не сыскать,
А в яме я, разбойник вероломный,
А в моем теле — нож по рукоять!

Творец

Ты старался, Творец,
Изо всех своих сил...
И на дно под конец
Нашу жизнь погрузил.

Под водою ни звезд,
Ни пушинки в гнезде.
В черных травах погост.
Рак сидит на кресте.

Элегия тридцатых годов

Образ мира прекрасный ко мне с облаков
При рожденье слетал. И из всех языков
Открывались слова колдовские...
Но вошли в мою плоть, обернулись судьбой
Не осколок звезды, не Архангел с трубой,
А смятенные лики людские.

Образ мира прекрасный во мне возникал,
Всем невгодам запахнутый, всем сквознякам,
Всем мольбам и стенаньям о чуде,
Всем чертям и шутам с серпантином во рту,
Всем плясуньям, включая библейскую, ту,
С головой Иоанна на блюде.

Образ мира прекрасный стучался в висок...
Но в единственной лампе тускнел волосок
(«Все поймешь, когда станешь постарше»),
Засыпал я и образ тот видел во сне...
А из черной тарелки на белой стене
Грохотали военные марши.

Образ мира прекрасный морочил луну,
Образ мира прекрасный пророчил войну
И смеялся, как Янус двуликий,
И баюкал меня, чтобы я не кричал,
И прикладами тайными в двери стучал,
И на скрипке еврейской пиликал.

Просыпались и руки тянули со сна
К молодому сиянью в квадрате окна:
«Это он, это он, наконец-то!»
Но моторы взрывались в пустынном дворе,
И шныряли блатные в заборной дыре,
И предательски рушилось детство!

Образ мира прекрасный слинял и зачах.
Он уже не проснется в рассветных лучах,
Не поманит тревогой неясной...
Или он растворился навеки во тьме,
Иль в душе, как пожизненный узник в тюрьме,
Он живет, образ мира прекрасный?



РИТАЛИЙ ЗАСЛАВСКИЙ



КОНЧИЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ИМПЕРИЯ

* *
*

Кончилась великая империя.
Ленин — Сталин. Каганович. Берия.

Кончилась великая империя.
Вот и все. Пошла другая серия.

Кадр за кадром. Черная и серая,
вот она какая, эта серия!

Кадр за кадром. Странная мистерия:
снова раздувается империя!

Ленин — Сталин. Каганович. Берия...
По-другому названа империя!

* *
*

Я скукожился, съежился, сник,
ничего я теперь не желаю,
прикусил безнадежно язык —
и душа у меня неживая.

Не впускаю в нее никого —
там просторно и пусто, как в небе,
ни святых, ни чужого отребья,
все спокойно, огромно, мертво.

Никого не впускаю в нее,
а зайдут — разбегаются в страхе.
Впрочем, бродит еще там зверье
да летают случайные птицы.

Припятъ

Здесь нет ни кошек, ни собак,
перехватили их,
перестреляли всех за так,
здоровых и больных.

Зато теперь они в раю —
взирать на славный лес,

на жизнь мелькнувшую свою
так хорошо с небес.

Но странно хочется назад
из этих райских кущ,
и снова ад — почти не ад,
прекрасен и влекущ.

* *
*

Вроде гиблые, злые места...
Но бегут жгучей памяти титры:
там остались два черных кота
и кусок моей жизни нехитрой.

Там буянит соседка внизу
и скулит на балконе собака...
Что ж меня сотрясает, однако,
и бессмысленно гонит слезу?

Там картинка на мутной стене,
солнца луч по рисунку витает.

Там никто не грустит обо мне,
но меня все равно не хватает.

Там старуха сидит и теперь,
всех домашних судеб соглядатай.
Там скрипит незакрытая дверь,
лифт летит, как всегда, на девятый.

Там поют, там кричат в телефон
и ругаются глупо и пошло.
Там звонит до сих пор почтальон,
и моя не прочитана почта...

* *
*

Черная галка на белом снегу.
Каркнула, клюнула... ходит вразвалку.
Я из окошка часами могу
сладко глядеть на замерзшую свалку.

Галка... И свалка... Привычный пейзаж.
Тенью крадется голодная кошка...
Это не старости детская блажь,
мир открывается мне из окошка.

Где-то парламенты, чья-нибудь речь,
аплодисменты, и крики, и клики...
Что же, мне галкой опять пренебречь?
Кошки глаза одиноки и дики.

Вон замерзает ручей на бегу.
Звезд начинаются в небе кочевья.
Черная галка на белом снегу.
Ветер гудит, обдувая деревья.



РОМАН СОЛНЦЕВ

*

ЧТО БУДЕТ

* *
*

Стоит у леса сладкий хвойный дым.
Жжет молодежь костры, свой век ругая...
Давай не встретимся, друг друга пощадим —
я постарел, а ты давно другая.
Давай не встретимся, хотя лет сто назад
не я ли умолял: о, появись, о, выйди!..
Пускай уж лучше — телефонный аппарат,
и мы привидимся друг другу в лучшем виде.

* *
*

Он у всех на пути,
окликает с похмелья народ,
ноги в люк опустив,
а тряпичные культы — вперед.
Вдруг с клюкою солдат
подбежал — и наотмашь его!
Плыл горячий закат.
И никто не сказал ничего.

* *
*

Мы с братишкой двоюродным лодку любили
раскачать на воде — чтоб легла кверху дном,
а под ней мы, незримые, весело плыли —
в гулком маленьком мире... и сестры потом
нас ругали, в слезах на яру постоявши
и дождавшись, как с хохотом мы из воды
вырываемся... Детские шалости наши!
Знать бы нам, что дождемся и взрослой беды.
Я приехал — мой сверстник с кривой бородой,
без жены и детей (все ушли) вот уж год
в старой баньке чужой проживает зимою,
а как лето — под старую лодкой живет...
Я под лодку залез, я тщедушного обнял,
мы заплакали оба — и в воду ее...

- Что ты понял о жизни, — спросил он.
— Я понял,
что Отечество это уже не мое.
— А река?
— И река не моя золотая.
— А жена?
— А жена еще вроде со мной...
— Ну а власть?
— А про власть ничего я не знаю.

Плыли мы под лодчонкой, под синей водой.

Сны

В напряженные дни, среди горящих телег,
самолетов и беженцев черных,
незнакомый, совсем незнакомый тебе человек
вдруг сказал: — Вам помочь?
— Да о чем вы? —
Но отныне в толпе ты уже не один.
И, доверившись доброму слову,
спишь минуту, покуда небритый чужой гражданин
караулит твой узел — идите-ка все подобра-поздорову!..
И беда, коль, очнувшись, увидишь — исчез и унес.
Вещи что? Просто в сердце добавится черный мороз.
Столько было обманов — разве сердце забудет?
Только все ж благодарно среди этой угрюмой весны
спишь у чуждых коленей и смотришь счастливые сны,
будь что будет...



ОЛЕГ ЛАРИН

*

БЛУДНОЕ ЛЕТО

Сцены из захолустной жизни

— **В**зял я ветер и пошел в лето, — со значением произнес Егорыч и стеганул Ветку хворостиной. Корова высокомерно повела на него мутным перламутровым оком, подняла левое заднее копыто и пустила газы.

— Вас ис дас... что сказаль, Егор-Егор? — всполошился Ольгерд-Бернгард Тринкер по кличке Олька или Портвейнгеноссе и мигом достал диктофон размером со спичечный коробок.

Немец Олька питает слабость к нестандартной нашей речи, но пока еще плохо разбирается в том несметном потоке слов и значений, которые неосознанно вырабатывает и с поистине королевской щедростью раздает направо-налево полуграмотный пенсионер («семь классов на двоих с братом») и ветеран Четыркин Егор Егорович, последний крестьянин деревеньки Пустынька. Бывший полевод, скотник, сторож, пастух, бригадир и даже председатель колхозной ревизионной комиссии. Права он веселого, в движениях расторопный, на язык — колкий и озорной. Под хмельной его внешностью, как в невоскресной сокровищнице, таятся необъятные залежи народных и личной жизнью накопленных познаний. Не замутненная большими годами память Егорыча хранит множество былей и баек, пословиц, заговоров и присловий — они сыпятся из него как горох, только успевай записывать. Иной раз завернет такое, что «пузырь лопнет и мыло из ушей полезет». Так что для любознательного немца знакомство с Четыркиным, да и с нами тоже, представляет не меньшую ценность, чем регулярное общение со скоростным модемом для входа в Интернет, с помощью которого он связывается со своими филиалами. Олька — раб часовой стрелки и богач, неслыханный по нашим меркам богач, однако кошелек свой открывает крайне редко и неохотно. По торговым делам Тринкер коцует по всей Европе и потому, изредка появляясь в Пустыньке, не успевает вписаться в наш костромской деревенский закуток с его виртуальной лексикой.

— Серега, переведи ему! — говорю я четвертому нашему спутнику, давнишнему своему приятелю по кличке Корреспондент Членов.

— А тут и думать нечего! — с ходу заводится мой ученый друг, принимая победительную позу. — Ты, Игрнич... жопа новый год... совсем одичал в своей тмутаракани... Олька, записывай! — командует он немцу и заученным профессорским жестом подкидывает очки к переносице. — Приведенная Егорычем фраза — пример так называемой окказиональной лексики. Рудимент древнего пласта речи новгородских ушкуйников двенадцатого — четырнадцатого веков. Кто такие ушкуйники — знаешь?..

И он с удовольствием пускается в объяснения, с легкостью переходя с русского на немецкий... Жили-были на Ладогe и в Новгороде Великом люди смелые, рисковые, мысли огненной и озорства непомерного — одним словом, речные разбойники. Тесно им было в родных чертогах, чтобы проявить силушку свою молодецкую. Они были дерзки на язык и не очень-то чтли власть. Иначе с какой стати пустились бы ушкуйники искать свое воровское счастье.

С великим громом и удалством раскатывали эти сорвиголовы на парусных лодках-ушкуях, держа путь в места неизвестные, неоглядные. В одних становищах пели и плясали под дудки бесовские, в других — пили и бедокурили, пугая мирных поселян. «Великого Новаграды разбойницы, 70 ушкуев, пришедше взяша Кострому град разбоем», — сообщает летопись. Но щедрые дары принимались от них на родине охотно, а дерзкое желание поживиться за чужой счет постепенно угасало. Ища применение силам своим недюжинным, ушкуйники познавали мир и самих себя, границы собственных возможностей и тем самым расширяли пределы Новгородской республики...

— «Взял ветер...» — охотно поясняет Серега, — значит, правильно поставил парус. Ферштеен зи мир, Портвейнгеноссе? «Пошел в лето» можно перевести так: взял направление «встречь солнцу». Правильно я говорю, Егорыч?

Из-под густых выцветших бровей выныривают шальные и забойные четырекинские глаза.

— Об этом будет знать только грудь белая да титочка левая. Вот она, какая штука-то! — ухмыляется последний крестьянин, нахлестывая свою крутобокую и ширококостную корову, эдакую Марфу-посадницу здешнего животного мира. Если бы, к примеру, я или Серега огрели ее хворостинной, она бы тут же подняла нас на рога. Другой ее недостаток — Ветка никого, кроме хозяина, не признает и предпочитает гулять сама по себе...

Вот так мы и идем. Вниз — вверх, из оврага — в овраг, с косогора — на косогор. Дорога с обстоятельными подробностями разматывает свои километры. Старая разъезженная дорога из домоторных времен. Дорога, не запятнанная шинами и гусеницами тракторов. Она то зароется в сырой, темный ельник, выставив по обочинам розовые свечки иван-чая, то выбежит в желтеющее поле, где ветер шевелит обрывками соломы, то уведет на дно комариной лощины, в заросли ольхи и ивы, то перепрыгнет через светлый игривый ручей, где затаившимися подлодками стоит рыба мелочь. И мы следуем за ее извивами с дурной коровой Веткой во главе: куда она — туда и мы.

Расчувствованный красотами, Корреспондент Членов заводит излюбленную песню русского интеллигента:

— Что-то человеческое сквозит в природе. А-а-а? Игрич... Олька... Егорыч?.. Этот пенёк — как изваяние самой печали, прикоснись к нему резцом — и скульптура готова... А этот сучок на елке смотрит на нас мудрым оком праведника, внушает что-то вешее, языческое, не-заб-венное... Ну а лилия — это вообще целая поэма. Будто белокаменный Китеж-град всплывает с русалочного дна... При чем тут литературщина?! Смотри, жопа новый год! Золотая сердцевина — солнце, лепестки вокруг — белый свет. Строе-ние цветка — устройство нашего мира в миниатюре. Что, разве нет?

Вот так и идем...

Лето отгорает здесь быстро и празднично. Будто и не осины окружают нас на открытых пригорках, а замедленные салюты поднимаются к синей высоте, чтобы рассыпаться там золотыми или желтыми брызгами-ветками. Как-то не верится, что еще недавно разливались тут зеленые хлеба, кружились беззаботные стрекозы и волны горячего воздуха поднимались вверх струящимися столбами. Осень явно медлит, обдумывая где-то рядом новизну перемен.

Ставший уже привычным тракторный гул отодвинулся в сторону и затих. Тревожно от этого на душе. Куда выведет эта стежка-дорожка? Где человеческое жилье? Горизонт плотным кольцом заслонили матерые ели, нагнетая зловещий мрак, и кажется, что дорога сейчас упрется в них и остановится. Иногда очень полезно нырнуть в такие вот зеленые кулисы, забиться в тупиковом зеленом сумраке... Но дорога никуда не теряется, наоборот, за поворотом вбирает в себя еще несколько грибных стежек, раздается вширь и выводит из таежного плена на холмистое поле. А оттуда уже и речка Межа виднеется, и стайка разрушенных изб на крутом угоре, и черно-белое стадо коров, при виде нас поднимающееся с травы.

Невесть откуда заиграл рожок, и от полога леса отделились две фигуры. Голос рожка был почти физически ощутим: он заложил уши, проник в поры и его даже хотелось попробовать на язык.

— Джабраил... Мустафа! — закричал я, увидев знакомых пастухов, и замахал рукой. Иногда я встречал их на обратном пути из Михалкина, куда раз примерно в неделю ходил за продуктами. Но сейчас ребята пригнали стадо в далекие от грибных и ягодных троп места.

Молчаливо и прытко подбежала лохматая собака, обнюхала нас и, высунув пламенеющий язык, повернулась в сторону приближающихся пастушков-ингушей, ожидая новых приказаний.

Нельзя сказать, что ребята обрадовались нашему появлению, но и нельзя утверждать, что они приняли в штыки мою просьбу сыграть что-нибудь на камышовой дудочке. Ведь услышать пастушью песню в наше время — как на Луне побывать!

На вид Джабраилу и Мустафе было лет шестнадцать, не больше, но за смуглыми чертами восточных лиц угадывалась сдержанная гордость, отнюдь не «мальчишья» серьезность. Принадлежность к малой национальности обеспечивало им чувство защищенности, избранности среди чужого и не всегда мирного населения. Перед нами стояли люди (дети местных гастарбайтеров?), которые знали себе цену и просто так не стали бы рассказывать о том, кто они, откуда и по какой надобности оказались здесь, на русской равнине, вдали от отчих аулов и тишины заснеженных гор. И только когда Серега произнес длинное приветствие на каком-то кавказском диалекте, ингушата понемногу оттаяли, разулыбались — напряжение первых минут знакомства рассеялось.

Мустафа распахнул джинсовую куртку, и я увидел пристегнутые к ремню музыкальные инструменты, камышовые и деревянные, с берестяными раструбами и без. Он поочередно прикладывал их к губам, пробовал на слух, выбирая подходящий, и они мелькали перед глазами как живые реликты некогда звучавшей песни. Покрытые темным налетом, испещренные сетью трещин, рожки приобрели цвет и прочность камня. Но те места на них, которых касалась за игрой рука человека, были чистыми и обкатанными до блеска. Это чужие пальцы — пальцы давно умершего человека, видимо, местного пастуха — отполировали их в течение долгих десятилетий.

Перебрав несколько дудочек, ингуш остановил свой выбор на двойной жалейке с сильным и молодым голосом. Завел расхожую русскую «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья». Но взял мелодию слишком высоко, с щемящей, надрывной нотой, закашлялся и через несколько тактов оборвал игру, сплюнул от огорчения и попросил у меня сигарету.

Ингушский пастух среди нечерноземной пустыни с русской песней на устах! Чего-чего, а уж такого поворота никто из нас не ожидал.

Русская пастушья музыка скончалась вот уже пять десятков лет, и не случайно каждый вновь найденный рожечный наигрыш ученые называют чуть ли не открытием в науке. Это и Серега может подтвердить, а уж он на этнографии все зубы себе проел. В прошлом веке особенно славились владимирские рожки, точнее — с правобережья Оки, на стыке Владимир-

ской и Нижегородской губерний, где жили потомственные вожаки стад. Их игрой заслушивались, их пастушьи мелодии, так называемые «побудки», «зовы», «затрубы», «сгонные», пытались копировать, хотя и безуспешно. Сигнал трубы обладал свойством собирать вокруг себя домашний скот и одновременно изгонял всякую вредоносную силу. До недавнего времени пастушьи наигрыши никто не удосужился перевести на ноты, и искусство это осталось почти не изученным. Фольклористы спохватились, да было поздно...

Однако в Пустыньке, где я живу летом вот уже восемнадцать лет, еще помнят времена и не столь отдаленные, когда на Егорьев день в деревне выбирали пастуха и при этом предпочтение отдавали самому певучему, самому голосистому. Будь ты хоть семи пядей во лбу как коровий предводитель, а если рожком не владеешь — цена тебе только половинная. Моя престарелая соседка Серафима Кузьминична уверяла меня, что прежде ни одно деревенское торжество не обходилось без пастуха. Свадьба, крестины, именины сердца — его на красное место сажают: играй, весели, потешай честной народ! Вечерняя гулянка, хоровод — давай-ка, приятель, в круг! И резвился рожок в обнимку с балалайкой и гармоникой, сопровождаемая визгливой частушкой и протяжную древнюю песню...

— Слышь, парнички... дак ить это... бык-от у вас в стаде есь? Ой как нужен бык! Вот те крест, святая икона!

Егорыч долго молчать не умеет, у него свои проблемы, так что музыку побоку, главное — дело. Глядя на Ветку, он высказывает заветное свое желание, ради которого мы и пустились с ним в этот путь.

— Надо бы им того... познакомиться. Вот она, какая штука-то! Вы как, парнички? Негоже корове пустоваться, у ей кунка чешется. — Старик хлопает себя по карману, как бы подтверждая, что в долгу не останется.

Ребята по-свойски разводят руками: о чем, дескать, разговор, дедуля, на кой нам твои деньги, было бы желание у коровы, и пусть, мол, все идет своим естественным чередом.

— Сникерс... Сникерс! — тут же закричал Джабраил, снял с плеча кнут и щелкнул по всем правилам. Эхо от «ружейного выстрела» долго и бестолково перекатывалось с холма на холм, пока не увязло в осиновой чаще.

Но Ветка и без пастуха знала, что ей делать. Она шла сквозь стадо, и коровы с холопской угодливостью расступались перед ней, провожая настороженными глазами. Присмирели даже молодые телята, которые еще недавно гонялись друг за дружкой задрыв хвосты, кувыркались и с воплями восторга катались по земле. На морде Ветки застыло выражение спеси и барского снисхождения. Еще ничего не произошло, но стадо поняло, с кем имеет дело. Ранг нашей Марфы-посадницы, по их, буренкиным, понятиям, соответствовал самой высокой иерархии. Корова — генерал, корова — полководец! И это почтение к более сильной и могущественной особи, наверное, в крови всех парнокопытных, которые пасутся стадами. Я не раз наблюдал: если самки лижутя между собой, это означает, что они близки не только по крови, но и по рангу. Коровы, принадлежащие к разным «чинам», просто не замечают друг друга. Буквально каждой животине определено ее место и иерархическое положение; как бы ни лютывал пастух, собирая стадо в удобный для его обзора порядок, он не в силах разорвать эти ритуальные связи.

Я ожидал, да и не только я, все ожидали, что сейчас из-за костлявых коровьих тел, как камень из пращи, вылетит черный ком мускулов с густой шерстью и бронебойной глыбой груди и рогов. Вздрогнет земля от ударов копыт огнедышащего зверя; он остановится на мгновение, выставив вперед тяжелую голову и выискивая глазами соперника, чтобы бросить на него всю свою страшную тяжесть.

Но ничего такого не произошло. Бык-трехлетка Сникерс пощипывал травку и вел себя в высшей степени миролюбиво. Глупо и удивленно под-

нял морду и уставился на Ветку, когда она шла к нему, грациозно покачивая крупом, уже готовая подчинить себя этому недотепе. Мы с болельщицким азартом следили, что будет дальше. Олька даже достал фотоаппарат и прицелился.

— Ветка, давай!

— Сникерс, не подкачай!

Бык добродушно помахивал хвостом, как собачка, которую приласкали. Марфа-посадница обошла его с фланга, обнюхала заповедное место и тесно прижалась к нему лоснящимся боком. Но Сникерс почему-то бездействовал, только рыл копытами землю, исходя мелкой дрожью, и озирался по сторонам. Мы разочарованно загудели: кто здесь бык, а кто корова?! Если бы не ведерное веткино вымя, можно было бы подумать, что именно она, Егорычева кормилица, собирается выполнять роль производителя. На ее фоне упитанный и вполне уважаемый бугай смотрелся как жалкий, затравленный холоп.

Корова лизнула его в морду, прижалась еще теснее, успокаивая: ну чего ты медлишь, дружок?.. делай свое дело!.. Но черная масса бычьего тела так и не кольхнулась. Сникерс взревел от бессилия и обиды, с морды у него закапала слюна — это, должно быть, он заплакал. Постоял, постоял на дрожащих ногах — и дал дёру.

Все, кроме оскорбленного Егорыча, повалились со смеху, а немец Олька, не в силах скрыть восхищение, сказал:

— Русланд — это шенски страна!

И снова текут к горизонту холмистые поля, колючие, хмурые леса, сырые овраги, пади, болота, буреломы... Если нашу стежку-дорожку можно представить в виде скрученной, перепутанной нити, вьющейся вокруг вымерших деревень, то новая скоростная автомагистраль, напоминающая о себе ровным, неумолчным прибоем, разрушает таежное пространство ударом меча. Какое-то время обе дороги бегут рядом, одна подле другой, как два живых древесных ствола, внешне самостоятельных, но на деле связанных между собой единой корневой системой... Но вот на пути встретится какое-нибудь селение, и наша тропа, почуяв запах жилья, уйдет в сторону, начнет выкручивать петли, колобродить вокруг брошенных сенокосов и пашен, выпуская из себя, как побеги, десятки новых путей. В этом смысле старая дорога больше привязана к человеку, чем новая. Однако пройдет время, и она снова прижмется к асфальтовому полотну, бросится под колеса ревущему и коптящему автотранспорту и, вильнув среди хвои, снова пойдет выписывать вензеля среди сонных полей и лесов, скакать по зеленым пригоркам, обтекать речки и речушки, чтобы через положенный срок вернуться к стремительной автотрассе и принять на себя часть ее грузопотока. Но мы стараемся держаться от нее подальше...

— Как самочувствие, Егорыч? — подталкиваю я старика. Ему ведь семьдесят семь, возраст нешуточный, а тут еще неудача с Веткой и конца пути не видно.

— Штормит, — жалуется Четыркин, и глаза его требуют немедленного к себе сочувствия. — Вчерась-от ой как посидели, едрит твоя муха! Боюсь, как бы головное изливание не сделалось али клевроз... У тебя там случайно не залежалось?

— Рано еще, Егорыч, — укоряю я старика. — Через срок живешь.

— Рано у барана, а у нас как раз! — чувствуя мою мягкотелость, рвется в атаку Четыркин. — А то ить раскол серъця получится и удувление крови посредством оstarения сосудов и перепонных барабанок. Вот она, какая штука-то!

Я перевожу глаза на Серегу, и он глазами же отвечает мне: не жмись, Игрич, налей ему стопочку, душа от нее вроде как подымается, особенно

с устатку. А Оляка двумя пальцами показывает *сколько* — на его языке это означает: «маленький-маленький чуть-чуть», сорок примерно граммов.

Быстренько опрокинув походную стопку, Егорыч застывает в божественной прострации; какая-то невидимая пружина раскручивается внутри его, не находя выхода, глаза наливаются молодецкой удалью. Мы трогаемся в путь, и он начинает разговор о «позабытом-позаброшенном» пастушьем ремесле:

— Слышь, мужики... дак ить это... я со скотиной как с людьми разговаривал. Вот те крест, святая икона! И пас только с собакой, без подпaska. И с дудочками, само собой... Раньше с меня все пастухи пример брали, первым был в районе по показателям — три года с Почетной доски не слезал. О как!..

Мы с Сергеем перемигиваемся: ну, все — понесло старика! Оляка достает диктофон и подступает к Егорычу на расстоянии вытянутой руки.

А у Ветки — свои заботы: как бывалый лесовик, она безошибочно угадывает, куда повернуть, где следует искать проход среди деревьев, по какому направлению пересечь полувысохшее болотце с рыжей травой, потому что ноги то и дело проскальзывают, выворачивая наружу ступки болотного киселя. Седьмым чувством корова выбирает самый удобный и безопасный путь, и ведет ее вперед великое природное ясновидение.

— Ну, слушайте... Годов эдак тридцать назад наш председатель меня на совещание возил. Торжественный актив колхозников-передовиков Костромской области... Вышел я на трибуну, а народу-у-у... как в Китае, дождем не смочишь. И все на меня глядят, все на меня... блокнотики достали, тишина. Тыща, считай, человек, и каждый тебя глазами ест, едрицкая сила...

Слова у меня вниз куда-то провалились, губы пляшут и колени подвертываются. Много переживностей пережил! Что дальше-то делать, думаю... Как позор-от отвести? И вот что надумал, послушайте. Достая я дудочку из кармана — и давай турлыкать у микрофона. Вот те крест, святая икона!.. А секлетарь обкома — сурьезный мужчина: «Это что за ба-ла-ган?! Прекратить безо-бразие! Вывести фулюгана из зала!» А зал за грудки держится, от радости жопой в ладоши бьет, ничё не слышать от хохоту. Нет на них Ёски Прекрасного!.. Ну, тут меня задор взял. Как поутихло маленько, я и говорю: «Через эту музыку, товарищи передовики, и все надои нашего колхозу имени Двадцать первого партсъезда. И никаких других секретов у меня нету»... Вот она, какая штука-то!

— Врешь ты все, Егорыч! — смеюсь я.

— Можя, что и соврал, — охотно соглашается Четыркин. — Но не слишком чтоб очень. И правду и сказку из одной груди сосут. Так что вот...

Как опытный рассказчик, он прокашливает голос, ждет какое-то время, чтобы мы прочувствовали его историю во всех живописных деталях, и только после этого продолжает:

— Есть у меня секреты, и еще какие! Но вам их не понять: образование высшее — соображение среднее... Перьвым делом травы нужно знать, куда и в какое время коров гнать. Где дольше роса лежит, где ручей текёт, где тень какая есь — все надо примечать, потому как климанту у нас не хватает. Не зная броду, не съешь бутерброду!.. С утра играю на дудочке-свистелке, коровы ее любят, призывна така — хватит, мол, отлеживать бока, на работу пора. Выгоняю скотину на сухорос — это там, где росы помене. Выбираю такую траву, чтоб покрупнее была, пожестче, не так съедобна. С голодухи скот похватал ее, похватал — и все, больше не хочет. Ну ладно, думаю. Пущу-ка я тебя теперь на молокогонную, она мелкая, курчавая — кашка, к примеру, или мятлик луговой. Но и тут, гляжу, тоже исть не хочет, едрит ее муха. В чем дело, почему не хочет? А потому, что скотина — тоже человек. Думаете, она наелась? Нет, она еще голодная. И тут начинаешь опять соображать: вот у меня с собой булочка и два яичка

с дому принесенные, а исть неохота. Почему? Да потому, что с утра воды не пил. Вот она, какая штука-то! Достая двойную жалею, играю «сгонную». Коровы сбегаются ко мне, и я веду их к ручью или озеру какому. Напились, голубы, освежились водичкой — и снова на выгон. Тут уж скотине какую хошь траву подавай — и жесткую, и молокогонную, — все слопает, все подчистую. Потом уж и отдыхать ляжет...

Разошелся наш старичок, только бороденка прыгает и горло прочищается от залежалых звуков и запахов. Он оглаживает рубаху и непослушные мальчишечьи вихры, торчащие из-под кепки.

— Дале, что ль, сказывать али как? — оборачивается Егорыч и по глазам нашим понимает, что вопрос излишен. — Ну вот... лежит, значит, скотина наша наевшаяся, а мы с Амуром на дудочке ей играем. Концерт художественной самодеятельности начинается, Егор Четыркин в главной роли... Собака у меня умная, музыкальная: ты тоньше берешь, и она тоньше. Ты куплет выдуваешь, и Амур следом шпарит. Прямо как по нотам подвывает, едрит его муха! И коровы с охотой слушают, звук расходится далёко, широко. Быват, какие туристы прибегут али механизаторы нездешние. Рот откроют и слушают: что за музыка такая залётная?!

— Интересно, а кого обычно выбирали в пастухи? — вступает в разговор мой ученый друг, не терпится ему проявить свою эрудицию. — Мне, например, известно, что на эту работу шли люди бедные, безземельные, а также вдовцы, незаконнорожденные или с физическими недостатками.

— Ну, это ты загнул, — всерьез обижается Четыркин. — Всякие пастухи бывали — и бедные, и вдовье, и калеченые, и пьющие. А вот дурачков что-то не припомню. Дурачку со стадом ни в жисть не сладить! — Он смотрит на Серегу с угрюмым осуждением. — Пастуха выбирали знающего — такого, чтоб волшебное слово читил. Понял, профессор? По-нашему это слово «отпуск» называлось, а теперь уж и не знаю, как сказать... инструкция, что ли.

— Магический заговор, — подсказывает Корреспондент Членов.

— Во-во, в точку попал. Он самый и есть... И как славная река Волга текёт в окиян-море безотпятно и безотворотно, и так бы скот мой любимый, крестьянский живот, шел по вечеру в дом свой безотпятно и безотворотно... Сохрани мне, Господь, всякую животную скотину, комолюю и рогатую, быков легченых и быков порозных с малыми подтелками — от черного зверя широколапного, и опрокидня, и от насыльного, и от переходжего пакостника волка рыскачегго, и от всякого злого и лихого человека, пень ему и колода ему, — в день и в ночь, в утре рано и ввечеру поздно, отныне и во веки веков. Аминь. — Старик смеется, удивляясь собственной памяти.

Еле видимая тропинка петлей затягивает лесистый холм. В ней чувствуется слежалость древних пластов. В сущности говоря, это уже дикая тропинка, ничейная, созданная в свое время либо колхозным скотом, либо охотниками старого закала, но в которой угадывается своя, лесная, логика. Она иногда теряется в путанице опавшей листвы и диких знаков, бессмысленно пролезает между двумя близко стоящими соснами, зачем-то скатывается в ложбину с ржавой, застойной водой. Тропа уходит то в глухую чашу, то на черничную полянку, то упирается в поверженное дерево с вывороченными корнями, где следы ее совершенно обрываются. Но только оглянувшись назад, начинаешь понимать, что это самый быстрый путь, который ведет наверх. Каждый толчок сердца отдается в полную грудь.

— Стоп! — командует Четыркин, сбрасывая сидор. Он останавливается у подножия сосны-великана, обходит дерево кругом и даже привстает на цыпочки. — Видите прилипшую шерсть на стволе? Что это будет? Думайте, думайте... А-а-а, не знаете? Откель знать-то?! Больно шибко живете, молодежь, все бегом, бегом. Лесной дух не чувствуете... А здесь, между прочим, ночевал медведь.

— Мед-ве-едь?! — удивляются Серега с Олькой.

— Ага, медведь, — радуется их наивности Егорыч. — Гляньте-ка повыше, что он сделал! Встал во весь рост, почесался о кору и процарапал когтями отметину: вона какой я здоровый и толстый!

Я, однако, пожимаю плечами и никак не реагирую, и это, видимо, задевает старика.

— Зря ты мне не веришь, Игрич. Ежли хочешь знать, это маленькая звериная хитрость. Ковды сюда придет другой медведь, он увидит шерсть на коре, царапину и сам отметится на стволе. Вот она, какая штука-то! И ежли он окажется меньше ростом, то вмиг скумекает: место занято и надо убираться подобру-поздорову.

— Ловко это у тебя получается, — усмехаюсь я. — Две-три волосинки на дереве — и уже целая драма из медвежьей жизни. Да здесь медведей давным-давно след простыл!

Старик делает обиженное лицо, хлопает себя по груди.

— Это у нас-то их след простыл?! Ветка, ты слышала, а? — призывает он корову в свидетели. — Ну-ка иди сюда, бажоная, иди-иди, большушшая, не таись. Покажи-ка этому Фоме неверующему свои шрамы на боках...

Ветка скашивает на нас мутный перламутровый глаз и вальяжно приближается к хозяину, останавливаясь на приличествующем ее сану расстоянии.

— Что, думаешь, вру? Думаешь, дедко через ум кинулся?.. Эва отметина, вишь? — Егорыч словно вырастает в собственных глазах, голос его делается непререкаем. — И вот тут, на зад, тоже шрамина осталась. А как дело было, знашь?.. Шла коровушка кругом болотца, а этот-то оглоед и выпрыгнул на ее. Она-то мужественная, сытая была — как прыгнул на зад, она и повезла его. Вот те крест, святая икона! А зверь пуганый был, изда-лёка пришедши. Он уж многих коров у нас порвал и туши в лесу припрятал, чтобы протухли. Недюжинной силы медведь! Ну да Ветке-то что — как крутанула задом, как шандарахнула, тот и свалился. И боле не баловался — убёг. Вот она, какая штука-то! А ты говоришь...

Почва упруго качается и хлопает под сапогами, обвивая их тесно сросшимися стебельками с жесткими матовыми листьями. Сквозь них россыпью горят лежащие на толстой мшистой подушке влажные и нарядные бусины. Сверху они огненно-красные, по бокам розоватые, с легким морошечным отливом, а снизу почти белесые, чуть тронутые желтизной. Совсем как яблочки — ядреные, крепенькие травянистые яблочки.

В блаженной истоме мы располагаемся на мягких кочках, выискивая клюковки и одну за другой отправляя их в рот. Егорыч с наслаждением морщится.

— Царь-ягода! — торжественно возглашает он. — Международный, я бы сказал, деликатес!.. Ее ведь три раза собирать приходится, клюкву эту. Нынешняя — августовская — самой витаминной считается, самой сочной, а потому и кислой... Затем начинаешь рвать в ноябре, когда ягоду первым морозом прихватит. Бросишь в ведро — будто дробью отзовется. Звонкая ягода, веселая. Ух, едрит твоя муха! Тут уж не пальцами, нет, тут уж совком работаешь. У нас его еще «побирушкой» называют... Ну а в третий раз идешь по клюкву весной, когда снег маленько стает и подснежники вылезут. — Он передвигает беломорину в уголок рта, плутовато усмехается. — Весной не столько собираешь, сколько в рот запихиваешь, честное слово. Сахар, а не ягода! Слаще подснежной не бывает...

Краям болота проходят две молодухи-сборщицы с берестяными пестерями за спиной. Женщины спешат в лес, переговариваются на ходу, приглушенно смеются:

— Ходишь тут, ходишь, ноги сбиваешь, а этот, в шляпе который, лежит себе на перине и ухо не чешет.

Другая, помоложе, игриво повышая голос, вроде вступает за лежащего в стороне от нас Ольгерда-Бернгарда Тринкера:

— А можа, он притомился, а? Можа, он, Нюрк, деньги рассыпал и ищет? Так я, Нюрк, рядышком прилягу... подмогну.

Они скрываются в кустарнике, и тут же смолкают их голоса и задорный смех.

— Что она сказала, Егор-Егор? — живо интересуется Оляка.

— Кунка чешется — вот и балаболит...

— Что... что? — не совсем понимает Оляка.

— Говорят, фриц тут богатый объявился, надо бы его на гоп-стоп поставить...

— Что... что? — ничего не понимает немец.

— Больших чертей сто, а малых двести, убьют тебя на месте, — беззлобно передразнивает Четыркин, вставая с кочки, похожей на голову безумной старухи. В таких случаях старику только повод дай, такую смехоту разведет, что боже ты мой... Но сейчас он серьезен, как перед докладом. Кожа на его лице собралась в сеточку морщин-складок, а в затуманенных глазах, как в облаке, вдруг пробивается тревожная синь.

— Слышите, мужики?

Над соснами долго-долго дрожит какой-то посторонний звук. Он бьет по ушам хриплым, надсадным гудением, в которое наплывами входят утробные полустоны-полуплачи. Временами они срываются в яростное крещендо, напоминающее вопль отчаявшегося человека.

— Кажись, Михалкино слышать, — говорит Егорыч, подкидывая за спину сидор.

— Какое, к черту, Михалкино... жопа новый год! — в глазах Сереги я вижу безотчетный страх, усиленный оптикой. — Тут человека режут, а он — Михалкино...

Меня самого продирают до костей визгливые и ноющие звуки-плачи, однако, скорее всего, это эффект замкнутого пространства. Столько тут всяких сосен, и стоит одной из них поймать в свою крону ветер, как уже все деревья начинают петь, стонать и вѣшептывать то ли ересь какую языческую, то ли мудрость неизреченную. Крикнешь, бывало, и твой же голос сосны с шумом возвращают обратно, как невнятную переключку живших когда-то людей, среди которых различишь иной раз голос дорогого и близкого тебе человека. Однажды я определил причину этих замогильных лесных криков: просто сухая береза упала между соснами-двойняшками и терлась об их кору, как гигантский смычок, исторгая душераздирающие стоны.

— Если хотите знать, — говорю я с преувеличенной бодростью, — русский мужик испокон веков боялся своего леса. Здесь леший хохочет, русалка воет и прельщает, а болотный водяной заманивает.

Мы идем по заросшей мхом тропе, и зловещий мрак расступается, приоткрывая окна чистого неба, но странное дело — звуки почему-то не исчезают. Наоборот, они становятся все громче, закладывая уши гулким, раскатистым эхом, переходящим порой в затяжной хор, и, наконец, пока не кончается лесной тоннель, материализуются в виде охрипшего репродуктора на поляне, откуда одуряющими децибелами несется свирепый крэк-рок. Вот и вся разгадка наших страхов!

Если раньше, пробираясь по запущенным тропам, мы чувствовали себя узниками леса, то теперь вышли на широкий сквозной простор. Всего стало много — и воздуха, и света, и пространства, и привычной для городского уха разноголосицы. Населенный пункт Михалкино дышит ароматами банных веников, свежим тесом, озвучивается треском мотоциклов и ревом циркулярной пилы со здешней пилорамы. Вроде бы не поселок и не деревня, а так — какое-то временное прибежище, сырый и неприютный бивак. Проходы между домами забиты разными пристройками, сараюгами, поленницами дров, среди которых слоняются жирные коты и бездомные собаки.

...Ходим по избам, просим, уговариваем — и все без толку. От Серафимы Григорьевны к Манефе Николаевне, от беженки-армянки из Баку Офелии Памбукчянц к злочей бабке Ширяхе по кличке Дровяная Смерть (говорят, она дрова ворует по ночам). Все происходит почти как в былинные времена, когда приезжали свататься из соседней деревни. Зайдя в дом, поезжане-сваты обычно никогда не шли дальше порога, а на приглашение садиться отвечали заранее приготовленной фразой: «Мы не си-жачи, а стоячи. Пришли к вам за хорошим делом — сватовством. У вас есть князь, а у нас княгиня. Нельзя ли, значит, породниться?..» Прижми-стый Егорыч при этом похлопывает себя по карману, прозрачно намекая, что за ценой он не постоит...

Но нет быков-производителей — что ты будешь делать! Коров еще держат, и овец, и курей, кое-где и уток с гусями, и поросят, а бычка откармливать — себе дороже выйдет, кормов не напасешься.

Улица тем временем расцветает нарядами. По дощатым мосткам по двое, по трое лебединой походкой плывут старухи, шурша тяжелыми шелками. Косые лучи солнца играют на драгоценных материях, выхватывая то алый кашемировый плат, то стеклянные бусы на груди, то юбочную парчу «Золотая осень», отделанную черными кружевами. Эта одежда хранится в прабабушкиных сундуках, пересыпанная нафталином, и если ее когда-нибудь подновляют, то строго выполняя заветы старины. Сейчас парчи еще хватает, а вот золотое и серебряное шитье нигде не достать. Мне рассказывали анекдотичный случай двадцатилетней давности, когда михалкинские колхозницы, приехав на совещание в Москву, всем скопом нагрянули в Военторг, накупив такое множество погон, галунов, кистей и прочих регалий, что галантерейный отдел универмага сразу выполнил годовой план.

Старухи идут будто схимницы, опустив глаза: нельзя им разгуляться, нельзя распотешиться. Наряд требует соблюдения приличий, своей особой «выходки» — горделивой осанки, августейшей поступи и сдержанности, строгости во всем — в жестах, улыбках, разговорах. В том, что бабульки спешат куда-то на праздник, сомневаться не приходится. Мы подстраиваемся к ним в кильватер и ждем, что будет дальше.

Развязка наступает, когда процессия вливается на территорию сельского стадиона. Шум, гам, толкотня и сотрясение барабанных перепонок. Рев автомобильных моторов, соревнование духовых оркестров, мелькание лиц, знакомых и незнакомых, обрывки гортанных выкриков и отчаянный визг последней пропитой копейки. Сыпется круглая как горох, окатная, наливная речь...

Ярмарка! Второй день на окраине Михалкина не стихает ярмарка, а мы, дураки, и не знали. Об этом, оказывается, еще две недели назад трубили областная печать и телевидение, приглашая народ из соседних районов, и, надо признать, не без успеха... Ряды рыбный, мясной, овощной, хозяйственный, галантерейный, одежный — все честь честью, прилавки ломятся от товаров, и цены не кусаются. Кругом палатки, палатки; с вызывающим бесстыдством отсвечивает с витрин импортный алкоголь в пузатых и длинноствольных бутылках.

— О-о-о... «Санделла»!!! — срывается с места Олька, подскакивая к горбоносому продавцу в кепке-аэродром. Не торгуясь, протягивает ему пятидолларовую бумажку и хватается с прилавка оклеенный яркими нашлепками литровый сосуд. — «Санделла» — это майне фирма, майн продукт. — Он прижимает к груди дорогую его сердцу бутылку и, захлебываясь словами, требует, чтобы Серега перевел максимально доходчиво. (Егорыч при этом потирает ладони и облизывает губы: «Засандалим „Санделлу“!»)

Оказывается, Тринкер сам придумал этот напиток (три сорта красного винограда с небольшими добавками мяты, бузины, корицы и стручкового перца), запатентовал и через свою дочернюю фирму экспортирует в двенадцать стран мира, а теперь вот и в село Михалкино Судиславского района.

Мы по очереди отхлебываем из горлышка.

— Шмурдяк! — брезгливо морщится Егорыч и сплевывает вязкую жидкость. По правде говоря, для него все «шмурдяк», что не белого цвета и меньше сорока градусов.

— Нет, вообще-то ничего, — не соглашается Серега. — К мясу хорошо пойдет, если слегка подогреть. Но это не то, что нам нужно...

Ярмарка шумит на все лады и переборы, как загулявший русский мужик, дорвавшийся до воли. Особенно выделяются голоса продавцов-зазывал:

— Творогу, пожалуйста, откушайте...

— Молока пресного... молока кислого...

— А угря копченого не хошь? Сам не ловил, сам не коптил, а отдаю задешево... Ну чего встал, как Иисус на распятии?

— Сухарицу отведайте, сухарицу. Это мы репу парим, а потом сушим — наш чернослив деревенский. Ежли квасом залить да на печи настоять — за уши не отдерешь...

— Бери бочку мурманской селедки! Чего жмёсси? Цена сходная, товар без изъяну! Ну, по рукам и в баню — уступлю тебе свою милку Параню...

— Кому платья... сапоги... польта?! Всякого фасону, на любую комплектацию. Примеришь на себя — и уйдешь на лекцию...

Визгливый и разнобойный гул притягивает к себе кавказских торговцев, они расположились гуртом и прямо из кузовов машин предлагают фрукты, консервы, хозяйстварь, а также подпольную водку типа «бензинкеросин»... Слышится звон монет в засаленных кошельках михалкинских хозяек, с хохотком отбивающихся от коробейников всех мастей и калибров... Не мог не прийти сюда и местный батюшка, похожий на д'Артаньяна... С презрительной, настороженной ухмылкой, почуяв запах наживы, прохаживаются вдоль рядов костромские и ивановские гастролеры, молодые ершистые новороссы. Выжидают, принохиваются, прицениваются, яростно спорят с продавцами, ругаются, наконец бьют по рукам и берут все оптом... «Чтобы выжить, всегда нужно хорошенько выждать, — выламывается полуразбойного вида негоциант с выбритым черепом. — Деньги не пахнут, но без них ничего не понюхаешь».

Егорыч хмуро кусает губы: надо же так опростоволоситься; столько времени собирался в Михалкино — и все коту под хвост. Разве найдешь в этой толкучке заведующего фермой, давнего дружка и собутельника, на которого последняя теперь надежда? Видать, дорвался до праздника, черт неназорный... Прытко работая локтями, он ведет за собой на веревке Ветку, но народ расступается неохотно. Егорыч покрякивает, раскраснелся весь, кепка набок съехала. «Осади!» — командует и колотит ладошами по неслухным спинам.

Чувствую, что меня кто-то дергает за рукав, застенчиво покашливая.

— Вы из Вилларибы аль Виллабаджи?

Вздрагиваю и оборачиваюсь... Господи, Федя-баночка собственной персоной! Он же Федька Бельмондо, он же Федор Иванович Голошмыгин из Курзенева, карликовый пудель пенсионного возраста, с розовым бельмом на левом глазу.

— Нет, я из Вальпараисо, — с ходу «отстреливаю» я, хлопая по плечу рвань-старикашку, которого еще никогда не видел трезвым. Он всегда подшофе, но никогда — в доску.

Олька как-то съезживается, зажимая нос, а Корреспондент Членов отшатывается, будто перед ним прокаженный, и смотрит осуждающе в мою сторону: ну и друзья у тебя, Игрич, такая шелупонь! Но я питаю слабость к этому прыткому, как болотный кулик, вечно непросыхающему гномику-подростку преклонных годов. И чем это объяснить, не знаю. Свое прозвище — Баночка — Федя носит еще с хрущевских времен, когда мужики, скидываясь на троих, искали, из чего выпить. И тут как из засады возни-

кал Бельмондо-Голошмыгин с неизменным стаканом в руке, за что и получал свои законные пятьдесят граммов.

— Как дела, кавалер? — Глядя на его сморщенное, скукоженное личико и детский хохолок на макушке, нельзя не улыбнуться.

— Дела, как в Польше... товаришш пясатель... у кого нос длиньше — тот и пан. Хэд эн шолдерс, видал сосун вашингоу!

Мы стоим слегка обалдевшие и перевариваем информацию. Русский мужик, когда хочет выпить, всегда выражается иносказательно, но чтобы так...

— Ты где это по-английски наблатыкался? — смеюсь я, не в силах остановиться.

— Где... где. Адресочек запишите: Гробовшшинский лес, в нем седьмой навес, от дороги влево, где заячья тропа на прогон скота. Прямо не идите, взад не сворачивайте — сразу найдете! — Хитринка, словно солнечный зайчик, плукает в его рыжих глазах.

Не знаю, верить ли деревенским сплетням, но говорят, Федя-баночка наладил у себя производство спирта из краденого сахара и гонит его в лесу возле деревни Гробовщина. Наливает литр воды в большую плоскую миску, растворяет в ней килограмм рафинада и на две недели зарывает в муравейник, где всегда ровная температура. И несть числа голошмыгинским «винзаводам» вокруг Курзенева! Полчища муравьев забираются в миску, пьют сахарный настой, выделяя при этом муравьиный спирт. Бельмондо процеживает его, разбавляет пополам с водой — и настойка готова. С ее помощью он регулирует свои отношения с местной администрацией.

— Товаришш пясатель... Яхор... другі товаришшы... выручайте, братцы! На «Дикого мужика» двух тышш не хватат... Ну как, товаришшы?

Никто, наверное, кроме Федьки-Бельмондо и Егорыча, не умеет завязывать человеческую речь в такие ядреные, замысловатые узлы и извлекать при этом округлые, самородные звуки с полувопросом на последнем слове.

— Что есть «Дикий мужик»? — приоткрывает уста Ольгерд-Бернгард Тринкер, и лицо у Голошмыгина вытягивается от удивления. Он впервые слышит речь немца и впервые видит человека, который не знает, что такое «Дикий мужик».

— Клюквенная настойка... двадцать градусов крепости, — с удовольствием докладывает Федор Иванович, поддергивая обтягивающие тренировочные штаны с мотней до колен. — Производство Карабихского винного завода, с родины великого гражданина Некрасова... В «Диком мужике» каждый найдет то, что ему по вкусу. Даблминт и джуси фрук без сахара!

На что Серега тут же выдает ему без запинки:

— Кто прекрасней всех на свете? Вы — в колготках «Голден-леди»!..

Я протягиваю Баночке недостающую сумму и ныряю в толпу.

По-прежнему надсаживают глотки подгулявшие зазывалы. Появляется дюжий поводчик с ручным медвежонком, заставляя его плясать барыню под всхлипы гармошки. Ребятишки на все лады дуют в глиняные свистульки, которые специально к ярмарке наделал старик-гончар из соседней деревни. Какого-то приезжего богатея мальчишки берут в круг, требуя выкупа, и кривляются, цыганят: «Мы люди бедные, сдалеку приезжие, устали, исть захотели, подай чё-нить!» Богатей хохочет и вертится как черт на сковородке, кидает им медные монеты, пытаясь вырваться. Пристают и к Егорычу: «Не дашь сладкого пирога — сведем корову за рога!»... Но он, нахлестывая корову, спешно покидает ярмарку.

По утоптанной тропинке мы идем на дальнюю окраину Михалкина. Глаза равнодушно блуждают по новехоньким, с иголочки домам, по тесному лабиринту проулков с вязкой, непросыхающей глиной. Я озираюсь вокруг и не узнаю деревню: должно быть, мы вошли в нее «не оттуда». К каждому жилищу на приличествующем расстоянии прирублен теплый туа-

лет, вместительный гараж для «жигуля», просторная баня с предбанником и ТВ-антенной на крыше, проход к дому выложен бетонной плиткой. Живут же люди!

Я люблю строительство большого дома на отшибе: на солнце золотятся десять венцов из толстенных, остро пахнущих стружкой бревен, которые держатся на высоком каменном подклете. Тут же, на расчищенном от кустарника участке, разбиты клумбы и грядки с цветами, луком, чесноком, клубникой, стоят полиэтиленовые теплицы под огурцы, помидоры и сладкий перец. Отдельно на земле лежат готовые к отправке наверх голубые наличники с резными узорами. Даже среди новых построек сруб глядится как нарядный щеголь. Егорыч доверительно сообщает, что здесь будут жить русские переселенцы то ли из Киргизии, то ли из Казахстана, в общем, «мужики хозяйственные, с развитием». Новоселам устроили нечто вроде экзамена с отсевом, кто на что способен, нет ли среди них пьяниц и лодырей, предпочтение отдавали специалистам широкого профиля. Среди выдержавших конкурс оказались четыре семьи из пятнадцати: остальные уехали в соседний район, надеясь пустить корни на новой для них родине с прицелом на детей и внуков.

Старик с озабоченным видом стучится в дом напротив, рывком открывает дверь в сени... Что он там делает, неизвестно, но секунд через десять вываливается обратно. Схватившись за живот, долго трясется от беззвучного смеха.

— Я пришел к милашке в гости, а она после родов. Возле ей лежит ребенок двадцати пяти годов...

Стыдливо оправляя платье, на крыльце появляется сама «милашка» — грудастая, полнотелая деваха с недовольными глазами.

— Вам что, мужики?

— Дак ить это... мне нать коровушку покрыть, а у вас, говорят, бычок имеется, — торопливо, с угодливыми модуляциями в голосе объясняет Четыркин и, как всегда, хлопает себя по карману, где якобы деньги лежат. — Одна животина — что головня в поле, а две положи — глядишь, и закурятсся. Вот она, какая штука!

Деваха разглядывает нас и нашу корову Ветку, и мы ей все больше и больше нравимся. В хмурых с поволокой глазах просыпается что-то вроде улыбки. Она ведет нас на хоздвор, открывает засов; из темноты бьет в нос запах тепловатой гнили и сырости. Свет проникает сюда тонкими полосами сквозь щели в кровле, но глаза быстро привыкают к этому освещению. Отовсюду свисают изъеденные короедом доски, зеленые и белые пятна плесени расползаются по стенам. Коровник, по всей видимости, доживает последний год.

— Чуба... Чуба! — кричит хозяйка, включает лампочку, и я вижу лобастого бычка, который звенит цепью, хрумкает, перебирает копытами. Радостные предчувствия переполняют его молодой здоровый организм. Слышится характерное шлёп-шлёп.

Ветка без всякого понукания делает рывок к Чубайсу (полная кличка быка), но вдруг останавливается как бы с разбегу, всматривается в его ласковую лобастую морду, в черно-синие глупые глаза и с коротким ревом поворачивается к Егорычу: куда ты привел меня, старый черт, это же не бык, а малолетка?! И в самом деле: Чубайс кокетливо крутит мордой, ноги его гарцуют в нетерпении поиграть, порезвиться, пошустрить — «этого дела» он еще не понимает. Деваха громко хохочет, и мы хохочем вместе с ней. Один Серега стоит как неприкаянный.

— Время пять, а мы еще ни в одном глазу, — тихо возмущается он. — Сколько можно суходрочкой заниматься? — (А ведь культурный человек, член-корреспондент нашей Академии наук, а также почетный доктор Гейстербахского университета и еще какого-то славного заведения — не помню, как называется.)

И тут деваха неожиданно высказывает дельную мысль. Действительно, говорит, чего зря мотаться по частным дворам, когда есть Пал Палыч, техник-осеменитель из Белой Речки? Для любой коровы это второй после доярки человек, отец михалкинского и многих других стад. Быстро воткнет куда следует длинный шприц с бычьей спермой, которая хранится у него в жидком азоте в замороженном состоянии, слегка помассирует анус, чтоб Ветке было приятно, — и все дела. Вот и Чубайс появился на свет благодаря его, Пал-Палычевым, стараниям.

— Дак ить это... — загорается Егорыч и тут же остывает: — До Белой-то Речки, считай, двенадцать километров. Нам уж не дойти...

— А Колька на что?! — выводит его из нерешительности молодуха, воткнув руки в бока-окорока. — Ко-о-льк! — орет она в открытое окно дома. — Ты чё там, спишь, что ли? — В окне тотчас же появляется «ребенок двадцати пяти годов» с растрепанными волосами. — Беги давай за трактором, да не забудь тележку подцепить. К Пал Палычу поедешь, корову на случку повезешь.

— А как же мы ее погрузим? — удивляюсь я. — На руках?

— Зачем на руках? У нас помост имеется.

— А магазин в Белой Речке есть? — заговорщицки вопрошает Корреспондент Членов.

— Есть... есть, до восьми работает.

Колька поначалу кочевряжится; мужская гордыня не позволяет ему, молодожену, по первой прихоти жены лететь неведомо куда, неведомо зачем, — но, когда в руке немца он видит «чирик» в долларовом исполнении, вмиг успокаивается. Ай да Ольга, ай да купец-молодец!

Через двадцать минут мы уже трясемся в тележке по разбитому асфальту и успокаиваем Ветку, которая дрожит всем телом, с непривычки взирая сверху, как теплой серой дымкой затягиваются дали, а над болотами завязывается вечерний парной туман, кутая зябкие ивняки. Проносающиеся мимо деревеньки голосуют раскидистыми ветлами у околиц, колодцами-«журавлями», водонапорными башнями. Сквозь расступившиеся заросли порой открывается Меза, слепит глаза холодными блестками наигравшегося за день солнца. Окружающий пейзаж поворачивается к нам лучшей своей стороной...

— Откель ты выпал, вьюнош?

Хозяин пьет крепкого заваря чай, процеживая меж пальцев длинную ухоженную бороду, и похож на Льва Толстого и атамана-разбойника одновременно. На его дюжих, засученных по локоть руках синеют якоря, звездочки, ромбы, резвятся обнаженные наяды, а вслед им, щекоча пятки, несутся размашистые буквы: «Паша Вахрамеев». Старик с шумом отхлебывает из стакана, шевелит губами, возводя очи горе, и недовольно морщится: чего-то не хватает, а чего именно, он и сам не знает. Хозяин кладет в чай ложку сгущенного молока, ложку сгущенного какао, выбивает ладонью из доньшка бутылки последние капли, размешивает все это, отхлебывает, причмокивает. Вот теперь порядок! И тогда повторяет свой вопрос:

— Откель ты выпал, вьюнош?

Я внимательно приглядываюсь к старику. Может, он под мухой? Глаза его прячутся в складках морщин, в зарослях густых бровей, а на самом дне, в выцветшей голубой прорези, прыгают шальные черти.

— Из другой деревни, — говорю я, принимая его игру.

Он наверняка знает, кто я и откуда — полчаса назад ему звонили из Михалкина, что мы едем, — но изменить своей натуре не может. Такой уж он человек, этот Пал Палыч Вахрамеев!

— Из какой же из другой? — пристально шурится техник-осеменитель, отодвигая стакан. — Из Грбовщины, что ль, али с Загривочной? А можа, с самого Курзенева?

— Из Москвы.

— Ишь бедовый какой! — Он хлопает меня по плечу и как-то неестественно радостно смеется, оскаливая зубы. — А у нас ведь не хуже, согласен? Только вот дома пониже да асфальт пожиже... Документы имеешь?

Я протягиваю ему литфондовское удостоверение, и Пал Палыч долго и незряче крутит его на свету, сверяя верность фото и оригинала, даже слегка журит меня за несвоевременную уплату членских взносов...

И тут с Вахрамеевым происходит что-то непонятное. Споткнувшись об угол комода, он брякается лицом о стол — звенят стаканы, тарелки, вилки. Скулы у старика твердеют и натягивают кожу, глаза пучатся, а рот пытается выдавить что-то нечленораздельное. Только сейчас становится ясно: он же пьян, вусмерть, до синевы пьян; меня обдаёт убойным многосуточным перегаром. Да и какой он, к черту, старик? Мой ровесник — может, чуточку постарше... Минут пять он еще держался из последних сил, пытаюсь соблюсти приличия, а теперь вот сломался, и его бросило в сон — с храпом, стонами, угрозами.

Я выхожу на улицу, и Егорыч набрасывается на меня:

— Ну как?!

— Глухо, — отвечаю я. — Ухряпался в доску. Дай Бог, чтобы к утру созрел.

Мы садимся на берегу реки, закуриваем, расслабившись после тряской дороги, и не замечаем, как начинается дождь. Мелкий ситничек поглощает все звуки: ни людских голосов, ни характерного постукивания тракторного мотора. Наш водитель Колька отправился по белореченским знакомым, и неизвестно, когда объявится... От воды идет лютая промозглая сырость, и мы спешим под навес крохотного амбарчика, принимаем по стопарику.

— А ночевать где будем? — беспокоится Серега, с тоской разглядывая уютные дома над Мезой. — Надо принимать какое-то решение.

— И Ветку доить нать, — хмурится Егорыч.

— Фсё путет карашо, — успокаивает их Олька. — Ешчѐ тфе бутильки есть.

— Да и природа вполне подходящая, — поддерживаю я купца-оптимиста. — Заберемся под амбар, примем дозу, накроемся плащами — и порядок!

— Не надо, — возражает бывший крестьянский сын, а ныне раб городского комфорта. — Лучше поищем теплый ночлег.

Мы бредем по улице куда глаза глядят и словно принимаем парад стариннейших построек. Каждый дом в Белой Речке — как личность, каждый незаметно, но отличается от другого — то ли тонкой строчкой резьбы по карнизу, то ли почерневшими от жары и стужи бревнами, то ли кружевным балкончиком над входом, который внушает рискованное сравнение с итальянским палаццо. И у каждого тайна своих симметрий, тайна долговечности, тайна ненавязчивой, отнюдь не гордой, а скорее мягкой, устойчивой красоты, вбирающей в себя и влажный запах реки, и окна с домо-ткаными занавесками, и широкоствольные березы в палисадах, увенчанные грачиными гнездами.

Я останавливаюсь перед двухэтажной разноцветной избой с замшелым коньком-охлупнем на крыше. Она явно выпадает из деревенского ансамбля. Все дома почтительно расступаются перед ней, словно любят ее, как невестой. Задираю голову, чтобы охватить этот терем в целом, в совокупности всех его деталей, но взгляд цепляет то кружево резьбы между первым и вторым этажом, то задиристый крюк-«курицу», что держит деревянный водосток, то красно-зеленый райский сад по фасаду из причудливых цветов и виноградных гроздей.

— Тебе нравится этот дом? — спрашиваю я у Сереги.

— Уникум... всплеск величия! — с ходу заводится Корреспондент Членов, подкидывая свою оптику к переносице. — Он грандиозен, но не подавляет. Он прост, но заставляет ломать голову.

— Вот и хорошо, — останавливаю я его. — Будешь спать в этом доме. Я тебе обещаю.

Егорыч смеется, в сомнении покачивая головой:

— Тута старуха Мавра проживает с дочерьми, ей уж, поди, за девяносто. До чего языкатая женщина! Наждак-баба... едрит ее муха!

Но выпитая на голодный желудок стопка увеличивает мою активность по крайней мере вдвое, безрассудно гонит вперед. «Главное, чтобы впустили в избу, а там буду действовать по обстановке», — рассуждаю я, поднимаясь по ступенькам и рассматривая старую, изъеденную жучком-древоточцем резьбу на крыльце.

...Крепкая старуха с властным лицом новгородской боярыни сидит за прялкой, верх которой венчает ком овечьей шерсти. Рядом расположились две другие старухи, чуть помоложе и помягче лицами, и тоже с прялками. Все смотрят на меня как на оживший экспонат из музейной витрины: такое, видно, я произвожу на них впечатление.

— Можно позвонить от вас? — Это первое, что приходит мне в голову, когда я вижу в горнице телефон.

— Звони, бажоной, звони...

Да, но кому? Я ведь здесь никого не знаю... «А Вахрамеев на что? — подсказывает мне память. — Отец колхозных стад дрыхнет, поди, без задних ног и наверняка не подымет трубку». И вот я набираю номер Пал Палыча, а говорю так, словно на проводе глава местной администрации. Рассказываю о наших странствиях, ничего не тая и не преувеличивая: находимся, мол, в Белой Речке, семидесятисемилетний Четыркин Егор Егорович очень устал (между прочим, герой Сталинградской битвы, кавалер трех боевых орденов), корова его не доена, а ночевать негде. Помогите!

Все, как одна, в строгих бухгалтерских очечках, старухи слушают мою болтовню, ничего вроде не подозревая, но боковым зрением держат меня на мушке. Я кладу трубку.

— Да ты стой, бажонный, стой! Куды ты нелегкая несет? Вот беда! — почти приказывает мне главная старуха, заметив мое движение к двери. — Ночлегом, говоришь, интересуешься?

— Интересуюсь, Мавра Васильевна, интересуюсь. — Вовремя произнесенное имя-отчество производит хорошее впечатление. — У меня мало времени, потому и тороплюсь.

— Ну и жох-парень, на ходу подметки рвет! Садись и не рыпайся! Мы ведь люди приёмные... Раздевайся, разоболокайся, сейчас картошки начистим, консервь откроем, отогреем, развеселим душу!..

Мавра Васильевна откладывает прялку и, вооружившись костылем, идет включать чайник. Я понимаю, что от нее просто так не отделаешься: по мановению старухиною взгляда на столе появляются чашки с блюдцами, сахар, сушки, грузди соленые, а также запотелый продолговатой окружности предмет под названием «Касимовская невеста». Таков уж неписанный закон в глухих деревнях Заволжья — раз пришел в гости, значит, все: от водки можешь отказаться, а вот чаю выпить обязан, иначе обидишь хозяйку.

— Это кто же у вас героем-то будет? — иронично поглядывает из-под очков Мавра Васильевна, возвращаясь с заварным чайником. — Четыркин, что ли? — Я смотрю на старую-престарую женщину, небольшого росточка, сухонькую, с тонкими у запястий руками, на которых отпечатались следы шрамов и порезов. — Пьяница он, а не герой! — И тут же отдает приказание старшей дочери, такой же, как она, старухе: — Сходи-ка, Тайка, за мужиками! Чё им под дождем-то мокнуть?.. Будете в светелке спать, — распоряжается она. — Что такое светелка — знаешь?

— Знаю... знаю.

— Ну и ладно... А то мы, русаки, свой язык забывать стали. И чему только в городах учат? Вот беда! С ниверситетов повыходили, а слова на-

шего, простого, не понимают... Сей год жили у меня две девки с Питера, студентки. Я им говорю: «Сходите-ка, милые, за водой. Помогите мне, старой. А ведри-ти на мосту стоят»... Ушли мои жилички, как в воду канули: нет как нет. Я ужо себя, дуру старую, ругаю: зачем одних на реку отпустила, мало ли что случиться может? Однако являются — с лица все белые, устали порато. «Бабушка, — говорят, — не нашли мы ведер, и моста никакого нет. Всю реку до самого лесу обошли...» Уж как тут смех меня разобрал, хоть и грех над хорошими людьми смеяться! «Милые вы мои, — говорю, — да ведь мост-то по-нашему — коридор перед избой. Сенями в иных местах его зовут...»

Я удивляюсь ее голосу: звонкий, почти девичий, с мелодичными перебивами, он на диво соразмерен обстановке в избе с ее розовошеким самоваром, ходиками на стене, выскобленными добела полами и старым, раздобревшим котом, что мурлычет на прогоревшей русской печи.

— Ноне-то все в предавность уходит, с переживаньем люди и позабыли, што да как, а я все помню. Все! И как в колхозах без порток бегали, и как в войну кору хвойную ели, и какие роботушки робатывали...

А «роботушек» этих накопилось у нее столько — на пятерых мужиков разложить, и то выйдет много. Она обшивала всю семью, пряла, ткала, плела из лыка и бересты, ухаживала за скотиной... Но это, так сказать, чисто женские обязанности, и удивляться тут не приходится... Бабушка Мавра рассказывает мне, как нужно «раскрывать» дерево, как снимать с него наружные покровы, чтобы не повредить сердцевину, что такое «заподлицо», «лапа», «обло» и какие нужны балки, стропила, стойки и распорки, чтобы связать сложную кровлю... Кроме всего прочего, она косила, пахала деревянной сохой-«андреевной», корчевала пни, вязала рыбацкие сети, вила веревки, гнула полозья и дуги, бегала на охоту и при этом подняла на ноги несметную прорву детей, внуков и правнуков.

— Когда вы охотились, в какие годы? — во мне просыпается репортерский азарт.

— Дак в войну и охотилась, в войну, — говорит она, продолжая хозяйничать за столом. — Сынов в войну отвела и охотилась. Худо было тоды, худо! Вот то и заставило меня ходити и промышляти.

— А вы с детства умели стрелять?

— Нет, я девкой не знала этого... Ой беда! Говорить не могу, как не могу! Мне ить, бажонный, девяносто четыре — вот как во дак ведь. А я все как старая брякалка. Брякну ни к селу ни к городу — ни с краю ни у березы... Рябков била, чухарей, зайцев, выдру ловила, куниц, горностаев. Я и медведя добывала!

— Вы-ы-ы, женщина?!

— Да-да, женшшына. Сапогами раз премировали, а друго раз пятьсот рублей денег дали. Восемь лет в лесу лешакалась, все-то знаю. Хошь в мешке занеси в лес-от, так выйду, не заблужусь. Сына младшего, с дробовку величиной был, тоже к охоте приучала.

— Как же вы с медведем-то встретились?

— Дак Вупко-то и навел. Злющий пес, ако бес. Зачуял он берлогу — и давай лаять. Лаял, лаял, пока зверя не поднял. У-у-у, страшила! Как завидел меня — ну лапами снег загребать... Уйти бы надо, думаю, на кой мне медведь? А Вупко все лает, лает — не успокоится. У него уж медвежья шерсть в роте, у пса-то. Кабы не пес-от, разошлись мы по-мирному... У меня дробовка была с собой, шестнадцатый калибр. Засадила я пулю, а сама задом, задом. И Вупку зову: может, образумится пес? А медведь-от как хватит его, как рехнет!.. Тут уж из меня весь страх вышел, рука твердая стала — не промахнусь. Одним выстрелом порешила!..

Хлопает входная дверь, и на пороге появляются Олька с Серегой, мокрые и взерошенные. Оба смотрят на меня как на врага народа: расселся

тут, понимаешь, в тепле и с водочкой, а мы страдай... Говорят, что Егорыч доит корову и придет с минуты на минуту.

Пока мы выясняем отношения, Мавра Васильевна подслеповато щурится в сторону Тринкера, буквально впивается в него глазами, явно симпатизируя ему и выделяя его среди нас.

— Ты кто ж, батюшко, будешь — яврей али немец?

— Немец... немец, — почти хором отвечаем мы за него и горделиво подталкиваем к столу: смотрите, мол, какой редкостный экземпляр для вас откопали — настоящий миллионер! Тот просто млеет от удовольствия, выкладывая из рюкзака хлеб, масло, консервы, бутылки «Дикого мужика» и «Касимовской невесты». Чего только он не слышал о себе! И «фриц», и «немчура», и «Портвейнгеноссе» — а вот «батюшкой» его еще никто не называл.

— Ой беда! Ах ты, леший вас раздери! — веселится вместе с нами старуха, и от этого становится еще веселей.

В горнице суетятся дочери со своими домочадцами, внушительного вида мужиками городского обличья, следом за ними к столу робко притискивается Егорыч.

Мавра Васильевна жалеючи глядит на Ольку, который наворачивает картошку со сметаной и малосольным огурцом, и морщины на ее лице разглаживаются:

— Так ты, батюшко, взаправду мильёнер али так?

— У него денег как у дурака махорки, — торопливо вставляет реплику Егорыч, наливая вторительную.

— Ты, Четыркин, молчи, тебе слова никто не давал. — Старуха распрягается им почти как своей собственностью, и, судя по ее тону, можно предположить, что они давно и хорошо знакомы. — Неужто все пьянствуешь, черт гороховый? — Егорыч разводит руками и опускает глаза, как нашкодивший школьник. — Вот уж сатан так сатан! Много ль выпьешь за раз?

— Дак ить это... — разыгрывает дурачка Четыркин. — Ведро, пожалуй, не выпью, но отхлебну изрядно.

По застолью катится хохот: ну Егорыч, ну геройский мужик! Если еще минуту назад все сидели скромные и притихшие и чего-то ждали, то теперь как бы спустили себя с тормозов, заговорили через стол, и по соседству, и крест-накрест, и у каждого нашлись темы для разговора. Но Мавра Васильевна, патриарх семьи, быстро гасит это не по ее регламенту вспыхнувшее веселье. «Рано еще балагурить», — говорят старухины глаза и сурово поджатые губы, и домашние нехотя смиряются под ее взглядом.

— В прежние времена так не гуляли, — начинает она нравоучительную беседу. — Праздник — а никто не напивался... Ой, говорить не могу, как не могу! До чего сердце жмет, глаза бы не глядели, какая жисть пошла!.. В эфтом доме вся отцова семья собиралась, евонные дядья и племянники тоже приходили — и на всех одна бутылочка. И мензурочка вот такусенька с розовым ободочком. Поговорят, попоют, иной раз спляшут — и никакого распущения. А ноне даже по телевизору напиваются... Не-е-т, — осуждающе качает головой Мавра Васильевна, — нехороший народ российский, ой нехороший. Как воровал — так и ворует. Как крыл матюками — так и ноне кроет, токо еще круче. Ему что социализм, что капитализм!.. Скоко я церквей всяких перевидала — и каждая на горочке стоит. Облюбуешься! И свои же все разорили. Свои! Все люди-то у нас — они же свои, не с неба прилетевши... Нехороший народ, — заключает она, — ой нехороший!

— Нет, ка-ро-ший! — Мы с Серегой вздрагиваем, услышав голос Тринкера. И как это он осмелился перечить властолюбивой старухе! Дочери Мавры и ее внуки глядят на него во все глаза, ожидая объяснений, чем это так приглянулся ему русский народ.

Олька говорит по-немецки, а Серега коротко, даже короче, чем следует, переводит:

— Мужественный... добрый... справедливый... задушевный... совестливый... лиричный... веселый... импульсивный... терпеливый... может быть, противоречивый... чуть-чуть ленивый...

— И сильно пьющий! — добавляет кто-то из домашних, залпом опрокидывая стопку.

Ой, что тут делается за столом! Даже ребятишки-правнуки выскакивают из боковой комнаты, чтобы поглазеть на Ольку — лакировщика русского менталитета.

Наш член-корреспондент берет быка за рога: самоедство, самобичевание, самоуничужение, говорит он, всегда были и остаются потребностью русской натуры, и никто не может помешать нам предаваться этому национальному занятию. Но, с другой стороны, особенно под градусом русский человек способен проявить такую непомерную гордыню, что куда там немцам. Например, с легкостью необычайной он может доказать, что Россия является родиной слонов, паровозов и самых высоких христианских добродетелей. Таков генетический код нашей нации!.. Наверное, он бы еще долго рассуждал на эту тему, если бы не вопрос старшей дочери Мавры Васильевны: как это господин Тринкер оказался в нашей глухомани?

Я толкаю Егорыча под столом: давай, это по твоей части! Но тут же получаю ответный толчок: лучше ты, у тебя это лучше получается.

А история действительно из ряда вон: 2 мая 1945 года в селении Лаубсдорф сержант Егор Четыркин вынес из огня немецкого мальчика по имени Ольгерд-Бернгард. Спустя несколько минут после чудесного спасения был сделан снимок: молодой Егорыч, в окружении развеселых солдат-однополчан, держит на руках испачканного сажей мальчика в коротеньких штанишках. Это фото в течение десятилетий хранилось в семейном архиве Тринкеров, пока на него не обратил внимание нынешний владелец торговых фирм. Он долго разыскивал своего спасителя-сержанта и вот десять лет назад нашел его в деревне Пустынька. С тех пор он и ездит к Четыркину...

Вообще Егорыч единственный из знакомых мне солдат-ветеранов, кто прошел всю войну, не получив ни единого ранения. Вот такой везунчик этот разведчик-связист из 25-й гвардейской кавалерийской дивизии имени Григория Ивановича Котовского, кавалер трех боевых орденов и пяти медалей. И почему-то, когда речь заходит о военном времени, ему припоминаются смешные и нелепые случаи, которые с ним приключались: и как он «напужался», «оплошался», и как напился, и какой нагоняй получил от командира, — и всегда-то он оказывался в дураках. Я слушаю его с тихой улыбкой и думаю про себя: если люди выхваляются недостатками — значит, прячут где-то в глубине свои достоинства. И это, наверное, тоже чисто русская черта...

— А я ведь, бажонные, в гражданську войну воевала, — нарушает молчание Мавра Васильевна.

Тут все домашние начинают улыбаться, перемигиваться: мама-бабушка села на своего любимого конька! Олька достает диктофон и кладет перед старухой, руки его дрожат от волнения.

— У нас, кажись, тоже така машинка есь, — говорит Мавра Васильевна, проникаясь уважением к японской звукозаписывающей аппаратуре. — Кажись, «стерьво» называется.

— Не «стерьво», а стерео, — поправляет ее правнук Дима, приехавший на каникулы из города Северодвинска.

— Слышь-ка, батюшко, — вдруг сомневается в чем-то старуха. — Ты погоди-тко включать-то! Рыба посуху не ходит — вот наливочки выпьем, тогда да. — Она молчит, облизывает сухие губы и прибавляет: — А можа,

вообще обойдемся, а? Чего зря пленку мотать? Не ровён час, заарестуют тебя в Ермании. Я ить, батюшко, за белых воевала в гражданську-то. Вот как во дак ведь! Отец мой на «Потемкине» служил, а я у белых в обозе...

— Как ты могла, бабушка! — не выдерживает пионерская душа правнука Димы.

Старуха смеется, обнажая верхний ряд крепких белых зубов; восклицание юного отпрыска подстегивает ее память, раззадоривает, и Ольга включает диктофон.

— Э-э-эх, милой, милой! «Могла — не могла» — товды об эфтом не спрашивали. Кто первым пришел — тот и уздой правит, того и песня. Что хочу, то и ворочу — и никто ему не указ... Ох и наплету я вам тут всякую несметуру!

А дело зимой было, в двадцатом году, на Устрётъев день. Знаете такой праздник, нет? Мне тоды шестнадцать лет стукнуло... Пришли белые в избу и говорят отцу — а он, больной, на печи лежит: давай лошадь и сам поезжай, у нас боле некому! Насилу гонят-то. А война в Санкове идет, в сорока километрах... Матка кричит, батька кричит: не поедем — и все! Что делать-то?

Тут беляки и надумали: вон у вас девка здоровяшшая, ее и возьмем, пушай лошаадьми правит. Отец с маткой в голос: молода ишшо, погодить бы надо, какой в ей толк? А белые сердитые, голоса у их рыкающие: давай собирайся, девка, и весь сказ. А я все плачу — в слезах плаваю. Не хотела в войну-ту, ой как не хотела! Я сильно плачула... По шороху вышли...

— Как это — «по шороху»? — перебивает ее правнук.

— С утречка, значит. Еще окошки не играют и собаки не брешут, а мы уж в дороге. Тихо-тихо так, только полозья скрипят да обозные с похмелья ругаются... Идем, стало быть, в Санково, везем снаряды, пулеметы, провьант. А снегов кругом о-о-о!.. План-то у нас какой был? Чтоб ночью да нахрапом взять комиссаров, пока сонные. А разведчики наши ездили-ездили, смотрели-смотрели, тут их, видать, и заприметили. Мы и сами маленько зачухались: пока конных дождались, пока обоз построили, кому в какую очередь становиться, — в Санкове-то и рассвело.

Выехали мы на горушку... ой, что тут началось! Грохот, пальба, прямо снега заподымались. Сроду таких видов не видывала. Одной ногой живешь, а другая в землю смотрит. Уж как начали нас косить да строчить — кого в полон взяли, кого поубивали. Таки звери — дак это страсть! Раненые ревмя ревут, лошади в постромах бьются, ничё не видать... Выскочили мы в лес — и сразу по пояс. И горы кругом. Мы-то, молоденькие, штанов тогда не носили. С горы катишься — дак внизу-то и защекотает. Ой, беда! Все побросали — коней, снаряды, пулеметы.

Прибежали в Сулу, а там своя битва идет, совдепия наступает. Командёры наши с телефонов не слезают. Не пропускайте, кричат, ни солдат ихних, ни ямщиков, ни коней. Стреляйте всех на убой! Таки звери — дак это страсть!

Тут Малофей, дядя мой, и говорит: «Давай, Маврик, к нам поближе. Не ровён час, в плен попадем. Уж нас-то, как мы с беляками связались, ни в жисть не помилуют». Говорить-то он говорит, а у самого колени подвертываются. Сели мы в сани, тулупами укрылись, меня в середку запихали. И до самого дома все бежали и бежали. И никакого роздыху себе не давали. А домой пришли, как зачли мужики водку пить, так до утра и жорились... Ой и натерпелась я ужастей! Вся моя гражданська война — дак уж ой!..

— Русланд — это шенски страна! — зычно, как приговор, объявляет Ольга (все он понимает, только растолковать не может).

За столом одобрительно гудят, кивают головами, и старуха Мавра плывет на этих волнах одобрения...

Утром я нахожу себя на сеновале.

Сквозь прохудившуюся крышу бьет тонкий и длинный лучик — совсем как бельевая веревка! — а вокруг столько всяких вещей, что голова идет кругом... Вот узкий, похожий на заостренный с двух сторон карандаш челнок, важная деталь ткацкого стана — кросна. Этими станами костромичи уже не пользуются, а челноки кое-кто приспособил себе под пепельницы... Вот разнокалиберные туеса — от стакана до двухведерной кадушки, — посуда прочная, стерильная, непромокаемая, ничего в ней не гниет, не киснет и не прет. Не случайно крестьянин, уходя в поле, брал с собой эти емкости из бересты: в любую жару питье в них всегда оставалось холодным... Вот блеснула ржавчиной медная братина с загнутой ручкой: в старинные народные праздники из нее поочередно распивали домашнее пиво, усаживаясь по кругу... А вон негодная уже ступа с отломанным краем: в войну в таких бабы толкли сухой белый мох, толкли долго, старательно, перетирая до порошка, а потом добавляли туда остатки ячменной муки и пекли хлебы...

— Капли «Дикого мужика» пейте, кавалеры! — декламирует Серега, пытаюсь из двух бутылок выдавить себе что-то вроде опохмелки. Говорит, что вчера очень славно «посидели»: песен, правда, не пели и за грудки не хватались, но пошумели изрядно. Это, наверное, оттого, что смешали сорокоградусную «Касимовскую невесту» с некрасовским «Диким мужиком».

Нас троих, как черную кость, отправили на сеновал, а миллионеру Ольке постелили в светлице белые простынки.

Мы спускаемся вниз и натываемся на наших спутников, одетых по-походному. На их лицах — ни единого намека на вчерашнюю гульбу. По давней привычке Олька и Егорыч встали чуть свет, сообщая подоили Ветку и еще битый час дожидались, пока их «ученые» спутники продерут ясны очи.

Егорыч, по-военному подтянутый, намечает программу на сегодняшней день:

— Перво-наперво навестим Пал Палыча, может, очухался человек; ежели что — опохмелим и на ноги поставим. Это раз... В Белой Речке, сказывали, один бык имеется, у Набатова Виктора Мефодьевича, но ему нать бутылку ставить, за так он не согласный — это два... Слыхали, Колька-тракторист объявился? Не пропил еще совесть! Обещал, будет ждать нас до одиннадцати. Ежели ничего не получится — махнем в Михалкино, на ферму. Это три... Вы как, мужики, не возражаете?

Егорыч выводит Ветку из закута и смотрит из-под руки, как в пепельно-синем небе нежно кудрявятся облака, как в глубине ближнего бора за Мезой-рекой долго и могуче набухает горячий оранжевый шар, ворочается, рассыпается слепящими искрами, и вся земля дымится сквозь туман в неверном желтом свете.

— Взял я ветер, — говорит он, — и пошел в лето...



ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ



РАДУГА, ДОЖДЬ, ТУМАН



— Как совесть повелит моя,
Так и отправлюсь в путь,
А там пусть Высший Судия
Рассудит как-нибудь!

— Но, если за тобой второй,
И третий, и седьмой,
Кого неторною тропой
Повел ты за собой,

Когда ты Царь, когда ты — Вождь,
Когда обязан знать,
Как будешь укрывать их в дождь
И где положишь спать.

Им чистой совестью твоей,
Как ни велик твой дух,
Не обогреть своих детей,
Не накормить старух.

Так ради них испей до дна
Весь яд неправоты...
Затем свобода и дана
С Нагорной высоты.

Передышка

Где палая листва
Тропинки устилает,
Где Польша и Литва
Друг в дружку не стреляют,

Где дождь в ветвях стоит,
Не проливаясь наземь,
И дальний клен глядит
Багрянородным князем...

Даруй мне эти дни,
Расколотое время!
Угадок и брехни
С души свалилось бремя.

И зрение и слух
Готовы исцелиться,
Пока молчит петух
На золоченой спице.

* *
*

Разнообразие плоти:
Бронза, камень, стекло,
Дерево в позолоте
Источает тепло.
Мрамор просвечен смутно,
Поблескивает металл...
Слышится ежеминутно
Этих теней хорал.

Женщина та в трамвае...
Как ты за ней бежал!
Как на плечах не тая
Снег роскошно лежал!
Кажется, лишь мгновенье —
И достанет рука...
Шершавое прикосновенье
Пористого известняка.

Глина, кирпич, известка,
Мыльный асфальт дорог,
Женщина у перекрестка,
Истаявшая как дымок.

Вслед за этим другое —
Высокая, у окна,
В льющееся, голубое
Платье облачена.
От солнца на горизонте
В ее волосах светло.
Даже дыханьем троньте —
Дрогнуло, потекло.

Все это знал я, видел,
Спрашивал, обнимал...
Если кого и обидел,
Разве я понимал?
Только глаза сомкнете —
Двинется караван.
Разнообразие плоти:
Радуга, дождь, туман...



АЛЕКСАНДР СОРОКИН

*

НЕВИДИМЫЕ СПИЦЫ

Плат Пенелопы

Миновали дни потопа,
длится жизни маскарад.
Распускает Пенелопа
ожиданья вечный плат.
Вновь на спицы нижет петли,
нить бежит то вверх, то вниз...
— Неподкупная, помедли,
на мгновение очнись:
на исходе век двадцатый —
что нам странник Одиссей! —
все твердыни мира взяты
и в руинах Колизей.
Наше судно укачало
в буре пирровых побед,
нет надежного причала,
и Итаки прежней нет. —
Но бессмертие царицы
возвестил поэт слепой,
и невидимые спицы
правят жизнью и судьбой.

* *
*

Звезда Маир сияет надо мною,
Звезда Маир...

Ф. Сологуб.

Глаза устали от дневного света
и от гостей.
Скорей бы снова в сумрак кабинета,
к звезде своей.

Он без нее найти покой не чает
в чаду ночном. —
Альдонса спит, Альдонса не скучает
на дне речном.

А за окном все чаще перестрелка,
и смерть кругом,
и только скука, подлая сиделка,
заходит в дом.

Но надо жить, нести свой крест печальный, —
и жил, как мог:
для Дульцинеи ткал наряд венчальный
из лучших строк!

Превозмогал утрату за утратой,
пером скрипел
и ничего для музыки тороватой
не пожалел.

Странник

На крутом подъеме или спуске,
покоряя новый перевал,
с языка небесного на русский
переводы он одолевал.

То себе казался мулом вьючным,
то теснину брал одним прыжком,
но нигде назойливым и скучным
не был день его в труде мирском.

И, вместиw, что в дымке открывала
и сулила за грядой гряда,
понял он: надежного привала
на земле не будет никогда.

А язык, как повелось в народе,
доведет, коль не попутал бес,
в нужный час и при любой погоде
до Москвы, до славы, до небес.



ОЛЬГА КУЧКИНА



ПИСЬМО

* *

*

В этом возрасте не начинают сначала,
не задают вопроса, как жить,
не перекраивают лекала,
по которым шить,
ваши тряпки и ваши кости
брошены на игральный стол не сегодня,
и тот, кто на новенького приходит в гости,
не обязательно исполнит роль сводни,
несводимы ни вкус, ни вести
к матрицам, образцам и примерам,
и может стать дурно бывшей невесте,
едва свадебные образа вынесут новые пионеры.
В этом возрасте не начинают сначала —
универсальное правило для общезития.
Выйдя за порог его, не жди финала.
Жди события.

* *

*

Спина широкая мужская
к спине прижата узкой женской,
и, пятку пяткою лаская,
всю ночь плывут они в блаженстве,
еще любим, еще любима,
постель залита светом лунным,
плывут, плывут неумолимо
одним возлюбленным Колумбом,
теплом друг друга согревая,
плывут во время, что остудит,
еще живой, еще живая,
туда, где их уже не будет.

* *
*

Крестьянское письмо приходит
в мой дом отменно городской,
и верховодит-хороводит,
и тянет дымом, как тоской,
сурово требует к ответу,
мол, почему не с большинством,
и так по-детски тянет к лету,
на речку с леской и веслом,
крестьянской массой дожимает,
вина в отрыве от земли,
напоминая, что и в мае,
и в августе Москва в пыли.
Их большинство за власть Советов,
за общий смысл и общий круг,
из круга первого с приветом —
привет решителен и груб.
Им тяжело, и им сдается:
петлей, как смыслом, затянуть —
опять из общего колодца
воды волшебной зачерпнуть.
Колодец пуст. Рябина вянет.
Чужой приказ душе — чужой.
Своя сума души не тянет.
Есть путь, назначенный душой.

Я большевистский одиночка,
крестьянская малая дочь.
Ответная рыдает строчка:
примите искренне и проч.



НИНА ГОРЛАНОВА

*

РАССКАЗЫ О ЧУДЕСАХ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА

В одном южном городе обокрали квартиру...
За день до этого по подъезду ходила старуха, звонила во все звонки подряд, якобы искала Машу, с которой вместе лежала в больнице. Фамилию Маши, мол, забыла, потому что лежала с трепанацией (и в доказательство показывала шрам на виске).

Во время ограбления шел обвальный дождь.

В этот день с самого утра хозяин квартиры Ярослав Иванович чувствовал во рту что-то нехорошее, как бы волосы. В одиннадцать часов он сел в свою машину и поехал домой. Потянуло, и все.

— Яр, подожди! — Твердохлеб остановил машину и сунул в нее какую-то заплаканную женщину, едушую кормить грудью младенца. У нее в больнице лежала другая дочь. Ярослав Иванович привык, что его заместитель кудахчет вокруг своих больных, но почему-то сегодня его это особенно раздражило, словно потерянная минута отразится как-то... Неудачу принесет.

Во дворе своего дома ему чем-то не понравился красный поцарапанный «Москвич». Отдыхающих в городе навалом, но лысоватый хозяин «Москвича» почему-то показался ему неприятным типом. В подъезде Ярослав Иванович достал из почтового ящика газеты. Потом вошел в квартиру. Все было в порядке. Он выпил стакан кофе и, когда выходил, опять встретился глазами с хозяином старого «москвичонка». Вернее, хотел встретиться, но не получил ответного взгляда... Вообще-то Ярославу было некогда заниматься ерундой, пора на совещание. Все бывает, но уж это — поставить глухонемой диагноз по температуре, не осматривая! Тамара Васильевна его не в первый раз подставляет. Оказалось, у больной аппендицит — хотя и при атипичном залегании отростка... Но ведь глухонемая пишет в жалобе, что показывала рукой где нужно — справа в низу живота. Когда Ярослав подходил к залу заседаний, Тамара двигалась ему навстречу. На ее лице, как обычно, было написано: у меня двое детей, мужа нет, алименты маленькие. Что я могу предложить Ярославу? Себя? Костюм? Костюм.

— Купила сыну костюм — широк. Только на вашего Женю!

— Да? — неопределенно отвечал Ярослав Иванович.

Еще лет пять назад он бросал на нее такие взгляды, а нынче чуть ли не от костюма сыну отказывается!.. Тамара знала, что у нее бывают ошибки в работе, но привычно винила во всем бывшего мужа: с тех пор как он ушел от нее к молоденькой медсестре, как-то трудно все время быть внимательной...

С запанибратством старшей сестры, издаലെка, крикнула Люба:

— Ярослав Иванович, к телефону!

Он вернулся в кабинет, хотя был уже у двери зала заседаний.

В трубке долго молчали, потом пошли гудки. В этот день все не нравилось — не понравились и гудки.

Люба задержала его:

— Моя сестра приехала. Ей к зубняку срочно.

— Хорошо. Где она?

Вошла женщина, похожая на Любу, но старше, и вместо зубов у нее оказалось нечто серо-зеленое; при ближайшем осмотре это все вывалилось, и он понял — прополис! Ярослав подумал о меде, и тут же у него в руках оказалась трехлитровая банка меда.

— Так, запомните: якобы у вас обострение язвы. Это дает право на внеочередное протезирование. — Он быстро написал нужную бумагу. — Да, Люба, официантка из-за травмы на ногах не стоит — уволим.

Оля Закуренко обрадуется, когда узнает, что освободилось место. У нее дочка с ожогами лежит третий месяц. При дочечке будет Оля! С мужем развелась, с пьяницей, а тут такая беда: у дочки бант загорелся...

Твердохлеб вошел и вручил Ярославу пакет:

— Отец вашего, этого... остеомиелита.... Коньяк. — И Твердохлеб поставил на стол бутылку, развернув, весь из себя бессребреник. Можно быть бессребреником, когда руки золотые, все ценят, так уж ценят, что в Ростов забирают! А работает на елизаровских аппаратах, сам ничего особого не выдумал, руки просто... Зачем Тамара не послала глухонемую на рентген — вечно шаманством занимается!

— Да, Гриша-Шиша опять лег к нам, — сказал Твердохлеб с улыбкой.

Хорошо, что предупредил. Гриша-Шиша выкидывает разные номера, нужно быть наготове. И сразу же в коридоре Ярослав столкнулся с ним. Гриша-Шиша сразу начал стихами:

Вот идет живорез,
Везде он нужен позарез.

«Обормот», — подумал Ярослав, улыбнулся и пошел дальше.

Но сейчас нужней ты там,
Где выносят разный хлам.
Твоя милая коробка
Будет словно голожопка.

Ярослав остановился, потом обернулся: что это, о чем он?

— А костюмчик-то придется взять! — добавил Гриша прозой.

Ярославу показалось, что из шишки на Гришином лбу выстрелил проектор горячих лучей — прямо в грудь попал. «Устал. Пора в отпуск. Вот выйдет первый зам, и уйду... Отдохнуть надо».

...Когда Ярослав ехал на обед домой, Твердохлеб опять посадил ему женщину, кормящую мать. Где-то рассеянный, а тут... Что ему эта женщина? Восьмого марта Твердохлеб говорил поздравительную речь и перепутал ланиты и перси. По рассеянности — он конечно же знал разницу. Но хорошо, что не перепутал ланиты с лоном... Ярослав Иваныч покрутил радио и поймал вдруг Каунта Бейси.

— Каунт плэйс, — сказала кормящая мать.

— Для меня рок-н-ролл больше чем просто музыка, — почему-то признался Ярослав.

— Музыка — всегда больше чем музыка.

— Чайковский после рабочего дня — нет...

— Он не отключает, заставляет страдать...

Ярослав спросил, смотрела ли она «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Как, она вообще это не смотрит? Но ведь там можно увидеть и услышать все!

— Неужели все?

— Все-все, — отрезал Ярослав. Носится Твердохлеб с этой женщиной... Он сам, Твердохлеб, человек не тонкий, приходит в гости и не замечает японскую вазу с пейзажем: ее поворачиваешь — солнце всходит, становится все светлее, а потом повернул — и солнце заходит...

— Где вы работаете? — вежливо спросил Ярослав.

— Чтобы объяснить, где я работаю, нужно целую лекцию прочесть — по функциональной музыке. Это «Сенатор Уайтхед»?

Да, и гитара свою функцию знала хорошо и совсем успокоила Ярослава. Значит, на заводе эта женщина крутит в перерыве диски... Они расстались на сей раз без рубля, может быть, потому что музыка — это всегда больше чем просто музыка.

«Вот тебе и Гриша-Шиша!» — подумал Ярослав, глядя на выставленную дверь своей квартиры. Не зря он на обед поехал! Обычно и на работе можно хорошо поесть, но потянуло. Жена уже сидела на телефоне... Вазы не было, «Сони» не было... Он забрал трубку и сам позвонил в милицию, чтобы с собакой обязательно...

Собака взяла след лишь до того места, где стояла машина, которая, судя по всему, проехала по огромной луже, а дальше — неизвестность.

— Проклятый ливень!

— Они грабят в дождь, потому что меньше вероятность встретить кого-либо...

Следователь не нравился Ярославу, темнота: с ошибками пишет названия украденных редких дисков: например, вместо «Катя Буш» — «Кати Буш»...

В городе много говорили об ограблении: справедливость, дескать, восторжествовала. Ярослав Иванович был человек влиятельнейший, но взятки брал безбожно, и народ роптал, бывало...

— Какая справедливость! Я покажу им справедливость! — кричал дома Ярослав, когда жена пересказала ему кое-что. — Я им восторжествую! Галя! Да я за три года нагоню все, вот увидишь! Сегодня только костюм мне предлагали...

«А костюмчик-то придется взять» — так он сказал, Гриша-Шиша? Всегда он все знает наперед...

— К Грише-Шише надо подойти мне, он все знает, наверное.

Утром Ярослав пошел на поиски Гриши, но оказалось, что Гриша ушел из отделения, раздумал оперироваться. Он то приходит, то уходит. Такой...

Когда Люба подала Ярославу приказ о принятии новой официантки, он велел его перепечатать. Нужно дать месяц испытательного срока, то есть пока временно оформить. Люба поняла, что потребуются взятка: она уже знала об ограблении и как бы понимающе кивнула. Но чем-то ей нравилась несчастная Оля, которая не только дочку лелеяла в больнице, но и ухаживала за другими: вставляла газоотводную трубку, выносила судно...

Ярослав ехал на хутор к Грише-Шише с надеждой. Гриша мог бы жить как миллионер: сколько раз находил пропавший скот... Но Гриша жил в нищете. Он заварил гостю какой-то травяной чаек, было даже непонятно, уловил ли он суть вопросов Ярослава. Когда вопросы были повторены, Гриша стал вести общие рассуждения о том, что все должно идти своим чередом.

— Но зачем тогда... ты зачем заранее-то намекнул? — спросил Ярослав.

— Я тебе твое лишь сказал.

— Мое?

— Твое. Ты уже сам знал. Я только твое и знаю. И у каждого лишь на лице читаю... Иногда.

Но Ярослав был человеком с интуицией. Чуял: недоговаривает Гриша. И шишка на лбу, кстати, у Гриши странно шевелилась, словно жила своей собственной жизнью.

Гриша-Шиша и в самом деле прислушивался к шишке и в конце концов понял, что все украденное добро через два месяца вернется к хозяину. Но он не имел права об этом говорить: за два месяца пройдет жизнь, состоящая из шестидесяти дней, и разные люди за это время проявят разное отношение к этому добру, причем одни станут хуже, другие — лучше. Еще повезет Оле, новой официантке в больнице, а если Гриша сейчас все скажет, то... Нет, не имеет он права говорить.

Ярослав покидал хутор с убеждением, что Гриша знает, где «Сони», где ваза, где всё. Ну а что не хочет говорить, так ему ж хуже. Всю жизнь так и протопает в комнатных тапочках. Как это он сказал на прощанье?

Счастье держи в голове, а не в руках,
Тут ни при чем человек в очках.

Это он небось про подозрения Ярослава насчет того, что сосед навел воров. Неужели он все мои мысли читает? Стало быть, не зря съездил к Грише — отпал вариант с наводчиком; Ярослав поверил, что человек в очках тут ни при чем.

Возле коллективных садов он догнал музыковедшу с двумя сетками яблок. Предложил подвезти. Спросил про дочку.

— Спасибо, лучше. Зрение вернулось к ней. Но сотрясение мозга еще долго будем лечить... А я знаю, что вашу квартиру обокрали, но... Если кто-то предложил поменяться, то я... с радостью бы, пусть обокрадут, только б дочка не упала с качелей...

Она думала: если б можно меняться, то, конечно, пусть сейчас ограбят, а потом, когда обрастем новыми вещами, еще раз ограбят, но зато никто не упадет с качелей... Еще повезло, что попали к Твердохлебу: такой врач...

А в больнице ей говорила Оля: «Я бы поменялась с вами, чтобы дочка упала с качелей, но личико красивое осталось...» — у Олиной дочки все обгорело...

После чего женщина в белом платке заплакала и тоже пробормотала что-то про обмен — уже с Олей. У Оли лицо дочкино обожжено, а ее — женщины — дочка... умирает в двадцать лет. Автомобильная авария...

В эфире передача «Слово автоинспектору». У микрофона старший лейтенант УВД Никитин. «С добрым утром! В этом месяце стоит прекрасная погода, и все мы просыпаемся с добрым настроением. На дорогах области относительно спокойно. Но по-прежнему наш враг — алкоголь — является причиной многих дорожных происшествий. Так, неделю назад, шофер самосвала Игошев Алексей, будучи в нетрезвом состоянии, совершил наезд на „Москвич-410“, в котором находились кроме шофера трое пассажиров, среди них молодая девушка. Все получили тяжелые внутренние повреждения...»

В мужской палате обсуждали, где брать деньги, — им дали понять, что Ярослав бесплатно оперировать не будет. Твердохлеб уезжает в Ростов и уже не берет пациентов. Что же дать хирургу, что? У них не было ничего, кроме взятого у самого Ярослава на прошлой неделе. Проклятый дождь, не смогли увернуться от самосвала. Ну черт с ним, с барахлом. Мороз, человек со скрюченной рукой, вышел в коридор и направился к кабинету главного врача. Он подождал, когда оттуда выйдет двое посторожных. Можно не приводить разговора, который произошел между человеком со скрюченной рукой и Ярославом, но нельзя опустить то, что вечером Ярослав сказал жене:

— Вот наконец-то справедливость восторжествовала! Они нас обокрали — и попали к нам же! И как я раньше-то его не узнал! Ах да, он, оказывается, перед кражей красил усы в черный цвет. Акварельной краской... В больнице смылось...

Выздоровливали они медленно. Но хорошо, что добились отдельной палаты. Жалели, что Лидку спасти не удалось...

— И вообще: нет справедливости никакой! — говорил Мороз. — Хотели пожить спокойно, но пришлось все вернуть. Теперь снова надо в дело...

«Нет справедливости», — думала Оля, соображая, где взять денег на взятку главному врачу. Она вынесла судно из-под интересного мужчины, который медленно, но верно поправлялся после тяжелой полостной операции.

— Присядьте, Олечка, — попросил он. — Я, знаете, загадал: если будет дождь сегодня, я вам все скажу... В день, когда вы первый раз подошли ко мне, тоже лил дождь...

— Я кормлю с ложки только тех, кто с хуторов, к кому редко приезжают, — отвечала рассеянно Оля, думая, что деньги брать тут не очень-то удобно, хотя они были очень нужны: Ярославу-то придется отдать всю свою зарплату. Так намекнула старшая сестра.

— Оля, я знаю, что вы живете с дочкой... Я тоже один. Я вас прошу: давайте вместе... Попробуем вместе... И в дождь, и не в дождь...

— Как вы хорошо сказали: и в дождь, и не в дождь, — сказала Оля. — Я только у дочки спрошу, но... но она согласится, я знаю!

ТАК КТО ЖЕ ПОСЫЛАЕТ ДОЖДЬ?

ГРИША-ШИША

В автобусе гуляла казачья свадьба: все наряжены цыганами, муж «бьет» плеткой жену: работай, мол, работай! Она идет гадать пассажирам — звенят нашитые на юбку крышечки от пивных бутылок. Гришу узнали по шишке, поднесли водочки...

Он шел по Калитве и вспоминал свадьбу. Подумал: «Может, и мне надо бы жениться...» А уже темнело. Одинокая женщина стояла перед пятиэтажкой и говорила:

— Только бы живой оказался, а там уж пей сколько душе угодно!

Помолчав, она снова стала умолять:

— Покажись живой-то!

Гриша подошел:

— Кто должен показаться?

— Да Магмудинов. Вася. Муж мой. Он у меня в голове, а ты — не в голове. — После чего женщина снова повернулась лицом к окнам: — Скучаю я, Вася... Но пора, все! Поговорила я с тобой, пора...

...Гриша очнулся на скамейке возле пятьдесят четвертого дома. Очень пить хотел. Здесь, на втором этаже, живет знакомая баптистка. Недавно звала его в общину вступить. Но у баптистов нельзя смеяться и шутить. А стакан воды дадут? Похмелье Гриша не любил: будто все тело надето на кость как-то набекрень...

Остановился у реки, попил. Рядом мужик ловил рыбу на макуху. Тут же пятилетний мальчик натягивал футболку на голову. Папа, папа, смотри! Папа посмотрел и спросил, зачем сын рвет футболку.

— Я не рву, я — инопланетянин!

Гриша понял: надо оставить после себя сына, маленького Гришу, но без шишки. Шел и все думал об этом. А в «Соснах» пели «Донцы-молод-

цы», шумела праздничная толпа — казачий хор закончил песню, и все смотрели выставку самодельных ковров. Местный поэт Василий Г. выступал после хора; по газетной странице он читал:

Я хочу влюбиться в хуторянку,
Завести хозяйство у пруда,
Не круша, работать по утрянке,
Как земная светлая звезда.

Иногда Грише казалось, что во время сочинения стихов Василий специально сходит с ума. Почему звезда светлая? Разве бывают темные? Гриша подошел и негромко спросил:

Если ты влюбился в хуторянку,
Успокой, пожалуйста, меня,
Ты зачем, мой милый, по утрянке
Все крадешься возле куреня?

— А здороваться кто будет? — протянул ладонь Василий, пропуская мимо ушей намек Гриши на очередную ночную пассию. — Я новые читаю. Хочешь? Образ я уже освоил, образ у меня хороший получается. Сейчас над слогом работаю.

Гриша повернул к дому. «Я сам могу наплодить много слов», — думал он. «А сына?» Про несуществующее существо он ничего не мог знать — ведь оно еще и не существо.

На лавочке возле его дома сидела незнакомая женщина. Значит, муж от нее сбежал, это уж понятно. Гриша сердито отрезал: я вам не гадалка все-таки. Не хотел он больше говорить людям всю правду. Он знал, что цепь событий с его участием ничем не лучше цепи событий без его участия.

— Я распишусь, распишусь! — дергала его за рукав женщина.

Давно уже Гриша завел это тетрадь, где каждый должен был свою просьбу написать и подписаться. Женщина вывела: «Я хочу знать, где мой Витек». И подписалась: Гуселькина. Гриша сказал ей так:

— Одна потеряла, другая нашла. Общая сумма радостей и печалей не меняется...

Он мог говорить проще и предпочитал говорить проще, но боялся огорчить женщину; не его это дело — горе добавлять человеку.

— Виноград сладок, да не пьянит, он лишь раздавленный переходит в вино. Тоже... страдание человеку нужно, как винограду.

Гриша искренне так думал: раз страдание нельзя уничтожить, то на благо душе использовать его. Пострадал — потом радость, что все уже позади... Но женщина хотела конкретно знать, где Виктор Гуселькин.

— Ты сама ведь думаешь сейчас, что он у Людмилы Павловны, — сказал наконец Гриша. — Там и есть. Но не дома, а в саду они, виноград опрыскивают. Искупаться собрались к тому же...

— Купаться ей, суке, надо! — побагровев, запричитала Гуселькина. — А я уже две ночи не спала, вру детям, что на пасеке задержался он.

Гриша проводил гостью и захотел выпить. Чтобы стать таким же, как все. Пленка спасительного незнания тогда закрывала перед ним все мысли других людей, и жить становилось интересно. Когда собутельники пьянели, Гриша становился лишь нормальным человеком. Но он не знал, где она, грань нормальности, пил еще и неизменно проскакивал ее, догонял товарищей, пьянел и засыпал.

Гриша пошел в огород, чтобы набрать овощей на закуску. Там рыжая соседская кошка ела огурцы прямо с грядки, хрустя сочной мякотью. Гриша знал, что огурцы она ест не от голода, а потому что путает их с травой «огуречник», которая повышает детородные способности. Мечта о сыне опять пришла ему на ум. Грише всегда удавались урожаи в огороде. Он нахватывался советов в разных журналах, когда бывал в библиотеке... Сей-

час придет женщина Гуселькина и принесет жареную курицу. Ее нужно съесть, чтобы не испортилась. У Гриши нет холодильника. И в самом деле послышались шаги на лестнице, и она вбежала:

— Да, там она, там! Я курицу у них отобрала для тебя! Сука! Зачем ты мне сказал!.. Я убью ее... Или сама... сама...

Гриша полез в кованный сундук, достал книгу подписей и без слов показал женщине.

— Гриша, а можешь сделать так, что я опять ничего не знаю? Я тебе заплачу, хорошо заплачу!

— Не могу. Не могу я.

— Ешь курицу-то, Гришенька, ешь! А обратно его к нам перекинуть — можно? Нет? К детям ведь...

— Нет.

— Я ничего не пожалею, меду у нас!.. Качаем по четыреста литров за лето...

— Я не колдун. — Гриша устал — он стал рвать курицу на части и есть. — До свидания.

— Гришка! — закричала вдруг женщина. — А ты... шарлатан! В суд на тебя подам. Да-а... И часы у тебя не идут, двое часов, а стоят. Тут ведь кроется...

Гриша и без часов знал время, но не стал ничего объяснять. А Гуселькина схватила будильник и допекала: почему часы стоят?!

— Режим экономии. Слыхала такое? Чтобы не тратить лишнее время, я иногда часы останавливаю. Понятно?

Тут ей стало понятно, что перед нею человек ненормальный и взять с него нечего. А Грише только этого и нужно было... Устал он. Только так и избавляешься от напастей, когда изобразишь сумасшедшего. Он налил себе немного вина и выпил. И вдруг Грише стало хорошо, это означало — к нему идет. И не чужие, а свои — Игоренок, Вовка Бендега. Несут раков вареных. Гриша еще сбежал в огород. Когда обратно шел, увидел: проехала машина с солдатами. Опять солдаты эти задели его за живое: сына бы надо оставить! А в хате уже сидели гости, причем поэт Василий с ними (его Гриша не предсказывал себе сегодня). Значит, только что написал что-то — прибежал читать. Точно.

— Новое пошло! Такое! Предчувствие полета, слушаете?

А Гриша только что летал, он захотел послушать.

Василий насутился и начал выпевать:

Как зоб вулкана с темной магмой,
Ходящей, словно толща плоти,
В отложениях скрученных ристалищ...

Гриша прервал его:

— Много слов знаешь! Каких еще ристалищ?!

А Игоренок приставал в который раз к Грише: кто да кто у них с Маринкой родится? И в третий раз Гриша ему сказал, что все, завязал с предсказаниями.

— А как мы жить будем? — оскорбился Вовка Бендега. — Не привыкли мы жить в заблуждении...

— Заблуждение — оно, может, нужнее, — отрезал Гриша.

— Разлюбила меня баба! — вдруг горестно сообщил поэт Василий.

«Так вот почему он пришел», — подумал Гриша.

— Какая?

— Кладовщица Тося...

И начал новые стихи читать:

Мужичок ты больно слабый, как сырое просо...

— Это... хватит! — сказал Гриша. — Бред какой-то собираешь...

Василий вскочил:

— Да у меня книжка выходит! В Ростовском областном книжном издательстве, вот!

«А, вот почему он пришел, — догадался Гриша, забывший под воздействием вина, как читать мысли другого человека. — Но... плохо дело, последние дни человеком живет, там зазнается, пропадет...» И Гриша погладил Василия, который последние дни является человеком.

Вовка Бендега затынул:

Конь боевой, с походным вьюком, стоит у крыльца,
Копытом бьет,
А из ворот военной школы...

— А из ворот военной школы, — подхватили все, — и песня, простая и мужественная, пошла гулять по душам поющих, отсекая их от неприятных мыслей.

А из ворот военной школы-ы
Под смелым взглядом военрука-а...

Песня лилась без запинки, и когда у одного из поющих кончался воздух и он отдыхал, вступал второй, третий, и так они по очереди отдыхали, а песня длилась. Гриша вспомнил, как в кузнице качали воздух два меха и поток воздуха не прерывался.

— Умирать не хочется, — сказал Гриша, и слезы его капнули в стакан с вином.

— А кто тебя просит? — удивился Василий.

— Сына бы оставить после себя...

Вовка Бендега готов был спяну поделить своей знакомой Галей.

— Хочешь познакомлю? Она говорит всем: «Вам приятно — мне нетрудно». И беременеет — раз — и ждет ребенка, куда тут деваться?..

Запретно-постыдно-прекрасный образ плодovитой женщины на миг вдохновил Гришу, но пошел он на следующий день все-таки к пятьдесят четвертому дому, к знакомой баптистке. В школьные годы он ходил к ее дому на Стандартном — охранял его. Целыми ночами, бывало, бродит. Так ему хотелось... охранять.

— А, беззаконник пришел! Закона Божьего не исполняешь! Зачем пришел?

— Подожди ты... голова раскалывается. — Он сел на полку для обуви.

— Господь нас испытывает... Духа не будешь иметь — здоровья не будет у тебя. Или нет, пусть тебя ученые твои печат, сильно ты их любишь, Гришенька...

Он подумал, весь поселок тогда на ней лежал, а я не смел и мечтать, тем более теперь она не согласится родить мне... Тут вдруг появилась гостя-баптистка, обе они сели на стулья напротив Гриши и запели:

И шла путем я прямо к аду,
Господь поставил мне преграду.

Вовка повел его знакомиться на следующий вечер. Гриша волновался, но выпить отказался наотрез.

— Опустись ты, когда женишься, — печально заметил Вовка.

— Я не опущусь, я корни пушу, — сказал Гриша. — Спешу я.

Но Вовка Бендега оказался жертвой арифметики, которую пренебрег. Он не подумал, что десять лет назад был в том доме, да и тогда женщина была на десять лет его старше. Таким образом, они пришли к пенсионерке. Гриша точно знал, что ей пятьдесят шесть лет. Но уже накрывали на стол — куда деться...

— Люська, — позвала женщина свою молодую квартирантку, — салат быстро нарежь, как я учила! Помельче!

Люська с интересом смотрела на Бендегу, но Гриша знал, что вино давно вымыло из него, Вовки, всю мужскую силу. Вдруг у Гриши поднялось настроение: понял, что сюда идет кто-то... Подруга Люськи Лариса. Вот она вошла и сразу встала на диск «Здоровье», начала крутиться. Будто танцевала на привязи, и хотелось Грише ее отвязать. Хотелось обнять. И не говорить лишнего, а чтобы как в Библии... но позвали за стол, и танец прекратился. Вовка мирно беседовал со своей пенсионеркой:

— Хрущев тогда был, кукурузу претворял!

— А помнишь, как у меня корова отелилась?

Гриша загорюнился: корова отелилась, овечка ягнилась, кобыла — тоже...

Лариса протянула ему рюмку — чокнуться. Губы под помадой были немолоды. Гриша сделал вид, что пригубил вино, а сам все думал, где взять деньги.

Потом Люся пошла провожать Бендегу, а Ларису нес Гриша. Он мог донести ее до своего дома, но дома не было денег.

На следующий день Гриша рано пошел к Игоренку: понес золотые часы. Их ему подарил поп Синегорской церкви — за то, что Гриша сказал, где украденные иконы. В общем, уже в полдень Гриша был в Калитве, купил золотое кольцо и стал искать Ларису. В одном кафе он встретил одноклассника (школу Гриша не закончил, потому что перед самыми выпускными экзаменами обвинил директора в краже стройматериалов, за что и... освидетельствовали его врачи и запретили сдавать экзамены). Одноклассник сказал, что видел Ларису по пути на пляж. Да ты, Гриша, смотри, она же спортсменка... чемпионка в этом...

Гриша пришел на пляж и сразу стал требовать, чтобы Лариса подарила ему сына. Она слушала так, что даже пустила на песок немного слюны. С тех пор как она помнит себя с мужиками, чего только не требовало от нее племя мужское, но рожать никто не просил. Всегда наоборот!..

Кольцо она взяла, надела: как раз. Ну, не зря ведь про Гришу говорят, что он этот... провидец. Обещала, что вечером придет к нему.

Гриша поставил в центр стола огромный букет георгинов, постелил чистое белье. Только Лариса начала на себе расстегивать что-то, как в дверь застучали.

— Гуселькин, ты? — спросил Гриша. Понял: Гуселькина выдала.

— Я... я... я тебе морду сейчас расквашу! Бабский угодник, жертва аборта! Что ты наплел жене моей?

«Нет, пора умирать», — подумал Гриша.

— Лариса, ты вылазь в окно, драка тут будет.

— Ну и что такого — драка так драка, — буднично ответила Лариса и пошла включать свет.

— Отойди от двери! — закричал Гриша.

Только она отошла, дверь выпала, запахло перегаром и мужским потом: видимо, Гуселькин всю дорогу бежал, распался. Гриша видел, что удар придется ему по шишке, однако не успел загородиться. Но и Гуселькин получил в лоб от Ларисы чем-то увесистым. Это заставило Гуселькина ретироваться. Прибежал на шум Игоренок, который прогуливал беременную Маринку и увидел бежавшего человека.

— Шишка после удара опять расти начнет, — печально говорил Гриша.

— И опять спадет, — успокаивал Игоренок. — Пора тебе ее вырезать!

— И буду я Гриша, бывший Шиша?.. А вдруг это буду не я?

Игоренок ушел, а Лариса снова выключила свет... После того как маленький Гриша был зачат, а будущая мать крепко заснула, Гриша-Шиша долго плакал, стараясь неслышно выгнать лицо простыней. Голова сильно болит, а в больнице он лежать не может: там вокруг у людей под одеждой идет ежеминутное разложение или перерождение, а помочь нельзя ничем. Если бы Гриша умел лечить, он бы действовал с пользой, а так... Зна-

ние без дела — мертво, Гриша это еще в детстве понял, когда мать заболела. Была она человеком совершенно опустившимся, до нуля, до минус единицы, когда же заболела и слегла, то стала каяться перед сыном. А он ясно видел, как паутина смерти прорастает у матери внутри, но помочь ничем не мог, а хотел, о, как хотел-то!..

Четыре месяца Гриша провалялся почти без памяти: друзья за ним присматривали, кормили с ложки. Однажды приходила Лариса — уже неуклюжая, на пятом месяце. Гриша знал, что она пытается женить на себе Иванку-шофера с завода. Говорит ему, что беременна от него, Иванки...

В эту ночь Вовка Бендега дежурил у постели Гриши с бутылкой водки в руках. От вина он последние дни не пьянел. Пришлось купить водку. Гриша умирал, зная, что через четыре месяца будет на кладбище ползать между могил его сын. Даже не ползать, а барахтаться и кричать. Он будет сигнализировать миру, что живой. Муравьи приползут и захотят выесть глаза у младенца, но идущие со смены женщины заметят ребенка и отнесут в больницу. Небольшая припухлость на лбу станет заметна у него позже, когда его выпросят — за красоту и ум — приезд венгры (муж и жена). Венгры тогда будут работать в Калитве (договор на год).

Пройдет десять — двадцать лет, и память о Грише-Шише станет слабой, хотя кое-кому он еще пару раз явится во сне, а кого-то испугает строчкой из своих стихов, которая прозвучит над ухом почти как наяву...

ЗА ГРЕХИ МОИ

Начну, благословясь, вот с чего.

На ТВ меня спросили: что люблю больше — детей, мужа или писать рассказы. Я говорю: больше всего люблю Бога, а потом все остальное. После Людмила Александровна Грузберг мне хотела возразить: это же разные вещи — Бог и остальное, а вас спросили про остальное. Но, по-моему, для любви все едино... Либо, если разделять, то можно без конца. Ведь детей любишь тоже не так, как мужа. Более того, люблю писать рассказы не так, как писать романы, а пьесы — тоже по-другому. Пьесы тебе кто-то диктует, романы долго тебя греют, и во время бессонницы, и во время застолья они сами по себе пишутся где-то внутри, а рассказы — раз! — и готово.

...Это было в 1986 году. Мне сделали операцию (камни в почке). И вот лежу я ночью в палате, прикидывая, как удачнее выброситься в открытое окно: с разбега или вывалиться. Боль невыносимая, а промедол мне мой врач не ставит. Но поскольку со второго этажа убиться нет гарантии, то я — атеистка — от безнадежности с какой-то полуверой обратилась к Высшему Существо:

— Если Ты есть, помоги мне!

И чудо тут же случается: в палату входит дежурный врач и спрашивает, как я. А так, говорю, Климов промедол не разрешил... В окно хочу выброситься, больше не могу терпеть...

— Поставьте промедол, я распишусь, — сказал врач сестре.

Мне сделали укол, я заснула. Это было три часа ночи. В шесть боль вернулась, но терпимая, и промедол более не понадобился. (Врач мне говорил, что он задерживает заживление и проч.)

Недавно, празднуя свой пятидесятилетний юбилей и подсчитывая «достижения», я поняла, что главное достижение — это мой приход к вере. Я сейчас вообще не понимаю, как я раньше без нее жила, потому что ежедневно: «Господи, благослови, Господи, помилуй, Господи, исцели мою доченьку, Господи, помоги спасти наш город от утилизации твердотопливных ракетных отходов, Господи, спаси нас от коммунистов и фашистов (срывая лозунги РНЕ)...» И помогает, спасает каждую секунду, продляет нашу жизнь...

А была пионеркой, комсомолкой, и только однажды, когда очень хотела поступить в университет, обратилась к Богу, то есть дала вдруг обет: если поступлю, то поставлю свечку в церкви. Поступила — и поставила. У меня была очень религиозная бабушка, может, это как-то от нее мне передалось (ощущение счастья оттого, что верю). Причем мне нравится быть именно простой прихожанкой, как бабушка. Хотя я заглядываю в книги то св. Григория Паламы, то в «Мистическое богословие» Дионисия Ареопажита, слово батюшки, сказанное мне во время исповеди, значит для меня больше, чем многие книги.

К нам долгое время ходил друг мужа, блестящий аспирант-физик, который ушел в церковные сторожа, — так вот, он покровительственно поучал меня тому-сему (бросайте писать, бросайте смеяться), а когда я его попросила показать мне в Молитвослове Покаянный канон, чтоб приготовиться к исповеди, он не знал, какой такой покаянный канон, и предположил, что сие — псалом 50.

В самые трудные минуты жизни спасали меня молитвы. Когда наша приемная дочь звала меня только «сука» и «б...», а ее любовники буквально пытались убить нас, то мы с мужем стали молиться так: «Господи, унеси ее в богатство». День за днем, месяц за месяцем, год за годом... И наконец она выходит замуж за немца, причем словно специально для нас, чтоб спасти нас от смерти. Потому что я уже кричала дважды, что Бога нет, ибо будь Он — она бы меня до такого состояния не доводила. Я уже была в полном отчаянии. А молились мы за богатство, потому что она любила только деньги, поэтому не зла же ей желать — вот и молились за богатство. А никакого богатства не вышло в итоге: уже через два месяца она была в нашем доме, но... не в нашей квартире, ибо выписалась, комнату свою продала! Говорила, что в Москве их обокрали, муж поехал в Германию за деньгами и проч. Назад не вернулся. Но и она у нас не живет...

В самых сложных ситуациях я даю обеты и этим спасаюсь. Один раз ничем не могла снять головную боль и стала думать, какой же дать обет, ибо многое уже сказано: не ездить за границу никогда, не носить никогда украшения... Что же еще сказать? Что?! А вот что. «Крестьянка» меня хорошо печатает, так дам я обет не слать туда рукописей.

И дала... И не слала... Анжела — в панике! «Что такое! Мы так хотим тебя печатать! Сходи к батюшке и сними обет». Ну и я помню, что у Гончарова, кажется, батюшка снял (заменял) обет бабушке. Иду к батюшке, а он мне говорит: «Так вы ведь можете не слать рукописи, а бабушка не могла пойти в паломники!» И я поняла: дала обет — выполняй.

Надо куда-то поехать — иду просить благословения у батюшки. Один раз поехала на родину, в поселок, где я школу закончила, взяла командировку от газеты. «Давно не были на родине?» — спросил батюшка. «Тридцать лет», — и образ родного поселка так вдруг вспыхнул в мозгу, как будто я снова дою корову, а она меня — раз! — и на рога подняла. И слышу я голос батюшки: «Руку-то целуйте!» Я скорее поцеловала, но остался неприятный осадок. Что-то будет не так, значит. И точно: когда ехала на автобусе обратно, заднее колесо отлетело. С вечера водитель его менял, гайки наживил, устал, решил с утра подкрутить посильнее, но забыл... А я как раз над этим задним колесом и сидела! Если б кто-то следом ехал, то врезался бы... Но благословенье помогло все-таки, все целы остались.

Сначала думала, что врагов прощать я никогда не научусь, ведь они же мне сколько зла-то сделали! Но оказалось, что это радостно: прощать. Но вот не осуждать — это до сих пор дается с трудом. Говорят, что один пьяница попал в рай, и вокруг все удивились, спрашивают апостола Петра: за что же его-то в рай, пьяницу. «А он за всю жизнь никого не осудил ни разу», — ответил апостол Петр. Очень уж это трудно — не пригвоздить... Так и хочется сказать: какой подлец, какой хитрец, какой Сальери, наконец. Но нельзя. Можно сказать: он солгал, но нельзя сказать: лжец. Не человека осуди, а его поступок.

Недавно моя младшая дочь пришла с исповеди и рассказала, что бабушка посоветовал ей говорить слово «оступился». Например: «он оступился и солгал», «он оступился и украл». Потому что человек может одуматься, покаяться. Так и в романе, так и в рассказах — по-христиански относиться к героям, не лишать их шанса на возрождение души... Это мы с мужем сейчас стараемся выполнять, когда пишем, и у самих на душе светлее стало...

Как трудно мне было жить с соседями по коммуналке! Оба — пьяницы. И тоже молитвой спасаться стала: каждый вечер молюсь: «Господи, спаси нас от ссор с соседями!» И — честно: ссор не стало.

Чтение тоже изменилось. Раньше я в «Войне и мире» пропускала главы, где Наташа Ростова говееет (после неудавшегося побега с Анатодем), а нынче, наоборот, читаю их по два раза. Вот Наташа рано утром спешит в церковь, вот она понимает, что говорит бабушка, и думает: «Какое счастье — я понимаю». После она не понимает и думает: «Как хорошо — не понимаю. Не должна же я все понимать». (Цитирую по памяти.) Я вот так же в церкви думаю: когда понимаю — как хорошо, когда не понимаю — как хорошо, не должна я все понимать, кто я такая, чтобы все понимать...

Моя любимая святая — Ксения Петербургская. Я даже стала писать ее маслом. В ало-зеленом (как она всегда ходила: или верх алый, низ зеленый, или наоборот). Пишу — перекрестясь — с таким благоговением, что сама чувствую — это почти не я. А уж когда Богородицу пишу, то...

Один раз решила написать Николая-угодника. Он должен быть строгим. Сделала лицо, поставила сушиться, знакомые приходят — и:

— Ой, Нинка, какого хорошего Солженицына нарисовала! Молодец!

— Это не Солженицын... Это я хотела Николая-угодника...

Беру другую доску, пишу другого Николу, знакомые приходят — и:

— Чего у тебя Марк Захаров в нимбе, а?

— Это не Марк Захаров, это Николай-угодник...

Словом, не выходят у меня картины святых — мужчин. Опять стала писать Ксению, Богородицу, св. Варвару, св. Марину... Бывает, по шестнадцать картин в день пишу, не могу остановиться — настолько это большое счастье. Кричу домашним: остановите меня!

В детстве я мечтала спасти мир от всех болезней — изобрести такое лекарство. А папа болел псориазом, и я часто слышала разговоры о чудесных случайных исцелениях: тот упал в мазут, псориаза как не бывало, другой обжегся, мазал мазью от ожогов — исцелился... Так и я думала: буду пробовать совмещать разные вкусные вещи — изобрету такое универсальное лекарство. И я не ела те шоколадные конфеты, что мне перепадали, пряники, семечки, а все мельчила, смешивала и разносила по «клеткам» (сейчас это называется у детей «штабики»). И надо мной, конечно, смеялись. Но за спиной. То ли хотели вкусенького, то ли такое у меня было важное выражение лица при этом... Так вот, сейчас я тоже разношу по «клеткам» свои картины святых...

Иду на почту, в Союз писателей, в библиотеку, в домоуправление — куда бы я ни шла по своим делам, несу картины в подарок. Может, за спиной и смеются, но потом я смотрю: висят мои святые. Это не иконы, конечно, просто картины святых. Спасителя не пишу, не смею...

Хоронили маму близкого друга, там был один старый приятель по университету. Сейчас — широкоизвестный ученый... Когда я упомянула, что надела на маму перед кончиной крестик, так он весь от гнева задрожал: зачем?! Религия — это, мол, от слабости, это костыль, это глупость, это лень, самому надо трудиться, сейчас столько возможностей. Вот он, например, ведет семинары по психотренингу, зарабатывает столько, что матери квартиру купил, сыну купил... Бога ради, я скорее отхожу, я такие разговоры не поддерживаю. Не скандалю, но и не слушаю. Когда Кальпиди читал на своем вечере про «целку римлянки Марии», я уж свою сумку в руки взяла — хотела выйти, но народу столько — не протиснуться без

шума, а с шумом ничего уже не хочу делать... В общем, похоронили мы маму друга, сидим за столом. Мой приятель, который всем квартиры купил, выпил и вдруг стал рассказывать про ужас, который пережил с сыном. Подозревали худшее, нужно было сделать две операции, он нашел лучшего профессора — в общем, сейчас все позади. Опуская страшные подробности. Но тогда, выслушав их, перекрестившись на том месте, где все закончилось благополучно, я забыла, что для него вера — это «костыль», и говорю: «Надо бы в церковь — свечку хоть поставить после всего этого». — «А я уже жене дал денег — она во всех храмах поставила по свечке!» Вот так: как прижало, так забыл, что вера — это костыль, а как отпустило — снова эти гнусные гордые славословия самому себе. Но, кажется, я уже осуждаю... Не буду.

Иногда собственный муж меня останавливает: «Слушай, ты чего это все время крестишься, как бабушка Катя!» Но, может, лучше, когда я все время крещусь, чем если б все время врала, или все время волновалась и плакала, или... Мои предки крестились, и я крещусь...

Сны и те изменились. Даже во сне помню, что есть рай, что смертью все не кончается! Вот и дети — тоже... Даша видела сон, что нас всех хочет подорвать некий мужик: положил у ног взрывчатку, и — не убежать, не успеем. И я якобы им говорю: «Встретимся в раю!» Но тут Слава взрывчатку ногой тушит, и мы все живы...

Легче стало и бессонницы мои терпеть: лежишь — молишься, а не только «Евгения Онегина» читаешь, как раньше. Молишься-молишься, да и заснешь. Приснится страшный сон — проснешься, перекрестишься, прочтешь молитву, снова засыпаешь...

Смиряться порой трудно, но я придумала это делать письменно: писать люблю, и письменно легче смиряться, честное слово. Пишу: за грехи мои эта нищета, эти боли в почках, заслужила, значит. После иду в аптеку, а у меня гроши в кармане, наверняка знаю, что на них не купить дорогих почечных лекарств. Но! В аптеке лежит палин по четыре семьсот! Хотя он давно уже в шесть раз дороже. Откуда? А, говорят, в киоске завалился по старой цене, вот берите. И беру!

Прочла в книге митрополита Вениамина («Из того мира. Книга чудес и знамений»), что его мать по понедельникам держала пост — ради здоровья детей. И я решила тоже «понеделничать». Так что? Казалось бы, безделка и кто нам милей детей наших?! А в первый понедельник забыла, во второй вспомнила после обеда, потом не было денег, и ела, что нашлось, а нашлось не постное, так долго все длилось, пока не догадалась, что бесы меня по понедельникам замутняют. Стала в воскресенье молиться и просить сил и памяти на понедельник. И только после этого стала «понеделничать».

Муж говорит: не загордись своим христианством; в конце концов, говорит, кто сделал революцию? Верующие люди!

Да с чего загордиться-то, когда каждую минуту видишь свои грехи, а еще сколько их не видишь! Но они есть... То мысль дурная пришла, то позавидовала невольно, то... Счастье мое в том, что могу после этого сразу покаяться — и легче на душе.

Один журналист брал у меня интервью и задал традиционный вопрос: «Если б вам пришлось заново прожить свою жизнь, вы бы ее как прожили — так же, как было, или что-то изменили бы?»

Ну неужели так же! Да я бы с верой ее прожила, а не так, как было, — в сорок лет пришла к Богу только... С верой мы бы и Наташу приемную, может, смогли бы в люди вывести. Но ничего изменить нельзя, поэтому спасибо за то, что есть: за любовь к Нему, за страх перед Ним, за надежду на будущую жизнь души.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

АНДЖЕЛО МАРИЯ РИПЕЛЛИНО

1923 — 1978



Я ИГРАЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ

Сначала две цитаты. Первая — из рецензии будущего лауреата Нобелевской премии Эудженио Монтале на антологию Анджело Марии Рипеллино «Русская поэзия двадцатого века»: «...несомненно это очень серьезная книга, и мы должны быть благодарны Рипеллино за то, что он познакомил нас с такими неизвестными нам поэтами, как Хлебников и Марина Цветаева, и особенно за Маяковского, о котором у нас было превратное представление после чтения поэмы о Ленине, житийной и непоэтической» («Коррьере делла сера», 1955, 28 января). Вторая — из написанного по-французски письма Пастернака Рипеллино от 29 июля 1955 года: «Только что получил Вашу блестящую Антологию, бесценный Ваш подарок. Ваши вдохновенные переводы, которые я проглотил одним духом, дали вторую жизнь стихам благодаря ярким, выразительным и смелым решениям. Я Ваш должник на всю жизнь за Ваше предисловие. Глубина природного вкуса, проявившаяся в Вашем выборе, удивительна! Вы осведомлены в литературных делах нашего полувековья лучше, чем кто-либо из нас и чем я сам».

За антологией пятьдесят четвертого года последовали книги избранных стихотворений Пастернака, избранный Хлебников в поразительных по виртуозности и изобретательности переводах, потом избранный Блок, «Петербург» Андрея Белого, сборник «Новые советские поэты», чеховские «Чайка» и «Дядя Ваня», вышли книги, отразившие интерес Рипеллино к театру, — «Маяковский и русский авангардный театр» и «Грим и душа. Мастера режиссуры в русском театре двадцатого века» (престижная премия «Виареджо» в 1965 году), были эссе о Державине и о Пушкине, предисловия к итальянским изданиям Пушкина, Достоевского, Аксакова, был калейдоскоп друзей публикации, связанных с нашей литературой, с нашим искусством.

Столь же горячо, как русскую, Рипеллино любил чешскую культуру, писал о ней, переводил чешских поэтов, с некоторыми из них дружил. Он часто бывал в Чехословакии, куда после ввода брежневских танков в Прагу в 1968 году и его репортажей тех дней из чехословацкой столицы путь для него оказался навсегда закрыт. А годом раньше Рипеллино стал персона нон грата для советских властей за то, что опубликовал в популярном еженедельнике «Эспрессо» статью «Мыши режима» — впечатления о IV съезде писателей СССР, назвав «мужественное письмо о цензуре», направленное Солженицыным съезду, «единственным лучом света в густых съездовских потемках». В этот свой последний приезд в нашу страну Рипеллино поклонился могиле Пастернака, с которым познакомился в Переделкине в 1957 году.

Библиография Рипеллино, составленная одним из его учеников и ограниченная прижизненными публикациями, включает свыше пятисот (!) названий. Литературовед и литературный критик, театровед и театральный критик, автор статей о кино и рецензий на фильмы, знаток живописи, много писавший о художниках, публицист, переводчик, обожаемый студентами профессор — все это Анджело Мария Рипеллино. И в основе всего, что он писал, говорил с трибуны научных конференций и с университетской кафедры, лежала поэзия, она придавала особый смысл его беседе с друзьями, каждому его жесту, она делала его неистощимым на выдумки мастером остроумных розыгрышей. Его переводы не принадлежали к разряду так называемых «профессорских» переводов. Итальянский славист был прежде всего поэтом, но как поэт довольно долго оставался непризнанным. «Годы и годы я писал и ревал стихи, стыдясь, что пишу их, — сетовал Рипеллино в послесловии к одной из своих поэтических книг. —

Моя профессия слависта всегда загоняла меня в определенное измерение... которое мне категорически запрещалось покидать». Позже это сознание несправедливости обретет поэтическую форму на страницах «Известий с места потопа», третьей книги стихов. «Славист!» — язвительно кричат лирическому герою одного из стихотворений женщины в причудливых шляпках, прыщавые красномордые типы, мещанин из полуподвала с аквариумом на подоконнике, лифтер, виртуоз-флейтист, даже фигуры знаменитого фонтана на римской площади Навона... И нетрудно понять того, кто в этой ситуации не видит другой возможности защитить себя, кроме как пообещать исправиться:

*Прошу прощения. Решено. В следующий раз
я выберу другую профессию.*

В этом году Анджело Марии Рипеллино исполнилось бы семьдесят пять лет, но двадцать лет назад его не стало. По свидетельству Эли Рипеллино, его вдовы, он часто в последние годы, годы тяжелой болезни, повторял строки Маяковского:

*Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.*

Жизнь прошла, но осталось сделанное, остались верные ученики, которые выпускают монографии о Пушкине и Гоголе, Леониде Андрееве и Булгакове, переводят на итальянский Набокова, Ходасевича, Цветаеву, Мандельштама, Бродского, готовят будущих русистов в университетах Рима, Милана, Салерно, Сиены, Павии, Витербо. Остались стихи.

* *
*

Мы отвыкли давным-давно от сургучных печатей,
но все так же колотится сердце, когда письмо получаем,
не зная, что в нем и как в результате
отразится на нас его содержание.
Уверенно ждешь, бывает, добрых вестей,
в ожидании время мучительно тянется,
но конверт разорвешь — от уверенности твоей
ровным счетом ничего не останется.
От листочка бумаги зависим —
что там почта опять принесла?
Лучше не распечатывать писем,
сразу прятать в ящик стола.

* *
*

В доброе старое время на облаке ватном лежало
крупное яблоко. В доброе старое время
барочное зеркало отражало
свечу и свежую ветку сирени.
В доброе старое время была моя мама
с кофейной мельницей, зажатой между коленей,
и бубенцы прибора за пеленой тумана,
и зеленое ква-ква-ква лягушиных бдений.
В доброе старое время был синьор Боттичелли
с пестрым букетом весен в природной раме,
где горстка трепетных птиц выводила трели.

Домашнее было тепло холодными вечерами,
 настой медуницы с лимоном и мятой,
 сахарные куклы на допотопном комодке.
 Дом нынче слеп, но фонарь, старый страж бессонный,
 светит сверху ему при любой погоде.

Плач старой скрипки

Я играю, потому что не хочу умирать.
 Знаю, и без моей игры продолжали бы
 двигаться и туфли на шпильках, и туго
 нафаршированные киты-трамваи,
 и ходячие портупей.
 И тем не менее у распахнутого окна
 я играю бравурное что-нибудь
 или скорбное, и не важно, что дела
 нет никому до меня, изношенной деревяшки,
 до кваканья усталой лягушки.
 Без моей игры мир не стал бы ни лучше, ни хуже,
 но мне нельзя, нельзя не играть,
 не тешить себя, что жизнь продолжается, даже
 если эти пеликаны внизу
 переваливаются, не замечая меня.
 Мой взгляд, синьор Шервуд, прикован к жизни,
 словно к ледяной ослепительной бездне,
 и я играю, пусть хрипло, играю, чтоб выжить.

* *
 *

Джудит интересуется книгами критиков.
 Что бы ей посоветовать такого?
 Я выпил лишку, друзья, и, вообразите,
 не могу фамилии вспомнить ни одного пустослова.
 Мне держать бы за руки Джудит,
 гладить ее лицо не бояться
 и, неся окоlesiцу, будь что будет,
 неожиданно рухнуть в ее объятия.
 И сказать ей тоном раненого бретера:
 «Я и сам был когда-то критиком, моя ласточка,
 и довольно злым — крыл чуть не всех без разбора,
 но теперь, слава богу, критика умерла».

* *
 *

Если снова мне будет двадцать,
 ты придешь ко мне, как Вирсавия
 пришла когда-то к Давиду.
 Золотые голуби воссияют
 в ледяной синеве. Чаша губ твоих, тело твое
 осчастливят меня. Этот путь для тебя открыт.

Да, но кто говорит,
что найдешь ты дорогу,
что прийти ко мне пожелаешь,
неспособная представить меня
молодым сокрушителем туч?

* *
*

Была на свете страна, что вмещала в себя все страны на свете,
и в этой стране — деревня, что включала в себя все деревни
 страны,
и в этой деревне — улица, соединявшая все деревенские
 улицы,
и на этой улице, на этом гноище, — дом, где смогли поместиться
 все дома,
и в этом доме — убогая комната, и в комнате — высоченный
 стул,
и на стуле — человечек, худенький, в котелке,
и этот человечек был всеми людьми всех на свете стран,
и этот человечек смеялся, смеялся до слез.

Перевод с итальянского
и предисловие Евгения Солоновича.



ПОЛЕМИКА

МАРИНА НОВИКОВА



ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

Быстро и коротко написался первый вариант отклика на книгу А. Нежного¹. Долго, с передумываньями-перечитываньями, писался второй вариант. А между ними проплыло над Россией грозное облако (или, по «Слову о полку Игореве», прошли «смърци мглами»). «Захоронение останков Романовых», как оно официально именовалось вначале. «Погребение императора Николая II и членов его семьи», как оно стало — опять-таки официально — именоваться в конце.

Хотя конца не было и нет, и в этом (понимаю теперь) вся соль...

От книги я вздрогнула — прямо от суперобложки, где разместились выдержки из отзывов на уже напечатанные раньше главки-статьи («Дружба народов», «Континент», «Страницы», «Русская мысль»). И от двух аннотаций — авторской и издательской.

Привожу только фразы-запальники.

«...трагедия русской жизни — следствие трагического положения русской Церкви, и в XX веке, и во всех предшествующих...»

«В лице Миней Губельмана (Ярославского)» автор «грозно расправляется с еврейством, перемахнувшим из-за черты оседлости на командные посты новой власти». Но столь же пламенно «защищает другую половину еврейства». Переотягивает та чаша весов, «что вместила шесть миллионов жертв Холокоста...».

Патриарх Тихон в книге — «живой человек во всей его духовной силе и человеческой немощи, а не мифологизированный образ новейшей доморощенной агиографии...».

Разумеется, крупным планом повсюду отмечена работа автора в архивах КГБ и КПСС с материалами, «ранее совершенно секретными...». Есть в книге и «выходы в современность», и «живое, страстное чувство...».

Чувство сформулировано самим автором дважды. На суперобложке: я заплакал во сне — ко мне «пришла мысль о крушении христианства в России. В нашем Отечестве Кесарь победил Христа». На форзаце: в «перестройку» я защищал интересы Церкви и верующих от советской власти; теперь тоже защищаю права верующих, но «уже (бывает!) от соединенного насилия власти и священноначалия».

Однако я-то вздрогнула не от «страстного чувства». (Страсть — вообще не похвала в христианском и подавно в православном разумении. Не только страсть, а и «религиозное возбуждение» есть состояние, с коим христианин призван усердно в себе бороться; рецензентам А. Нежного это, может, и невдомек, но автору давать согласие на подобную «лестную» аттестацию вряд ли следовало бы.) Не от «чувств» вздрогнула я, а от коммерческой очевидности выдержек: вот как уже вычитывают-выхватывают издатели «убойные», на массовый интерес рассчитанные куски из откликов на книгу и из самой книги. Вот как ее встраивают в рыночную политику и рыночную идеологию.

¹ Нежный А. И. Допрос Патриарха. М., «Грааль», 1997, 575 стр.

Но нет, пожалуй, и не от рыночного запаха я вздрогнула. Он тоже уже не в новинку. Это когда-то, лет десять назад, очнувшись от катакомбно-трепетного, диссидентско-интеллигентского раздумья над самыми, как тогда казалось, личными и самыми глобальными вопросами (судьбы России, тайны власти, таинства веры, бремя пятой графы...), мы обнаружили: на «рынке информационных технологий» про это можно и нужно кричать как поистощенной и шутить как поразвязней. Сейчас — кого этим удивить?

А вздрогнула я оттого, что мигом, будто с высоты птичьего полета, увидела другую Россию. Не «открытую в европейское пространство». Не осведомленную в церковном закулисье. Сумбурную, нововерческую и полуверческую Россию, которой вместе с тем уже попросту не на чем стоять, кроме как на огорожке, на козе Машке, на тетке Дарье (той — безотказной, твардовской) да на Господе Боге. А Он обитает в церкви неподалеку, и местный «батюшка» знает к Нему путь. И ежели поколеблется еще и вера в этого, именно в этого «батюшку», так тетка Дарья повесится, коза без нее издохнет, и кончится Россия.

Помнил ли автор об этой другой России? Несомненно помнил, это видно по самой композиции книги и способу общения с читателем. Первая часть, как и обещано, — самая «секретная» и кровавая: о сфабрикованных «делах» Патриарха Тихона, Митрополита Петроградского Вениамина, епископа Андрея (Ухтомского) и иных новомучеников России. Аресты, допросы, процессы, подвалы, лагеря, расстрелы... При этом автор вполне отдает себе отчет в том, что далеко не все наши современники помнят, хотя бы в общих чертах, мытарства Православной Церкви в 20 — 30-х годах. Тем паче трудно ожидать, чтобы читатели смогли сразу ощутить духовный, а не просто социальный или юридический пафос тех крошечных «дел». Поэтому А. Нежный прочувствованно и подробно ведет читателя по лабиринту казуистических заигрываний-запугиваний, с которых начинала красная власть свой «диалог» с Православной Церковью. Трагизм патриарха, равно как и других его соратников и последователей, состоял в том, что, во-первых, далеко не сразу и не все поняли: новое государство и не собирается отводить Церкви какое бы то ни было место в своей грядущей железобетонной конструкции. Сломить, замарать, опозорить, уничтожить — таковы были планируемые вехи, а отсюда и «методики» обращения с Православной Церковью, разработанные идеологами в кремлевских кабинетах. Поэтому все подсудимые проходили тяжкий и мучительный путь, ища ответ не только для себя, но и для своей пасты, а в общем-то, и для всей России: в какой мере свобода духа не зависит от политической свободы? До какой степени молчаливое сопротивление произволу и глумлению над святынями, будучи молчаливым, все-таки остается сопротивлением, а где оно уже превращается в негласное сотрудничество? Вторая часть книги — самая черная и наиболее «публицистическая». Тут и сражения духовенства против «католической экспансии», и битвы вокруг церковной собственности, и нефигуральные (с ОМОНОм) вытеснения приходов, перешедших под юрисдикцию Русской Православной Церкви зарубежной или независимой, и политические метаморфозы о. Дмитрия Дудко. А попутно — целый веер «компромата к размышлению»: о церковниках — секретных сотрудниках КГБ, пособниках власти, гомосексуалистах, мздоимцах и т. д. и т. п. Позорящих и церковную, и общественную историю России.

Но, спросит читатель, где же тут другая Россия? Есть и она. Ей отведена третья, самая светлая часть книги Нежного. Тихие монахины и энергичные строители храмов, мастера колокольного звона, еще недавно и не помышлявшие о такой «профессии» простые женщины, поддерживающие свой приход да и любую новостройку, реставрацию в России своей вдовьей лептой, — все они стали героями этой части.

А как же насчет исторического позора? Дело в том, что история и есть главный камень преткновения автора. Не один А. Нежный на него наткнулся и не одна лишь наша либеральная «постперестройка»: они только ушиблись

крепче. Преткновение это вообще не сугубо русское, ни специфически православное, ни даже исключительно христианское.

История начала мешать человеку и культурологически, и метафизически, как только он смог ее ощутить. Культурологически — поскольку чувство необратимости времени, с чего и начинается чувство истории, — «неестественно»: внеприродно. (Природное время, сезонное, колебательно или циклично.) Необратимое время «протоистории» возникает с рождением городских цивилизаций, а утверждается в древних государствах-империях. Но и впредь ужас безвозврата, блаженство «вечного возвращения» (М. Элиаде) останется лейтмотивом языческих мифов, движущей пружиной языческих ритуалов, «отменяющих» поступательное время. Метафизически же — богословы скажут, что необратимо-неотвратимое время истории «неестественно» для человека, поскольку он замышлен в вечности и предназначен вечности. Лишь раскол бытия на «священное» и «низменное», «идеальное» и «реальное» (отраженный в библейском сюжете грехопадения), вверг человека в «реальную» историю. Сделал ее, историю, «больной вечностью» или того хуже — отрицанием вечности, «грязной политикой».

Вопрос, таким образом, не столько в обличении симптомов, сколько в диагнозе болезни.

Если «реальная» история — единственная данная человеку реальность (век человека — судьба человека: самочувствие всякого «исторического материализма», следственно, и революционеров, и оттепельников, и перестроечников), тогда она, история, неизменно будет устремляться, по-мефистофельски, к валянию в помёте. Что же до политики, в ней вообще нет тайнств, зато изобилуют «тайны»: Мадридского ли, Кремлевского ли двора, Лубянского ли, Свято-Даниловского ли подворья. Азарт автора — в раскопках этих «тайн»; отчаяние автора — в метаисторической бессмыслице этих «тайн», во внеположности их любому духовному опыту, будь то новомучеников, или автора, или авторского героя-двойника (повесть «Плач по Вениамину»). Между тем только внутренний опыт переживания времени как вечности позволяет на шок истории отвечать не проклятием, не плачем, не изувеченностью, а доверием к бытию.

Из этого всеобъемлющего доверия проистекает, в частности, доверие к историко-национальному, историко-церковному, а хоть бы и к историко-государственному аспектам того же бытия. Не боязнь их (что не равно их индульгенции). Уважение к «замыслу упрямому» Творца (Б. Пастернак, «Гамлет»), дарующего народам и отдельным личностям свободу избирать свою «роль» в общей исторической «драме». (Я бы осмелилась поправить поэта: не роль, а миссию, и не в «драме», а — выбирая среди близких определений — в мистерии.)

Из моего ближнего зарубежья это различие двух подходов, даже на поверхности масс-медиа, видно гораздо более резко. Вот один пример.

Демонстративно европоцентричная киевская газета «День», где понятию «духовность» предпочитают «ментальность» и «самоидентичность», где сорокалетние и тридцатилетние прагматики сменили пятидесятилетних и шестидесятилетних романтиков украинского диссиданса, — газета-эмблема иронизирует надо всем. Кроме религии. И разоблачает все и вся. Кроме Церкви. (Украинской, понятное дело, не «московской».) Заподозрить журналистов «Дня» в личном священном трепете — затруднительно. Диктуют не они, а доминирующее состояние читательских умов. Так оно повсюду, где религия — это еще всерьез, где национальная история и современность еще не оторваны от «неба», где вечность еще иерархически выше и авторитетней «нашего времени».

Не думаю, чтобы в России умственная либерализация пошла быстрее. Думаю иначе. Рисуя «коллективный портрет» русского православия XX века (в том числе его иллюзий и срывов), А. Нежный рисует скорее автопортрет, скорее оттепельно-перестроечной и скорее интеллигенции — по крайней мере ее «неорелигиозного» крыла.

Легковерные упования иных лидеров Церкви на «новую власть» и на сотрудничество с ней? Верно. Было. А как насчет журнала «Огонек», в котором, между прочим, и разражались сенсациями лет пятнадцать назад статьи А. Нежного? Не ведаю, какие «огоньковские иллюзии» питали тогдашние верующие читатели Москвы. Тогдашние читатели Киева — никаких. Все, кто вблизи знал главного редактора и подоплеку его умопомрачительной карьеры, знали и другое. Функция его всегда была санкционированной. (Неформально санкционированной, что крепче формального.) «Огонек» при нем говорил правду. Много правды. Больше правды, чем от него ждали. Он не говорил недозволенной правды. Авторы могли энтузиастически готовить публикационные бомбы. Но в генштабе планировали, куда бомбы подкладывать. Или проверяли: можно ли уже подкладывать именно сюда?

Так как? Каково смотрятся в этом свете публицисты типа автора книги? Не похожи ли их упования на упования церковников?

Далее. А. Нежный прозорливо отмечает, что революционные власти с самого начала готовили для Церкви не только явный свинец, но и тайный яд. Свинец — как средство ближнее, яд — на перспективу: начиная еще с кампании 1922 года по изъятию церковных ценностей, где «жирная» и «богатая» Церковь противопоставлялась своему голодному народу. Верно. Было и это. Ну а спустя десятилетия руководитель КГБ за чем «авторского» героя-двойника к архивам Лубянки подпускал? Голубиный нрав и куриную слепоту надо иметь, чтобы полагать (как герой-двойник), будто делалось это в признательность за общественную поддержку. То есть возможна и поддержка, возможна и признательность; до пуска по столь умильному поводу быть не могло. Это бедному сыну оттепели снова комиссар в пыльном шлеме примерещился. Склонившийся тихо над ним. А комиссар предвидел, что автор, он же персонаж, в подвале с настольной лампой обнаружит. А обнаружит он в протоколах допросов (и церковников, и мирян) не только сияние мученических нимбов. Часто, много чаще, чем его душе под силу, увидит он растерянность, беспомощность, слабый «непрофессиональный» расчет: мучителей перехитрит или хотя бы удержать на достигнутом... И, пропитавшись этим дальнедействующим ядом, автор не только поверит всем лубянским данным о нынешних иерархах. (Данным, «утекающим» к нынешним же отцам либералам вроде Г. Якунина — будто оттуда могут утечь какие-нибудь данные окромя тех, что для утечки и предназначены.) Он, автор, возопиет уже не к истории, а к Господу Богу: за чем Ты все это позволил?! Переводя на язык метафизики: за чем Ты допустил в России такую Церковь и такую историю?!

От подобного отравления и впрямь заплачешь среди ночи. Неясно только, испугался ли автор договорить «последнюю правду», или какое-то сокровенное чутье не дало ему ее вымолвить. А ведь по логике вещей должен он был написать не: в России Христа победил Кесарь. При чем тут Кесарь? Масштаб не тот, вопль ко Всевышнему не тот. Нарек же автор главного советского безбожника, Минея Губельмана-Емельяна Ярославского, комиссаром дьявола. Не Кесаря. Так что не Кесарь победил в России, а дьявол.

Пока читатель передохнет, сообщу: вот от этого-то (как сказанного, так из сказанного вытекающего) я не вздрогнула нисколько. Автор — человек нежный, по-видимому, не только по фамилии, ибо обитает в Москве и возвращается преимущественно в обществе единомышленников. Я человек прокаленный, ибо живу в Украине-Крыму; вокруг меня — инационалы и иноверцы; историю России (включая историю Церкви) здесь с 1992 года учат не по Голубинскому. Половину душераздирающей информации, кою автор извлекал из сверхсекретных архивов, он мог бы заполучить куда проще: прочитав книги, статьи, мемуары украинских эмигрантов и диссидентов, еврейских эмигрантов и сионистов, исламских депортантов и правозащитников — и дальше, дальше, дальше. К этой половине получил бы он в придачу и вторую: об инородческих-инославных хождениях по мукам. А главное — проглотил бы он такой заряд осподажности относительно России, от Калиты до царя-новомученика, от

«плохих» церковных иерархов до иерархов «хороших» (про Германа Казанского, например, мнение казанских татар-мусульман автор не слышивал?), — такое сглотнул бы он, говорю, что какие уж тут слезы в ночи? Какой победивший дьявол? Да не «победил» он, а с самого основания история России есть история дьявольская. С этим и живите; в этом (а не в красном восьмидесятилетии) и кайтесь. Без надежды на прощение.

В таком контексте отвечать приходится не слезами: московским слезам здесь не верят. И «новой России» не верят: имперские игры. И «старой» также: имперские игры. И отцам радикалам: имперские игры.

Отвечать можно лишь с двух позиций. С точки зрения истории, но не сугубо русской, а мировой (самое меньшее — евроазиатской). И с точки зрения вечности.

Ответ исторический я уже контурно намечала. То, что так устрашает и отвращает демократичного автора: иерархизм, автократизм, цезарепапизм, — есть отнюдь не достояние русской (а перед нею — византийской) Церкви. Совмещение царя-жреца — исконное явление мировой истории, проинтерпретированное в сотнях «неконфессиональных» и одновременно вполне авторитетных научных трудов — от Ж. Дюмезиля до Э. Бенвениста. Всякая власть священна, ибо только священное полновластно, — в этом убеждении древние китайцы не отличались от хеттов, ацтеки от крито-микенцев, семиты от хамитов. Отсюда вера в «харизматического лидера» — избранника духов, позже богов, позже Бога. Демократий без иерархичности мировая история также не помнит — прежде всего потому, что бытийно невозможна «демократия» в отношениях Бога (богов) и человека². А ведь все земные «кратии» моделировались первоначально по небесному образцу. Разница одна. Чем сильнее, живей, невытопанней в любом социуме вера, тем более тянется этот социум к «святой власти». Всякая иная власть для него — только вынужденный, чужеродный давящий пресс.

И «святая Русь», формула, оскорбившая христианские чувства автора своей гордыней и названная источником погибели земли русской, совершенно сопоставима с аналогичными самохарактеристиками других народов Европы. Франция все Средневековье именовала себя «христианнейшей», Германия — «верной» (в религиозном смысле). Была в этом не столько государственная гордыня (хоть и без нее не обошлось), сколько органичная, от язычества доставшаяся уверенность: «свой» народ — самый правильный (в архаике — единственно правильный).

Законно говорить в связи с этим о патриархальности русского сознания, о ее минусах и плюсах. (Скажем, огненные прения вокруг веры и Церкви в «цивилизованных странах» уже немислимы, и особых бурь книга А. Нежного там бы не вызвала.) О патриархальности, но не о люциферианском самовозвеличении: так «святую Русь» разумели только дехристианизировавшиеся властители да занесшиеся интеллигенты. (Хоть в рясе, хоть в сюртуке, хоть в джинсах.)

В принципе же, автору (сдается мне) очень хочется иметь Русскую Православную Церковь, но с другой историей.

Не берусь его упрекать. Даже так скажу: всем бы, наверно, хотелось. Англичанам — иметь Церковь без монастырских погромов Генриха VIII, без кощунства Кромвеля. Испанцам — Церковь без инквизиции, без депортации потомков крещеных «мавров» — морисков, без еврейских погромов. Французам — Церковь без Варфоломеевской ночи, немцам — без Тридцатилетней войны. Всем — иметь Церковь без колониального «крещения огнем и мечом»; не всем, но многим — иметь подлинно Церковь, а не модернизированный сбербанк для души, с загробными акциями.

² К нашей теме: человек в христианстве сообразен Богу, но не «равноправен» с ним.

Вопрос: а самих себя нам хотелось бы иметь? Себя, но с другой микроисторией — с другой биографией?.. А если бы и дали нам через свое время перепрыгнуть, шагнув прямоком в вечность, — к ней-то мы что, лучше готовы? Как жестко спросил митрополит Антоний Сурожский (верующих спросил, не атеистов и не гонителей): мы что, действительно желаем сейчас, сию минуту встретиться лицом к лицу с Богом?

Малая проверка на временное и вечное недавно прошла. О ней я упоминала на первой странице, ею и завершу: было «захоронение останков Романовых».

Хотя — по технике показа на ТВ — были это не останки, а экспонаты. На весь экран, в разных ракурсах демонстрировались оскаленные изуродованные черепа, «детали скелетов», разложенные (как в анатомичке) на столах и накрытые (как в музее атеизма) стеклянными футлярами. Впрочем, в музеях атеизма была своя цель — «разоблачение мощей», и форма ей соответствовала. Здесь же на одном конце России «останкам» готовили место в церкви, возле династических могил, — на другом конце их расфасовывали...

Кого хоронили? Не «Романовых». «Романов» — это некогда первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. А тот (и те), напоминание о ком вывозили грузом 200, словно из Афгана или Чечни, — те были «Романовыми» только у расстрельщиков. Не случайно устные «мемуары» именно расстрельщиков неделю подряд гоняло перед этим ОРТ. За наглой «просто фамилией», за самодовольными голосами на старой магнито пленке тщетно пыталась себя скрыть нарастающая опаска перед «чем-то». Почти как в «Моцарте и Сальери» пушкинском: а «вдруг: виденье гробовое»? «Незапный мрак иль что-нибудь такое...»?

«Такое» и произошло. То, что начиналось в 1918-м, но и в 1998 году как «секретность», преображалось на глазах в таинство.

«Вдруг» зияюще обозначалось отличие сана от номенклатуры, царей от президентов и председателей верховных советов, понятие иерархии от понятия «элиты», народа — от «масс», «населения» или «избирателей». «Вдруг» обнаружилось, что история не подчиняется всецело «играм» и «кампаниям». Так, ломая сценарий, спокойно и неуклонно стирая с происходящего клеймо «события губернского масштаба», сквозь историю «историческую» проступала история «сверхисторическая». Смыслоносная, а потому — непредсказуемая, а потому — непобедимая.

Задолго до ельцинской «сильной рокировочки» — внезапного перелета в Петербург и тяжелого, негнущегося полупоклона-полупокаяния в Петропавловской крепости — определился этот мистериальный «жанр» июльского события. Немцовская заключительная фраза-шедевр его подтвердила: «Хотели как лучше, а вышло отлично (цитата дословная. — М. Н.)». До чего же надо было растеряться, чтобы, очутившись в мистерии, вывалиться из нее в такое дурновкусие.

Что же произошло? Наглядное доказательство того, что история не может завершиться «в горизонтали»: проступками и преступлениями, «своевременными» расстрелами и «несвоевременными» отмазками от них. Время выхлестнуло в вертикаль — в вечность. Туда и убогим-то лепетом не доносились громогласные еще вчера вопросы: Романовы это или не Романовы? кто придет «от нас» и кто «от них»? которая Церковь, «наша» или «ихняя», останется с носом?

После того июля по-другому стала видеться и книга А. Нежного. Противоречащая сплошь да рядом самой себе. Кидающаяся от строгости документа и возвышенности церковнославянизмов к такому отборному ругательному жаргону, какой вызывает в памяти уже не протопопа Аввакума, а «антипопа» В. И. Ленина. Восторженно описывающая «прежнего» о Дмитрия Дудко, с запретными фотографиями Солженицына, Бердяева и Флоренского на квартирной стене, — в противовес ему же «теперешнему», духовнику газеты «Завтра»... В противовес ли? Видела и я, еще тогда, эти фотопортреты; но и тогда

выглядела сия галерея напоказ не христианским мужеством, а политическим действием. А от одной политики до другой политики — рукой подать.

Заметны, повторяю, все эти противоречия книги и сейчас. Но сейчас для меня различимо через них уже иное: как не автор только — сама история барахтается в «клейкой стихийности мира» (замечательный образ Григория Сквороды, любимый и автором, и мной). И не наша только история — всемирная. «Христианско-демократическая» Западная Европа или Америка увязли в этом клею ничуть не меньше, чем «святая Русь».

Оттого и страшна история, что люди не ангелы. Оттого и нужна история, что люди не ангелы. Кто требует от человека ангелизма, тот будет поминутно впадать в отчаяние. Но именно потому, что преодолеть людям надо больше, чем ангелам, история дана им не просто как горизонтальный «прогресс», а как вертикальный путь в сверхисторию: либо в ее светлую, либо в ее мрачную бездну. Так что само название книги А. Нежного можно прочесть двояко. «Профанное», кроваво-канцелярское («допрос») схлестнулось в нем со священным («Патриарх»). Таков свершившийся, необратимый факт горизонтальной истории. Но таков еще и любому народу и человеку открытый выбор — между двумя векторами ее вертикального пути.

Симферополь.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ



ОХОТА В РЕВЗАПОВЕДНИКЕ

Избранные страницы и сцены советской литературы

«За гибель Сталина!»

Этот немислимый тост прозвучал 1 декабря 1939 года в самом центре Москвы на Тверском бульваре, дом 25, где жили писатели. В те дни вся страна и все прогрессивное человечество готовились отметить шестидесятилетие гения всех времен и народов. За торжественными речами, громом оваций, гимнами, здравицами и лавиной газетных славословий одинокий голос прозвучал тоньше комариного писка. Но Лубянка его услышала.

Через два дня после невероятного происшествия секретный агент по кличке «Богунец» донес о застолье трех писателей — Андрея Платонова, Андрея Новикова и Николая Кауричева:

«1 декабря 1939 г. к писателю Платонову зашли Новиков и Кауричев, принеся с собой водки, предложили выпить. Первый тост Новиков предложил за скорейшее возвращение сына Платонова (осужден на десять лет в лагерь). Второй тост сказал Новиков:

— За гибель Сталина!

Платонов закричал:

— Это что, провокация? Убирайтесь к черту, и немедленно!

Кауричев ответил:

— Ты трус. Все честные люди так думают, и ты не можешь иначе думать...»

Откуда мог все это узнать «Богунец», если разговор происходил втроем, без посторонних? Явно со слов кого-то четвертого, тем более что, как выяснилось из последовавшего расследования, все происходило не совсем так и даже не на квартире Платонова...

Дав схлынуть юбилейным торжествам, чекисты взялись за дело.

Первым вызвали Андрея Платонова, в самый канун новогодней ночи — 31 декабря. Дали бумагу и потребовали чистосердечно рассказать о случившемся. Скрывать что-либо было уже бессмысленно. И опасно. Скандал выплыл наружу. Осталось одно — сказать правду. И Платонов взял перо.

«В конце ноября или в начале декабря сего года в квартире писателя А. Н. Новикова состоялся следующий факт. Нас было трое: А. Н. Новиков, Ник. Кауричев (тоже писатель) и я. Новиков и Кауричев были довольно сильно пьяными. Во время шумного разговора, который вели между собой Новиков и Кауричев, вдруг я слышу возглас Новикова: „За гибель Сталина!“ Я подумал, что ослышался, переспросил. Тогда Кауричев встал со стула и, проха-

* Заканчиваем публикацию глав из новой работы Виталия Шенталинского «Рабы свободы». Книга вторая. См.: «Новый мир», 1996, № 4, 7 — 8, 11; 1997, № 4, 10 — 11; 1998, № 5 — 6.

живаясь по комнате, начал говорить мне, чтобы я не притворялся, ведь мой сын арестован и у меня не может быть хорошего политического настроения.

Я ответил, что за это, что сказал Новиков, пить не буду никогда, что без Сталина мы все погибнем, что, наконец, я не такой глупый и темный человек, чтобы свое глубоко несчастье (арест сына) переносить на свое отношение к Советской власти.

Тогда мне Кауричев сказал, что он меня насквозь видит — по моим произведениям. Я сказал, что мои произведения — дело публичное, общественное, в них все открыто. Пить за предложенный тост я категорически отказался. Разговор обострился. Я опрокинул свою рюмку и ушел домой не попрощавшись.

Это событие меня озадачило, встревожило, я не ожидал таких страшных слов от своих знакомых, я решил, что они нарочно провоцировали меня.

До этого я ничего подобного не слышал ни от того, ни от другого, хотя иногда слышал ироническое отношение к тому или другому политическому факту, но это было мелкое раздражение обывательского характера, я не придавал значения таким обстоятельствам.

Кауричева я знаю мало, Новикова больше. Я не замечал между ними особой дружбы, основанной на общих принципах. Их отношения — отношения людей, связанных выпивкой. Это известно не только мне. В прошлом Новиков был, как известно, в литературной троцкистской организации „Перевал”.

Прошлого Кауричева я не знаю, кажется, он был учителем. Обычно он подчеркнуто энергично высказывался в правильном советском духе, исключая очень редкие случаи обывательского характера и того страшного случая, о котором я сказал выше, где он, Кауричев, разделил, видимо, слова Новикова.

Вообще же как тот, так и другой избегали говорить на политические темы. Обычно разговор шел о тех или других конкретных литературных произведениях, причем в пьяном состоянии это принимало иногда нечленораздельную форму.

31 декабря 1939 г.

Платонов.

Принял — оперуполномоченный 5 отделения 2 отдела ГУГБ НКВД младший лейтенант ГБ Кутырев».

Перед нами не оригинал, а машинописная копия заявления Платонова, без его подписи. И трудно в той многослойной фальсификации, которую представляют собой лубянские дела, восстановить в точности происхождение документа. Возможно, что от Платонова потребовали объяснения не чекисты, а какое-нибудь другое начальство, литературное или партийное, — на документе сверху написано: «Копия в НКВД». В заключении прокуратуры, сделанном спустя много лет после происшедшего, говорится: «Не заслуживает доверия приобщенная к делу копия заявления Платонова в НКВД, так как в Учетно-архивном отделе КГБ никаких материалов Платонова не имеется».

Нет материалов — не удивительно, уничтожали тоннами, и не раз. Так или иначе, но то, что Платонов дал объяснения, письменные или устные, и суть их — это не вызывает сомнений. Документ говорит сам за себя.

Новикова арестовали в январе.

Главное обвинение: «В последнее время... на собраниях в кругу своих близких людей высказывает террористические настроения против руководителей партии».

Дело Андрея Новикова, даже на фоне той фантазмагории, страшной и нелепой, которой полны лубянские досье, поражает своей абсурдностью. Следователи немало потрудились, чтобы превратить пьяную болтовню в солидное преступление. Были перерыты дела других арестованных писателей, хоть как-то, шапочно знакомых с Новиковым, — все пошло в ход, превратилось во вредительство, троцкизм, терроризм.

Вот характеристика, данная Новикову его коллегой, писателем Никифоровым, 23 февраля 1938 года:

«...Новиков Андрей — человек простой, рыхлый и флегматичный, но с замыслом. На стене его кабинета красовались когда-то Троцкий в шинели и Радек с трубкой, потом эти портреты исчезли. Разговор Новикова всегда путанный и витиеватый, он редко находится в трезвом состоянии. Начиная разговор, он дает понять, что никто ничего не понимает, кроме его одного. Он так и говорит: „Как ты не понимаешь, чудак, одни приказывают, а другие стараются: кулака раскулачили и у последнего мужика штаны отобрали, ну чего ты еще хочешь?“ А. Новиков считает себя сатириком и очень дружит с А. Платоновым. Они глядят на окружающее с иронической улыбкой и хотят ничему не удивляться, давая всему насмешливое объяснение, и не только в разговорах, но и в произведениях. Хозяин (Сталин) не любит, если кто особенно выделяется, заявляет Новиков, этих людей он или удаляет, или понижает. Достаточно прочесть „Причины происхождения туманностей“ А. Новикова, чтобы судить о мировоззрении и идеологии его...»

Пригодились и старые доносы стукачей. Агент «Белецкий» еще в 1935 году сообщал о «резких антисоветских настроениях» Новикова.

— Какая сейчас литература? — говорил тот. — Нет у нас литературы, это и понятно, когда настоящая мысль ушла куда-то вглубь и литературы настоящей быть не может...

Новикова лубянские умельцы обработали быстро. На третьем допросе он уже признавал себя виновным во всем, что ему навязывали. Особенно подробно рассказывал он о своей дружбе с Андреем Платоновым.

— В чем состояло ваше сближение? — спрашивает следователь.

— С Платоновым я познакомился еще в 1922 году, когда я работал редактором газеты «Рабочий путь»... С 1938 года мы, я, Кауричев и Платонов, стали встречаться более часто, бывать друг у друга на квартирах и при этих встречах систематически вели антисоветские разговоры.

— Какие антисоветские разговоры вы вели?

— Наши беседы, как правило, начинались с критики... Мы говорили, что руководство литературой нужно отдать целиком в руки писателей, чтобы не было в этом вопросе партийного влияния, что политика Советской власти ограничивает размах творческих способностей писателей, то есть заключает их в определенные рамки...

Платонова мы считали лучшим писателем и критиком. Платонов по своей натуре очень скрытный человек и в разговорах свои взгляды высказывал двусмысленно; если он над чем-либо смеется, то его не поймешь, то ли он этим смехом осуждает это явление или же сочувствует ему. Подобно этому он пишет свои произведения, то есть двусмысленно.

Особенно близко с Платоновым я сошелся после того, как был арестован органами НКВД его сын. Наши встречи, как правило, сопровождались пьянкой. Присутствуя при наших разговорах, Платонов разделял нашу точку зрения и высказывал свои антисоветские настроения...

17 января следователь Адамов подошел к главному преступлению Новикова:

— Вы далеко не все рассказали. Говорите прямо: антисоветские разговоры вы еще вели?

— В конце ноября — начале декабря 1939 года, точно не помню, я и Кауричев выпивши пришли с вином на квартиру к Платонову. В процессе разговора за рюмкой водки Кауричев как будто начал говорить, что писатель Иван Катаев, арестованный органами НКВД, очень хороший человек и арестован ни за что.

Платонов не любил Катаева, а поэтому сказал, что ваш Катаев — дерьмо. У меня вот сидит сын. После этих слов Платонова кто-то из нас предложил выпить за возвращение его сына, а затем провозгласил тост за здоровье Троцкого.

Платонову произнесенный тост за Троцкого не понравился, он демонстративно вылил на пол все вино и, насколько я помню, нас выгнал из квартиры.

В другой же раз, примерно в конце декабря 1939 года, мы пили у него на квартире. Я предложил тост «За смерть Сталина!». Этот тост Платонов и Кауричев поддержали. Все эти контрреволюционные высказывания и тосты являлись, конечно, результатом нашего враждебного отношения к Советской власти и руководителям ВКП(б)...

Дальше в лес — больше дров. На последующих допросах Адамов заставил Новикова «признаться» уже не просто в антисоветских взглядах:

— Значит, вы проводили совместную вражескую работу?

— Да, проводили.

— Какую антисоветскую работу вы проводили?

— Мы, по существу, представляли антисоветскую группу...

Платонова вели к аресту.

В это же время допрашивали и арестованного уже Николая Кауричева. Он по-своему изложил злосчастную историю с юбилейным тостом:

— Я помню случай, когда в кабинете Новикова в его квартире мы выпивали, когда Новиков произнес тост «За гибель Сталина», а потом пили за здоровье Троцкого...

— Кто присутствовал у Новикова, кроме вас, когда произносились такие вражеские тосты?

— Кроме меня и Новикова был еще Платонов.

— Жена Новикова в это время была дома?

— Я этого не помню...

Жена Новикова? Не был ли это тот самый четвертый человек, который все слышал? Слышал, а потом мог поделиться своим возмущением от безобразной сцены с кем-нибудь из друзей или подруг. Так все дошло до агента «Богунца» и затем стало достоянием Лубянки. Впрочем, все это только версия. Возможна и другая. Судя по многочисленным доносам «Богунца», рассыпанным в других делах, это лицо — само из писательского сословия. Могло оно проживать в том же самом флигеле «дома Герцена», литературного муравейника на Тверском бульваре, и просто-напросто все подслушать. А если учесть, что Платонов с Новиковым жили через стенку, легко объяснить и путаницу с квартирами, допущенную в доносе...

На очной ставке и Новиков, и Кауричев подтвердили свои террористические намерения по адресу Сталина. Пьяная болтовня уже выглядела как подготовка к величайшему покушению.

Дело состряпано. В качестве вещественного доказательства к нему была приложена повесть Новикова «Причины происхождения туманностей», вместе с рецензией критика Гурвича, написанной по заказу НКВД и обвиняющей автора во всех смертных грехах: «...Можно сказать, что автор в этом произведении сам себя уничтожил... Он как бы повторяет действия своего героя... он кончает жизнь самоубийством... Не удался смех Андрею Новикову...»

После четырех месяцев следствия наступил длительный застой — об узнике словно забыли. Пошел уже второй год заключения. За это время у Новикова открылся легочный процесс с сильным кровохарканьем. Он обращается с письмом к Сталину — просит снисходительного прощения: «...Не помня того, произносился ли мною этот тост, я в то же самое время не могу отрицать его. Я был бесчувственно пьян...»

Проходит еще полгода. Новиков торопит разрешение своей участи, пишет прокурору: «...Как художник я мыслю образами, а масштабов деятельности государственных людей я понимать, признаться, не умею... В связи со своей болезнью я хотел бы знать свою судьбу в дальнейшем, так как мне идет уже пятьдесят третий год...»

Письмо заканчивается странно-жутковатым постскриптумом: «31 марта 1941 года мною открыт закон вечного движения. Подробности я описал в двух письмах моему следователю Адамову. 4 мая 1941 года он вызвал меня по означенным письмам, — мы набросали схемы — и он сказал мне, что будет доло-

жено. Не имея других возможностей о заявлении своих прав на открытие, я прошу Вас ознакомиться с копиями означенных писем и иметь их в виду...»

Никаких других следов «открытия» Новикова в его досье нет.

Гадать о своей судьбе ему оставалось уже недолго. Через несколько дней, 8 июля, состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда. Новиков был краток:

— Я признаю себя виновным, что произносил антисоветский тост и высказывал антисоветские измышления. Обвинение во вредительстве я категорически отрицаю. Группа, участником которой я являлся, была легального порядка, так что предъявленное мне обвинение считаю неправильным. Преступление совершил я по пьянке...

«Приговоренный к высшей мере наказания — расстрелу, прошу о помиловании... — еще одно заявление Новикова, написанное неровными крупными буквами в те же дни председателю Президиума Верховного Совета СССР Калинин. — Я происхождения батрацкого, сын батрака, сам начал работать батраком. В революции я чуждым человеком не был».

Новиков был расстрелян 28 июля. Кауричев чуть раньше — 9 июля.

«В революции я чуждым человеком не был...» Это последние слова Андрея Новикова, долетевшие до нас из темных недр Лубянки.

Он вырос в бедняцкой семье, в воронежской деревне, окончил четыре класса школы и, чтобы прокормить семью, пошел работать — был молотобойцем, землекопом, дровосеком, грузчиком. Началась Первая мировая война — стал солдатом. В 1917 году вступил в партию большевиков, устанавливал Советскую власть. Редактировал коммунистические газеты и журналы — сначала в провинции, потом в Москве, писал в огромном множестве очерки, статьи и заметки. А в 1929 году заявил о себе как яркий писатель-сатирик. Повесть Новикова «Причины происхождения туманностей» вызвала целую бурю: критика обвинила писателя в очернительстве и клевете на советскую действительность. Пришлось заступаться за него даже Горькому. И в самом деле это было незаурядное литературное событие — одна из первых книг, показывающих смертельную болезнь бюрократизма, разраставшегося по стране. Следом за ней пошли роман «Ратные подвиги простаков», «Повесть о камарницком мужике», серия рассказов — и все они вызывали споры и интерес, не оставляли читателя равнодушным.

Сейчас этот писатель, самородок из крестьян, несправедливо забыт. «Без меня народ неполный», — говорил Андрей Платонов. Без Андрея Новикова наша литература неполна. После гибели писателя изъяты у него рукописи были возвращены вдове и уничтожены ею из страха перед новыми бедами.

Когда-то, еще в самом начале литературного пути Новикова, Андрей Платонов предупреждал своего друга и земляка в письме: «Наша жизнь — как льдинка под знойным солнцем. Не спеши ее сосать: растает сама...»

Как загадочные «черные дыры» во вселенной поглощают целые звезды, планеты, а с ними, как знать, и некие обитаемые миры, неведомые цивилизации — так и зловещая пасть Лубянки заглатывала миллионы человеческих жизней и ненасытно требовала все новых жертв. Там исчезали не только люди, но и плоды их труда. Не все безвозвратно погибло, и то, что было когда-то для гонимых властью писателей горестной потерей, становится для нас теперь счастливой находкой.

Андрея Платонова оставили на свободе, но все время держали под контролем, за творчеством следили, за рукописями охотились.

К «Техническому роману» Андрея Платонова, обнаруженному в лубянских хранилищах, сегодня можно прибавить еще одну его работу.

Эта рукопись перекочевала в Секретно-политический отдел ОГПУ из редакции журнала «Красная новь». На первом листе — надпись писателя Всеволода Иванова, ведавшего тогда отделом прозы в журнале: «Ф. Раскольникову. По-моему — интересно». «Я против печатания», — распорядился тут же Рас-

кольников, главный редактор «Красной нови», и поставил дату — 11 февраля 1928 года.

Рукопись (машинопись с авторской правкой чернилами), озаглавленная «Путешествие в 1921 году», представляет собой, вероятно, часть будущего романа Платонова «Чевенгур» или его варианты. В ней есть страницы, которые отсутствуют в опубликованном тексте романа. Нужно ли говорить, как драгоценны эти осколки творений Мастера? Особенность его стиля в том, что он пишет притчами, строит повествование как сплошную вереницу притч, скрепленных между собой внешним сюжетом и внутренними переживаниями героев. Отдельные сцены, таким образом, будучи фрагментами единого целого, приобретают и некую законченность, самостоятельную ценность.

«Это глава из повести, — поясняет на полях рукописи Платонов и дает краткую характеристику основных героев: — Дванов — коммунист, командированный губисполкомом для обследования губернии на предмет борьбы с разрухой. Копенкин — его случайный спутник, бывший партизан, «полевой большевик».

Надеемся, что эти неопубликованные по сию пору страницы Андрея Платонова станут доступны профессиональным исследователям его творчества, которые опубликуют и прокомментируют этот текст в готовящемся к печати первом собрании его сочинений.

Трудная любовь

В истории советской литературы только один человек стал и сталинским, и нобелевским лауреатом — Михаил Александрович Шолохов. Тут как-то совпало: призвание и признание, симпатия власть имущих и читательская любовь.

Но вот странное дело — примешалась к этой бочке меда ложка дегтя.

На главное, эпохальное творение Шолохова, роман «Тихий Дон», легла тень: подозрение в плагиате — и не рассеялась до сих пор. Этот читаемый и почитаемый за свои книги писатель был одновременно и презираем — за недостойные речи с высоких трибун, призывы к расправе над инакомыслящими. И, начав блистательно, юным гением, как-то постепенно увял: второй свой роман испортил лживой концовкой, а последний растянул на десятилетия, да так и не кончил.

За внешним благополучием скрывалось духовное нездоровье. Трагедия, которую переживал народ, не могла не коснуться его — раздробила сознание, привела к раздвоению, острому внутреннему противоборству между художником и цензором, к паясничанью и пьянству.

С тех пор как Сталин в 1929 году объявил Шолохова знаменитым писателем нашего времени, тот перешел под его личную опеку, стал неприкасаемым. На нас это табу уже не распространяется. Теперь мы можем смотреть на писателя без возвеличивания и охаивания, непомерной хвалы и хулы, без розовых или черных очков.

Кто был на виду у всех, был на особом виду у Лубянки. То в одном, то в другом следственном деле современников Шолохова, то мимоходом, то пристально — его имя... Обнаружились даже его письма, и могут быть еще бог весть какие сюрпризы.

Но уже и сегодня новые открытия в секретных архивах дополняют биографию Шолохова фактами, которые до сих пор скрывались, добавляют к его портрету штрихи, которые старательно стирались.

«Виновным себя не признаю, как не признавал и на предварительном следствии... Меня оклеветали... Я совершенно ни в чем не виноват», — эти слова произнес на суде дипломат и журналист Георгий Александрович Астахов. Как польский шпион и участник антисоветского заговора он был осужден к пятнадцатилетнему заключению и погиб в одном из северных лагерей в возрасте сорока пяти лет.

Это земляк и друг Шолохова. В его следственном деле и нашлись письма к нему знаменитого писателя.

Конечно же никаким врагом народа Астахов не был. «Он принадлежит к породе чудаков, которые встречаются иногда среди людей науки; он и был бы, вероятно, незаурядным ученым по восточным вопросам, если бы все сложилось иначе. У него ясный, светлый ум, большая внутренняя дисциплинированность и, наряду с этим, какая-то несуразность, нескладность в повседневных делах... каким диссонансом звучит этот естественный голос среди бездушной лубянской канцелярщины! Голос жены Астахова Натальи, обратившейся с заявлением в НКВД, чтобы как-то повлиять на участь мужа: — Астахов... исключительно честный, органически неспособный ни в крупном, ни в мелочах обмануть то доверие, которое ему оказывалось...»

По своим взглядам это был типичный советский человек. Когда-то он со всем пылом молодости участвовал в сокрушении старого мира и его культуры.

Это тот самый Астахов, который в 1920 году во Владикавказе был непримиримым оппонентом Михаила Булгакова в публичном диспуте о Пушкине. «Пушкина он обработал на славу», — вспоминал Булгаков в «Записках на манжетах». Астахов — редактор партийной газеты «Коммунист», пролеткультовец — действительно тогда отличился. В своем докладе на вечере, проходившем в летнем театре Владикавказа, он говорил о Пушкине: «И мы со спокойным сердцем бросаем в революционный огонь его полное собрание сочинений, уповая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся».

Словесный бой с Булгаковым надолго запомнился и его противникам. В лубянское досье Астахова попало шутивное «Личное, доверительное, совершенно секретное послание» ему в стихах от товарища лихих революционных лет поэта Константина Юста. «Громил Булгакова наш Цех со всею силой, — пишет Юст. — Свершилась наша казнь. Сожжен лакейский Пушкин. Пусть воет Слезкин. Пусть скулит БеМе...» (БеМе — несомненно, Булгаков Михаил, а Слезкин — его приятель, тоже литератор). Впрочем, шутку Юста не уничтожили, а оставили в деле совсем по другой причине. Выразительно, несколькими красными чертами выделен выпад на самого товарища Сталина: «Как мог ты ожидать от пылкого грузина коммунистических — не дел, хотя б уж фраз!..»

Конвейер — несколько десятков допросов. Астахов отчаянно сопротивляется. В его досье — целая серия заявлений в ЦК партии и наркому внутренних дел Берии.

10 марта 1940 года: «...Арест и содержание в тюрьме еще не надломили меня морально... Но если из меня сделают „тряпку“, как сулит следователь, то даже реабилитированный, я буду не работником, а тенью работника. Прошу не допустить этого. Я этого не заслужил».

1 апреля: «...Следствие говорит мне, что моя преступность считается доказанной, что „скорее мир перевернется, чем поколеблется эта уверенность“. Факт ареста приводится как доказательство моей преступности. Я не могу принять эту точку зрения...»

12 мая: «...Поскольку я преступлений не совершал, дать показаний не могу — меня обвиняют в запирательстве, борьбе со следствием и предвещают усиление репрессий, начало которым уже положено переводом меня из НКВД в военную тюрьму Лефортово, говорят, что решено меня „сломать“. Я прошу вникнуть в это дело и указать мне выход. Повторяю, что признать себя шпионом и заговорщиком не могу, т. к. это означало бы ложь и самооговор. Что же мне делать?.. Я прошу не милости, а лишь возможности доказать свою невиновность».

18 мая: «В ночь с 14 на 15 сего месяца следователи избили меня резиновыми палками... Я... не смогу нести ответственность за показания, которые могут быть добыты таким способом, ибо под влиянием боли, к которой я не привык, я могу наговорить вздор, от которого впоследствии пришлось бы откре-

щиваться. Если это избиение было первым и последним, я готов забыть о нем как о ночном кошмаре, но следователи заверили меня, что за ним последуют другие — более сильные... „Вам не на кого надеяться”, — говорят мне следователи. Когда я говорю, что надеюсь на советское правосудие и в первую очередь на НКВД, это встречается ироническим смехом и глумлением...

Лаврентий Павлович, я верю в Вашу чуткость и заботу о людях. Я не верю, что мой голос прозвучит впустую. Излишне говорить, какой прилив бодрости и энергии дало бы мне Ваше внимание, имея которое я с радостью забыл бы обо всех испытаниях последнего года. Простите за неряшливость и неотделанность этого заявления. Трудно писать».

29 мая: «...Как доказано событиями — я обеспечил полную тайну переговоров с Германией 1939 г., решивших участь стран, в шпионаже на которых меня обвиняют. Прошу не упускать это из виду...»

Астахов напоминает о советско-германском договоре, в заключении которого он как советник полпредства в Берлине активно участвовал и даже был принят Гитлером. Не это ли секретное задание впервые столкнуло его с Берией, о чем он тоже вспоминает теперь: «Позвольте обратиться к Вам не только как к Наркому, но и как... к человеку, под наблюдением которого... мне пришлось работать короткий отрезок времени. Все же Вы имеете обо мне какое-то наглядное представление, почерпнутое не только из неведомых мне донные материалов... Когда мне говорят, что вопрос о моей виновности безусловно решен еще перед арестом, я не могу этому поверить...»

7 января 1941 года: «...Мне говорят: дайте показания в преступной деятельности. Иначе — беспросветная режимная тюрьма и усиление репрессий... Мне говорят, что будут применены такие меры, после которых я показаний не дать не смогу. Но что это значит? Кроме того пути, на котором я стою, перед мной есть лишь путь самооговора и клеветы, путь вражеский и антисоветский...»

Следствие объявляет преступными мои книжки по Востоку, в том числе и книгу о Турции, целиком состоящую из перепечатки статей, помещенных главным образом в „Известиях” и „Правде” в 1922 — 24 гг. Даже мои юношеские стихи о ВЧК (1918 г.), за которые я в 1920 г. удостоился бешеной ругани тифлисской белой прессы, именуется „белогвардейщиной”. Я не поэт и не защищаю их литературную ценность, равно как отдельные слова (цитирую ниже), но невольно спрашиваю: на что же мне надеяться со стороны следствия, когда дойдет до анализа более сложных фактов, связанных со специфической зарубежной работы, в ходе которой мне приходилось к тому же не раз конфликтовать с работниками органов?..

Мне хотелось бы написать т. Сталину — не для lamentаций и полемики со следствием, но для освещения некоторых моментов моей дипломатической работы (особенно за последний период в Германии) с копией Вам. Есть ряд моментов, которые надо зафиксировать даже вне зависимости от вопроса о моем деле...

Приложение (по памяти):

ВЧК

В ночной тиши среди Лубянки
Через туман издаലെка
Кровавым светом блещут склянки,
Алеют буквы: ВЧК.

В них сила сдержанного гнева,
В них мощь раскованной души,
В них жуть сурового напева:
„В борьбе все средства хороши!”

Чарует взор немая сила,
Что льют три алых огонька,

Что массы к битве вдохновила,
Чем власть Советская крепка.

К чему сомненья и тревога?
К чему унынье и тоска?
Когда горит спокойно, строго
Кровавый вензель: ВЧК.

Стихи (акrostих) были написаны в декабре 1918 г. под впечатлением соответственно иллюминированного здания ВЧК, где мне приходилось бывать по делам. Как Вы помните, это был разгар интервенции, гражданской войны и террора».

Все эти призывы к справедливости и милосердию, подкрепленные стихами, дальше следственного дела не пошли, улеглись там безответно. Как и набросанный тем же пером и теми же чернилами рисунок, отобранный у Астахова и приобщенный к делу как «антисоветский» документ.

Из тюремного окна смотрит на нас перечеркнутый железной решеткой с острыми шипами несчастный всклокоченный человек. Из глаз струятся слезы, выливаясь наружу двумя ручьями. И надписи: сверху — «...ская тюрьма», справа — «Некто в пятилетнем заключении источает слезы раскаяния и горестных воспоминаний о минутах пережитого счастья» и слева — «О, горе мне, грешнику сушу, добрых дел за собой не имущу! — Свящ. писание, гл. 5, стих 40».

Вот здесь-то, рядом с рисунком и стихами, и лежали письма Шолохова. Зачем их «пришили» к делу? Компромат — связь писателя с врагом народа. Четыре письма, еще одно по каким-то причинам было уничтожено вместе с целой грудой рукописей и документов как «не относящееся к делу».

Судя по письмам, Шолохов и Астахов в тридцатые годы были очень близки, дружили семьями, не раз встречались и постоянно переписывались. Писатель ласково называет своего друга-дипломата Егорушкой, усиленно зазывает к себе в станицу Вешенскую, на Дон.

Письма короткие и носят большей частью бытовой характер — должно быть, Шолохов боялся доверять почте более серьезные мысли, оставлял их до встречи. Да и некогда ему было в это время: поглощен был своим романом «Тихий Дон».

Первое письмо написано 22 марта 1935 года, после возвращения из заграничной поездки, где он встречался с Астаховым (тот работал тогда советником полпреда в Лондоне):

«Дорогой станишник!

Донцы всегда отличались вероломством, непостоянством и прочими отрицательными качествами, но ты — злодей — покрыл своих земляков! В течение двух месяцев — ни строчки. Это здорово! И дальше будет так или соберешься написать?

Я по пути от вас задержался в Москве ровно на сутки, а потом двинул домой. Сижу как проклятый, кончаю «Тихий Дон». Газеты теребят меня, чтобы написал о впечатлениях, но я мужественно выдерживаю осаду, учиненную мне корреспондентами, и вместо „впечатлений” пишу роман. Так-то оно надежнее будет!..»

Осенью того же года Шолохов пишет еще два письма Астахову, продолжая зазывать к себе в гости. Сам он ехать никуда не может, так как привязан к дому четвертой книгой «Тихого Дона». «Но уж как-нибудь увидимся! Вольной птицей буду, когда развяжусь с книгой. Летом почти не работал, а теперь приходится наверстывать...»

Последнее — совсем короткое — письмо датировано 24 октября 1939 года. Снова надежда на скорую встречу — на этот раз в Москве.

Состоялась ли эта встреча, неизвестно. Дипломатическая карьера Астахова в это время оборвалась — он был уволен из Наркомата иностранных дел, а

вскоре и арестован. Лубянка — Лефортово — Сухановская пыточная тюрьма, лагерь — таков теперь маршрут и конец его странствий.

А за месяц до ареста Астахова был расстрелян человек, в следственном деле которого по прихоти судьбы отпечатался еще один эпизод жизни Михаила Шолохова.

«Теперь хочу довести до сведения следствия о заслуживающем особого внимания обстоятельстве интимной связи Хаютиной-Ежовой с писателем Шолоховым...»

Шолохов — любовный соперник кровавого наркома Ежова? Что за бред! Если бы такое написал какой-нибудь сочинитель, мы бы только усмехнулись: мели, Емеля!.. Но жизнь фантастичней любой выдумки.

Пришедший на смену Ежову новый нарком внутренних дел Лаврентий Берия заканчивает кампанию по ликвидации своего предшественника и его окружения. В кровавый омут попадает сотрудница Иностранной комиссии Союза писателей Зинаида Фридриховна Гликина, обвиненная в том, что она, завербованная женой Ежова Евгенией Соломоновной Хаютиной-Ежовой, занималась вместе с ней шпионажем в пользу иностранных разведок.

Гликиной предложено подробно изложить все, что она знает о вредительской деятельности вчерашнего сталинского любимца, державшего всю страну в своих «ежовых рукавицах».

И Гликина старается, пишет многостраничные показания — целую тетрадь. Шпионскую свою деятельность она отвергает.

«...Не намерена, однако, представиться совершенно безгрешной и признаю себя виновной в том, что, будучи в курсе антипартийной деятельности Н. И. Ежова, я, благодаря своим близким отношениям к жене Н. И. Ежова и лично к нему, вследствие безграничной преданности им, скрывала все известное мне в этой части и никому об этом не сообщала. Теперь же, хотя и с опозданием, я считаю своим долгом довести до сведения следствия обо всем, что мне в этой части известно.

Может возникнуть вопрос — что общего у меня с Ежовым? Откуда мне могут быть известны факты его разложения и разврата? Я объясню это.

Познакомилась я с Н. И. Ежовым в 1931 г., когда он женился на Евгении Соломоновне Хаютиной. С Хаютиной же я знакома и находилась в приятельских отношениях издавна. Вместе с ней я училась в Гомеле, а затем часто встречалась в Ленинграде и с 1924 г. в Москве.

До начала 1935 г., несмотря на то что я нередко посещала квартиру Ежовых, отношения мои с Н. И. Ежовым были обычными. Затем между мной и Ежовым установились хорошие отношения. Этому способствовало то обстоятельство, что я в то время развелась со своим мужем... и Хаютина-Ежова предложила мне поселиться в их квартире. Таким образом, приятельские мои отношения с Хаютиной-Ежовой постепенно переносились и на Н. И. Ежова.

Моя исключительная близость с Хаютиной-Ежовой, частое посещение их квартиры дало мне возможность быть до деталей в курсе личного быта Ежова. В силу этого еще в период 1930 — 1934 гг. я знала, что Ежов систематически пьет и часто напивается до омерзительного состояния... Ежов не только пьянствовал. Он, наряду с этим, невероятно развратничал и терял облик не только коммуниста, но и человека. Из числа конкретных фактов разложения и разврата Ежова, известных мне в большинстве случаев со слов Хаютиной-Ежовой, помню следующие...»

Вот из этих-то бесконечных «конкретных фактов» и состоит в основном заявление Зинаиды Фридриховны. Об антипартийной деятельности — ни слова, что понятно, ибо ее не было и быть не могло у Ежова — достойного сына своей безгрешной партии. Только в конце заявления Гликина добирается до его преступлений:

«...Некоторые лица, в том числе и я, не имевшие никакого отношения к органам НКВД, осведомлялись от почти всегда пьяного Ежова о некоторых

конспиративных методах работы Наркомвнудела... Ежов неоднократно рассказывал о существовании Лефортовской тюрьмы, что там бьют арестованных и что он лично также принимает в этом участие. Присутствовавший при этом Фриновский (заместитель Ежова. — В. Ш.) подобострастно хихикал. Ежов в моем присутствии рассказывал также о технике приведения в исполнение приговоров в отношении осужденных к расстрелу. В хвастливом тоне... заявлял о своем личном участии в расстреле осужденных...

После назначения Л. П. Берии заместителем Наркома Внутренних Дел Союза ССР Н. И. Ежов начал почему-то волноваться и нервничать. Он стал еще сильнее пьянствовать и часто выезжал на работу только вечером. В разговоре со мной по поводу назначения Л. П. Берии Хаютина-Ежова заметила: „Берия очень властный человек, и вряд ли Николай Иванович с ним сработается...”

Разделавшись с Ежовым, Гликина переходит к своей закадычной подруге: «Являлась ли Хаютина-Ежова подобна Н. И. Ежову в разложении и разврате или было наоборот, но факт тот, что она не отставала от него...» Перечислив трех ее законных мужей и вереницу именитых любовников, Гликина называет имя Шолохова. И тут, вероятно, по указке следователя задерживается надолго, дает подробнейшие показания: «Теперь хочу довести до сведения следствия о заслуживающем особого внимания обстоятельстве интимной связи Хаютиной-Ежовой с писателем Шолоховым...»

Вижу предостерегающий жест: ну к чему это? Зачем нам подробности личной жизни знаменитости, еще не удаленной от нас исторической дистанцией, еще не забронзовевшей, не ставшей памятником?

Так как же быть? Что делать, если перед тобой — достоверный документ: спрятать подальше от глаз, снова засекретить, оставить для потомков? На сколько — десять, пятьдесят, сто лет?

Думается все же — обнародовать. Потому что здесь заслуживает внимания вовсе не «обстоятельство интимной связи», а тот беспредел, с которым государство вторгалось в жизнь человека, присваивая его себе без остатка. И тут не спасали ни броня наркомовского мундира, ни громкая писательская слава.

«Весной 1938 г. Шолохов приезжал в Москву и по каким-то делам был на приеме у Ежова, — дает показания Гликина. — После этого Ежов пригласил Шолохова к себе на дачу. Хаютина-Ежова тогда впервые познакомилась с Шолоховым, и он ей понравился. Хаютина-Ежова также вызвала у Шолохова особый интерес к себе. На этом, пожалуй, и закончилась их первая встреча.

Летом 1938 г. Шолохов снова был в Москве. Он посетил Хаютину-Ежову в редакции журнала „СССР на стройке”, где она работала, под видом своего участия в выпуске номера, посвященного Красному казачеству. После разрешения всех вопросов, связанных с выпуском номера журнала, Шолохов не уходил из редакции и ждал, пока Хаютина-Ежова освободится от работы. Тогда он проводил ее домой. Из разговоров, происходивших между ними, явствовало, что Хаютина-Ежова нравится Шолохову как женщина. Однако особая интимная близость между ними установилась позже. Кстати сказать, Ежов был осведомлен от Хаютиной-Ежовой в том, что ей нравится Шолохов.

В августе 1938 г., когда Шолохов опять приехал в Москву, он вместе с писателем Фадеевым посетил Хаютину-Ежову в редакции журнала. В тот же день Хаютина-Ежова по приглашению Шолохова обедала с ним и Фадеевым в гостинице „Националь”.

Возвратившись домой поздно вечером, Хаютина-Ежова застала Ежова, который очень интересовался, где и с кем она была. Узнав о том, что Хаютина-Ежова была у Шолохова в гостинице „Националь”, Ежов страшно возмутился. В связи с этим случаем мне стал известен один из секретных методов органов НКВД по наблюдению за интересующими его лицами. Я узнала о существовании, в частности в гостинице „Националь”, специальных аппаратов, посредством которых производится подслушивание разговоров между отдельными

людьми, и что эти разговоры до мельчайших деталей фиксируются стенографистками.

Я расскажу сейчас, как все это произошло.

На следующий день после того, как Хаютина-Ежова обедала с Шолоховым в „Национале“, он снова был в редакции журнала и пригласил Хаютину-Ежову к себе в номер. Она согласилась, заведомо предчувствуя стремление Шолохова установить с ней половую связь.

Хаютина-Ежова пробыла у Шолохова в гостинице „Националь“ несколько часов...

На другой день поздно ночью Хаютина-Ежова и я, будучи у них на даче, собирались уже было лечь спать. В это время приехал Ежов. Он задержал нас и пригласил поужинать с ним. Все сели за стол. Ежов ужинал и много пил, а мы только присутствовали как бы в качестве собеседников.

Далее события разыгрались следующим образом.

После ужина Ежов в состоянии заметного опьянения и нервозности встал из-за стола, вынул из портфеля какой-то документ на нескольких листах, обратившись к Хаютиной-Ежовой, спросил: „Ты с Шолоховым жила?“ После отрицательного ее ответа Ежов с озлоблением бросил его в лицо Хаютиной-Ежовой, сказав при этом: „На, читай!“

Как только Хаютина-Ежова начала читать этот документ, она сразу же изменилась в лице, побледнела и стала сильно волноваться. Я поняла, что происходит что-то неладное, и решила удалиться, оставив их наедине. Но в это время Ежов подскочил к Хаютиной-Ежовой, вырвал из ее рук документ, ударил ее этим документом по лицу и, обращаясь ко мне, сказал: „Не уходите, и вы почитайте!“ При этом Ежов бросил мне на стол этот документ, указывая, какие места читать.

Взяв в руки этот документ и частично ознакомившись с его содержанием, с таким, например, местом: „Тяжелая у нас с тобой любовь, Женя“, „уходит в ванную“, „целуются“, „ложатся“ и — „женский голос: — Я боюсь...“, я поняла, что этот документ является стенографической записью всего того, что происходило между Хаютиной-Ежовой и Шолоховым у него в номере и что это подслушивание организовано по указанию Ежова.

После этого Ежов окончательно вышел из себя, подскочил к стоявшей в то время у дивана Хаютиной-Ежовой и начал ее избивать кулаками в лицо, грудь и другие части тела. Лишь при моем вмешательстве Ежов прекратил побои, и я увела Хаютину-Ежову в другую комнату. Через несколько дней Хаютина-Ежова рассказала мне о том, что Ежов уничтожил указанную стенограмму.

В связи со всей этой историей Ежов был сильно озлоблен против Шолохова, и когда Шолохов пытался несколько раз попасть на прием к Ежову, то он его не принял.

Спустя примерно месяца два с момента вскрытия обстоятельств установившейся между Хаютиной-Ежовой с Шолоховым интимной связи, Ежов рассказывал мне о том, что Шолохов был на приеме у Л. П. Берии и жаловался на то, что он — Ежов — организовал за ним специальную слежку и что в результате разбирательством этого дела занимается лично И. В. Сталин. Тогда же Ежов старался убедить меня в том, что он никакого отношения не имеет к организации слежки за Шолоховым и поносил его бранью...»

Если бы отношения Шолохова и Ежова ограничивались только этой историей, может быть, не стоило бы ее и трогать: что ж, любовь или флирт — дело частное.

Но архив КГБ преподнес нам и другие свидетельства поединка писателя и палача — отнюдь не интимные. Так что Сталину приходилось разбираться не с их любовной интригой, как говорит Гликина (вряд ли вождь даже знал об этой интриге), а с вещами куда более серьезными. У Ежова были основания не только ненавидеть, но и бояться Шолохова.

Той самой весной 1938 года, о которой рассказывает Гликina, Шолохов приехал в Москву по неотложному делу — привез письмо самому Сталину. И это было уже не первое письмо. Шолохов обвинял возглавляемый Ежовым НКВД.

Эти обвинения приведены в обнаруженной в лубяном архиве докладной записке члена Комиссии Партийного Контроля М. Ф. Шкирятова (май 1938 года):

«В своем письме на имя товарища Сталина тов. Шолохов выдвигает против работников НКВД Ростовской области ряд обвинений, которые в основном сводятся к следующему.

1. Группа работников УНКВД Ростовской области создавала и продолжает создавать ложные дела на честных и преданных Советской власти людей. „Сотни коммунистов, посаженных врагами партии и народа, до сих пор томятся в тюрьмах и ссылках” (из письма т. Шолохова).

2. В органах НКВД Ростовской области к арестованным применяются физические насилия и длительные допросы, толкающие арестованных на путь оговаривания неповинных людей и приписывания себе преступлений, ими не совершенных. „Надо покончить, — писал т. Шолохов, — с постыдной системой пыток, применяющихся к арестованным”.

3. Против Шолохова подбирались ложные материалы и распускались провокационные слухи с единственной целью его скомпрометировать. „В такой обстановке, какая была в Вешенской, невозможно было продуктивно работать, но и жить безмерно тяжело. Туговато живется сейчас. Вокруг меня все еще плетут черную паутину враги” (из письма т. Шолохова).

В своем письме т. Шолохов требовал... привлечь к ответственности работников УНКВД по Ростовской области, повинных в этих преступлениях. Тов. Шолохов писал: „Надо тщательно проверить дела осужденных по Ростовской области и в прошлом, и в нынешнем годах, так как много из них сидит напрасно... Невинные сидят, виновные здравствуют, и никто не думает привлечь их к ответственности” (из письма т. Шолохова)...»

Вспомним: на дворе 1938 год, разгар большого террора. Страна оцепенела от страха. На этом фоне вызов Шолохова, брошенный органам, выглядит отчаянным по смелости поступком: все равно что подписать себе смертный приговор!

Что же затем последовало? Встреча Шолохова со Сталиным. О ней писатель поведал только после смерти вождя гостившему в Вешенской корреспонденту «Литературной газеты» Вадиму Соколову, а тот смог обнародовать эту историю только после смерти Шолохова и даже самой Советской власти, в конце 1994 года. История настолько жива и впечатляюща — журналист сделал запись сразу же, со слов рассказчика, — что хочется оставить ее как есть.

— Весной 38-го года я опять написал Сталину, — рассказывал Шолохов. — Нас всех в бюро райкома было девять человек. Двоих посадили чуть раньше, а тут еще двоих взяли. Жена, Мария Петровна, говорит мне: «Ты, Миша, следующий. Дальше откладывать нельзя. Пиши письмо и сам вези Поскребышеву (помощник Сталина). Дождидайся ответа в гостинице, сюда без них не возвращайся». Так и поступил: приехал в Москву, прямо на Старой площади передал, как положено, остановился в «Гранд-отеле». Жду день, жду два, неделя проходит. Телефон молчит. Тоска невыносимая, в голове прикидываю: пан или пропал? Написал все, как было: знаю обоих ребят еще по Гражданской, вместе за бандой Фомина гонялись. И вдруг уже под вечер звонок — Саша Фадеев. Не знаю, как разыскал: что же, сукин сын, от друзей прячешься или совсем заматерел? Я ему признался, зачем в Москве и чего ожидаю. А он своим тенорком похотывает: самое время поужинать, как классики советовали, в «Яре», с цыганами.

Я не сразу согласился, думаю, вдруг ответ сегодня, а я прогуляю. Но Фадеев тоже мужик настойчивый. А что, думаю, так даже и не посидим напоследок, не выпьем на дорожку дальнюю, а хотя бы и близкую, от «Гранд-отеля» до Лубянки — рукой подать. Договорились встретиться прямо в ресторане — это где нынче гостиница «Советская».

Загудели крепко. Сашу в Москве многие любили, узнавали, подсаживались, мужик молодой, хоть и седой уже, красивый. Болтаем — душа нараспашку, мне даже хорошо стало, забыл про свои мысли. А тут через весь зал прямехонько к нашему столику мэтр мчится, и сразу к Фадееву: подсажи, где Шолохов, очень срочно нужно. Саша знакомит нас, а тот заикаться начал: «К те-ле-фо-ну». Шагаю к нему за загородку, трубка лежит, дожидается. Не успел к уху приложить, а оттуда громовым матом: «Где шляетесь, развлекаетесь, — Поскребышев. — Политбюро третий час с тобой разбирается! Выходи к подъезду сразу, машина уже дожидается».

Приехали в Кремль и вприпрыжку вверх, к Поскребышеву. А тот головы не поднимает: «Нализался, шут гороховый», — и подталкивает к какой-то дверце, а там ванная, и сразу под душ. Чуть не кипяток, а вроде бы полегчало. Когда Поскребышев меня из-под душа вытолкнул, чувствуя, из флакончика на меня чем-то прыскает, лимоном пахнет. Я подштанники натянул, он протягивает вдруг новенькую гимнастерку с белоснежным целлулоидным воротничком. Из ванны он уже тянет к большой двери и впихивает в кабинет, который я до этого только в кино видел. Паркет блестит, ковровая дорожка от двери к столу буквой «Т». Смотрю, за столом ко мне лицом — сплошь военные. Генералы... Вглядываюсь — ни одного знакомого лица. Впрочем, одного узнал, самый маленький, без нашивок, в такой гимнастерке, как у меня. Личность знакомая, на всех стенках красовался: лисья морда среди «ежовых рукавиц». Так! Значит, и нарком здесь.

А напротив их генеральского ряда спиной ко мне штатские, двоих уже по затылку признал, наши, вешенские. Между ними стул пустой, аккуратно напротив Ежова. Сообразил: мне оставили. Грохнулся, была не была. На столе между нами и генералами — какие-то карты, раскрашенные картоны.

Я прислушиваюсь, чего говорит стоящий воинский начальник и чего он карандашом по картам водит. Начинаю соображать: речь идет о контрреволюционном заговоре белоказаков на Дону, где заговорщики решили выделиться в самостоятельную казачью республику, запаслись оружием в амбарах и переворот подготовили, как раз во время хлебозаготовок. А в будущее свои президенты рассчитывают тов. Шолохова. Меня аж подбросило на стуле.

Оглядываюсь, кому это он все докладывает? Тем, что во главе стола, за перекладной этого самого «Т». Их я уж точно по портретам узнаю, Политбюро в полном составе. Одно кресло, как мой стул давеча, пустое. А где же усатый? Только тут стал прислушиваться, кто-то за нашей спиной вышагивает, тихо, по ковру едва слышно. Заглядываю через плечо, точно он, как есть, трубочкой размахивает и шагает от перекладки до двери, потом обратно. Вдруг совсем притихли шаги, остановился как раз за моей спиной, посапывает, потягивает ноздрями. И как пророк с неба: «Говорят, много пьете, товарищ Шолохов?» А я, не вставая со страху, подбородок на кулаке, отрезал не думая: «От такой жизни запьешь, товарищ Сталин». Слышу, опять зашагал. А за перекладной не все гладко: вижу, Молотов пальцами усики разглаживает, улыбку скрывает, а Каганович с ним рядом, под стол нагнулся, будто шнурок завязывает, плечи над столом подпрыгивают. Кажется, пронесло!

Сталин к креслу подходит, садится крепко, до конца, и головой кивает: «Что же, будем решать, товарищи». Пауза. «А вы свободны...» Все в минуту головы вывернули, смотрят, куда его палец показывает. А пальца нет! Генералы поднимаются и как по линейке, через левое плечо, к двери потянулись. А мы, вешенские, засуетились и пустились догонять, а когда поравнялись, сдержали себя, не спешили первыми в дверь выскочить, так и тянулись минуту, как гуси, углом к солнцу.

Слышу сзади тот же голос с акцентом: «Нет, вы останьтесь», — оглядываемся разом, где палец, кого возвращает. Оказалось, Ежова с генералами... А мы вмиг у Поскребышева в предбаннике. Вижу, ребятам всем — и тем, кого с Лубянки привезли, и кто из Вешенской приехал, — билеты на поезд приготовлены, а для меня записка в гостиницу с распоряжением «без срока»... Но я особенно задерживаться не стал, утром позвонил Фадееву, а днем отправился назад к Марье Петровне...

Если вспомнить, что Ежов в том же 1938 году был отстранен от руководства НКВД, возникает вопрос: не помогло ли этому и обращение Шолохова к Сталину?

Жизнь самого Шолохова тогда уж точно висела на волоске. Есть и еще свидетельства о том, как вождь отвел от писателя расправу со стороны ростовских чекистов, ссылавшихся на «приказ Сталина и Ежова». При беседе с Шолоховым в присутствии Ежова вождь спросил:

— А вы не боитесь с нами поссориться? — и даже пошутил: — Ну что, Николай Иванович, будем снимать с него кавказский поясок?..

Однако, попугав, решил иначе:

— Великому русскому писателю Шолохову должны быть созданы хорошие условия для работы.

Веселые ребята

Осенью 1933 года в Гаграх, на теплом берегу Черного моря, шли съемки фильма «Веселые ребята» — первой и едва ли не самой популярной советской музыкальной кинокомедии. Работа собрала будущих звезд экрана: артистов Любовь Орлову и Леонида Утесова, режиссера Григория Александрова, композитора Дунаевского. Комедия пережила все режимы и пользуется неизменным успехом и сейчас, в постперестроечное время.

Но вот если спросить восторженную публику, кто написал сценарий этого киношедевра, на такой вопрос мало кто ответит. За историей «Веселых ребят» кроется совсем невеселая история. Авторы сценария не только были вычеркнуты из титров фильма, но и на долгие годы отлучены от нормальной жизни, объявлены преступниками. Это потрясающий образ двойной сути советского бытия, в котором при ослепительно бодром марше колонн энтузиастов, шествующих в светлое будущее, в том же времени и пространстве двигались под лязг винтовочных затворов, матюки и лай конвойных собак миллионные колонны заключенных — в гулаговский ад, навстречу смерти. И главный режиссер этой фантазмагии, подписав днем расстрельные списки на несколько тысяч человек, в тот же вечер с удовольствием хохотал над забавными приключениями «Веселых ребят».

Перед нами — следственное дело двух сценаристов этого фильма Николая Эрдмана и Владимира Масса и приложение к нему, ворох рукописей, изъятых при обыске. И в этом ворохе — кипа еще неизвестных, не услышанных никем...

«Как же слово не страшно? Слово не воробей, выпустишь — не поймашь. Так вот, знаете, выпустишь — не поймашь, а за это тебя поймают и не выпустят... Ну, была не была!..»

Здравствуйте! Начнем аб ово, то есть с яйца. Карл Маркс был неизмеримо прав, когда он сказал... э... я не помню в точности, что он сказал, но я в точности помню, что что бы он ни сказал, он бывает всегда неизмеримо прав...

В чем у нас заключается идеология? В репертуаре. Репертуар бывает выдержанный и невыдержанный. Выдержанный репертуар уже нельзя выдерживать, а невыдержанный репертуар уже нельзя удерживать...

Советская общественность утверждает с присущей ей справедливостью, что на двенадцатом году революции развлекательные пьесы вредны пролетари-

ату. Поэтому мы выбрали пьесу революционную, и мы твердо уверены, что на двенадцатом году революции она уже никого развлечь не сможет...» (Н. Эрдман. Из литературного приложения к следственному делу. Сцена к водевилу Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин»).

А осенью 1933-го, на теплом берегу Черного моря, съемки «Веселых ребят» в самом разгаре. Работа идет дружно, с радостным подъемом. Режиссер Александров дает интервью журналистам:

— Наша комедия является попыткой создания первого веселого советского фильма, вызывающего положительный смех. Для осуществления фильма мы внедряем новую форму сценария (Н. Эрдман и Вл. Масс), в которой изображение переплетается с сюжетом и интригой...

Николай Эрдман и Владимир Масс — два талантливых остроумца, уже известных в мире искусства. Оба — на творческом взлете. В театре Мейерхольда с триумфом прошла пьеса Эрдмана «Мандат», в другом театре — мастерской Фореггера, на Арбате, — буффонады Массы. С эстрад звучат песенки, скетчи и концераны обоих авторов. Их остроты, слетая со сцен, разносятся по московским домам и улицам, становятся ходячими выражениями.

«Когда иностранец или провинциал попадает в Москву и видит, как постовые милиционеры, читая с листа гениальную партитуру городского движения, дирижируют своими красными палочками, он не подозревает, что в сорока минутах езды от центра Москва приседает так низко на корточки, что за ее спиной виден лес. В центре города высокие здания и широкие площади, в центре города пешеходы, наступая друг другу на ноги, все чаще и чаще думают о метрополитене. На окраине Москвы дети играют на немощеных дорогах, и гуси разгуливают по дворам как полноправные горожане. Там я родился и живу в продолжение двадцати пяти лет. Там же рождаются и живут герои моей комедии. Мать моя русская, отец немец. Учился я в Петропавловском реальном училище. С первого класса начал писать стихи. Кончив реальное училище, напечатал свое первое стихотворение и поступил в Археологический институт, но вскоре карандаш ученика и перо стихотворца сменил на винтовку красноармейца. 1919-й и 1920-й грозные и прекрасные годы провел на фронте. Во время стоянок придумывал песни, а во время походов распевал их вместе со своей ротой. Неповторимое время, когда каждому поощению казалось, что ему подпевают вся Россия. Вернувшись в Москву, присоединился к группе поэтов-имажинистов. В то время в Москве был бумажный кризис, и имажинисты писали свои стихи на стене Страстного монастыря. В ту пору голодные москвичи шли по несколько верст в изодранных валенках, чтобы наполнить нетопленный зал Политехнического музея и послушать новые наши произведения. Никто никогда не умел так слушать поэзию, как эти голодные люди. Как звонко свистели они и как бешено аплодировали! Потом я начал работать в театрах, в маленьких театрах, рожденных революцией. В них я учился трудному и радостному искусству драматурга. В 1924 году я написал свою первую большую пьесу „Мандат“. Пьесу о лирических людях, которые живут „за заставой“. Блестящий режиссер Всеволод Эмильевич Мейерхольд поставил ее в своем замечательном театре, где она и идет до сих пор. После его постановки „Мандат“ перевели на украинский и турецкий языки, и он прошел в 120 городах моей необъятной родины. Два года тому назад я совершил поездку по Германии и Италии, поездку, которой я обязан знакомству с прекрасными немецкими актерами, виденными мною в Берлине. Сейчас я кончаю новую пьесу, после чего сажусь за роман, для которого все это время собирал материалы и делал наброски...» (Н. Эрдман. Из литературного приложения к следственному делу).

Всегда всех поражал его почерк — каллиграфический, бисерный, мелкими печатными буквами, каждая сама по себе — под стать его творческому почерку — чеканному, афористичному, колкому.

Эрдман писал автобиографию в 1927 году, это было время его триумфа. Станиславский, Мейерхольд, Луначарский, Горький восхищались талантом двадцатисемилетнего сатирика, считали его продолжателем традиций Гоголя, Сухово-Кобылина и Щедрина. Первая же пьеса Эрдмана «Мандат» была признана вершиной советской драматургии. «Научите меня писать пьесы!» — говорил ему Маяковский.

За внешним блеском карнавала не все еще увидели глубинную суть: Эрдман разоблачал не частные недостатки людей, а самую репрессивно-бюрократическую систему. «Без бумаг коммунисты не бывают». И больше — уже и человека нет. А в новой комедии со зловещим названием «Самоубийца», которая уже пишется и будет потом скандально запрещена, главным героем станет страх.

«Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить!» — распевает главный герой «Веселых ребят». В таком настрое живут и авторы фильма. Картина обречена на успех. Улыбки не сходят с лиц. Единственная неприятная нота, ворвавшаяся в эту безмятежную музыку, — письмо, полученное Массом из Москвы от его приятельницы, актрисы Сони Магарилл (сохранилось в следственном деле).

«Милый Владимир Захарович!

...Несколько дней тому назад была запрещена... книга о Н. Н. Акимове (известном ленинградском художнике и режиссере. — *В. Ш.*), запрещена в тот момент, когда весь тираж был уже готов... Книга запрещена из-за того, что в ней имеются Ваш и Николая Робертовича портреты... По требованию московского Главлита из книги должны быть изъяты не только ваши портреты... но и даже страничка, где просто есть ваши фамилии.

Это настолько отвратительная история, что комментарии не требуются, а фельетон Михаила Кольцова был бы весьма уместен. Мне хотелось поставить Вас в известность об этом случае, так как, мне кажется, пройти мимо, не выяснив этого вонючего дела, не стоит... Мой дружеский совет: ни в коем случае не оставляйте этого дела, и если это просто переусердствовавший дурак, дайте ему по шее...

Если вы считаете нужным, сообщите эти приятные новости вместе с моими сердечными приветами Николаю Робертовичу...

Только не будьте интеллигентом и не оставьте это происшествие без выяснения...»

Почитали, обсудили, отмахнулись: глупость какая-то! Разберемся в Москве! Веселья, царившего в гагринской гостинице «Гульрипш», это не поколебало. Два остроумца по-прежнему в центре внимания, общие любимцы. По вечерам, в ресторане, за их столиком — тесная компания, взрывы смеха. Навещает гостиницу и местное начальство, вместе со всеми пирует симпатичный начальник ГПУ Геладзе — заказывает жареных куропаток, вино «Букет Абхазии», произносит тосты, катает актрис на своем роскошном автомобиле с открытым верхом...

Поздним вечером 11 октября эта самая машина подкатила к гостинице — и веселье разом оборвалось. Через несколько минут в ней сидел Владимир Масс, а по бокам — двое в черной коже, с пистолетами.

Случилось это у всех на виду.

— Владимир Захарович, куда же вы без плаща? — крикнул в окно Утесов и выбросил другу свой плащ.

Увезли Массу, а через час приехали за Эрдманом.

Если бы операторы сняли эту сцену на пленку, для фильма, то он получился бы не менее захватывающим, правда, перешел бы тогда совсем в другой жанр — политического детектива, да и название пришлось бы менять.

— А что я мог сделать? — оправдывался Геладзе, когда наутро его атаковали возмущенные артисты. — Мне ночью пришла телеграмма из Москвы — арестовать! Я же не мог не подчиниться!..

А Эрдман и Масс были уже далеко. В поезде, увозившем их в столицу, соавторов разделили: каждый сидел в отдельном купе, с вооруженным охранником у двери.

Гагры сменились Лубянкой, съемочная площадка и ресторан — тюремной камерой и кабинетом следователя, сценарий «Веселых ребят» — серенькой папкой с надписью «Дело № 2685».

Родные, друзья и знакомые Эрдмана и Массы в один голос говорят, что поводом к их аресту стал инцидент, происшедший на одной кремлевской вечеринке у Сталина. Знаменитый артист Качалов читал там своим чарующим бархатным голосом что-то из классики.

— Почитайте нам что-нибудь новенькое и интересное, — попросил Хозяин.

И захмелевший артист начал читать басни Эрдмана и Массы. Что именно, никто не помнит.

Может быть, Качалов читал вот это?

Однажды ГПУ явился к Эзопу.
И хватъ его за жопу!
Смысл басни сей предельно ясен:
Довольно этих самых басен.

Качалов читал, все смеялись, а потом вдруг притихли. Остановился и артист.

— Кто автор этих хулиганских стихов? — прорезал тишину отрезвляющий голос.

Советский царь шутов не любил и не держал.

Говорят, после ареста Эрдмана и Массы бедный Качалов чуть не покончил с собой, запил, приходил к родным пострадавших, предлагал денежную помощь.

На Лубянке баснописцам пришлось поработать в новом для себя жанре — жанре показаний. И здесь они получили в соавторы опытного мастера — оперуполномоченного Секретно-политического отдела Николая Христофоровича Шиварова, большого специалиста по литературным делам. Его соавторство в протоколах допросов легко определить по словарю, состоящему всего из трех слов: контрреволюционный, враждебный, антисоветский.

15 октября Шиваров допрашивал Эрдмана, в протоколе читаем¹:

«Я автор ряда контрреволюционных литературных произведений, так называемых „басен“, получивших широкое нелегальное распространение по Москве и другим городам Союза. Ответственность за сочинение и нелегальное распространение этих басен несу я и соавтор Владимир Масс. Мы их читали не только в кругу близких друзей, но подчас и в кругу случайных знакомых. Контрреволюционный характер многих из этих басен настолько отчетливо выражен, что они заведомо предназначались не к гласному, легальному опубликованию, а только к нелегальному распространению.

Я отчетливо сознавал политическую ответственность, которую возлагало на нас широкое распространение этих басен, и то враждебное политическое воздействие, которое они оказывали в определенных общественных кругах. Я сознавал и сознаю, что на меня ложится ответственность также и за распространение этих басен не только нами, но и другими лицами, слышавшими их от нас или получившими их от нас в списках. Оговариваюсь, что лично я давал в списки несколько басен только один раз артисту Качалову.

Наконец, сознавал и сознаю, что на меня ложится ответственность и за басни антисоветского характера, которые я сам (или вместе с Массом) не пи-

¹ Этот протокол опубликован в мемориальном сборнике документов из архивов бывшего КГБ «Верните мне свободу!» (М., «Медиум», 1997, стр. 18—19). (Примеч. ред.)

сал, но которые являлись подражанием того жанра, который мною, совместно с Массом, был создан.

К басням, которые я считал заведомо не подлежащими опубликованию в силу их контрреволюционного содержания, относятся: „Однажды наклонилась близко“, „Гермафродит“, „Самогонный аппарат“, „Девушка и цветок“.

К басням антисоветским по своему содержанию, но которые я полагал возможным опубликовать, относятся: „Мартышка и очки“, „Полено и топор“, „Верблюд“, „О цитатах“, „Бочар и липа“, „Муки творчества“, „Термометр“...»

Следователь наткнулся в бумагах арестованного на списки людей, известные фамилии которых были выстроены в столбцы, аккуратными шеренгами: что за организация? Долго не мог понять и не верил объяснениям...

Эрдман потом, спустя много лет, рассказывал друзьям:

— Когда-то я играл с собою в такую игру: кто придет на мои похороны. Вполне длинноватый получился список. Тогда я стал составлять более строгий список — кто придет на мои похороны в дождливый день. Получился много короче...

Я никак не мог объяснить следователю, что это за списки такие, мерзавец, вражина, вкручиваю ему, что взрослый идиот играет с собой в какие-то игры. Вызывали по списку почти всех. А тех, кто в дождливый день, — по несколько раз...

Шутки Эрдмана приобретали на Лубянке опасную остроту.

Затем следователь допросил Массу.

Он, как и Эрдман, ничего не утаивал. Их ответы почти совпадают. Соавторы и здесь были едины, предпочли не сражаться со следствием, «разоружились» сразу.

«Я, совместно с Николаем Эрдманом, являюсь автором большого количества стихотворных сатирических произведений, так называемых басен... Широкое распространение этих басен, несомненно, оказывало враждебное, антисоветское воздействие на определенные общественные круги. Мало того, эти контрреволюционные басни вызвали подражание. Получили широкое нелегальное распространение контрреволюционного содержания басни, авторы которых оставались нам неизвестными, но авторство приписывалось нам...

Принимаю на себя ответственность за все здесь мною заявленное, а именно: за авторство контрреволюционных басен, за их нелегальное распространение как мною, так и другими лицами, а также за создание особого жанра антисоветской сатиры, являющегося действенным орудием для врагов диктатуры пролетариата».

Подумать только — создали целый жанр в литературе! Гордиться бы надо — и втайне наверняка гордились, — а тут приходится отречься и каяться.

На самом деле это была высокая оценка — если такая могучая, незыблемая власть считает их опасными врагами!

На Лубянке Эрдман пережил еще одну — невероятную, классическую — сцену: свидание со своей тайной любовью — Ангелиной Степановой, актрисой МХАТа. Бесстрашная женщина добилась встречи с ним через одного из кремлевских воротил — Авеля Енукидзе.

— Что заставляет вас так неверно и необдуманно поступать? — спросил пораженный секретарь Президиума ЦИК.

— Любовь! — был ответ.

Облава на сатириков не ограничилась Эрдманом и Массом: в те же дни, что и они, были схвачены в Москве еще два представителя того же жанра — Михаил Вольпин и Эммануил Герман (Эмиль Кроткий).

Через полтора месяца после ареста «веселые ребята» — весь цех баснописцев — были уже далеко в Сибири, приговоренные к трехлетней ссылке: Эрдман в Енисейск, Масс — в Тобольск, Герман — в город Камень; Вольпин того хуже — заключен в концлагерь за какие-то старые счеты с ГПУ.

Под первой телеграммой, которую получила мать Эрдмана из Сибири, стояла подпись неистощимого остряка — «Мамин-Сибиряк». Масс отправился на Лубянку в утесовском плаще. Теперь Эрдман спасался от морозов в шубе, подаренной ему Мейерхольдом.

Дело баснописцев положило начало разгрому смеховой культуры советского времени. Жало у сатиры вырвали. Сатириков оставили в живых, но напугали до смерти, превратили в юмористов. Платой за жизнь было призвание, талант. Отныне они будут обречены вызывать у публики только «положительный смех».

«— Ну как?

— Не то! Не то! Типичное не то!

— Почему?

— Не чувствуется!

— Чего?

— Связи.

— Какой?

— Крепкой.

— С чем?

— С главным!

— Но нам бы хотелось по существу!..

— Вам бы хотелось по существу?

— Да.

— Плохо!

— Почему?

— Не заражает.

— Чем?

— Чем-то.

— То есть как?

— Не дает.

— Чего не дает?

— Ничего не дает.

— Кому?

— Им.

— Кому им?

— Массам.

— Каким?

— Отсутствующим.

— Что же нам делать?

— Нужно драться.

— Для чего?

— Чтобы покончить.

— С чем?

— С этим!

— С чем с этим?

— С тем, что было.

— Для чего?

— Чтобы не было. Нам надо драться за то, чтобы не было того, что было, и чтобы было то, чего не было» (Н. Эрдман. Из литературного приложения к следственному делу).

Дальнейшая биография Николая Эрдмана — это скитания по стране: ссылка — Енисейск, Томск, потом «Минус десять» — вольное поселение с запретом жить в десяти крупнейших городах страны. Короткие незаконные наезды в Москву.

В 1938 году друг Эрдмана Михаил Булгаков сделает попытку изменить его положение — отправит письмо Сталину.

Подлинник этого известного письма хранится в следственном деле № 2685. Штampы и резолюции пометили его путь — из Особого сектора ЦК ВКП(б) в НКВД, где оно и было похоронено.

Обращение Булгакова не помогло — вернуться в столицу Эрдману было отказано. Вышел на экраны еще один киноселлер по сценарию его М. Д. Вольпина и Александрова — «Волга-Волга», и снова без его имени.

— Не в той стране родился и не в то время попал, — говорили про него друзья.

Калинин — Вышний Волочек — Торжок — Рязань — Ставрополь... Такова его одиссея. Когда-то он вместе с Массом изобразил легендарного грека в обозрении для Ленинградского мюзик-холла. Смеха было много. Потому что Одиссей со товарищи по велению авторов сделались их современниками — «одесситами». А потом рукопись попала на Лубянку. Попала — и пропала...

Литературное приложение к следственному делу.

Из «„Одиссей“, обозрения в трех актах Гомера, в обработке и под редакцией Н. Эрдмана и В. Массы»:

«Вступительное слово помощника режиссера перед закрытым занавесом:

— Дорогие товарищи! Сейчас вы увидите „Одиссею“, популярное обозрение слепца Гомера, автора нашумевшей „Илиады“. Почему нам, товарищи, близок Гомер? Потому что он умер. Я считаю, что смерть — это самое незамеченное качество для каждого автора. Живого автора у нас хоронят после каждого представления, поэтому, если он хочет подольше жить, он должен немедленно умереть. Правда, товарищи, Гомер сделал непоправимую ошибку тем, что он умер за три тысячи лет до Октябрьской революции. Этого пролетариат ему не простит. Но я твердо уверен, что если бы он был жив, он был бы с нами и мог бы лучше других увидеть наши театральные достижения, потому что он был слепой. Я не вправе скрывать от вас, что некоторые ученые утверждают, что Гомера вообще не было... Итак, дорогие товарищи, Гомера не было. Спрашивается, почему? Потому что в жутких условиях капитализма никакого Гомера, само собой разумеется, быть не могло. Теперь же, товарищи, без сомнения, Гомер будет. Когда — не знаю, но будет обязательно. Но так как того Гомера, который будет, нету, нам поневоле пришлось поставить того Гомера, которого не было...»

«Вторая речь помощника режиссера перед закрытым занавесом:

— ...Кто такой, товарищи, Одиссей?.. Почему он у нас не герой? Потому что в нашу героическую эпоху героев быть не должно. Что такое герой? Герой — это оторванный от масс безответственный человек, который действует совершенно один и отвечает сам за себя. Мы решили укрупнить эту фигуру. У нас Одиссей не безответственный герой, а ответственный человек, а у всякого ответственного человека, как известно, есть секретарь, поэтому он действует не один и за него отвечает другой...»

Из речей Одиссея:

«— Сейчас мы приближаемся к неизвестной стране. Что мы можем в ней увидеть? Что она цветет. Что мы можем о ней сказать? Что она прогнила. Помните, что все, что вам понравится в этой стране, должно вызывать у вас отвращение...»

(Гром.)

Прошу запротоколировать гром под видом аплодисментов...

— Товарищи! Вот уже двадцать лет, как мы выходим сухие из воды и стремимся в родную Итаку, преследуемые Посейдоном. Мы прошли между Сциллою и Харибдой, мы отбились от злобных Киконов и надули Цирцею. Для чего же мы это сделали? Чтобы достигнуть Итаки. Что есть мы с точки зрения итакизма? С точки зрения итакизма мы творцы и создатели. Что мы, братцы, создали своими руками? Мы создали своими руками разрушение Трои.

(Молния, гром.)

Прошу запротоколировать гром под видом аплодисментов».

Представление заканчивается тем, что «корабль бюрократизма, попавший в бумажную бурю, гибнет в чернильном море. Порыв свежего ветра опрокидывает корабль».

И затем следует «общий танец физкультурного характера» — «Апофеоз».

1941-й. Фильму «Волга-Волга» присуждена Сталинская премия. А Эрдман — на войне, сапер, отступает со своей частью от немцев и, пройдя пешком около шестисот километров, сваливается в госпиталь в Саратове. И там вдруг неожиданный вызов — в Москву!

Друзья похлопотали — он зачислен на новую службу. И куда — в ансамбль песни и пляски НКВД! Лучшие силы искусства, весь советский бомонд: композитор Дмитрий Шостакович, режиссер Сергей Юткевич, актер Юрий Любимов, художники Вильямс и Рындин, балетмейстер Асаф Мессерер. Вот только либреттистов не хватало!

В клубе Лубянки Эрдман, худой, изможденный, вместе с так же всплывшим из небытия Михаилом Вольпиным примеряет перед зеркалом чекистскую новую шинель.

— У меня, Миша, — говорит Эрдман, — у меня такое впечатление, будто я привел под конвоем самого себя...

И поселяют их тут же, при клубе, на Лубянке.

Ансамбль песни и пляски НКВД гремит на всю страну, ездит по фронтам, театрализованные представления следуют одно за другим — «Отчизна», «Русская река» и, наконец, «Весна победная»... А нереабилитированный сценарист все это время продолжает незаконно жить в Москве под крышей НКВД, в самой пасти зверя.

— Ну кому бы пришло в голову организовать Ансамбль песни и пляски гестапо? — горько иронизировал потом Эрдман.

Однажды получают задание: создать песню о железном наркоте — Берии.

— Есть такой и тексток, и мотивчик, — шутит кто-то. — Цветок душистых прерий, Лаврентий Павлыч Берия...

— А ну-ка все отсюда — брысь! — крик Эрдмана. — Ты что, спятил?..

Право жить в Москве он получил только в 1949 году, уже после того, как Ансамбль песни и пляски был расформирован. А вскоре на экраны вышел фильм «Смелые люди» по сценарию Эрдмана и Вольпина и тоже получил Гос. премию СССР. На сей раз их имена в титрах появились — это была негласная реабилитация (официальная случится только еще через полвека — в 1989 году).

Что известно о последних годах жизни Николая Эрдмана? Писал многочисленные сценарии фильмов, мультфильмов, либретто оперетт, скетчи для эстрады и цирка, инсценировал классиков для театра Юрия Любимова на Таганке. После смерти первой жены женился второй раз, потом третий. Был по-прежнему душой общества, самым остроумным собеседником. Играл на бегах, где называл себя «долгопроигрывающей пластинкой». Много пил. Говорил, что пишет пьесу. Не написал. И ничего конгениального своей молодости уже не создал. «Тот» Эрдман превратился в легенду, «этот» — прикусил язык, похоронил свой талант заживо.

Уже умирая, с больничной койки сказал Любимову, подвел невеселый итог:

— В-видимо, Ю-юра, вы были п-правы, когда втягивали меня все время в игру! Ведь, ну уж, я же долго играл на бегах, но почему-то вышел из игры в искусстве, а уж, наверное, так суждено, надо уж до конца играть.

Пьесы Николая Эрдмана «Мандат» и «Самоубийца» были впервые опубликованы уже в годы перестройки, первая книга его вышла в свет в 1990 году, через двадцать лет после смерти автора. Точно по «Самоубийце»: «В настоящее время то, что может подумать живой, может высказать только мертвый».

«Жили мы тихо, симметрично.

* * *

Нового поколения я не знаю. Старое поколение меня не знает.

* * *

Все попытки (а их было много) заработать на встречу с Тобой разбиваются в пух и прах. Красные карандаши Цензуры вычеркивают мою жизнь строчка за строчкой. Иногда мне кажется, что бумага может не выдержать и порвется.

* * *

Живем мы на этой земле, как стрелки на циферблате.
Кружимся на одном месте, а время уходит.

* * *

Кто есть Пушкин? Пушкин есть зарытый в землю талант?» (Н. Эрдман. Из литературного приложения к следственному делу).

Поэт Мариенгоф вспоминал о разговоре, происходившем в годы революции между Николаем Эрдманом и Сергеем Есениным.

— Поотстал ты, Николаша, в славе, — говорит Есенин. — Ты приколоты к памятнику «Свобода», что перед Моссоветом, здоровенную доску — «Имажинисту Николаю Эрдману»... Доска твоя все равно больше часа не провисит. А разговор будет лет на пять. Только бы в Чекушку тебя за это не посадили.

— Вот то-то и оно! — отвечает Эрдман. — Что-то не хочется мне в Чекушку. Уж лучше буду неизвестным.

Эрдман все-таки стал известным — и угодил в Чекушку. С тех пор он предпочел быть неизвестным.

«Настоящие местности — душа и совесть»

«Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики, — говорил Илья Эренбург. — Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали?»

Действительно, почему?

Борис Пастернак прожил жизнь под жестким контролем и насилием власти. Гибельный удар мог последовать в любую минуту. Карательные органы не раз подводили его к этой черте — в лубяньских архивах есть тому десятки свидетельств.

Пастернака могли арестовать в 1933 году, когда был взят и отправлен в ссылку его давний друг, писатель Сергей Бобров, взят вместе с уликой — рукописью «антисоветской, контрреволюционной» повести «Близлежащая неизвестность». Среди лиц, которым он читал эту повесть и которые приняли ее «как сатиру на положение в СССР», Бобров назвал Пастернака. Мало того, Пастернак способствовал распространению повести. В деле Боброва есть еще одна улика — подлинник неизвестного письма ему Пастернака (дата не поставлена, но письмо можно отнести к периоду между днем, которым датирована повесть Боброва, и днем его ареста: 5 октября 1931 — 28 декабря 1933 года):

«Арбат, Большой Николо-Песковский пер., д. 5, кв. 9. С. П. Боброву.
Дорогой Сережа!

Приходи, пожалуйста, не сегодня, а завтра (8-го) вечером в 9 часов. Будут Зелинский и Динамов (ред. „Лит. газеты“). Принеси, пожалуйста, рукопись „Близлежащей неизвестности“, мне очень бы хотелось, чтобы она была при тебе, не предпрешая того, будет ли чтение, в тот же ли вечер или в другой,

и т. д. Но завести разговор о ней мне бы хотелось при Д., это одно, а другое — ее не знают Зина и Генр. Густ., — принеси, не забудь, пожалуйста. Приходи непременно с Марией Павловной, если свободна.

Твой Борис».

Налицо не только знакомство с опасной рукописью, но и пропаганда ее — Пастернак хочет дать повести ход, организует чтение ее, на которое приглашается целая компания: литературные критики Зелинский и Динамов, известный пианист Генрих Густавович Нейгауз с женой, жена Боброва — переводчица Мария Павловна Богословская.

Пастернака могли арестовать в 1937 году, по показаниям другого преступного писателя — Бориса Пильняка, который назвал его ближайшим другом и единомышленником. И в том же году Пастернак отказался подписать коллективное письмо литераторов, одобряющее казнь Якира, Тухачевского и других военачальников.

Тогда, в 1937-м, арест предотвратила сама власть — просто взяла и поставила имя Пастернака среди других под опубликованным позорным писательским письмом.

Пастернака могли арестовать и в 1939 году, по показаниям Михаила Кольцова и Всеволода Мейерхольда, судимых и расстрелянных в один день.

После многомесячных пыток Кольцов дал показания (23 марта) об особо опасных связях Пастернака с буржуазными писателями Запада. Начал он с инцидента на Международном писательском конгрессе 1935 года в Париже:

«Председательствующий на Конгрессе Андре Жид всячески демонстрировал свои восторги перед СССР и коммунизмом, однако одновременно за кулисами проявлял недоброжелательство и враждебность к советским делегатам и иностранным коммунистам. Эренбург, являвшийся уполномоченным от Андре Жида и французов, заявил от их и своего имени недовольство составом советской делегации и, в частности, отсутствием Пастернака и Бабеля. По мнению Жида и Эренбурга, только Пастернак и Бабель суть настоящие писатели и только они по праву могут представлять в Париже русскую литературу. После первых выступлений советских делегатов А. Жид заявил, что восхваление хорошей жизни писателей в СССР производит на Конгресс очень плохое впечатление: „Получается, что писатели являются в России сытой, привилегированной кастой, поддерживающей режим в своих шкурных интересах“. На третий день Конгресса Жид передал через Эренбурга ультиматум... или в Париж будут немедленно вызваны Пастернак и Бабель, или А. Жид и его друзья покидают Конгресс. Одновременно он явился в полпредство и предъявил... такое же требование. Пастернак и Бабель были вызваны и приехали в последний день Конгресса. С Пастернаком и Бабелем, равно как и с Эренбургом, у Жида и других буржуазных писателей ряд лет имеются особые связи. Жид говорил, что только им он доверяет в информации о положении в СССР — „Только они говорят правду, все прочие подкуплены“... Связь Жида с Пастернаком и Бабелем не прерывалась до приезда Жида в Москву в 1936 г. Уклоняясь от встреч с советскими деятелями и отказываясь от получения информации и справок о жизни в СССР и советском строительстве, Жид в то же время выкраивал специальные дни для встреч с Пастернаком на даче, где разговаривал с ним многие часы с глазу на глаз, прося всех удалиться. Зная антисоветские настроения Пастернака, несомненно, что значительная часть клеветнических писаний Жида, особенно о культурной жизни в СССР, была вдохновлена Пастернаком...»

Реакция органов на признания Кольцова была незамедлительной: «По его показаниям необходимо произвести дополнительные аресты названных им участников антисоветской организации».

Подобные же выводы сделаны и по делу Мейерхольда: «Уточнить обстоятельства его связи и привлечения к контрреволюционной организации Б. Пастернака и Ю. Олеша».

И нужные уточнения Мейерхольд дал. Правда, вскоре, едва придя в себя после истязаний, он откажется от них:

«Я не вел с Б. Пастернаком никаких разговоров... против партии и правительства... Я не вербовал в троцкистскую организацию ни Б. Пастернака, ни Ю. Олешу... ни Д. Шостаковича. Никакие задания перед этими лицами я не ставил. Группа этих писателей и музыкантов была сплочена на базе единства взглядов в области искусства, не носила на себе троцкистских влияний. Б. Пастернаку никаких заданий подбирать антисоветски настроенных писателей в троцкистскую организацию не давалось мною. Б. Пастернак никогда не говорил мне, что будто бы он вовлек в антисоветскую троцкистскую организацию С. Кирсанова и О. Брика...»

О том же Мейерхольд писал Молотову за месяц до казни: он под пытками дал показания на «троцкистов» Пастернака, Эренбурга, Шостаковича и других деятелей культуры, но когда «пришел в относительное равновесие», отказался от них как от «бредней».

Вполне возможно, что решительный отказ Мейерхольда от навязанной лжи спас Пастернака от, казалось бы, уже неминуемого ареста.

Арест готовился. И все-таки не состоялся. Не было на то верховной воли Хозяина.

Пастернака могли арестовать и позднее.

1947 год. Пастернак в это время переводит Петефи и Шекспира, работает над романом. И вдруг в газете «Культура и жизнь» статья Алексея Суркова: «Занял позицию отшельника, живущего вне времени... Субъективно-идеалистическая позиция... Живет в разладе с новой действительностью... С явным недоброжелательством и даже злобой отзывается о советской революции... Прямая клевета на новую действительность...»

И вывод: «Советская литература не может мириться с его позицией».

Не статья — политический донос в центральной печати. Обвинение подхватывают другие газеты, Пастернака клеймят на собраниях — за «скудные духовные ресурсы... неспособные породить большую поэзию», и даже за то, что его творчество «нанесло ущерб советской поэзии».

Очередной виток травли. Пастернаку не привыкать к публичным нападениям. И как он ни уязвлен, сохраняет внешнее спокойствие, даже находит силы и время поддержать тех, кому еще хуже.

В лубяньском архиве счастливо уцелел подлинник еще одного неизвестного письма Бориса Пастернака, адресованного в город Фрунзе, переводчице Елене Дмитриевне Орловской и ее другу, балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву. Кайсын Кулиев в то время принял на себя добровольную ссылку в Киргизию, чтобы разделить участь своего балкарского народа, депортированного Сталиным. Как попало письмо в руки чекистов, было ли перехвачено, изъято при обыске или просто украдено, выяснить не удалось.

«Заказное

Фрунзе. Почтамт. До востребования. Елене Дмитриевне Орловской.

22 ноября 1947 г.

Дорогая Елена Дмитриевна!

Я не получил писем, о которых Вы упомянули в письме, полученном мною от Вас месяц тому назад. На это последнее я стал было тут же отвечать Вам открыткой, да раздумал отсылать ее, — я слишком скомкал в ней то, что скажу Вам и здесь.

В тот же день я справился у Скосырева по телефону о судьбе стихов, присланных Вами в „Дружбу...“ (П. Г. Скосырев — писатель, сотрудник альманаха „Дружба народов“. — В. Ш.). Они не появятся вовсе не вследствие Вашей „переводческой беспомощности“, как Вы говорите. Наоборот, их не напечатывают, потому что они очень или даже слишком нравятся, больше, чем позволяют отсутствующие или иные обстоятельства.

Вы очень добры ко мне и все преувеличиваете. При всем том Ваше письмо очень пронизательно и талантливо и дышит большой посвященностью во все эти большие вещи, так что мне уместнее будет выразить Вам восхищение им, чем благодарить.

Но представьте, в одном отношении Вы не ошибаетесь. Неизвестно за что и с забвением всех моих недостатков и малости сделанного, мне освобождено или очищено на свете большое место, и теперь мое дело занять и оправдать его.

И хотя писание романа (мне на полгода ради заработка пришлось превратить его), хотя его писание является главным заполнением этого места в теории и идее, — на практике, в ежедневной, каждому обозримой жизни, мне приходится пока наполнять эту вакансию главным образом недоумением и страданием, да и как может быть иначе, когда так захлестывает стихия извращения и софизма, что захлебываешься. Одно хорошо, что мне не приходится и распространяться, даже если бы меня захлороформировали трусостью. Будут говорить мои ноги и руки, так все ясно, так определено.

Не падайте духом, не воображайте, что скучно Вам. Различие между «шумною» столицей и глушью сейчас так несущественно, так призрачно. Везде более или менее одинаково. И ведь настоящие местности — душа и совесть, а не города. На столе письмо Ваше, и Вы тут больше, чем сотни презираемых мною лауреатов, и сейчас я с Вами обоими мыслью и душой.

У меня нет или не осталось удачных фотографий. Но одна, как бы то ни было неудачная (как еще она выйдет в репродукции!), будет отложена к книжке избранных стихов, выпускаемых „Сов. писателем“. Как только книжка выйдет, я пошлю по экземпляру Вам и К. Кулиеву (уже отпечатанный тираж „Избранного“ Пастернака будет уничтожен и не дойдет до читателя. — В. Ш.). Есть ли у него и у Вас „Гамлет“ в моем переводе и мои „Грузинские поэты“?

Скажите Кайсыну, что его все здесь с любовью вспоминают. Пусть он легче относится к тому, что происходит с ним. После Есенина он самая яркая встреча на моей памяти, в смысле живой очевидности таланта и прямоты его обнаружения. Он должен знать, что нынешние его злоключения такая же ничтожная и преходящая условность, какою бы могло быть его начинавшееся тогда благополучие, — подумайте, какой бред пришлось бы ему повторять, если бы он попал теперь под полный „Юпитер“!

Нет предела творческим правам большой личности, одухотворенной истинною смелостью, то есть готовностью к жертвам. История души на свете едина и всенародна, что бы там ни говорили. Ничего не пропадает, ни о чем не надо жалеть, ничего не надо бояться.

Простите, что пишу Вам так на ходу и наспех. Половину этой мазни нужно было бы выразить глаже и точнее, но когда урвать время!

Будьте здоровы и счастливы тем, что Вы с ним такие настоящие.

Как только будет что-нибудь послать, не премину это сделать.

Благословляю Вас.

Ваш Б. Пастернак».

Пастернака могли «изъять» из общества и в 1949-м, когда после разгрома Еврейского антифашистского комитета была арестована большая группа еврейской интеллигенции и развязана кампания против «безродных космополитов».

Одна из жертв — профессор, доктор филологических наук, литературный критик Исаак Маркович Нусинов 19 апреля был специально, подробно и пристрастно допрошен о Пастернаке. Следователю удалось получить несколько фактов о поэте, которых вполне хватило бы, чтобы и его причислить к сонму «врагов народа».

Нусинов сообщил, например, что Пастернак в 1941 году был приглашен главой Еврейского антифашистского комитета, артистом Михоэлсом принять участие в митинге и сначала дал на это согласие, но потом отказался. «Он сказал, — показывает на допросе Нусинов, — что считает нецелесообразным не

только свое выступление на митинге, но и вообще его проведение, поскольку это может вызвать неблагоприятную реакцию в правительственных кругах Германии и в какой-то мере отразиться на судьбе евреев...»

Когда в октябре 1941 года писателей эвакуировали из осажденной немцами Москвы, Нусинов оказался в одном поезде с Пастернаком и другими литераторами — критиками Шкловским и Гурвичем. В дороге, как показал Нусинов, Шкловский и Гурвич допускали злобные антисоветские выпады против руководителей партии и правительства и возводили на них клевету. А что же Пастернак? «Пастернак хотя и отмалчивался, но из отдельных его реплик было видно, что он солидарен с антисоветскими высказываниями».

Затем судьба свела Пастернака и Нусинова в небольшом прикамском городке Чистополе, куда эвакуация забросила многих писателей. И тут враждебное лицо поэта проявилось полностью.

Он говорил о «невозможности создания большой литературы в советских условиях... сетовал на строгость советской цензуры и доказывал, что все редакторы и издатели вследствие „перестраховки“ создают невыносимые условия для писателей... утверждал, что благодаря такому положению многие писатели или вовсе прекратили писать, или отписываются незначительными произведениями».

Дальше — больше. Следователь переходит от литературных взглядов поэта к политическим и тут тоже получает от затравленного узника богатую пищу.

«Пастернак считал, что к концу второй мировой войны в Советском Союзе будут проведены существенные демократические преобразования по буржуазно-парламентскому образцу, в основу которых будет положена атлантическая хартия... Только тогда станет возможным проявить свои писательские таланты не только ему, а и многим другим „молчальникам“».

В одну из прогулок Пастернак... заявил мне, что в России, хотя и с некоторым опозданием, произошло повторение таких событий, которые давно пережиты западноевропейскими государствами... Во Франции — Робеспьер, а в Англии — Кромвель установили диктатуру, которая остановила жизнь страны, но эта их диктатура была непродолжительной и поэтому не нанесла большого ущерба народу. У нас же в России, говорил Пастернак, период диктатуры слишком затянулся и поэтому неблагоприятно отразился на росте культуры народов страны...»

...наконец, уже в 1959 году — в связи с публикацией романа за рубежом — сам Генеральный прокурор СССР Руденко в течение двух часов допрашивал поэта и запугивал: «Ваши действия образуют состав особо опасного государственного преступления и в силу закона влекут уголовную ответственность...»

Всю жизнь Пастернак прожил под угрозой ареста, под прицелом недремлющих Органов.

Больше семи десятилетий существовал — по точному определению Андрея Платонова — «Революционный заповедник имени Всемирного Коммунизма». И все это время в нем шла охота, облава на людей, отмеченных умом и талантом. Русская литература XX века состоялась в противостоянии диктатуре.



О П Ы Т Ы

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН



ТРИ МОНУМЕНТА

1. Диалоги девятого года

Гражданам свойственно подозревать, что монументы говорят между собой. Странные эти сущности имеют привычку оживать, и если не блуждать, то разговаривать сквозь кварталы, в разреженном, незасоренном, гулком и умытом эфире ночи.

Фольклор обыкновенно не без натуги домысливает эти разговоры. В советских анекдотах, скажем, изваяния шпионят друг за другом, одолжаются, желают знать часы работы винно-питейных заведений и так далее. Между тем возможно иногда просто услышать — и даже расшифровать — подлинную беседу монументов. Например, Первопечатника и Гоголя Сидящего.

Первое ощущение — что именно этим двум говорить не о чем — легко снимается в очень московском представлении о некоей корпорации дореволюционных, «благородных» монументов, об их довольно узком, да еще прореженном репрессиями круге, куда сегодня входят Минин и Пожарский, Пушкин, Пирогов, «старые» Гоголь, Достоевский и Толстой. Это не считая немногих погрудных изображений, многочисленных надгробных, а также нескольких неповских памятников, настаивающих на генетической старорежимности. «Благородный» ряд открывается — если указывать именно годы открытий — 1818-м, а закрывается 1918 годом. На столетней шкале монументы расставлены редко и неравномерно: 1880, 1897... — зато на 1909 год выпадают две премьеры. Это те самые Гоголь и Первопечатник.

Дальнейшее сопоставление идет сначала в том же поле внешних обстоятельств. Выясняется, что два ваятеля — Сергей Михайлович Волнухин и Николай Андреевич Андреев — относятся друг к другу как учитель и ученик. Что первый поучаствовал и в гоголевском конкурсе, второй же, получивший право на Гоголя вне конкурса, выставлялся и на Первопечатника. Даже проигравшие модели монументов парно-противоположны. Андреев сделал дьякона Ивана монахом в капюшоне — и это не так странно, если согласиться, что и Гоголя скульптор решил, по существу, в монашеском ключе. Волнухин же, наоборот, повел своего Гоголя навстречу миру, закинув ему ногу на ногу. Утвердительный пафос волнухинского Первопечатника сказался в этом Гоголе недаром: Иван в Литве прозывался Москвитиним, чтобы не прозываться дьяконом, и в этом умолчании усматривают нежелание печатника принять монашество по овдовении. Иван шел из церкви, Гоголь шел от мира. Не случайно стиль Волнухина есть классицизм в сермяге, андреевский модерн же прямо апеллирует к романике и готике. Первопечатник — четырехфасадный, то есть имеющий вид сзади, а значит — площадной, идущий в мир памятник триумфатора, недаром задуманный для Театральной площади (южную сторону которой украшает фе-

доровский Печатный двор); Гоголь — камерное изображение умирающего человека, полускрытого сзади, за спинкой кресла, то есть памятник трехфасадный, который предпочел бы прислониться к стене внутри локального пространства. Ирония зеркал и в том, что первый монумент был в результате прислонен к стене, в крутом проезде, вне поля видимости Печатного двора, — второй был поначалу вынесен на площадь, где терялся.

Итак, взаимность двух монументов тем содержательней, что сами герои соположны, и, как мы увидим, не в единственном аспекте.

Механику зеркальных отражений прекрасно моделирует и проясняет монумент Первопечатника. Герой глядит (чтоб не сказать «глядится») в свежий оттиск, и этот взгляд нельзя перехватить: став на оси взгляда, мы увидим, что лицо закрыто книжным листом, почти накрыто им. Не столь закрыто содержание листа: возможно обойти памятник и заглянуть ему через плечо; но все же лист развернут в искривленной плоскости, и целиком его увидеть можно, только став печатником, совпав с ним. Однако есть еще один, хитрейший, способ чтения: оставшись наблюдателем, собой, взглянуть на наборную доску, которую дьякон поднял другой рукой с предусмотрительно подставленной скульптором скамейки. Читая по доске, мы лишь должны преодолеть то затруднение, что литеры суть перевернутые буквы, так что и вся доска — именно зеркало страницы. Да и высокий градус постановки доски навстречу взгляду, чреватый рассыпанием набора, делает доску неким подобием зеркала, в котором оттиск мог бы отразиться непосредственно-оптически. Глядя на доску, зритель видит то же, что Первопечатник видит в оттиске. Зритель становится первопечатником, точнее — его зеркальным отражением, смотрящим на зеркально отраженный лист.

Когда бы только это. За минуту до печати сам типограф всматривался в доску. Всматривался тщательно, ища последние ошибки и привычный к виду зеркальных литер. И значит, наблюдатель, повторяя этот взгляд, становится печатником перед печатью, превращается в предшествование изваянной фигуре, в предыдущий миг ее существования. При этом акт печати разделяется на до и после, разделенные зеркально. Печатание длится или бесконечно повторяется: делается книга, сумма типографских отражений.

Бесконечность этого зеркального провала умножается на бесконечность, если разглядеть в конце концов все содержание доски набора. Перед нами первый разворот федоровского «Апостола», то есть «Деяний апостолов», где на контртителе дано изображение святого Луки как их предполагавшегося автора. Святой Лука изображен глядящим в рукопись и притом держащим на коленях доску для писания. Вся композиция монумента кодирована здесь: Первопечатник делается отражением контртитела. Если принять все-таки и наборную доску, и оттиск за физические зеркала, то мы встретим в них искомый дважды преломленный взгляд Первопечатника, а в этом взгляде увидим бесконечность: апостола над зеркалом письмен.

Взгляд Гоголя зритель встречает непосредственно, в монументе ничто не возбраняет этой встречи. Но прежде надо понимать, где мы встречаем самого изваянного Гоголя.

В комиссии о гоголевском памятнике, образовавшейся после провала конкурса и ставившей на одного Андреева, оппозицию последнему представлял Валентин Серов. Он был недаром начеку: Андреев водрузил было на голову героя шляпу. Серов потребовал ее снять. Плащ был оставлен, но это ничему не помешало, наоборот...

«Ночью, на вторник, — передавал Погодин о смерти Гоголя, — он долго молился в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его: тепло ли в другой половине его покоев. „Свежо“, — отвечал тот. „Дай мне плащ (курсив мой. — Р. Р.), пойдем: мне нужно там распорядиться“. И он пошел, со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришел, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и

потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: „Барин, что вы это, перестаньте!“ — „Не твое дело“, — отвечал он, молясь... Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет».

В эту минуту и застал его, не ведая, Андреев — при помощи Серова. Вернее, среди длыщегося у Андреева гоголевского кризиса Серов нашупал, тоже долгую, минуту кульминации. Благодаря Серову Гоголь сел не на бульваре, а у печки, укутавшись плащом. Перенос памятника от бульвара к дому был кодирован снятием шляпы, как если бы сам Гоголь снял ее, входя. (Памятник Пушкина тоже снял шляпу и держит ее в руке. Похоже на подсказку, вроде пушкинской подсказки «Мертвых душ». Недаром именно на пушкинском празднике 1880 года родилась идея гоголевского.)

Встретив взгляд Гоголя, зритель становится горящей рукописью. В лучшем случае — мальчиком, просящим не сжигать ее. Минуту раньше поджигатель держал листы в руках — это была еще волнухинская мизансцена, но в этой мизансцене зритель был листом бумаги, творением, а не творцом.

Первопечатник творит книгу — Гоголь уничтожает ее. В этом противоположении диалогичность монументов так обнажена, что они кажутся стоящими друг против друга. Два пути рукописи, в оттиск и в огонь, — на точке выбора стоит сам персонаж, теперь единый, но раздвоенный. То торжествующий, то потерявшийся. То работник, перехвативший волосы тесемкой, чтобы не мешали, — то завершивший все труды и прячущий лицо в упавших волосах. То занятый в обе руки — а то не знающий, куда их деть: рука, только что подносившая к глазам лист, отведена назад после того, как кинула его в огонь. Рука, державшая доску набора, быть может, только что подбросила ее дровами в печь — и спряталась под плащ, но проступает через драпировку напряженными жилами-пальцами. А вместо полистного типографирования — разгорающийся листами, длыщийся полистно огонь.

Гоголь Сидящий — гоголевская пародия на Первопечатника, ужасная гримаса, деконструкция. «Но и Фальконет измарал бы дело, — продолжим мы словами Розанова, — будь перед ним поставлена тема: „памятник Гоголю“». Памятник Гоголю — измаранный Фальконет, чье имя означает здесь монументальную традицию, в которой выполнен и Первопечатник Волнухина. Ведь «воздвигают созидателю, воздвигают строителю, воздвигают тому, кто несет в руках яблоки — мировые яблоки на мирское вкушение». Яблоки, какими полны руки Первопечатника. «Но самая суть пафоса и вдохновения у Гоголя шла по обратному, антимонументальному направлению: пустыня, ничего».

В равноапостольной по притязанию фигуре дьякона, печатающего «Апостол», воплощено все жизненное притязание Гоголя времен второго тома. Над головой волнухинского персонажа, над его станком простерлась благодать, свидетельствуемая скульптором. В безблагодатности своего труда дает себе отчет, сжигая книгу, Гоголь. Черную звезду над ним и в нем видит, по Розанову, скульптор Андреев. Но это же концы одной традиции — триумф и кризис книгопечатания, ренессансного миссионерства. Сожжена больше чем рукопись — тираж, возможность тиража, возможность умножения безблагодатной проповеди, и умножения тем горшего, что совершается безблагодатным способом. Тираж лишает рукопись санкции Духа, полагали переписчики-монахи. Те самые, которых московское предание считало гонителями Ивана Федорова, поджигателями Печатного двора.

Чем меньше шансов отыскать для версии погрома летописное подтверждение, тем настоятельнее заявляется она. Первопечатник в знаменитом Предисловии к одной из своих львовских книг не называет недругов монахами и не

упоминает о пожаре, а Флетчер — англичанин, рассказавший про пожар, — определяет виновников лишь как «невежественных людей». Но жест Гоголя, сжигающего рукопись, в которой Дух не дышит, — тот самый монашеский жест сожжения Печатного двора. Гоголь глядит в печь, словно на пожар; так же смотрел бы на пожар, на свой московский крах, и сам Первопечатник, если бы скульптор застал его в эту минуту. Гоголь Сидящий и Первопечатник воплощают как два положения одного персонажа, так и взаимоположение двух персонажей-врагов, помысленных стоящими внутри и вне Печатного двора, — печатника и переписчика.

Но это и два способа сознания: еще или уже средневековый Гоголь — и Первопечатник, уже или еще ренессансный. В самой замкнутости взгляда Первопечатника на лист есть тайная согласность со старомосковским отношением к Ивану как делателю герметического дела, Фаусту, могильщику традиции. И впрямь, уйдя в Литву, переживавшую с Европой Ренессанс, Иван ушел к себе, он идентифицировал себя как ренессансного, литовско-русского титана. Отношение Москвы к нему ничем, по-видимому, не отличалось от отношения ее к никоновским справщикам — исправителям древних книг, засевшим век спустя там же, на Печатном дворе. Трагедия Раскола наполняет смыслом этот старый страх.

Книжная справа была знаком геополитической суммы, плодом духовного приобретения Москвы Киевом, зеркального физическому приобретению Киева Москвой, — то есть мечтой Первопечатника. Он действовал в опасных обстоятельствах двоения Руси — и действовал на их преодоление; Гоголь — итог преодоления, сумма Москвы и Киева, он — возвратившийся плодами труд Первопечатника. Он потому не держит розановских яблок, что сам он — плод, принесенный в фартуке Первопечатника. Из места, где нашел себя Иван, явился Гоголь; явился обогащенный наследием барокко, чтобы романтически означать кризис Нового времени, титанизма, фаустовского человека. Границу между новым и средним временем он перешел в обратном направлении.

...Что палаты федоровского Печатного двора сохранены в позднейшем комплексе, было доказано и просто, и красиво: найдено окно, смотрящее в Китайгородскую стену. Палаты, следовательно, старше стены, старше 1530-х годов, что подтверждается и маркой кирпича. И кажется, что взгляд Первопечатника, замкнувшийся на лист, — метафора того окна, а лист — метафора стены. Взгляд Гоголя, напротив, так открыт, как окна его смертной комнаты в уровне первого, низкого этажа открыты на бульвар, где некогда стояла Белгородская стена — погибающая, подобно рукописи.

2. Живой камень

Подле старых памятников Гоголя и Достоевского возможна интуиция о том, что это не только они, но и какие-то священные изображения, которым, может быть, таинственно даны другие имена. При этом имя изваяния, подписанного Гоголю, столь глубоко сокрыто, что легче взять тезис назад, чем подтвердить его; напротив, тайное имя изваяния, подписанного Достоевскому, слышится так отчетливо, что хочется распространить тезис на все монументы модерна — например, на Пирогова с его гамлетовским размышлением над черепом.

Я сказал: «интуиция о», имея в виду жанр мысли. Интуиция как жанр вправе не ведать своих доказательств, когда формулирует тезис, обращенный ко встречной интуиции читателя (который в нашем случае должен быть также зрителем). Но когда и если две интуиции совпали, то почему не попытаться задним числом найти источники обоюдной уверенности?

Я попытаюсь обосновать интуицию о тайных именах московских изваяний времени модерна вообще обоснованием интуиции о тайном имени памятника Достоевскому в частности.

Тогда сначала новый тезис: на Божедомке, перед зданием Мариинской больницы, в котором родился Достоевский, стоит изваянное в 1913 году Сергеем Меркуровым и подписанное Достоевскому изображение апостола Петра.

Первой подсказкой служит стилизация романики, предпринятая скульптором: здесь романично все — от принужденности позы до драпировок. Модерн умеет представляться оригинальным в России, где недостаточно рассмотрены чужие нам художественные языки — романика и готика в первую очередь. Но та и другая, когда на них падает выбор художника, служат не только знаками самих себя, но знаком помещенности образа в храм, пусть и воображаемый. Слово «образ» возвращается здесь из словаря искусствоведа в словарь христианства, знача священное изображение, перед которым творят молитву. Выбирая из возможных принужденных поз позу согбенности, Достоевский, Гоголь, Пирогов призывают на себя, очерчивая в воздухе, едва ли не проектируя, параболу храмового пространства: пещуру, нишу, арку, свод. И более того, лишённые «четвертого фасада», вида сзади, эти монументы предвидят свое возвращение к стене и в стену. В стену храма, из которой выпросталась и от которой отделилась тысячу лет назад христианская скульптура. Именно в храме скульптура получила санкцию Духа — и санкцию Церкви, прежде державшей под сомнением всю эту рубрику искусства. И недаром державшей: выйдя в Новое время на площадь, скульптура вышла из-под контроля, образы превратились в кумиры, кумиры ожили. Ожили как мертвецы: зомбирование не есть пресуществление. Возвращаясь к языку средневековья, ваятели модерна, как прежде них ваятели барокко, возвращали себе умение пресуществить художественный образ в молитвенный.

Не случайно раньше или позже эти монументы, оказываясь последовательней своих создателей, покидают площади или бульвары, уходя в пространство замкнутых дворов: во двор Гоголя, во двор Достоевского. К стене, из которой вышел Достоевский; к стене, в которую Гоголь ушел. Эти дворы еще не храмы, но все же монотематические, напряженные духовно, укрытые невидимыми куполами именного посвящения городские пяди. Это ступени возвращения скульптуры в храм.

«Мой Достоевский возвращается», — сказал Меркуров в 1943 году. Возвращался Александр Вертинский, послуживший моделью. Замок рук Достоевского и оставляемое им впечатление страстного бессилия — от Вертинского в образе Пьеро. Имя Пьеро, конечно, входило в состав интуиции об имени Петра, как пантомима Пьеро подсказала Меркурову позу фигуры. Но все-таки это лишь дальний и искаженный звук. Существенна другая связь (на которую мне указала Гела Гринева): жонглеры, комедианты и шуты на старом Западе считали апостола Петра своим патроном. Все они стремились побывать в Риме, а побывавшие носили на шляпах символические «ключи Петра». До сложения этой традиции считалось, что артисты спастись не могут. Преодоление такого представления отразилось во французском фавле, по фабуле которого жонглер, приставленный в ад смотреть за котлом, проигрывает в кости апостолу Петру, и тот уводит с собой группу грешников, стоявших на кону. В итоге дьявол отказывается принимать жонглеров в ад и заявляет, что теперь ими займется Петр.

И вот — книжка «Искусство Западной Европы», памятная с детства, открылась на страницах, посвященных аббатству Святого Петра в Муассаке. Среди рельефов храма, атрибутируемых до 1115 года, есть и фигура самого Петра, стоящего при двери, то есть высеченная на уступе портала. Чтобы описать эту фигуру, нужно лишь применить к ней слова другого описания, принадлежащего Сергею Городецкому, который спустя ровно восемьсот лет, в 1915 году, посетил мастерскую Меркурова: «Все линии статуи Достоевского бегут изнутри. Впечатление искания, вечного беспокойства, мучительной тревоги дают эти линии. Нервные руки, соединенные на груди. Голова тянется куда-то в сторону, словно великий прозорливец вглядывается в последние без-

дны человеческого духа». Только если бы Городецкий сделал эту запись в аббатстве Святого Петра, он бы заметил в замке рук ключи от рая.

Ключ к нашей интуиции — в замке рук Достоевского, где нет ключей, но где они предположены забытой иконографической традицией, предполагающей, к тому же, согбенное заглядыванье персонажа в бездну: «Апокалиптическим видением» названа вся многофигурная композиция портала в Муассакке.

Действительно, что делает скульптуру Достоевским? — Подпись и портретное сходство. Что делает ее апостолом Петром? — Поза и жест. Но именно в позе и жесте сказывается канон. А внешность Достоевского — вполне апостольская внешность.

Когда попал в десятку, новые аргументы сами идут в руки. Так новой стрелой расщепляется старая, уже попавшая в мишень, и надо останавливать себя. Но все же...

Ясно, что в составе интуиции присутствовало впечатление материала, в котором выполнен Достоевский: камня, светлого серого гранита. Конечно, выбор камня против бронзы или чугуна не уникален — но значим в контексте имени и темы Петра. «Петр» значит камень, апостол Петр — камень Христовой Церкви. В Первом соборном послании он возвращает эту метафору по принадлежности — Христу, «камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному», «который отвергли строители, но который сделался главою угла» (I Петр. 2: 4, 7), и здесь же усваивает ее Собору: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы» (I Петр. 2: 5). Достоевский Меркурова — такой живой камень, строитель дома духовного из себя, олицетворение священства — святой Петр.

Вот какой камень, вот какую «монументальную пропаганду» вынул Луначарский из мастерской Меркурова для установки посреди Цветного бульвара и Гражданской войны. Впрочем, в списке оной пропаганды сам Достоевский был чужак не менее, чем мог бы быть апостол Петр, уборка памятника с глаз стала вопросом времени. Так; но куда он был отправлен восемнадцать лет спустя?

Поистине, камень отвергнутый, он сделался главою угла, ибо за колонным портиком Мариинской больницы, ось которого указала новое место монументу, скрыта (так что даже купол виден только с заднего двора) больничная церковь во имя... апостолов Петра и Павла. Церковь существовала с 1806 года, в ней был крещен Федором сын доктора Михаила Достоевского.

Конечно, и эта забытая мною подробность сакральной топографии Москвы входила подспудно в состав интуиции, где скрещивалась с подсказками иконографии и языка.

Посвящение больничной церкви апостолам Петру и Павлу заставляет видеть здесь, на Божедомке, и начало петербургской темы Достоевского. Тем более, что Мариинских больниц было две — в обеих столицах, по одному проекту петербуржца Кваренги, «привязанному» на Божедомку москвичом Жилярди-старшим. Ссылка меркуровского камня промыслительна опять: памятник оказался сразу и в Москве, и в Петербурге, где в таком же дворе к этому времени снесли старорежимный памятник попечителю больницы принцу Ольденбургскому. (Принц, кстати, носил имя Петр.) Памятник Достоевского явился теперь знаком Санкт-Петербурга, будучи образом небесного патрона этого города. Но этот город всегда готов отдать приставку святости за право почитать своим патроном царя Петра, причем приходится признать, что этой подмене попущено быть. Памятник Достоевского явился в московской мастерской Меркурова тогда, когда Санкт-Петербург назвался Петроградом, то есть городом Петра Великого. Когда ж и функция столицы возвратилась в Москву, памятник вышел в город. Но патрон Москвы и краеугольный камень ее соборной церкви — другой Петр, Петр-митрополит, московский чудотворец; и вот памятник ушел на Божедомку, эту словно бы экс-территорию Санкт-Петербурга, где обе столицы архитектурно тождественны и замилены Достоевским.

Другим — скульптурным — тождеством, тождеством образов писателя и апостола, здесь разрешилась и критичность Достоевского к Петербургу и ко всему петровскому: герой Меркурова взял сторону традиции, сторону апостола против царя в борении имен невской столицы. Механика этого предпочтения сложна, многоходова: сперва сличением образов святого и писателя словно бы подтверждается статус Достоевского как нового, кроме царя, «светского патрона» Петербурга — но это только для того, чтоб тут же возратить присвоенное апостолу Петру. Сличение образов кажется обещанием, что имя города вернется вместе с покровительством апостола. С другой стороны, само специфически петербургское сличение имен святого и царя служит оправданием сличения образов святого и писателя.

Итак, дом Достоевского в Москве — все-таки храм, дом-храм. А памятник — храмовый образ при входе. Причем, как и в аббатстве в Муассакке, стояние апостола Петра при дверях делает двери иносказанием врат рая. Как и в соборе Святого Петра в Муассакке, в преддверии больничного храма святых Петра и Павла апостол созерцает бездну. Но это и достоевское «колеблясь над бездной» — над ночной, открывшейся внезапно бездной, ибо персонаж подходит к двери в тапочках на босу ногу и в халате, запахнутом на голое тело.

Того, что видит Достоевский, мы не видим, как не видим мы горящие в камине у «старого» Гоголя тетради. Но став на линию и точку взгляда Достоевского, мы понимаем: бездна в нас. Она раскрывается в нас — и нам — в ту секунду, в какую явилась перед Достоевским. Меркуров говорил, что у этой скульптуры один центр и этот центр вне фигуры. Этот центр — в нас, если мы смотрим в глаза Достоевскому. Так говорят с вошедшим храмовые изваяния.

Это не то же самое, что в фокусе взгляда Гоголя оказаться горящими листьями. В фокусе взгляда Достоевского мы остаемся собой, как бы страшно нам с собой ни было. Но равноапостольное притязание Гоголя времен второго тома имеет своим финалом не только личный крах: сам этот крах становится залогом успеха Достоевского. Вот кто, пожалуй, написал второй том, целые тома второго тома, соединив роман и проповедь, даже ценой падения языка с гоголевской высоты — ценой, которую не мог дать сам Гоголь; пресуществив ходульные, зомбированные монументы гоголевских положительных героев в высокие образы; словом, испросив на гоголевскую конструкцию ту благодать, которую испрашивал и Гоголь и которую не получил. «Старый» Гоголь, изображенный в ту минуту, когда дает себе отчет в безблагодатности своих усилий, есть изображение мучительного рождения Достоевского. Апостольский облик «старого» Достоевского есть оправдание гоголевского проекта.

...Во встречном солнце, а также под дождем и после, камень Меркурова, светлый от природы, чернеет. Так Достоевский, только что пресуществившийся в апостола Петра, развоплощается в Вертинского, ибо Вертинский после революции и в знак ее прихода придумал маску Черного Пьеро. Имя Русского Пьеро, присвоенное артисту, приобрело тогда зловещий смысл. Сделанный с белого Пьеро из светлого камня в 1913 году, но установленный в черном 1918-м, памятник повторил и этот красочный жест своей модели. Живой камень, он разметил границу белого и черного, рубеж революции. Но это же и есть то самое стояние при двери, созерцание бездны с раем за спиной. Только ключи от рая потеряны. Потеряна невеста, Коломбина, старая Россия, уведенная коварным Арлекином. Но и ад, согласно старому фавлю, не принимает артиста, который остается на пороге. Личина Пьеро открывает лицо и скрывает лик. Лицо Достоевского — и лик апостола Петра. Да, все-таки Пьеро — маска апостола Петра. Просто для этого Пьеро должен быть русским.

Р. С. Современные монументы завидуют старым. Не понимая природы их странных поз, «новые» видят только, что в этой странности — залог успеха. В попытке понимания «новые» получают свой геморрой — и сползают со стула.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА

*

СТАРЫЙ РУССКИЙ

Поздняя проза Сергея Залыгина

В ранней прозе Сергея Залыгина всегда дышалось легко. Это были вещи «на открытом воздухе» — с естественным освещением, с незаслоненной, полной, как чаша, далью, горной и лесной; границы их были мягки, и если это был рассказ, то вокруг рассказа простирался роман. Что касается героев, то вполне можно было представить, что они, без ведома автора и за пределами повествования, как-то знакомы между собой. Например, общаются по каким-нибудь гидрологическим, метеорологическим, сельскохозяйственным и прочим насущным надобностям, или обоюдно следят за научными публикациями, или просто встречались как-то раз в речном или аэропорту, запомнили друг друга в лицо... Что касается исторических романов и повестей, то кажется, будто герои разных произведений — непременно хотя бы дальняя, но родня. Что в «Экологическом романе» обязательно найдутся внуки и правнуки героев «Соленой Пади» — что они просто живут там, независимо от того, образовалась или нет для них в сюжете какая-нибудь роль. Пространство произведений Сергея Залыгина было всегда единым, сквозным, реальность этого мира не подлежала ни авторским, ни читательским сомнениям. Пространство способно было прирастать новыми героями и новыми сюжетами. В принципе, при еще большей, какой-нибудь уже совершенно фантастической работоспособности Сергей Залыгин мог бы написать еще не один десяток сибириад, и все они — подчеркиваю: все! — имели бы абсолютно законное право на существование в русской литературе. По той простой причине, что были бы обеспечены, помимо авторского таланта, самой материей жизни, ее естественной и непрерывной событийностью.

И вот перед нами урожай текущего, 1998 года: рассказы «Предисловие» и «Клуб Вольных Долгожителей»¹. В первом рассказе три главных героя: писатели Н. Н. и М. М. (физически это одна и та же персона), а также Замысел романа «Граждане». Н. Н., бывший советский человек, и М. М., космополит, склонный более к философствованию, нежели к социальной конкретике, пытаются для начала написать предисловие к роману. Ближайшая задача: очертить характеристики тех новых российских сословий, откуда могут возникнуть искомые персонажи. Соавторство «два в одном» распадается, когда логически встает необходимость сконструировать для персонажей среду обитания: «...создать принципиальный набросок той будущей, еще небывалой России при смерти, в которой должны будут жить и действовать герои Н. Н. и М. М.». Соавторы, не найдя компромисса между полным пессимизмом (наступление

¹ Соответственно № 2 и № 4 «Нового мира» за этот год. Второй из названных рассказов не успел попасть в книгу новой залыгинской прозы «Свобода выбора» (М., «Панорама», 1998), куда вошли помимо романа, давшего название сборнику, повести и рассказы, печатавшиеся в «Новом мире» в 1990-х годах, и пространное эссе «Моя демократия».

внеисторических времен с преобладанием кочевого скотоводства) и ограниченным оптимизмом (приход светловатого, то есть серенького, коммунистического завтра), интеллигентно разошлись. А Замысел, имеющий вид фатоватого и развязного гостя, так никуда и не делся. Причина неотвязности Замысла — абсолютная его невыполнимость, не-воплощаемость в тексте. Отсюда — жутковатая самостоятельность этой псевдоперсоны, свободно гуляющего писательского Носа, который представляет несозданных Граждан на манер судебного исполнителя: автор, таким образом, не обогащен предстоящей творческой работой, а, напротив, совершенно разорен.

«Клуб Вольных Долгожителей» — рассказ о стариковском клубе самоубийц. Главный герой, отставной генерал Желнин, не желает смириться с мыслью, что его дальнейшая жизнь и смерть зависят от физиологии, то есть от деятельности каких-то «бактерий». Решив сделаться свободным, генерал собирает вокруг себя единомышленников преклонного возраста (каждый — не один десяток лет на пенсии): «Хочешь жить и дальше — живи, твое хозяйское дело, но если не хочешь, если время, в котором ты живешь, тебе до чертиков надоело, опротивело, не укладывается в твоём сознании — тогда умирай своими собственными, а не бактериальными силами и средствами...» Конечно, такой клуб выглядит фантастически, но еще более фантастичен антипод клуба — пансионат для престарелых. Обычное как будто заведение и по-обычному облезлое, но Сергей Залыгин видит в нем издевательское подобие армейской «учебки»: стариков приучают к лишениям и дисциплине, словно всерьез, как молодых, готовят для какого-то будущего. Понятно, что мнимое будущее никогда не наступит: пансионат для большинства воспитуемых — конечный пункт. Кошунство в том, что смерть — последнее важное дело, которое предстоит совершить старикам, — якобы требует от человека того же, чего может требовать администратор или санитарка богоугодного заведения. Мистический пансионат, заметим, находится «за рекой»: как бы уже на том свете, за переправой. Очень может быть, что эта деталь у Сергея Залыгина высочила машинально — с той естественной машинальностью, какая присуща мастеру, уже давно создавшему свою, индивидуальную базовую образность, способную прорасти в создаваемом произведении ветвями смыслов. Река для Сергея Залыгина — образ универсальный, об этом я еще попытаюсь сказать.

Итак, что представляют собой сегодняшние, новые рассказы классика? Они представляют собою как бы замкнутые помещения со странной, очень беспорядочной акустикой. По интонации, по композиции они неровны, сумбурны; живой авторский голос мечется, отскакивает от стен наподобие эха и порою тонет в собственном гуле — а порою, в публицистических высказываниях насчет «воровства, взяточничества, чубайства и зюгайства», звучит как сопровождение сюжета, как магнитофонная запись, воспроизведенная фрагментом и снова пущенная в перемотку: тихий скулеж и лепет пленки становится фоном основного действия. Иногда в сюжет как бы врывается звук телевизора с куском программы новостей: «экрана» мы не видим, только слышим комментарий к тому, что происходит не в рассказе, а как бы в реальной действительности.

Вряд ли, я думаю, найдется критик, который пожелает учить Сергея Залыгина законам композиции. И тот, кто усмотрит в «нескладнице» новых рассказов признаки возрастного угасания таланта, тоже будет не прав: эта проза по-прежнему исполнена натуральной, мускульной силы, которая, похоже, просто не может быть полностью истрачена. Дело, как мне представляется, в том, что принципиально изменилась ситуация творчества: она сегодня очень «не залыгинская». И прежде всего — изменилось само «сырье», из которого создается текст. Мне кажется, Сергей Залыгин — из тех художников, у которых слово материально. Повесть «На Иртыше» когда-то, еще в университетские годы, представилась мне не столько произведением о раскулачивании и колхозном строительстве в Сибири (тогда это казалось нестерпимо скучно),

сколько полем идеального, гармонического равновесия полностью нагруженных слов. Вместе с прозой Валентина Распутина и внезапно ожившими произведениями школьно-хрестоматийной классики повесть «На Иртыше» отменила мое подсознательное представление о том, что на бумаге все ненастоящее. Прежде представлялось, что бумага оттого и стоит дешево, что она — носитель описаний либо картинок, то есть не-вещей (следующим классом шли изображения в реальном материале, например скульптуры, а потом уже все то, что составляет настоящую природу либо среду). Оказалось, однако, что слова могут быть цветными и световодными, что это совершенно особая материя, к бумаге несводимая. Конечно, нельзя сказать, что в застойные годы слово русского языка существовало вполне полноценно. Одновременно с Залыгиным и Распутиным изучались, помнится, материалы съезда партии: каждый абзац представлял собою неизменяемый оттиск, подобный, например, больничному штампу на казенной простыне. Но тогда, во времена сравнительно просторные и понятные, слово официальное, то есть ненастоящее, само дистанцировалось от слова художественного, то есть в каком-то приближении истинного.

Не то сегодня. Слово, имеющее начертание и звук, совсем не обязательно имеет смысл. Запросто можно что-нибудь сказать, написать, опубликовать, но при этом даже не думать о какой-либо ответственности за текст. В результате слова, как будто те же самые, качественно изменились: они не грузятся смыслом. Более того, слова и их сочетания приобретают «по жизни» примерно ту же функцию, что и в текстах популярных шлягеров: сквозь и поверх текстового носителя внятно проступает та или иная узнаваемая музыка².

Что касается собственно литературного процесса, то здесь слова, тоже внешне как будто те же, что и были, сделались средством игры. Слова-игрушки оказались очень занятной штукой: из них, оказывается, можно смонтировать в тексте все, что угодно, вплоть до игрушечных трупов. Забавно, что играющие литературные юноши и девушки (чей физический возраст нередко близится к сорока) и в самом деле думают, что писатели старой, реалистической школы не умеют, как они, что у классиков ни в жизнь не выйдет такая прикольная игра...

А впрочем, и в самом деле не выйдет. Для подтверждения приведу цитату из «Экологического романа»: «Облик на чем-то сосредоточенного человека говорит о человеке несравненно больше, чем когда он не знает, о чем он думает. Так же и северная природа: в ней немного предметов, краски ее глубже, но их тоже меньше, здесь меньше меняется погода и циклоны и антициклоны обходятся без дурных капризов. Здесь меньше нужна теория вероятностей, а значит, присутствует наибольшая сосредоточенность. Здесь и пространство перестает быть понятием, оно предстает в своей реальности, в той абсолютности, без которой (по Ньютону) нет бытия и которая не зависит от каких-либо процессов. Время здесь менее изменчиво, свет дня и тьма ночи реже перемежаются между собой, а солнце здесь неторопливо, у него меньше восходов и закатов, больше свободного времени, у предметов же на земле — больше значения». Сосредоточенность на реальном и истинном, установление глубинной связи между человеком, его мышлением и зрением, и предстоящим ему пейзажем — вот что обеспечивает полноценность и полновесность слова в произведениях Сергея Залыгина. Вряд ли это разменивается на бисер для метания и игры. Существенно еще и то, что Сергей Залыгин — не только писатель, но и знающий, основательный ученый. Владимир Набоков в романе «Дар» восхищался одной фразой из записок Григория Грум-Гржимайло: «...запомнившаяся мне навеки, полная удивительной музыки правды, именно потому, что это

² Между прочим, выступления товарища Зюганова явно имеют три структурообразующие музыки: их, при небольшом ритмическом редактировании, можно исполнять на мелодии песен «Варшавянка» и «У самовара я и моя Маша», а также на мелодию Дунаевского из фильма «Волга-Волга» «Удивительный вопрос: почему я водовоз?». Кто не верит, может попробовать: обязательно получится.

говорит не невежда-поэт, а гениальный естествоиспытатель». Музыка правды для меня, например, ощущается в том, что от Сергея Залыгина я знаю, какого цвета вода в Ниле, в Енисее, какого — в Оби. Поэзия положительного знания истинно волнует и неизмеримо расширяет читательский опыт. Она же обязывает писательское слово быть неслучайным.

Что же происходит в новейших рассказах Сергея Залыгина? Их, между прочим, не так-то просто «раскусить»: будучи замкнутыми на себя, они обладают довольно крепкой «скорлупой». Несомненно то, что перед нами попытка сказать о времени на языке этого времени, но при этом не затеряться самому. Может быть, впервые за всю творческую жизнь Сергей Залыгин оказался в ситуации, когда реальность персонажей «пожирает» реальность творца. Когда-то, в известном эссе «Интервью у самого себя», Сергей Залыгин говорил о том, что произведение на современную тему должно содержать дополнительное «измерение», а именно — историческую перспективу. Причем перспектива эта должна быть открыта как в прошлое, так и в будущее: только так событие обретает координаты и объем. В этом же эссе утверждается, что для писателя первостепенное значение имеет конкретная личность: «...для него прежде всего возникает вопрос „кто?“, а не „что?“ и „как?“».

Так вот, к вопросу «кто?». Кого видят соавторы Н. Н. и М. М. в качестве персонажей романа «Граждане»? Они видят: интеллигента, выродившегося, как культурный овощ на заброшенной грядке; «челнока», чья единственная перспектива и мечта — собственный магазин; умельца-киллера в кругу любящей семьи; разнообразных «новых русских», ведущих на огромном стадионе «игру приоритетов и паритетов» — без правил, но с «калашниковыми». Картинки плывут, действующие лица налезают водянисто-крупно, видятся словно под лупой и, выпучиваясь, растекаются на части. Автору (авторам) не верится, что все, что происходит, — происходит здесь и сейчас. Н. Н. и М. М. не удастся установить между собою и Гражданами связь одновременности, однопространственности. Поэтому реальность вокруг писателей приобретает фантастические черты, качества сна — что и отражается честнейшим образом в форме произведения. В конце рассказа реальность явственно двоится: если Н. Н., распрощавшись с М. М., продолжает в одиночку беседовать с Замыслом, то, стало быть, и второй соавтор где-то пребывает и тоже имеет дело все с тем же настойчивым господином. Вот прием: как будто раздвоение главного героя закончилось, восстановилась норма — но эта норма иллюзорна, поскольку означает только более высокий порядок раздробления.

Все-таки Сергею Залыгину в своем «постперестроечном» творчестве удалось ухватить новый, народившийся тип человека и показать его в нормальных для себя объеме и полноте. Удалось это потому, например, что в маленькой повести «Уроки правнука Вовки»³ между «старым русским» и «новым русским» имеется прямая родственная связь. Присутствует и реальная, по-человечески понятная ситуация: родители школьника Вовки собрались в командировку за границу и подбросили сына на жительство к прадеду Юрию Юрьевичу, крепкому еще старику — и в то же время достаточно либеральному, чтобы не занудствовать и не отравлять ребенку свободное существование. Юрий Юрьевич, интеллигент хорошей русской формации, справедливо считает себя стволом семейного дерева: «Он сосчитал — шесть поколений фамилии Подлесских он поддерживал своими трудами и усердиями: свою бабушку (деда он не помнил: дед его был убит на Гражданской войне) — это раз, своих родителей — два, себя и свою жену — три, своих детей — четыре, внуков — пять, а вот теперь и правнука Вовку — шесть!» Для Юрия Юрьевича важна семейная — она же историческая — память. Он продолжал родных и теперь сам хо-

³ «Новый мир», 1997, № 7; вошла в книгу «Свобода выбора».

чет быть продолженным — хотя бы в памяти правнука, который, как верится Юрию Юрьевичу, проживет долго и пронесет его пусть и непохожий, пусть даже карикатурный образ в следующий век. И не просто от стариковского безделья решает Юрий Юрьевич помогать Вовке с уроками. Рефераты, которые готовит старик для дополнительного образования ребенка — о происхождении картофеля, о Чингисхане, о Валентине Распутине, — больше нужны ему самому. Знания уже не пригодятся старику на практике, но он бескорыстно радуется расширению мира, всякому подтверждению его реальности, его полноты.

Что касается Вовки, то он, конечно, еще не тот «новый русский», который ездит на «мерседесе» и с гордостью носит замечательный малиновый пиджак. Вовка «новый» в том смысле, что является законным порождением окружающего его дробного, частичного мира. Вовке хочется, чтобы каждый человек был отдельным от других: «Думай как хочешь обо мне, я буду как я хочу — о тебе, это и есть настоящая свобода». Этот малец склонен как можно мельче дробить в своем сознании все события реальности, так, чтобы моменты, теряя связность, превращались в хэппенинги, в отдельные номера концерта, который дает городу и миру «новая» молодежь. Пожалуй, Сергей Залыгин уловил самую первопричину девиза: «Живи красиво, умри молодым». Если на родителей производит впечатление в основном пожелание «умри», то писатель сказал кое-что и о природе вот этого «красиво». Для Вовки существует только внешнее, видимое, исполняемое напоказ. Один его знакомец заработал разом триста баксов, и Вовка в восторге от операции. «Какие-то мафиози попросили: „Постой, мальчик, вот на этом углу на стреме! Ты, кажется, хороший мальчик, постой с аппаратиком. Увидишь, что милицейская машина вот в этом направлении идет, в этот или в тот переулок, — нажми в аппаратике вот на эту кнопочку”. Всего-то и дела — нажать, а триста баксов у тебя в кармане». Для Вовки тот пацан не участвовал в преступлении, а всего лишь нажимал на кнопку — и наверняка очень себе при этом нравился. Преступление, возможно, осуществилось — но то был другой «номер», мальчик в нем ничего не делал, и, стало быть, это не его головная боль.

Для Вовки и ему подобных вообще почти не существует другого или других. Вовка не видит интереса и значения в великих людях: каждый выдающийся ум — всего лишь один человек, единица, затерянная среди миллионов других таких же единиц. Вовка не понимает самой возможности обобщения хэппенингов в события, передачи духовного и практического опыта. Его интеллект тяготеет к эмпирике, к первобытности, и ему, конечно, не нужны богатства русского языка: в принципе, весь его язык может быть сведен к выкрикам и жестам. Для Вовки все другие, в том числе и прадед, представляют собой простые непрозрачные физические объекты: если в этих телах и содержатся какие-то чувства и душевные движения, то Вовка это касается не больше, чем жизнь на Марсе. Где-то прошлявшись целую ночь, правнук приходит домой как ни в чем не бывало. То, что дед за эту ночь чуть не свихнулся от беспокойства, является, с точки зрения Вовки, личной его, прадеда, проблемой. А нравоучение, прочитанное утром, является наездом — но Вовка прощает прадеда, потому что ничего с прадедом не поделаешь, такой уж он есть, старый дурак. Перед нами не просто слабость любящего перед нелюбящим эгоистом, многократно показанная в русской литературе. Это действительно нечто новенькое: полная и сознательная Вовкина закрытость для всего, что не есть непосредственно «я». Вовка радикален в своем стремлении отличать себя от всего остального: остальное для него — однородное вещество, пластилиновый мультик, в котором Вовка может принимать участие, а может и не принимать.

В «Экологическом романе» Сергей Залыгин от имени своего героя, гидролога Голубева, так рассуждал о языке: «Лингвистика совершила ошибку, когда-то не захотев отличать предметы, созданные природой, от предметов, созданных людьми. Если бы не эта афера, наше сознание постоянно взвешивало бы, ощущало бы разницу между теми и другими предметами. Если бы не

она, ребенок знал бы, что „воздух” — это от природы, а „завод” — это от человека, что „улица” от человека, а „река” — от природы». Голубев, явное второе «я» Залыгина, все время роется в энциклопедиях и словарях, мучительно ищет связь между словом как произведением человека и миром как произведением чего-то высшего, может быть, Бога. Что же представлял бы собою Вовкин язык, если бы изначально создавался под его мышление? Он был бы ограниченным собранием неодушевленных существительных, связанных кое-как инфантильными глагольными инфинитивами: был бы речью иностранца, которому надо объясниться в гостинице, в магазине, в ресторане. Если в тексте у Залыгина Вовка говорит очень живо, а местами даже образно, то это объясняется, во-первых, собственно художественными потребностями текста, а во-вторых, мощной инерцией жизни языка, продолжающего и в расчлененном, урезанном виде вырабатывать иронические метафоры, отражать изначальные связи вещей.

Конструкция «Уроков правнука Вовки» в какой-то мере проступает и в более ранней повести Сергея Залыгина «Однофамильцы»⁴. Главный герой, пенсионер Бахметьев К. Н., прошедший партийные чистки, фашистский плен и воркутинские лагеря, так же, как и Юрий Юрьевич Подлесский, ищет на старости лет свои человеческие корни в реальном мире. Чтобы оставить свой след на земле, пенсионер задумал написать скромный рефератик на предмет своих знаменитых однофамильцев: ведь где однофамильцы, там, возможно, и родственники! Рефератик, в принципе, ни на что не претендует, кроме как украсить читательский стенд районной библиотеки. Но сам герой повести претендует на многое: ему очень хочется получить свободу от времени, в котором выпало доживать последние годы. Ведь что получилось у него в итоге? «Жизней у Бахметьева К. Н. было множество, все разные, но суммы они не составили, если же нет суммы — ради чего анализировать частности?» Старик как может борется с эпизодностью, частичностью времени — зато для его племянника Костеньки, человека изначально несерьезного, кое-как учившегося по разным институтам, допрыгавшего на воле до седых волос, вдруг настал период расцвета его калейдоскопической личности. Вот он действительно сделался «новым русским» со всей положенной атрибутикой: «...нынче он ездил в „мерседесе” с мигалкой и радиосвязью, объясняя дядюшке, что в 1993 году в России „мерседесов” было продано больше, чем во всей Западной Европе». Он как будто и неплохой человек, этот Костенька, он даже способен испытывать родственную благодарность: когда-то дядюшка спас из водоворота беременную Костенькой невестку, и теперь племянник, в честь дядюшки и названный, опекает старика, наполняет ему холодильник, не забывая и про бутылочку. Но вот дальше этой понятной родственности Костенька для Бахметьева К. Н. совершенно непонятен. Говорит, что находится под следствием, — а сопровождающий подследственного милицейский старшина выполняет его распоряжения, козыряет, будто начальству. Получается — Костенька нанял милицию поиграть в какую-то игру. Или вот квартира у Костеньки: вся отделана мрамором, а мебель точно краденная из Кремля. Разве может такое быть для человека своим? Но самое интересное — это Костенькин бизнес-проект: Центральный Институт Криминальной Информации, сокращенно ЦИКА. Банк данных о совершенных и запланированных преступлениях, по мысли Костеньки, окажется одинаково необходим и криминальным, и властным структурам. Более того: это заведение (как бы сместившее центр тяжести, вставшее на задние лапки ЦЕКА) приведет означенные структуры к плодотворному сотрудничеству. Проект для старика настолько непредставим, что его нормальный ум защищается фантастическим видением: «Цика» видится ему в образе ящерицы — «с большими ушами, серо-зеленого камуфляжа, очи черные». Что до Костеньки, то он и не пробует просчитать жутковатые по-

⁴ «Новый мир», 1995, № 6, а также в сборнике «Свобода выбора».

следствия своего проекта: для него, при любых причинах, значимы только такие следствия, которые непосредственно задевают его персону. И у Костеньки, и у Вовки на самом деле детское зрение: все далекое представляется им буквально маленьким, у них нет понятия о законах перспективы. Повесть «Однофамильцы» глубоко пропитана авторской иронией: Костенька у Залыгина получился абсурдным монстриком, пляшущим человечком, знаком непонятого для главного героя алфавита. Несмотря ни на что, Вовка человечнее: его невеликая личность все-таки окрашена надеждами Юрия Юрьевича на самостоятельную силу естественной машины времени — человеческой памяти. Юрий Юрьевич все-таки верит, что образ его, неинтересный Вовке нынешнему, никуда не денется и дойдет до Вовки будущего — хорошего взрослого мужика...

Выходит, что конфликт между «новыми русскими» и «старыми русскими» располагается у Сергея Залыгина не в экономической и не в социальной плоскости, но в плоскости бытийной. Эти два типа людей, как два типа существ, нуждаются в разной среде обитания, в разной, условно говоря, воде: одним нужна тепловатая и мутная, разогретая предкатастрофной радиацией, другим — холодная и проточная. С этой точки зрения еще виднее, почему сегодняшнее время, как уже было сказано выше, не «залыгинское». Открытый воздух произведения, открытая в обе стороны историческая перспектива прежде были средой его глубоко природного творчества. Ведь и слово Залыгина — слово природное: оно не может возникнуть ниоткуда, оно рождается как плод таинственных и длительных процессов, идущих по большей части за пределами текста. Не случайно и дерево — извечный предмет литературы, сильно утративший в ней видовые признаки, — представляется Сергею Залыгину вместе с корнями, с подземной красотой невидимых корней. Опять-таки, не будем идеализировать советское время. Перспективы искажались: сегодня всем понятно, что коммунизм был неплохо построенной декорацией, на расстоянии очень похожей на светлый город-сад. «Казалось даже, что обман крайне необходим, что без него нельзя: все дружно, с энтузиазмом, будут обманываться, и обман воплотится в жизнь, станет действительностью», — рассуждает писатель Н. Н. в рассказе «Предисловие». Иначе говоря, при иллюзорности постройки все-таки существовало расстояние, то есть будущее. Прошлое при совке было, как все уже усвоили, сильно искажено, в прошлом тоже маячили подсиненные миражи, выдаваемые за достижения советского строя. Тем не менее в исторической перспективе существовали причинно-следственные связи, в их работе участвовало время: отдельное событие было неизбежно связано со временем, как связана плывущая щепка со всею глубиной и сложностью течения реки. «Но как нет жизни только в ее современности, только сегодняшней без вчерашней, так, по-видимому, не может быть и искусства вне истории», — писал Сергей Залыгин в эссе «Интервью у самого себя». И, в общем, получалось так, что писатель, чуткий к свойствам перспективы, видел больше, чем ему казалось самому. Повесть Залыгина «На Иртыше» сегодня, при поверхностном прочтении, кажется буквально иллюстрацией к постперестроечному взгляду на колхозы. Если же повесть прочесть всерьез, становится ясно, что отображенная жизнь жива сама по себе, независимо от умственных ее толкований. «Нужно было время, чтобы оно рассудило Корякина, Митю-уполномоченного, Печуру, „Ю-риста“. Они-то не обладали еще всем тем, что мы называем и „дистанцией“, и „судом истории“, и просто „повзрослением“», — высказывался о героях повести вдумчивый автор. Он, может быть, лучше других понимал, что писателю нужно время — не только то, что потребно непосредственно для написания рассказа или романа, но прежде всего время как оптический инструмент и как естественный источник энергии в литературе. Необходима река времени.

«И реки-то я очень люблю, и люблю писать о них. Сам недавно заметил: у меня, может быть, есть всего один-два рассказа, в котором нет реки», — свидетельствовал Сергей Залыгин все в том же программном эссе. В принци-

пе, река как символ времени, символ человеческой жизни — вещь в литературе далеко не новая, а можно сказать, что и банальная. Но Сергей Залыгин имеет полное право данный факт проигнорировать. Во-первых, за ним — та самая «поэзия правды», которая дается только серьезным и непосредственным знанием предмета. Для того, чтобы придать образу реки символичность и философскую глубину, Залыгин никогда не нуждался ни в каком цитировании, ни в каких литературных и мифологических реминисценциях. Сама значительность предмета, значимость его в человеческой жизни и в жизни природы давала писателю основу для больших и внятных художественных обобщений. Во-вторых, Залыгину удалось увидеть и передать одну очень важную вещь. Река течет, меняется каждую минуту, но и существует вся одновременно, от истоков до устья, — как и человеческая жизнь, развиваясь во времени, в каждой точке существует сразу вся, с прошлым и будущим, с истоком и впадением в океан. Река, если угодно, обладает памятью, знает себя как целое, она — простое и данное человеку во всей наглядности соединение пространства и времени в единый поток. Еще река, подчиняясь естественным, буквально земным законам, удивительно гармонично согласована с местностью. Между прочим, и человеческая дорога, когда она проложена не колесами автотранспорта, а пешком либо конным — натуральным — способом, очень напоминает реку: так же гибко обтекает рельеф, выделяя важное на нем, так же имеет притоки-тропинки, имеет собственный бассейн. Если глядеть на такую дорогу сверху, с горы или с самолета, ее легко принять за речку с берегами (растения и здания по берегам всегда стоят лицом к течению и к проплывающему зрителю) и даже с островами зеленой травы. Интересно, что, как правило, рядом с неприродной дорогой — асфальтовым шоссе — вьется пешеходная тропинка: она — как поправка, прорисовка грубо проведенной линии, усиленная редактора на полях. Естественная же дорога и тем более река организуют местность, придают ей осмысленность и связность: пейзаж без живой и бьющейся жилки — все равно что голая, без линий, ладонь. Большинство произведений «классического» Залыгина организовано именно по принципу реки и ее бассейна, по принципу естественных соответствий природы и человеческого мышления.

Насколько я могу судить, «Экологический роман»⁵ для Сергея Залыгина — вещь переломная, всей своей структурой отражающая переход от живого времени к безвременью. Главный герой, Голубев Николай Петрович, по профессии, как уже было сказано, гидролог, представляет собой несколько отодвинутое для лучшего рассмотрения авторское «я». «Его биография известна автору больше и лучше, чем собственная», — сообщает Сергей Залыгин. В образе Голубева писатель пытается достичь — и достигает — хорошего рабочего взаимодействия между жизнью внешней и жизнью внутренней, между событиями биографии и поисками ответов на бытийные вопросы. Голубев — на самом деле человек-река. Начать с того, что в шестилетнем возрасте герой, поссорившись с родителями, захотел утопиться, но вид реки с моста спас ему и жизнь, и просветляющийся ум: «Он и раньше видел эту и другие реки, и раньше знал, что они текут, но тут он впервые увидел речное течение. Это была большая-большая струя, быстрая, на какую-то глубину прозрачная, а еще глубже — темная, уже ночная, без дневного света. Подтекая под мост, река пенилась вокруг его полукруглой опоры. Минуя препятствие легко, играя по пути, она журчала при этом и еще чуть меняла свой цвет, а в огромной струе возникали отдельные струи потемнее, посветлее, помедленнее, побыстрее, а в этих уже небольших струях несомненно были и другие, еще меньшие струйки, но ничто не мешало всем струям, сколько их было, быть одной рекой, быть в одном течении, в одних берегах, в одном стремлении вечно струиться откуда-то и куда-

⁵ «Новый мир», 1993, № 12.

то... Голубев не знал, откуда — куда, но понял, что об этом можно узнать... и побегал домой к маме и к папе, чтобы узнать у них — откуда? куда? почему течет река? Еще он чувствовал, что этот вопрос может помирить его и с папой и с мамой — они на вопрос ответят, а он их простит, и можно будет жить дальше». Вот это «можно узнать», обещанное рекой, таинственной и в то же время подтверждающей познаваемость мира, — самое ценное для людей склада и натуры Голубева душевное достояние. Это сокровище способно примирить человека со всеми несовершенствами жизни — пока эта жизнь хоть сколько-нибудь природна.

«Экологический роман» — произведение сложное, многоуровневое. Базовый его конфликт как раз кажется простым, во всяком случае — знакомым, многократно проговоренным и в литературе, и в прессе, и с разнообразных общественных трибун. Человек то борется с природой, будто с врагом, то смотрит на природу как на свою неотъемлемую собственность, бездумно уничтожая самую основу своего физического и духовного существования. И опаснее всего, как убеждает роман, оказывается социалистическое государство: собственник безличный, ограниченный буквально и единственно своими государственными границами, оно превращается в одну сплошную прореху на карте мира, в одно сплошное политически окрашенное пятно. Еще работая на гидрометеостанции в Салехарде, Голубев столкнулся с процессом, а впоследствии и с останками так называемой Пятьсот первой стройки. Грандиозное сталинское строительство заполярной железной дороги на случай войны с Америкой — род людоедской маниловщины — с самого начала было невозможно: тундра, нежная, как пудинг с тонкой, невозстановимой корочкой, не держала рельсов, не говоря уже о поездах. Тем не менее в Пятьсот первую было вбухано немерено денег и сил, погублено немерено людей. Прийдя на работу в «КВч» — так прозвал Голубев учреждение посильней иного министерства, монопольно проектирующее гидроэлектростанции на всех без исключения советских реках, — он убедился, что и здесь преобладает качество немеренности. Мало того, что запланированно списывается большинство проектов: при расчете стоимости электроэнергии абсолютно не учитываются природные ресурсы, хотя бы стоимость затопляемых земель. С точки зрения «КВч» получалось, что природа для человека — не дар, а просто дармовая, ничего не стоящая вещь. Вещь, годная только на изделие искусственных, рукотворных вещей, которые лучше уже потому, что стоят денег в магазине. Когда-то Александр Солженицын писал в рассказе «Утёнок»: «И в чём тут держится душа? Не весит нисколько, глазки чёрные — как бусинки, ножки — воробьиные, чуть-чуть его сжать — и нет. ...А мы — мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмёмся — за двадцать минут целый мир перепашем. Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуществом мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать — не смонтируем вот этого невесомого жаленького жёлтенького утёнка...» В «Экологическом романе» показаны ужасающие масштабы растраты «немонтируемой» природы. Что там какой-то утенок? Ради строительства Нижне-Обской ГЭС запросто можно затопить 132 тысячи квадратных километров лесной и тундровой земли, со всей растительностью и живностью. А отпадет нужда в таком источнике энергии — просто взорвать плотину, и вот она, земля, никуда не делась. Между землей живой и землей размоченной, удушенной, мертвой — разницы никакой.

Апофеозом такого покорения и использования природы, как это увиделось Голубеву, стала радиоактивная после Чернобыля река Припять. «Травы в заповедной Беловежской пушке росли в пояс, густые-густые, деревья были окутаны в листву крупную и ярко-зеленую, ягоdnики — на каждой поляне усыпано, цветы повсюду, осы и одичавшие пчелы гудели громко и уверенно: нам здесь жить, меду соберем — никогда не бывало! И птица летела нынче сюда огромными стаями — гусеобразные, хищные, куриные, журавообразные, голубеобразные, кукушкообразные, козодоеобразные, длиннокрылые, дятлообразные, воробьиные и многие другие, — летели и находили корм изобильный,

жизнь веселую и страстную. Птица размножалась здесь неумно и, отлетая на зиму на юг, запоминала маршруты, которыми сюда прилетала, от природы обостренное чувство ориентации в пространстве усиливалось у птиц еще больше: кому не захочется, побывав в раю однажды, побывать в нем снова и снова! И не привести в рай детей своих?» В результате действий человека по берегам Припяти возник радиоактивный рай — буквально тот свет, где неразумное живое стремится остаться навсегда. Из системы образов романа вытекает, что человек, поступая неприродно, превращает реку из условия и символа жизни в условие и символ смерти: каждая конкретная речка может превратиться в Стикс на земле. Возвращаясь к Пятьсот первой, отметим, что для первых на памяти Голубева представителей госавантюры — четверых основательно снаряженных и очень сильно уполномоченных мужиков — Стиксом стала ледоходная Обь. Мужики и слышать не хотели об опасностях осенней переправы: «Мы не утонем: у нас приказ заместителя командующего Сибирским военным округом!» И действительно не утонули: ледяное «сало» только поцарапало, побило старый гидрологический катер «Таран» (как приятно снова встретить этот почти одушевленный персонаж из давнего рассказа «Пик полководья»...). Но для уполномоченных мужиков на том берегу Оби жизни уже не оставалось: их погубила другая переправа — через маленькую горную речку, могло погубить и что-нибудь другое. Их скверный подвиг во имя смерти — смертью и обернулся. Видимо, мужики бессознательно стремились в ту же самую пустую местность, где позже Сергей Залыгин поместил пансионат для престарелых: интересно отметить, что военно-учебный окрас потустороннего казенного предбанника, должно быть, возник в воображении писателя закономерно, в результате долгих и трудных экологических дум.

Сложность «Экологического романа» в том, что Голубев, в реальности одерживая иногда и небольшие победы над государством (удалось «отложить» проект перекрытия Нижней Оби), никак не может упорядочить внешние факты у себя в голове. Пытаясь совместить себя, реального, и творимую вокруг фантастику, пытаюсь гармонично, по-речному, «наложить себя» на местность и страну, он то и дело, как говорится, плавает посуху, а это очень мучительный способ передвижения. Сам по себе, внутри своей жизни, Голубев естественен, как река. Это проявляется, в частности, в композиции романа: биография главного героя излагается не совсем последовательно, как бы не «по ходу» всплывают голубевские истории времен войны с Финляндией, времен Великой Отечественной. Так же «внепланово» возникает Ася, первая любовь Николая Петровича: оказывается, и она была сослана за отца-инженера на Пятьсот первую стройку, умирала в одном из барачков недалеко от Лабытнанги, и именно эти бараки Голубев видывал уже пустыми, затхлыми гробами. Дело в том, что Голубев вмещает все, что с ним когда-нибудь было, в каждый момент своей естественно текущей действительности. Ася, потерянная для Голубева, растворившаяся в пространстве изувеченной тундры (уехала к сыну-калеке, а может, просто умирать), по-прежнему с Николаем Петровичем, по-прежнему пребывает на лучшем берегу его реки, и река в верховьях и в нижнем течении все одна и та же.

Но уже ощущается Голубевым грядущая остановка, заболачивание времени. Грандиозные проекты преобразования природы рассматриваются всеми не как реальные дела, а только как «начинания»: главное — начать, что будет дальше, не очень важно. И конкретно среди людей возникают психологические типажи — заготовки для будущих «новых русских». За примером далеко ходить не надо: родной сын Голубева Алексей, по специальности физик, но не столько ученый, сколько блестящий лектор, уже представляет собой образец «частичного» человека: «Я когда-то, лет двадцать тому назад, один час шестнадцать минут думал и пришел к выводу: все плохое и все самое трудное — не мой вопрос, не моего ума дело. Вот и экология — да разве она моего ума?» Этот нарождающийся тип принципиально мыслит только в пределах собственной досягаемости и, должно быть, живет с ощущением, что мира за горизон-

том не существует. Память у Алексея поразительная по точности и цепкости, но тоже «частичная». Время для него не живой поток, оно отградуировано, оно — последовательность единиц времени, а единицы, минуты и секунды производит часовой механизм. Еще пример: жена Алексея Марлена, поехав с детьми отдыхать на Кавказ, попала в пекло войны — но, выбравшись оттуда на «беженском поезде», только и смогла прокомментировать: «Как в настоящем спектакле!» Даже экстремальные проявления реальности, чреватые опасностью и смертью, воспринимаются новыми людьми как нечто отстраненное, как хэппенинг, выступление вооруженных пляшущих человечков. И понятно, что случившееся в сознании случается затем в реальной действительности: видимый «покадрово» мир начинает жить по кускам.

Реку нельзя разделить на части, на отрезки: тогда она будет уже не река. Разделение, перекрытие рек, происходившее в «Экологическом романе», можно с точки зрения сегодняшнего дня считать метафорой новейшей российской истории: «Америка Миссисипи бережет, а мы из Волги стоячую канаву сделали!» Ни для кого не новость, что сегодня Гражданин в своем сознании утратил связанное и объяснимое прошлое. И дело не в том, что он лишился каких-то утешительных, оправдательных иллюзий. Просто нормальный, среднестатистический человек обнаружил, что его единственная прожитая жизнь, в точности как у пенсионера Бахметьева К. Н., распалась на эпизоды: «Был он пионером — одна частность, комсомольцем — другая, членом сперва ВКП(б), потом КПСС — частность третья. Воевал, был военнопленным и заключенным, женатым, вдовым и разведенным, всего не перечить — ну и что? Был-то он был, но чем-то, чем должен был стать, не стал, а что было, то прошло». Кстати, однажды Сергей Залыгин творчески уже побывал в конце XX века: его футурологические рассказы «Мой летаргированный папа и я сам» и «Анекдоты из жизни Кудашкина А. Я.» рисовали с точки зрения семидесятых годов наш нынешний день, на какой-то мы все вместе и напоролись. В своих иронических прогнозах (не знаю, обнаруживалась ли тогда в этих текстах ирония над иронией, над энтэровским газетным, полуофициозным юмором) Залыгин нарисовал технологически успешный, но крайне застандартизированный мир, где граждане не живут, а функционируют, а худшим проявлением антиобщественной свободы воли становится хамство в химчистке. С нынешней точки зрения — суший детский сад (кстати, детский сад № 555/0001 и обрисован в «Летаргированном папе...» как обучающая модель идеального общества). Короче говоря, попали мы все в конец XX века, а тут вместо внедренных в быт достижений технического прогресса — ящерица ЦИКА, мафия и ударное строительство финансовых пирамид. Получается, что классик, не ошибаясь, в общем-то, относительно сути советских семидесятых, крупно ошибся в своем предсказании на будущее, то есть на сегодня? Ну, это как сказать. Крайности сходятся: заорганизованный, правильный мир, обрисованный Залыгиным, характеризовался механически жесткими, кнопочными связями людей и вещей, а связи существенные, глубинные были этим миром утрачены. Мне представляется, что этот выдуманный мир был настолько же «частичен», как и наш реальный, когда ничто не есть причина и ничто не есть следствие, а в наличии имеются только исполняемые Гражданами номера оригинального жанра. Что, «нет жизни только в ее современности, только сегодняшней без вчерашней»? Оказывается, есть! И мы ее живем!

Распад российского прошлого неизбежно обернулся распадом будущего: видимо, время все-таки едино, прошлое и будущее — сообщающиеся сосуды, и нельзя отравить одно, не поразив другого. Двигаясь курсом доллара по отношению к рублю, сегодняшний Гражданин вряд ли может различить в своем персональном будущем что-нибудь связанное, разве что расплывчатые картинки, и не в жанре научной фантастики, а скорее в жанре фэнтези, с ЦИКой в качестве дракона и с российским Президентом в качестве Конана-варвара. А если серьезно, то у каждого человека, как мне кажется, есть подсознательное ощущение будущего — некоего объема времени, частично уже обставленного материаль-

ными предметами (зданиями, памятниками), частично уже приготовленного для жизни. Сегодня у большинства людей ощущение это — пустотно. Владимир Набоков в романе «Король, дама, валет» передал эту пустотность, приписав ее герою, который «не мог себе представить ни обеда, ни последующего дня, — как не может человек представить себе вечность». Этот персонаж, как мы знаем, готовился соучаствовать в убийстве: убийство было тем барьером, за который не могло перейти его ощущение будущего. Может быть, характер нашего барьера в чем-то подобен тому, набоковскому: как говорится, «не то он украл, не то у него украли, не то он убил, не то его убили...». Плавающее чувство преступления и вины тревожит и людей, персонально ни в чем не виноватых, просто бывших пионерами, комсомольцами, женатыми и разведенными; короче говоря, вечность для Гражданина начинается сегодня, в крайнем случае завтра. Для Сергея Залыгина, писателя принципиально пространственного, важно, по-видимому, следующее обстоятельство: «Нынче уже никому не нужны ни Колумбы, ни Магелланы, ни Дежнев с Пржевальским — Земля известна повсюду до гектара, до акра, и ничего нового открыть в географии невозможно». То есть планета представляет собой полностью обследованный и присвоенный человечеством шарик: двигаясь по ней на поезде, в самолете, пешком, Гражданин не устремляется в будущее, но остается по-прежнему на поверхности округлого и замкнутого настоящего. Пытаясь мысленно увидеть, что произойдет в достаточно близком будущем, Гражданин видит только непроницаемую стену. По моим прикидкам, эта стена располагается от нас на расстоянии трех-четырех месяцев — а финансовые кризисы вызывают удушье не только потому, что Граждане в большинстве своем теряют деньги, но и потому, что стена придвигается ближе и жизненное пространство Граждан сужается, грозя раздавить смятенные умы. Именно эту глобальную ситуацию отражают всей своей структурой новейшие рассказы Сергея Залыгина.

В «незалыгинском» замкнутом пространстве писатель лишен дистанции, необходимой для художественного осмысления событий. Писатель лишен времени как вещества, нужного ему для строительства текста. Поэтому его, обитателя новейшего Соляриса, посещают глумливые Замыслы, преследуют невоплотимые сюжеты. «Вообще-то говоря, время прихода к тебе сюжета — более чем странное время, оно что-то такое вписывает в тебя, через тебя — в современность, а само не вписывается ни во что. Нигде твоего сюжета нет, нигде и ни в чьем мире! Как же не странно, если ты вдруг начинаешь существовать в сознании, что Россия не прогнозируется не только в будущее, но и в прошлое тоже? А лично ты как же, ты кто же в этакой беспрогнозности? Без пути ни вперед, ни назад? Как же не странно, если сюжет снится тебе ясно и отчетливо, а проснулся — наяву-то его и нет, только ощущение исчезнувшей отчетливости и осталось, больше ничего». Так рассуждает писатель Нелепин, главный герой и он же «соавтор» романа Сергея Залыгина «Свобода выбора»⁶. Следуя жизненной привычке говорить о важном, о самом главном, Сергей Залыгин пытается ухватить то, что сам он назвал эпидемией власти. Эпидемия власти в российском карантине конца XX века — тот невоплотимый сюжет, которому Нелепин (возможно, представляющий собою часть, которой Голубеву не хватало до полного Залыгина) хочет придать форму собственного суда над властью. Пытаясь найти начало, какую-то отправную точку, Нелепин обращается к личности Николая II, мысленно беседует с последним российским императором, задает ему свои большие «вопросы на засыпку», но слышит, по сути, только эхо собственного голоса. Писатель обнаруживает, что власть как феномен безлична, она пропитывает и собственную его, писателя, жизнь: «В личном пользовании Нелепина остается его физиология, но ему представляется, что не вся, а только частично и только на условиях аренды самого себя». Убедившись, что его грандиозный замысел опирается на «систему незнаний»

⁶ «Новый мир», 1996, № 6.

(где она, куда исчезла, «поэзия правды?»), главный герой пасует: «Нелепин уже не раз приходил к выводу, что на его долю придутся сюжетики крохотные, самые что ни на есть житейские, самые случайные, что их-то и будет он заносить под №№ в специальную тетрадку. Конечно, в них неизбежно будут вклиниваться жалкие осколки великого сюжета — для нищего и они хороши».

Таким образом, эпизодная, мозаичная реальность приобретает в романе форму тетрадки, чернового писательского дневника. Между прочим, «сюжетики крохотные» на самом деле вовсе не малы. Так, продолжая свой экологический роман с изуродованной действительностью, Сергей Залыгин рисует перспективу распада единой цивилизации на цивилизацию оседлую — и кочевую, родоплеменную цивилизацию свалки. Оказывается, уже сегодня на свалках больших городов есть свое, живущее собирательством население, у населения есть свои законы и даже некоторая субкультура — тем более что сообщество это в значительной мере состоит из людей с образованием, из людей, бывших когда-то в хорошем и престижном общественном употреблении. И в смысле людей, и в смысле материальных предметов цивилизация свалки представляет собой продолженную жизнь цивилизации первичной, жизнь за-предельную — собственно говоря, жизнь после смерти. Тем не менее свалка, как представляется писателю, может и должна взаимодействовать с первичной реальностью: так, назрела необходимость разрабатывать и производить для туземных племен специальные орудия труда. Знаменательно, что цивилизация свалки мыслится Залыгиным не как параллельный, самостоятельный мир, но как частная форма будущего, область пребывания отходов и потерь, область пребывания утрат, куда иногда от-ходят совершенно нормальные Граждане — если не успевают вовремя умереть.

В создании образа свалки (антипода речного бассейна) автор соединяет правдоподобный вымысел (встречу на вокзале со свалочным интеллигентом, в прошлом социологом), документальность (Нелепин вклеивает в тетрадку подлинный очерк о свалке из газеты «Труд») и фантастический гротеск, естественный возникающий в воображении Нелепина при мысли о будущем. Собственно говоря, весь роман «Свобода выбора» и есть такая густая мешанина, правомерная в том смысле, что отражает тесноту и мешанину «реального» пространства. Автор волен свободно выбирать из многих по-своему значимых сюжетов, из многих виртуальностей, ни одна из которых не является базовой и основной. Поскольку возникла творческая потребность, Залыгин свободно пользуется фирменным приемом концептуалистов: «цитирует» в произведении чужую подлинную речь. Вставные газетные тексты, обрывки телепередач, разговоров в общественном транспорте — все это заносится и вклеивается в безразмерную нелепинскую тетрадку. Но в отличие от радикально настроенных литераторов, Сергей Залыгин не вырывает специально из контекста те или иные текстовые, речевые куски, а, напротив, пытается склеить из «сюжетиков крохотных» внятный контекст. В какой-то мере тут присутствует набожная надежда на природность слова: а вдруг куски реальности, сбрызнутые живой водой, все-таки срastутся и разгадка власти сама собой выплывет из романной глубины?

...Все-таки «Свобода выбора» — это роман о невозможности романа. В этом смысле он состоятелен. В этом смысле финальное поселение Николая II в студенческом общежитии Института стали и сплавов, представленное как завязка другого произведения, вполне органично. Мне представляется, что «Свобода выбора» в своем отпечатанном, типографском виде имитирует текст, поживший в читательских руках, почерканный, снабженный читательскими пометками. Ведь главный сюжет, ради которого все затевалось, остался на полях, в размышлениях Нелепина по поводу того и этого, в каких-то кратеньких его публицистических вставках: «Власть своей собственной (мрачной?) загадки не знает. Знать не хочет и чем искуснее от нее уходит, тем более умной, необходимой и незаменимой сама себя считает», «Чем больше власть вмешивается в твою жизнь, тем она для тебя недоступнее и глупее», «Все говорят, говорят,

говорят, обещают, обещают, обещают: Жириновский, Зюганов, Анпилов, Явлинский без конца рассказывают о своих замыслах. Но что же все-таки они умеют? Умеют делать? Нелепин-то знает: замысел и ложь — близнецы, которых ни в жизнь не различишь, пока они не различатся сами. Для этого нужно время — да, время. При том, что срок, в который совершится это различие, — тоже срок невероятной, глобальной лжи». Получается, что власть — как бы тоже чей-то Замысел, родственник Замыслу романа «Граждане», который «...неплохо, с энтузиазмом себя объяснял». Власть говорящая, но не имеющая лица, власть лгущая, представленная бодрыми лицедеями, активно забывающими собственное прошлое и прошлое страны, — вот что, по Залыгину, мы имеем в сегодняшнем безвременье. «Вот и казалось: нет такой темы, которая не имела бы отношения к Суду над властью! И по-другому: нет более самостоятельного сюжета, чем этот Суд!»

Потерпев плановую неудачу при попытке прямого рассмотрения загадки власти, Нелепин (а через него, естественно, автор) сделал ставку на зрение боковое, на движение по касательной. Пронумерованные сюжеты из «Свободы выбора» неоднородны: одни очень яркие, истинно «нелепые», другие порассудочней, победней. Может быть, самым лучшим из сюжетов романа мог бы стать написанный позднее рассказ «Государственная тайна»⁷. Это действительно успех бокового зрения: отвечая на свой главный исторический вопрос — «кто?», писатель создает «нелепого» героя, которому кажется, будто он-то раскусил главную тайну властей. Старик Ахламонов, он же Охламон, — типичный «чудик», из тех, кто сохраняет за собою детские прозвища до седых волос. И судьба у Охламона тоже, в общем-то, типичная. Коренной житель деревни Савельевка, смышленный, бойкий паренек, он в ранней юности случайно изувечил одноклассницу Елизавету: катал подружку на колхозном бензовозе, бензовоз занесло, неопытный шофер велел подружке прыгать — да и наехал колесом, раздавил девчонке левую ногу. То, что осталось от ноги, Елизавете отрезал хирург. После этого она угасла, жизнь превратилась в одно стародевичество, в тихое бесчувственное существование. А Охламон отсидел в колонии, потом попал в армию, служил в конвойной роте на Колыме. Но самое важное и страшное — службой Охламона было исполнение смертных приговоров, и «работа» в расстрельной команде сделала его совершенно другим человеком. Вернувшись в обезлюдившую, умирающую Савельевку, последние жители которой уже почти отвыкли говорить, Охламон оказался единственным речистым обитателем на множество квадратных километров заброшенных полей. Приспособив Елизавету на роль безотказной слушательницы, Охламон все время болтает, все время треплется около, а главную государственную тайну, постигнутую им, Охламоном, на главной государственной службе, он грозит открыт престарелой подруге уже перед самой своей смертью.

Елизавета подозревает, что никакой такой тайны фактически не существует, но в то же время чувствует: что-то есть, не может не быть. Ведь Охламон побывал Исполнителем — человеческим существом, в которое, подобно злему духу, вселялась власть. В рассказе «Государственная тайна» автор через Охламона, играющего свой спектакль перед Елизаветой и глухонемой деревенской дурочкой Ксенией, еще раз проводит мысль, что сегодня искусство власти есть искусство исполнительское. Очень многие готовы в этом искусстве поупражняться, попробовать себя. «В России так: будет указ расстрелять половину населения — другая половина не откладывая возьмется за дело». Ведь если подумать, то и сам Президент в человеческой своей ипостаси — всего лишь актер, исполняющий роль Президента. И получается, что номер задрипанного Охламона был вовсе не последним в программе пляшущих человечков, а, наоборот, очень даже значительным: именно его руками власть осуществляла свое высшее право — право на убийство. И теперь старикан, может быть, от-

⁷ «Новый мир», 1997, № 11; также — в новейшем сборнике.

того и болтается, оттого и треплется, что чувствует внутри пустоту: власть сперва подменила собою душу, парализовала волю, а потом ушла из него, оставила использованную оболочку без своего руководства. Но сказать о своей пустоте впрямую Охламон не может: косвенно, косвенно он подбирается к «тайне»: может быть, надеется, что сама близость собственной смерти поможет что-то уяснить в других, лично им осуществленных смертях.

Инстинктивно Елизавета знает, что ей от государственной тайны надо держаться подальше. Она — существо естественное, природное, изувеченное, в общем-то, меньше Охламона. Единственное, что ей надо для оправдания жизни, — увериться, что она девчонкой любила Охламона и не зря, а по любви залезла к нему в бензовоз. Когда наконец наступает для бедного старика его последний час, Елизавета не идет прощаться и слушать. От государственной тайны она спасается в чистое поле: «Поле было ровное, нигде ни копейки, вот уже несколько лет, как никто его не пахал, никто на нем не сеял, даже бурьяна на нем не было, бурьян вытоптали савельевские овцы и козы, и теперь это поле как стол ровное, гладкое, белое, будто бы ждало к себе кого-то еще живого. Белее этого поля на земле ничего не было. А в небе было — были облака». Такая концовка рассказа может показаться чересчур «театрализованной». Но, с другой стороны, куда еще можно было пойти Елизавете, чтобы почувствовать себя — живой? В какой-то мере белое непаханое поле напоминает тундру «классического» Залыгина: человек, оказавшись на этом «столе», повышается в значении, буквально ногами по земле уходит от власти. Свободным пространством отчасти заменяется время, которого нет. В чистом поле Елизавете верится, что она любила Охламона, что и в ее жизни было что-то настоящее: «С такой догадкой ей легче было и век доживать».

Ничего нет удивительного в том, что героями позднего Залыгина становятся люди преклонного возраста: для писателя в любое время жизни естественно интересоваться своими ровесниками, о которых он, писатель, по-любому знает больше, чем человек помоложе или постарше. Но в замкнутом пространстве настоящего старики, как это ни цинично звучит, приобретают особый познавательный, даже экспериментальный интерес. Парадоксально, но «старые русские» оказываются у Залыгина старше, но как бы и младше «новых русских». Правнук Вовка покровительственно называет Юрия Юрьевича не «дедкой» даже, а «деткой». В романе «Свобода выбора» император Николай II «при всем своем знании иностранных языков выглядел перед Сталиным если уж не ребенком, так очень скромным юношей». Получается, что каждое последующее российское поколение словно бы накапливает в своем психологическом костяке радиацию старости. Это действительно так, утверждает Сергей Залыгин. «Дело в том... что человечество не очень-то понимает, что стареет оно в двух направлениях — сегодняшнем и историческом. Оперативная старость — это как раз то, что происходит нынче в России: нигде никогда еще не было такой мешанины из диктатуры и демократии, из власти и мафиозности, из обещаний и неисполнения этих обещаний, из перспектив и полного их отсутствия, из идей и безыдейности. Одним словом, изо всего того, через что так или иначе уже успело пройти человечество, сварганив свой фирменный винегрет — текущую политику, а главное, текущую жизнь. Старение историческое: люди уходили из мира для них реального и для них же созданного — видимого, слышимого, осязаемого и обоняемого — и погружались в мир искусственный — электрический, лазерный, компьютерный и кондиционерный. На земле они истоптали каждый крохотный ее кусочек и теперь с восторгом бросились в космос, в пустоту: дескать, в пустоте они восполнят все свои земные потери».

В стареющем, истоптанном мире «старый русский», все еще живой, — фигура трагическая. Прошлое его распалось на частности, поэтому остаток жизни, который надо как-то дотянуть, не к чему присоединить. Впереди образовался совершенно ненужный, никчемный кусок — не жизнь, а отсрочка смерти, нудное ожидание очереди в ее медицинский кабинет. Казалось бы: ничего

тебе уже не надо, так делай что хочешь, дыши, чувствуй себя свободным! Но вот такая, однако же, проблема: нет свободы на тесном пяточке. Теснота и малость оставшегося времени не дают человеку быть по-прежнему собой — это даже хуже, чем страх предстоящих смертельных процедур. Гидролог Голубев, умирая от спазма сосудов в двухместной палате Боткинской больницы, мог еще почувствовать себя в мире «чистой науки». «Очень мало кому из ученых — разве только Вернадскому? — удавалось думать на итог и на конечный результат, так, как будто думаешь в последний раз», — подытоживал герой свою последнюю, как ему тогда казалось, удачу. А вот пенсионер Бахметьев К. Н. так уже не умел: старался чем-нибудь занять себя — то читал запоем, то неотрывно играл в домино. Голубев, человек-река, сохранял перед смертью свою естественную цельность, и в целом, в сумме, жизнь его получалась не такая уж и маленькая. У старика Бахметьева уже ничего не было, никакой суммы, только настоящий день и какое-то количество таких же дней в запасе. Не удивительно, что в своем остатке жизни этот «старый русский» чувствовал себя словно взаперти.

В связи с преклонным возрастом основных героев — но не только в этой связи — тема смерти в новейших произведениях Сергея Залыгина звучит особенно пронзительно. Вот она, близко, уже почти реальнее всякой реальности, — а какая она будет, до сих пор неизвестно. Всегда у людей считалось хорошим и правильным, даже скорее праведным, мудрым — «умереть своею смертью». Но что такое «своя смерть» в реальности без прошлого и без будущего? Если человеческую жизнь сравнивать с рекой, то естественная смерть — это впадение в океан, растворение, свобода воды. Гидролог Голубев, прожив еще тридцать лет после «чистой науки» в Боткинской, попытался повторить опыт последней свободы: умереть по собственному желанию. Просто лечь и закончиться, просто не вставать, и все. «А зачем Голубеву был и еще какой-то плюс к тридцати, если само-то экологическое движение в России быстро-быстро шло на убыль, если его прибрали к рукам дельцы и спекулянты?» Неприятие как окружающей действительности в целом, так и неизвестно зачем нарастающего остатка уже совершенно истраченной жизни уложило Николая Петровича в смертную постель. Может быть, в «Экологическом романе» сильнее, чем в последующих произведениях Сергея Залыгина, передано одно из драматичнейших переживаний старости: движение во времени задом наперед, лицом к прошлому, спиной к будущему, то есть к концу, — тогда как молодость и даже зрелость имеют привилегию расшибаться о смерть неожиданно, еще продолжая видеть что-то впереди, по ходу прерванного движения. У Голубева, впрочем, смерть не получилась: сын Алеша осуществил привилегию — разбился на автомобиле где-то под Лионом. Голубеву пришлось вставать, выхаживать жену, заботиться о внуках — в общем, вместо естественной смерти выпала насильственная жизнь, выработка энергии для пользы семьи.

Генералу Желнину из «Клуба Вольных Долгожителей» тоже не удалось самоубийство, и по причине, по сравнению с голубевской, совершенно пустячной: дочери не поделили дом, потребовалось присутствие генерала во всяческих судах. Но если подумать, сколь нестерпима стала для стариков предсмертная жизненная пауза, если под «своею смертью» они стали понимать не что-то природное, но смерть собственноручную и греховную? Что может быть нелепей и таутологичней самоубийства глубокого старика, которому вроде уже и трудиться незачем — оно само придет и возьмет? Тем не менее в искусственном мире всеобщего исторического старения и всеобщей частичности «старые русские» чувствуют жизнь как пожизненное заключение в замкнутом настоящем. Сама искусственность глухого пространства, именуемого «сегодняшний день», заставляет человека воспринимать естественную смерть как постороннее насилие, как если бы им готовил расстрел какой-то безжалостный Исполнитель, уполномоченный на то небесной или адской Властью. Самоубийство перед расстрелом — вот ассоциация, которую вызывает у меня рассказ с горько-ироническим названием «Клуб Вольных Долгожителей»:

кажется, такого еще не было в литературе. Это, пожалуй, самое фантастическое произведение во всем творчестве Сергея Залыгина последних лет. Залыгин вообще стал заметно склоняться к фантастике: все большую роль у него играют сны персонажей, все причудливей становятся картинки, представляющие в текстах непредставимые реалии сегодняшнего дня. Как будто в «Клубе...» ничего такого нет: линия сюжета чиста, классична, авторское воображение сдержано суровой природой главного героя. Тем не менее — фантастика. Ощущения дwoятся: а вдруг и нет в природе никакого небесного Исполнителя и все показанные Залыгиным старики просто не смогут умереть, если сами о себе не позаботятся, не сделают смерть вручную? Или, может быть, все они уже умерли — и то, что происходит с Гражданами сегодня и сейчас, есть только посмертие перед кем-то виноватых стариков?

«Но кто же Нелепина заставляет жить? Не нравится — не живи».

При отсутствии свободы творчества во времени и в исторических перспективах, при девальвации русского слова, гораздо более обвальной, чем девальвация российского рубля, всякий честный, утвердившийся в своей честности художник имеет дело с эпизодами, от которых не может отвернуться. Это ближний, рукопашный бой с реальностью, с ее наплывающими безобразными частями, от которых буквально некуда деться на душном пяточке без прошлого и будущего. Вместо реки с притоками, вместо пешеходной дороги с тропинками, вместо дерева с корнями мы имеем их аналог — трещину, которая тоже растет и ветвится (никогда не встретятся писатели Н. Н. и М. М.!), и из реальности вываливаются пересохшие куски. Вообще говоря, положение с писательством сегодня настолько сложное, что даже как-то совестно ожидать от молодых ребят полной творческой отдачи: в конце концов, молодость на то и дана человеку, чтобы порадоваться и во что-нибудь поиграть. Литератор с развитым инстинктом самосохранения имеет возможность что-нибудь цитировать или, скажем, имитировать перспективу, глядя на вещи в перевернутый бинокль. На этом фоне и в этих условиях нам следует оценить мужество «старого русского», по-прежнему пишущего жизнь в реальном ее, почти непосильном масштабе. Качество и себестоимость попыток Сергея Залыгина сохранить природу и природность своей литературы вызывает у меня большое уважение, совершенно исключая мелочный анализ «недостатков» и «неудач».

Классик, когда-то написавший несколько почти безупречных вещей, сегодня имеет смелость быть несовершенным. Наверное, писать по-другому в конце русского XX века попросту нельзя. Сейчас настало время несовершенной, угловатой, рваной, дисгармоничной литературы. Мне представляется, что именно несовершенная проза (пока не знаю чья) довольно скоро совершит в литературе качественный прорыв, от которого можно будет двигаться к какой-то новой классике. И эта новая классика будет многим обязана таким писателям, как Сергей Залыгин.

Екатеринбург.

Отдел критики «Нового мира», откровенно равнодушный к новейшей прозе Сергея Залыгина (и неизбежно субъективный в своем пристрастии), берет на себя смелость добавить несколько слов к серьезной и вдумчивой статье Ольги Славниковой. Статье, представляющей, на наш взгляд, исторически заслуженный образец «реальной критики» — то есть такой, которая рассматривает художественный текст главным образом как материю для постижения текущей действительности, а саму его форму — как отражение форм обтекающей нас жизни.

«...хоть что-нибудь наконец построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которых вот уже двести лет все ничего не выходит», — вот досадливый возглас, который мог бы подхватить автор статьи

о «старом русском» вслед за Николаем Семеновичем, воспитателем Подростка из эпилога одноименного романа Достоевского. И снова оттуда: «...в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей! ...Это была бы картина, художественно законченная, русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это — мираж. Внук тех героев <...> этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, как в несколько мизантропическом <...> виде. ...Еще далее — и исчезнет даже и этот внук-мизантроп; явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж; но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен дальнейший русский роман. Но увы! роман ли только окажется невозможным? ...Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и... ошибаться. ...Вот тогда-то и понадобятся подобные „Записки“, как ваши, и дадут материал...»

Так судит классикололюбивый наставник Аркадия Долгорукого о литературе «смутного времени», о его (и ее) «хаотичности и случайности» (или, по Ольге Славниковой, — о прозе «несовершенной, угловатой, рваной, дисгармоничной»). Но не совсем таковы были суждения и интенции самого Достоевского, извлекавшего именно из этого хаоса острейший творческий импульс для обновления русской прозы. Не совсем таковы, воспользуемся пусть и ограниченной аналогией, намерения и результаты «позднего» Сергея Залыгина. Здесь наряду с пожизненной присягой «природе» (о природной основе его мира у Славниковой сказано в полную силу) — непредвиденное, сквозь все тесноты и перемычки калейдоскопического бытия, приращение свободы, и новое изящество интонации, позволившей себе свернуть с эпического тракта на вольные тропки сократовского собеседничества, и невозмутимый стоический юмор перед лицом личного ли, всероссийского или всепланетного апокалипсиса, — юмор, который является не чем иным, как «надеждой сверх надежды», и который даже пресловутых «новых русских» освещает светом иронической благожелательности, делая их вовсе не такими устрашающими, какими представляются они за вычетом этой мудрой подсветки. Это проза не только «отражения», но и «одоления». Девиз ее — свежая не з а в и с и м о с т ь, до конца отвоеванная на закате дней, но открывающая даль для тех, кому еще предстоит жить и писать.

Другими словами, именно в позднем творчестве Залыгин полней всего сформулировал свое кредо художника. И, возможно, не менее плодотворным было бы рассмотрение его последних произведений в контексте современной экзистенциальной прозы или в сопоставлении с такими писателями, как Андрей Платонов. Поздняя проза Залыгина помогает осознать художественную новизну и значимость его вещей предшествующего периода, в свое время воспринятых многими как явление скорее общественной жизни, нежели искусства.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

НЕИЗВЕСТНАЯ ЗАРЯ

Марина Палей. Месторождение ветра. Повести и рассказы. СПб., «ЛИМБУС-ПРЕСС», 1998, 288 стр.

И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.

Владислав Ходасевич.

Читать ее повести и рассказы приходится без той легкости, когда читателя вводят в правила игры и уж не отпускают, и он, читатель, все тверже ступает по предложенной дороге, не опасаясь неожиданного поворота или обрыва. С Мариной Палей никогда нельзя быть уверенным в том, что последует дальше: проводник она бесстрашный, но не заботливый, в няньки не нанимается.

После «Кабирии с Обводного канала» как естественно было бы выбрать еще один столь же благодарный и благодатный для живописания объект и в том же ключе отформовать, скажем, «Охтинского Ромео»...

Помню собственное раздражение при взгляде на страницу «Нового мира» с заголовком «Кабирия с Обводного канала»; кажется, сперва и читать раздумал; да и сейчас ход мне кажется не лучшим, пусть были «Степной король Лир» и «Леди Макбет Мценского уезда» и что-то еще, все же указание на классический первоисточник одновременно претенциозно и защитительно, а у Палей еще и неточно: искрометная жрица фаллоса Монька отнюдь не близкая родня доброй и тихой итальянской проститутке.

Итак, она могла бы эксплуатировать свою Кабирию, то есть удачно найденный угол зрения, среду, интонацию и проч., но не стала. Я даже допускаю, что Марина Палей может и досадовать на успех «Кабирии», на прикрепленность своего имени к этой вещи. И хотя в общем-то бесспорно, что пока высоты повестей в последующих рассказах она не достигала, тем более вызывает почтение решительность писательницы в поисках новых месторождений и их разработке.

Андрей Немзер полагает, что «рассказы из синтетико-фантастической жизни» явились на свет вследствие пребывания Марины Палей в Литинституте — месте, как известно, зловредном и заразном. («Вот что я тебе скажу: ты учнейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!» — Чехов, «Дуэль».)

Однако рассказы «Вираз», «Рейс», «Приворотное зелье», «Из жизни автоответчиков», написанные после повестей, объединены автором в единый цикл «Лента Мёбиуса» с написанными до «трилогии» рассказами «Свидание», «Абрагам», «Магистральный блюз».

И мне, как и Немзеру, роднее, а главное, необходимее повести и цикл рассказов «Отделение пропащих», напечатанный в «Волге» в 1991 году и давший название первой книге писательницы. Тот «старомодный» пронзительный больничный цикл я вспомнил, читая «Приворотное зелье» — эссе, написанное на тему «Еда. Секс. Прочие плотские удовольствия». В рассказе есть неожиданное, хотя как бы и очевидное наблюдение: «Забава первобытного гурмана: перемешать в едином крошewe взрослую особь с ее же зародышем» (о салате с курицей и яйцами). Эта фраза — эмбрион будущего эссе, способного отбить аппетит у впечатлительного читателя. Не зря воображается автору академик И. П. Павлов, грозящий ей с неба кулаком. Еще раньше, в «Евгеше и Аннушке», представлена «схема условий, в которые мы все поставлены»: торопливо-жадная очередь в буфет, затем аналогичная — в сортир...

В том, что Палей не желает быть предсказуемой, залог ее силы. Каких только авансов не раздала критика, когда враз возникло немало новых имен. Палей в

этом смысле повезло: она стала печататься и составила себе имя позже других всем известных писателей перестройки, не попала в их обойму, для многих ставшую братской могилой.

От прозы Марины Палей исходит обаяние силы. Не женской, терпеливицкой, кроткой. И не мужской силы подавления и преобладания. Силы экзистенциального сознания. По-моему, Палей экзистенциальна, как никто в современной русской прозе, экзистенциальна в квадрате. Все остальное — и холодная наблюдательность, и неумная живописность (а у нее рядом с верно подмеченной Немзером акварелью возникает, где требуется, и матерая грубая живопись) — все фон, все детали, все для главного.

Она никогда не воскликнет: «Мой милый, что тебе я сделала», — жалоба будет адресована не мужчине, а небу. Даже в любовном монологе «Рейс», тексте истерическом, с неожиданными для Палей срывами вкуса («волосы цвета русских степных ковылей», «джерпер цвета речного песка» и «сердце гибнет», словно бы из бессмертного киношлягера), — даже и здесь не случайно встреча героев происходит в самолете, и рассказчица, после вполне бабьих признаний, заканчивает тем, что, «когда ты оставишь оболочку человека, мне только легче будет узнать тебя... я угадаю тебя и на небе, — и там, несомненно, острой».

Похождения неумной блудницы Моньки-«Кабирии» перебиваются страстными мольбами-молитвами-вопросами-недоумениями рассказчицы. Ей уже при первом явлении бегущей по берегу Обводного жизнерадостной Раймонды видится на водах ладья Харона. И не знаю, в чем более сказывается главное в даровании Марины Палей — в том, что Монька и безрадостного старика способна развеселить, или в самом его явлении рядом с молодой разгульной бабенкой.

Натуралистическое описание отвратительной процедуры, начатое пером медика, перерастает в один из монологов о жизни и смерти, с обычной для писательницы беспощадностью: вода, выкачиваемая из умирающей женщины, — всего лишь часть «состава частей земли». И по ходу постоянных, пока еще мнимых смертей Моньки повествователь не устает задавать порой почти беззащитно-детские вопросы. И вот уже по действительной кончине своей героини, после вполне благостощерного упования на царствие небесное, она не может остановиться, успокоиться, вдруг заново начиная вопрошать: «Но кто ты — без тела?! На что тебе это вечное блаженство?» Ей слышится писк души: «Оденьте, оденьте меня кожей, дайте мне ручки-ножки, я на земле плясать хочу...» И снова по замкнутому кругу.

Писательница Палей, ведь вы могли бы прополоть эти назойливые недоумения, отягощающие повествование, к тому же так очевидна нерешаемость, безответность таких вопросов, если только вы не желаете примкнуть куда-то к Истине ли, к Церкви, к Идеалу... Но нет покоя повествователю, и уже, конечно, не до чувства меры как категории эстетической.

Другая мера ее занимает рядом с вечным вопросом о конечности жизни. Где мера, пропорция, норма сопротивления жизни и подчинения ей, отрицания и созидания, протеста и примирения?

«Поминование» — это повесть протеста не менее, чем повесть воспитания. И автор подтверждает: да, лирическое воспоминание, с грустинкою и меланхолией воспроизводя приметы ушедшего времени в виде телевизора КВН с линзой и мороженщицы с металлическими ящиками и даже называя учителей-предшественников: «Всей душой люблю „Жизнь Арсеньева“, „Детские годы Багрова-внука“, „Детство“ обоих Толстых и Гарина-Михайловского и еще множество прочих детств, отрочеств и юностей». Однако ж длинный абзац, начало которого процитировано, заканчивается признанием в том, что вся жизнь, включая и надежду, «что я спасусь еще на этом свете», — «это все осуществилось оттого, что в том дошкольном, вольном, безъясельном детстве я могла сколько угодно глядеть на птичку в потолок моей детской».

Глядеть — и только. Сколько бы героиня «Рейса» ни распиналась о своей любви, она, по существу, способна лишь созерцать любимого, не беря и не давая ему ничего. Как бы долго и тесно ни жила повествовательница Ирина с Евгешей и Аннушкой, она все-таки будет глядеть и слушать, словно бы за стеклом от них. Как бы

ни восхищалась натурой Моньки-Раймонды та же (или другая? нет, та же) рассказчица, она остается в роли хроникера в «Бесах», который есть и которого нет.

Степень неучастия в жизни может разниться от полной отрешенности рассказчицы «Кабирии» до того, как в «Поминовении» и особенно в «Евгеше и Аннушке» она прорывается в действительность по двум как бы равно дорогим, но мешающим друг другу смыслам существования: материнству и творчеству. Но есть нечто выше и того, и другого. Обычные материнские чувства, которыми делится с читателем рассказчица: жалость, страх, надежда, — словно бы отметина на чем-то куда более важном. И это важное — не способность к сочинительству, хоть и сказано тут: «заниматься работой, которая меня держит в жизни».

Протест «Поминовения», да и других вещей, даже и там, где история или люди грубо вмешиваются в жизнь героев, не носит социального смысла. Нельзя слишком расширять и тот специфический протест, какой может представиться при описании жутковатых выходов деда, когда автор с присущим ей отсутствием лукавства сообщает: «Ваши представления о такого рода жизни, почерпнутые из относительно доступных литературных источников, допустим из бабелевского рассказа „В подвале“... будут в какой-то мере расширены и приближены к истинной картине нашей жизни». «Что я при этом испытывала? Боль, страдание? Конечно, стоит ли об этом говорить. Но на втором месте стойко оставалась точившая меня червем, душившая петлей, не дающая дышать уязвленная гордость». Путь от сопротивления к смирению — так, пожалуй, можно обозначить духовное наполнение повестей и рассказов Марины Палей. Разрыв между реальностью и тем, что можно любить, мучителен и вызывает протест. Протест почти никогда (разве что в «Рейсе») не приводит к поступку. Зато рефлексия им порожденная в конце концов обретает смысл все-таки, наверное, не в смирении — это слово уж слишком окрашено, — а в примирении. Здесь суть беспримесной экзистенциальности текстов писательницы, о чем уже говорилось выше.

Рассказ «Месторождение ветра» (1994), завершающий сборник, продолжает ранее «Поминовение» (1987).

Начало рассказа — мотив отъезжающей назад, словно перрон, жизни — заставляет вспомнить повести Юрия Трифонова и вдруг предположить, что спустя годы у Трифонова появился наследник.

«Я не могла этого принять», — говорит героиня «Поминовения» о женском надрыте матери, о безобразии быта, о приниженности деда: «Я не могла этого принять».

«Мешок к дерьмом. Вонючка. Урод». Это герой «Месторождения ветра» адресует себе за невозможность научиться ездить на велосипеде. «Память о физической боли всегда как-то прохладней, чем память об унижении... Память о стыде, скорее всего, отлетает вместе с душой». Герой рассказа живет для преодоления — затем, чтобы обрести собственный ветер. Образ мог бы показаться и вычурным, но в тексте много ветров: и прохладный бриз, и душный фен, и попутный ветерок из вагонного окна, «как бы входящий в единый комплект железнодорожных услуг — вместе с ложечкой, дребезжащей в стакане, грязноватым матрасом, стопкой белья. Любой дурак купит себе билет — и ему гарантирован, в соответствии с прейскурантом, именно такой ветер... Потянутся за окном осенние перелески, насыпи, рощи... „Не опаздываем? Не выходим из графика?“ — вскудачут возле самого города сплоченные праздностью пассажиры, — и, как бы ни плелся поезд — или как бы он ни спешил, — все вернутся в исходные точки свои, как если б и вовсе не уезжали. Но собственный ветер! Дикорастущий сквозняк!»

Баскетбол, и борьба, и велосипед — все, чтобы отбросить проклятое «не везет» и «не могу». Но не затем отбросить, чтобы как все, а только как я. Жизнь ушла на попытку. Скорость жизни оказалась ужасающей, от детства до черного костюма — руки по швам пролетели мгновенья. Палей еще раз показала мастерство. А к нему в придачу и милосердие: труп в черном костюме оказался чужим. Не я, не я! Но радость, вдруг возникающая радость свершенного-таки наконец движения, ветра, свободы слишком легка, чтобы поверить, что труп чужой. Неужели в жизни так бывает? Герой превращается в ветер. Кому и почему вдруг сделалось легко?

Рассказ «Месторождение ветра» привлек внимание Татьяны Морозовой («Дружба народов», 1998, № 8). Но глумиться тоже нужно уметь, и когда в первом же абзаце критик именуется Марину Палей «питерской прозаикой, так даже нежнее», тотчас высказывают ушки, предвзятость не маскируется: «...автор научился писать, да так складно, что сам диву дается, радуется, а вот про что писать... Да, похоже, дело-то именно в том, что сказать-то и нечего. Накопилось что-то там за несколько лет: шлеп! — дается общее название цикла, этакая лакировка (?), и — дело сделано. Может быть, сама идея „цикла“ родилась оттого, что книгу надо было издать в твердом переплете? Плохо быть искушенным читателем...» Но при чем здесь читатели и чтение... здесь что-то около книгоиздания и не в самом почтенном месте... А искушенный читатель не будет «обескуражен тем... о чем пишет Марина Палей. Почему вдруг молодому прозаику, к тому же женщине, пришло в голову написать рассказ о мужчине, который не умеет кататься на велосипеде...» Как тут помочь Морозовой вспомнить, что бородастые мужчины писали почему-то о психологии баб, дам и даже невест. А завершительное пожелание автору «отыскать верное направление полета» живо напоминает о товарищеской критике не столь давних времен.

При всей насыщенности текста бытом персонажи Палей существуют почти в асоциальном пространстве. В тех категориях, в каких она воспринимает устройство жизни, нет места государству и его институтам, политическому режиму и т. п.

Кто виноват в том, что лучшим местом на земле для Аннушки окажется могила? Государство, строй, злые люди?

«Издали могила была похожа на маленький дворец из сказки Джанни Родари. Нет, проникла, проникла все-таки сюда земная лучезарная Италия. Нету у нас под белесыми небесами в достаточном количестве таких красок, чтобы хватило всем при жизни.

Вино выпихивало меня в открытый космос. Оттуда, из голых просторов, я видела чуть сплюснутую с полюсов голубую телевизионную землю, где на северо-западном краю белела-розовела нарядная могила Аннушки.

Никогда, никогда — никогда при жизни, понимаете вы?! — ей не довелось обладать такой красотой».

Это нескрываемо достоевское понимаете вы?! — дороже всего остального у Палей. Слишком редко или почти никогда в наше время, тем более у писателей ее поколения, может вырваться подобное: ведь все и всё давно поняли.

Но чего остального?

Критика не видит сюжета (Немзер поправляется: интриги) в прозе Палей. А сюжет с комнатой Аннушки и возможностью занять ее для собственного выживания? А мужа Моську? А жутковатый повтор лежания матери рассказчицы лицом в стену, тля «пластом прошлогодних листьев» («Поминование»), и ее самой («Евгеша и Аннушка»)? Какого же вам еще сюжета? По Л. И. Тимофееву или Г. Л. Абрамовичу?

Наблюдая за языком Марины Палей, можно и повыковыривать «изюм из сайки», всякие штучные фразы вроде «запах удара в носу», но это будет не в духе автора, который, конечно, зная цену найденному, кажется, не слишком им дорожит. Ее стиль не шепетилен, она без особых как будто терзаний может быть эклектичной. Может и чуть попользоваться чужой интонацией — так, «Рейс» и «Месторождение ветра» местами отдают Набоковым: «велосипедист — Боже мой! — так спешно провозил твой брови...», «служащий, привычный убивать время кроссвордом, конечно, с ходу сообразит, что „трехколесная или двухколесная машина с седлом“ — это велосипед. Коллеги скорее всего не заметят, как он сразу же скиснет, как старательно засмеется, слушая анекдот... Под шумок он вышмыгнет покурить — и там (подоконник, банка с окурками) наконец-то отпустит подтяжки, обянет, остарится...»

Замечательно, что более Набокова не будет, как и восклицание по Достоевскому — одно; как сонная чеховская интонация, возникнув, долго не сохранится...

Мастерски-комичное и не очень оригинальное использование нашего слова тоже имеет место: «Степан Щипачев высоко проносит свой лозунг: ЛЮБОВЬЮ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ!!! ЛЮБОВЬ — НЕ ВЗДОХИ НА СКАМЕЙКЕ!!! Моська была в восторге от этого изречения, которое она притащила из женской консультации в летние каникулы после седьмого класса. Изречение было красиво написа-

но на санпросветплакате, где на манер шарады соотнеслись: бутыль сорокаградусной, криминогенная садовая скамья и зеленоватая парочка, а также луна и сомнительного вида младенец». Кто автор? Е. Попов? В. Пьецух? Л. Петрушевская? Автор М. Палей, потому что ее Раймонда выбивается из контекста, делаясь фигурой и не стиливой, и не жизненной, а едва ли не идеальной. При всей видимой безнравственности житейского облика.

Не могу согласиться с Андреем Немзером: «Нет характеров. При всей виртуозности психологической детализировки люди Марины Палей — тени, светлые или дымчатые, но всё тени, всё души». Это он в обоснование своего утверждения: «Проза не просто исповедальна... вы читаете лирику». Это Монька-Раймонда не характер? Она больше чем характер: она — т и п.

Немзер точно заметил, что проза Палей «квазимемуарна». И тут же назвал ее лирикой.

Менее всего эта лирика рассказывает о рассказчике. Даже в «Поминовании», этом, все же думаю, не квази-, а в самом деле воспоминании, присутствует, простирается независимый от оценок и пристрастий повествователя внешний э п и ч е с к и й мир. В этом, как и в отсутствии любой вариантности и игры, бесконечная удаленность Марины Палей от постмодернистов.

Уточнять степень близости или даже тождества (по Немзеру) автора и рассказчицы не берусь. Очень уж тонка материя, не порвать бы. Пусть остается как есть — не тождество, не раздельность, а неясность. По-моему, Марина Палей того и добивалась. Она — мастер.

«Поминование» начинается сном о дороге, которая «лишена земных вех и примет. Это просто лента из ниоткуда в никуда». Дорога привела к Дому. А Дом — это детство, это жизнь. Детство перебирается не как «остывшая зола», но как самая важная часть земного пути, пристрастно и живо. Правда, сказано в этой же книге: «Все настоящее происходит во сне». Но сказано — в «Рейсе», и в самом деле трагической лирике, не похожей на другие сочинения сборника.

...И все-то при чтении Марины Палей идет на память Владислав Ходасевич, то программные его две «Баллады», то другое:

Грубой жизнью оглушенный,
Нестерпимо уязвленный,
Опускаю веки я —
И дремлю, чтоб легче минул,
Чтобы, как отлив, отхлынул
Шум земного бытия.

Лучше спать, чем слушать речи
Злобной жизни человеческой,
Малых правд пустую прю.
Все я знаю, все я вижу —
Лучше сном к себе приближу
Неизвестную зарю.

Сергей БОРОВИКОВ.

Саратов.

*

«ТРУДНЫМ РОСЧЕРКОМ ПЕРА...»

Александр Межиров. Бормотуха. Стихи и поэмы. М., «Советский писатель», 1991, 144 стр.
Александр Межиров. Поземка. Стихотворения и поэма. Составитель Татьяна Бек. М., «Глагол», 1997, 180 стр.

Между «Бормотухой» и «Поземкой» не так уж много лет, но как резко разнятся эти сборники Александра Межирова — не столько мировоззренчески, сколько внешне. Первый — какой-то родной, теплый, куций по формату, на вид непрезентабельный. Второй — хоть и здешний, но «эмигрантский», на прекрасной бумаге, щеголеватый, нарядный американец, холодноватый по тону.

Общее у них, конечно, имеется — и не только в плане поэтики, вряд ли могущей резко измениться у сложившегося давно мастера. Общее скорее в умонастроении — в растерянности автора перед временем, неожиданно повернувшим за эти годы судьбы стран и людей.

В «Бормотухе» ведущими были мотивы исповеднические, покаянные:

Что у тебя имелось, не имелось?
 Что отдал ты? Что продал? Расскажи!
 Все, что имел, — и молодость, и мелос,
 Все на погребу пятистопной лжи.

Автор не скупится на мрачные краски, обнажая себя и других homo soveticus, с кем долго пребывал «в единой системе». Обличений этих так много и они столь красноречивы, что не очень-то им и верится. Тем более, что Межиров не забывает подбирать аргументы для самооправдания, со скромной гордостью напоминая: «кроме неба сам себе судья». «Бормотуха» перестройки его больше напугала, чем вдохновила. Что ж, право поэта смотреть на случившееся с разочарованием, видеть вокруг сплошь «мошенников», тыкать читателя лицом в подворотню, «пахнущую мочой», ставить его в очередь за водкой, которая «еле движется», от чего естественно и совсем загрустить. Излюбленная межировская позиция — позиция «одинокого волка» — выразительно декларируется в книжке 1991 года:

Не вовлекайте, бога ради,
 В сумятицу и толчею,
 Я в вашем пионеротряде,
 Товарищи, не состою.

Неприятно пахнущие мелочи жизни автор регистрирует находчиво и зорко, но с обобщениями у него не все получается убедительно. На них претендует прежде всего цикл «Бормотуха», давший название всей книге стихов. Межиров размышляет здесь о религиозной идее России, о славянофилах, об охотнорядцах прошлых и нынешних лет, оттеснивших интеллигенцию от духовно чистых источников, что перечеркнуло на нашей родине «два тысячелетия» христианства. Но не отделаться от ощущения, что поэт все-таки мистифицирует волнующий его конфликт «двух народов» (евреев и русских), отмеченных «печатью мессианства». Хотя о самом их сосуществовании сказано свежо, хлестко, афористично:

Единые и в святости, и в свинстве,
 Не могут друг без друга там и тут
 И в непреодолимом двуединстве
 Друг друга прославляют и клянут.

Однако кто такие помянутые в связи с этой темой «низы элиты», происшедшие не из народа (что специально оговаривается), поднявшиеся куда-то «вверх», на которые прежде всего автор возлагает ответственность за разгул антисемитизма в «словесности российской»? К продолжению не додуманной до конца мысли Межиров возвращается уже в новой книге, что-то уточняя, но так и не достигая определенности, в философско-политических вопросах необходимой даже и для поэта:

Возжаждав неожиданно свобод,
 Качать права верхи элиты стали,
 И, как всегда, безмолвствовал народ,
 Свободой озабоченный едва ли.
 В низах элиты все наоборот,
 Охотный ряд свои имеет нужды —
 И, как всегда, безмолвствовал народ,
 И тем, и этим в равной мере чуждый.

Все это мы уже проходили: и безмолвие народа, и его якобы непричастность ни к чему плохому, темному... Глубже об этом же в поэме «Поземка» (окончательный ли вариант?), привлекающей исповедальным нравственным бесстрашием, но тоже не ставящей завершающей точки в художественном исследовании сложной

проблемы, тоже не очертившей (в чем и свой плюс) «пределы тайне, выраженной в бормотанье...».

Сборник «Поземка» на две трети состоит из не новых произведений. При этом, как подчеркивает составительница, это «лучшие, по мнению автора, стихотворения предыдущих лет». Они не датированы, и уловить принцип отбора из обширной межировской лирики нелегко. Наверное, автор отказался от тех, которых коснулась хотя бы тень упомянутой в «Бормотухе» «стопной лжи», коснулся отблеск идеологии «подавляющего большинства», к коей не мог не быть непричастен и он сам. Сюда вошло, в частности, прославленное иначе, чем гимн коммунистам, самиздатское «Мы под Колпином скопом стоим. Артиллерия бьет по своим». Вошел и «Серпухов» — большое стихотворение о няне, чей образ, как и образ кормилицы, тульской крестьянки у В. Ходасевича, стал знаком приобщенности интеллигента к народным корням, к русской почве: «Родина моя, Россия... / Няня... Дуня... Евдокия...»

Среди уже знакомых преобладают стихи, призванные передать трагизм эпохи, невольным выразителем которого был каждый советский поэт, особенно такой внутренне отстраненный от пафосных победных нот, как Александр Межиров. О трагедийности советской истории автор напоминает и в своем вступительном эссе к «Поземке». Приводит в нем выдержки из не отправленных в 1945 году писем отца — человека, задумывавшегося уже тогда о парадоксах российского пути. Этот «убежденный», но «угрюмый гуманист», в мрачные годы веривший в свободу, в то, что она «сама себе судья», становится теперь особо близок сыну-поэту. «Прости меня за леность / Непроходимых дорог, / За жалкую нетленность / Полупонятных строк. / За эту непрямую / Направленность пути, / За музыку немую / Прости меня, прости...»

И все же кое-что в отборе стихов в «Поземке» удивляет. Скажем, предпоследнее произведение в первом разделе, в «избранном», — межировская классика, «Воспоминание о пехоте». Советская героика, знамена противника бросаются победителями «к ногам Кремля». Гиперболизм в духе и сейчас ценимого автором Маяковского: «Я сплю, положив под голову Синявинские болота, а ноги мои упрутся в Ладогу и в Неву». А между тем американский «скол» открывает стихотворение, где о сокрушении фашизма читаем совсем другое: «На поле боя — / Генералиссимус одержал победу, / В сознание народа — / Ефрейтор выиграл войну. / По закону истории / Народ-победитель / Всегда принимает идею / Тех, кто побеждены». Не слишком ли забежал поэт вперед в своих устрашающих прогнозах?

Американские же стихи в «Поземке» вызывают сложное чувство. В первую очередь некоего смущения за их автора, попавшего в «странную историю», говоря его же словами. Ведь настоящей эмиграцией это не назовешь, что прекрасно осознает сам поэт: «И, даже крадучись по краю, / В невозвращенца, в беглеца / И в эмиграцию играю. / И доиграю до конца». Эмиграция предполагает какой-никакой, но спор с покинутым Отечеством. У Межирова не спор, а какое-то унылое «пререканье» — с теми, кто, оказывается, возвел для него «эшафот» из неслыханной «клеветы», придав тем самым обвиняемому не заслуженное им «величье» («Толпа»). Можно, правда, потешить себя воспоминаньем о «кураторах», некогда беспокоивших свободолобивого, независимого мастера. «Мои родные стукачи России, мои осведомители ее», — остроумно завершает инвективу автор. Ну а кто из известных, из правдолюбцев, такое не припомнит?

В западном мире ничего хорошего поэт не находит. Сплошной Вавилон, в коем русским («они без кожи») особенно тяжко.

Ах, как сирены воют в обреченном,
Разноплеменном городе великом,
Который создан только для того,
Чтоб человечество со стороны
Взглянуло на себя и ужаснулось!

Остается одно: *тоска по родине, давно разоблаченная морока*. Ведь надо до такого дойти: «Но люблю, люблю, люблю, люблю / Пыль в диванах, даже тараканов / На кухонном траченом полу».

С жалостливыми интонациями американского раздела (где есть, впрочем, умные, мастерские строки о Розанове, Ахматовой и прочем другом, российском) несколько примиряет замечательная миниатюра, подводящая итог трудному диалогу поэта с альма-матер:

Может родина сына обидеть.
Или даже камнями побить.
Можно родину возненавидеть —
Невозможно ее разлюбить.

Сказано надолго, как у великих предшественников про «ненавидящую любовь».

Юрий ИВАНОВ.

Брянск.

*

ФАКУЛЬТЕТ НУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

Юрий Домбровский. Меня убить хотели эти суки. Вступительная статья и составление К. Ф. Турумовой (Домбровской). М., «Возвращение», 1997, 198 стр.

Читателям «Нового мира» (особенно постоянным, со стажем) нет нужды представлять автора этой книги: «Хранитель древностей» был напечатан журналом в 1964 году (еще при Твардовском); вторую часть дилогии — «Факультет ненужных вещей» — удалось напечатать здесь же лишь в 1988 году, когда автора уже не было в живых (он скончался в мае 1978-го); в 1990-м журнал повторно напечатал обе части «Хранителя...», отведя ему целый номер. В последние годы издательство «Терра» выпустило шеститомное собрание сочинений Домбровского, куда вошло лучшее из написанного им за свою не слишком долгую, прерывавшуюся арестами, сроками, ссылкой жизнь...

Все лучшее? Нет, оказывается, не все.

Не так давно историко-литературное общество «Возвращение» (оно, как и «Мемориал», специализируется на произведениях жертв сталинских репрессий) выпустило (к сожалению, небольшим тиражом — всего 7000 экземпляров) еще одну книгу Домбровского, любовно составленную его вдовой и столь же любовно изданную. Ее основной корпус — стихи, но входят в нее и рассказы, и выдержки из писем, и даже два официальных по адресу, но вполне неофициальных по содержанию, духу и стилю документа — «докладные» Домбровского в СП СССР и в ЦК КПСС по поводу случившегося с ним происшествия и — самое главное — реакции на это власть предержащих... Конечно же документы эти не предназначались автором для печати: стилистически и композиционно они не «отшлифованы», не укладываются ни в какой привычный литературный жанр, но еще более решительно нарушают они и каноны официального документа («казенные» бумаги таким языком, в таком объеме не пишутся, а ежили и пишутся, то не читаются; но Домбровский и здесь оставался Домбровским). По мне же, из-за одних этих документов стоило бы издать книгу — настолько ярко раскрывают они характер Домбровского, подключенность его внутреннего мира к бурям и страстям времени.

Впрочем, по порядку. Вначале — о стихах, составляющих сердцевину книги.

Сам Домбровский относился к своим стихам — скажем так — снисходительно: «Я прозаик, а не поэт». И стихи писал не так уж часто... При жизни писателя они почти не издавались (лишь небольшая поэма «Каменный топор» была опубликована в журнале «Литературный Казахстан» незадолго до его третьего ареста, в 1939 году). Уже после его кончины появились небольшие подборки в «Юности», в коллективном сборнике лагерной поэзии «Средь других имен», в евтушенковских «Строфах века»...

Но столь полно и цельно стихи Домбровского издаются впервые.

Существуют — едва ли не испокон веку — два полярных, взаимоисключающих взгляда на поэзию. Вот и в нашем столетии: «Быть может, все в жизни лишь сред-

ство / Для ярко-певучих стихов» (В. Брюсов) — или: «Нам слово нужно для жизни. Мы не признаем бесполезного искусства» (В. Маяковский).

Для Домбровского подобное противопоставление было органически неприемлемо. Он безумно любил искусство (не только поэзию, но и — особенно — живопись: написал замечательную книжку «Факел» — об алма-атинских художниках) и так же безумно — жизнь. Поэзия, искусство были для него не копией, не «отражением» жизни, а ее пересозданием и в то же время — органической частью жизни, другой действительностью, не менее реальной, чем первая. Воображение и реальность сочетаются в его поэзии на равных: в ней рядом стоят воссозданное его творческой фантазией преобразование обезьяны в человека («Каменный топор»), стихотворение, посвященное одному из его любимых художников — Анри Руссо, и стихи из «Лагерной тетради»: «Солдат — заключенной», «Генерал с подполковником вместе...», «Амнистия», «Надпись на книге», «Какая злобная собака / Ты, мой сосед — товарищ Грозь...» и др. Первая строка одного из этих стихотворений — «Меня убить хотели эти суки...» — вынесена в название сборника. Скажу откровенно, мне не кажется это самой удачной находкой редакции, хотя и звучит броско — несомненно, привлечет многих читателей, особенно из числа молодых, пресыщенных, похоже, любыми ужасами и падких на что-нибудь «эдакое». Больше соответствовало бы духу всего сборника иное название.

Пока это — жизнь, и считается
Приходится бедной душе
Со смертью без всяких кассаций,
С ночами в гнилом шалаше.

С дождями, с размокшей дорогой,
С ударом ружья по плечу
И с многим, и очень со многим,
О чем и писать не хочу.

Но стараясь и телом, и чувством
И весь разлетаясь, как пыль,
Я жду, что зажжется Искусством
Моя нестерпимая боль.

Строки: «...зажжется Искусством / Моя нестерпимая боль» — и есть, как мне представляется, подлинная квинтэссенция сборника, ключ к его содержанию, да, в сущности, и ко всему творчеству Домбровского. Вот откуда в его стихах такая странная, неожиданная, на первый взгляд — не вполне сочетаемая смесь высокого и низкого, борений духа и житейской прозы, бытия и быта. В самом деле, легко ли поверить, что стихи об Анри Руссо — и о «наседке» (лагерном стукаче, которого ночью убивают), письмо о Левитане — и пронзительное стихотворение «Меня убить хотели эти суки...» написаны одной рукой, одним и тем же человеком?

Для Домбровского момент пересечения, взаимопроникновения двух реальностей: действительной и той, что создана воображением ее творца, — был принципиальным, едва ли не определяющим. Знаю это не из третьих рук — от него самого: он не однажды цитировал при мне строки Маршака, которого вообще любил и ценил, и не только как переводчика их общего бога — Шекспира (хотя это, конечно, роднило их). С «подачи» Домбровского строки эти запомнились и мне:

Питает жизнь ключом своим Искусство, —
Другой твой ключ — поэзия сама.
Иссяк один — в стихах не стало чувства,
Иссяк другой — поэзия нема.

Сила творческого воображения Домбровского такова, что перед ней порой отступала, сдавала позиции и та первая, объективная реальность. Крохоборчески точное воспроизведение пережитого, скрупулезное, пусть даже честное повторение его в деталях было ему попросту неинтересно: он воссоздавал не мелочи жизни, а ее дух. И мог — во имя точности уловленного духа — существенно разойтись с объектом в мелочах. Подчас разгулявшееся воображение даже вроде бы подводило его — но по большей части именно тогда, когда «мелочь» оказывалась, по его ра-

зумению, досадной случайностью, «не соответствующей» духу оригинала, расходящейся с его сутью. Так, в период моей работы над книгой о Павле Шубине он настойчиво уверял меня, что Шубин (которого я никогда не видел, а Домбровский хорошо знал и даже дружил с ним) был русым, в то время как не только фотографии (включая сына и жену) в один голос утверждали: брюнет! (Ср. в эпитафии Смелякова: «Черный волос у Шубина Пашки, / Припорошенный первым снежком».) Ошибка памяти? Скорее — иное: с течением времени (Шубин умер в 1951 году) Домбровский постепенно и, конечно, подсознательно «скорректировал» внешний образ поэта по его стихам, в которых звучит закреплённый не однажды повторяющийся в разных стихотворениях рифмовкой («рус» — «Русь») лейтмотив рус ой Р о с с и и. «Черный волос» Шубина воспринимался Домбровским как досадная опечатка природы; для него русский Шубин — «более» Шубин, чем Шубин-брюнет.

Удивительно ли, что образы мирового искусства — Шекспир, Державин, Анри Руссо — имели в душе Домбровского прописку не менее прочную, чем повороты его собственной биографии?

Эту особенность его творчества далеко не всегда улавливала критика, в том числе вроде бы благожелательная к нему. Вспоминаю факт, кажущийся сегодня анекдотическим. Один критик еще при жизни Домбровского упрекал его за то, что тот увлекся как художник шекспировской леди Макбет (одноименный рассказ Домбровского) вместо того, чтобы взять себе в героини нашу русскую женщину; и вообще: зачем ему эти образы мирового искусства — разве своих, отечественных, не хватает?¹

Но бывает и иное недопонимание, противоположное первому, но в равной мере не учитывающее специфику дарования Домбровского, его двуединую природу. Такое, при котором все, о чем поэт повествует от первого лица, простодушно принимается за подлинные факты его собственной биографии.

Так, в частности, истолковывает В. Кардин в своем — в целом превосходном — отклике на книгу Домбровского стихотворение, давшее название сборнику, — «Меня убить хотели эти суки...»².

Между тем сам Домбровский не только никому из друзей и близких об этом эпизоде как о бывшем с ним лично не рассказывал, но, по свидетельствам людей, «сидевших» с ним, такого эпизода с ним — не было. Что же перед нами: попытка «раскрасить» собственную биографию? Но биография его — и без дополнительной «подцветки» — была достаточно яркой! Тогда — выдумка? Да, выдумка, но не житейская, а — творческая, попытка представить собственную судьбу и характер в иных, не случившихся лично с ним обстоятельствах.

Эта способность к художественному перевоплощению особенно ярко проступает при сравнении стихотворений «Анри Руссо» и «Меня убить хотели эти суки...». «Нестерпимая быль» лагерной жизни не подслащена (какое там!), но освещена искусством, а искусство — не забывается и в кошмарном быту лагерей. В «Руссо» автор стремится передать читателю словом то богатство чувств, которое вызывают у зрителя картины художника, найти им словесный эквивалент. В «Суках...» — дать читателю ощутить трагизм происходящего, заставить почувствовать себя на месте героя стихотворения. Отсюда — разный ритм внутри одного (классического!) размера.

В «Руссо»: «Мир этот многоцветен и нечист, / Мерцающий, безумный, иступленный; / Но ты пришел, ты свет зажег зеленый, / А солнце осветило каждый лист...» В «Суках...»: «„— Так не отдашь топор мне? — Не отдашь! / Ну, сам возьми! — Возьми! — Возьми! — Попробуй!” / Он в ноги мне кидается, и тут, / Мгновенно перескакивая через, / Я топором валю скуластый череп, / И — поминайте, как его зовут!»

¹ См. подробнее об этом пассаже Вс. Сахарова в моей статье «Опыт жизни и опыт искусства» (в кн.: Коган А. Уроки памяти. М., 1988, стр. 106).

² «Знамя», 1997, № 10, стр. 211. Пользуясь случаем, отмечу также вкравшиеся в его рецензию две досадные опечатки в одной цитате. У Кардина: «Я жду, зажжется искусством / Моя нестерпимая *быль*» (стр. 212). У Домбровского: «Я жду, *что* зажжется Искусством / Моя нестерпимая *быль*».

Еще раз: неужели оба стихотворения в самом деле написаны одним и тем же ямбом? Да, и — даже — почти одновременно, в одних и тех же лагерных условиях! Но в первом случае ямб неторопливо эпичен; во втором — драматизируется вместе с ситуацией, становится отрывистым, «лающим», «рваным».

В том же сборнике вслед за стихами опубликованы выросты из первоначальной докладной в Секретариат СП СССР «Записки мелкого хулигана», которые писались по горячим следам происшедшего с Домбровским незаконного задержания. Вроде бы случайное, мелкое происшествие, стоявшее в лучшем случае письма в газету — из тех, на которые в прошлом отвечали в рубрике «Хотя письмо и не опубликовано...» (сейчас — не отвечают вовсе), — под пером Домбровского, с его обостренной реакцией на всякую (не только по отношению к нему лично) несправедливость, с его способностью разглядеть в частном — общее, в единичном факте — закономерность, превращается в модель едва ли не всех наших общественных отношений той (да, увы, во многом и этой) поры.

И все же едва ли не самое интересное для меня в этой книге — выдержки из писем (тонко и умело подобранные). В них предстает внутренний мир творца «Факкультета...», все, чем он жил: люди, с которыми встречался, картины, которые смотрел, книги, которые читал, самое же главное — его размышления по поводу увиденного и прочитанного. Недостаток места не позволяет цитировать эти письма подробно, ограничусь одной выдержкой (она уже приводилась в печати, но обойтись без нее здесь не могу, настолько она характерна):

«Ты знаешь, чем ты да я отличаемся в основном от сазана или гадюки? Тем, что мы имеем свою собственную *постоянную* температуру крови, не зависимую от окружающей среды, — а те своего тепла не имеют: лежат на камне и сами холодны, как камень. Вот это и есть основное: иметь *свою* температуру, тогда чужая тебя не охладит и не нагреет» (выделено самим Домбровским. — А. К.).

Домбровский — имел. При этом никогда не менторствовал, не вставал в позу учителя жизни, проповедника, пророка. «Алик, — говорил он мне как-то по поводу моей очередной возмущенной филиппики, — не спасай ты все человечество, оно и без тебя спасется или потонет, занимайся собой и своими ближними». Говорить-то говорил, но сам никогда равнодушным оставаться не мог. Не за это ли в лагере его и прозвали Дон-Кихотом?

Первоначально я так и хотел назвать свою рецензию — «Дон-Кихот в ГУЛАГе»³. Но потом передумал. Дело ведь не в одном ГУЛАГе, вся наша жизнь той поры (да и той ли только?) — жизнь в Зоне, по ту ли, по эту ли сторону колючей проволоки.

Из этой зоны Домбровский так и не выбрался. Тем ценнее, что он — и как человек, и как писатель — сумел и в ней остаться внутренне свободным.

Александр КОГАН.

*

МОЛЕНИЕ О ДОЖДЕ

Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. Комментированное издание Адина Штейнзальца. Перевод с иврита. Иерусалим — Москва. Институт изучения иудаизма в СНГ. Израильский институт талмудических публикаций, 1998, 337 стр.

Название «Таанит» переводится на русский язык как «пост». Соответственно этот трактат посвящен постам — условиям их необходимости, времени начала и специфике проведения. Причем речь идет главным образом о постах, объявляемых с целью предотвращения или прекращения засухи — главного стихийного бедствия эпохи Талмуда в Стране Израиля.

³ О трудных поворотах судьбы Домбровского лучше всего рассказал Т. Вульфвич (см.: «Апрель», 1992, вып. 6; «Знамя», 1996, № 6); довелось писать об этом и мне (см.: «Российские вести», 1998, № 50; «Дружба народов», 1998, № 11).

Из сказанного можно сделать вывод, что перевод «Таанит» адресован людям, живущим в еврейской традиции (или же пытающимся войти в нее), но начавшим учиться достаточно поздно, а посему неспособным (или отчасти неспособным) постигать мудрость в аутентичной языковой среде. Кроме того, это блюдо явным образом украсит меню специалистов в области иудаики. Искатели страшных талмудических тайн могут не беспокоиться: они обречены, полистав книгу, вскорости отложить ее в полном недоумении и (возможно) в уверенности, что искомое сокрыто в нарочно не переведенных трактатах.

«Таанит» открывается характерной дискуссией о времени, начиная с которого необходимо «упоминать [в молитве] о могуществе дождей». При этом обсуждается тонкое различие между упоминанием о дожде и собственно прошением о дожде. Среди прочего вдруг возникает интересный вопрос, с какой вообще стати эта проблема рассматривается именно здесь, то есть в трактате «Таанит», а не в трактате «Брахот», предшествующем «Таанит» и посвященном благословениям, — при всем при том, что обсуждение этой темы было там уже начато, но затем отложено — почему? Вопрос, представляющийся актуальным только при очень высоком уровне мотивации и вовлеченности.

Иными словами, специфичность материи как будто подтверждает вывод об исключительно специализированном читателе. Вывод, верный только отчасти.

Дело в том, что, в отличие от создававшихся на протяжении многих веков трудов, ставящих своей целью вычленив и систематизировать результаты талмудических конференций, в самом Талмуде (и это его важнейшая специфика!) результат принципиально неотделим от самого процесса. Самостоятельную ценность представляет коллективный путь к цели, который заинтересованный читатель должен пройти вместе с участниками, внося в него собственную лепту новых вопросов, ответов, контраргументов, недоумений, опровержений и несогласий — то самое, что требует эта и сегодня живая культура от хорошего ученика, добросовестно вовлеченного в процесс. С одной стороны, не доверять на слово ни одному из авторитетов (да они и сами друг с другом не согласны!), а с другой стороны, внимательно и уважительно рассматривать чужое мнение и уметь с ним согласиться (или не согласиться).

Создается уникальная атмосфера: встречные аргументы, неожиданные повороты, вовлечение новых мнений, фактов, ситуаций, персонажей и текстов, казалось бы, полный уход от первоначально обсуждаемой темы — и, кружным путем, возвращение к ней. Обильное цитирование постоянно вводит в оборот библейские тексты и позволяет участвовать в разговоре мудрецам разных поколений, порой отдаленных друг от друга сотнями лет. Это захватывает.

Талмудические дискуссии естественно сравнить с диалогами Платона. Фундаментальная общность — в самом принципе многоголосия. Однако Сократ заведомо обладает истиной и ведет к ней своего собеседника железной рукой. По существу, тот постоянно находится в ситуации цугцванга. Платоновская игра — это всегда игра в одни ворота. Сократ обречен побеждать, как, скажем, Шерлок Холмс. Так положено. Талмуд играет по совершенно иным правилам. Здесь нет и тени детерминизма, здесь в известном смысле все — сократы, и кто окажется прав — неизвестно. Не исключено, что оба, — в таком случае необходимо выяснить, что означает их несогласие.

Однако дело не только в эстетическом эффекте дискуссии как таковой. Для культурологически ориентированного читателя «со стороны» немалый интерес представляет и ее содержание. Она вбирает в себя самый многообразный материал, в том числе и бытовой, в том числе исторический, в том числе в форме притчи. А «Таанит» — как раз из тех трактатов, которые богаты этими, казалось бы, необязательными с точки зрения целей дискуссии сюжетами.

Для мудрецов Талмуда было очевидно фундаментальное единство мира, включающее в себя причинную зависимость стихийных и социальных бедствий от поведения людей. Надо сказать, что и сегодня мы можем констатировать многочисленные случаи стихийных бедствий в социально неблагополучных регионах мира. Можно считать это случайным совпадением. Александр Чижевский придерживался иного мнения: он полагал, что вспышки стихийной и социальной активности суть проявления одной общей — космической — причины.

Мудрецы Талмуда видели причину не на солнце, а в сердцах людей. С их точки зрения, бессмысленно искать ключ к бедствиям в происках внешних (в том числе и стихийных) сил, в конце концов, они всегда контролируются Всевышним — ключ всегда у человека. Такая концепция, независимо от ее верности, имеет очевидное практическое следствие: она предполагает высокую степень личной ответственности и сознание, что, изменив собственное поведение, можно изменить мир.

Это индетерминистская и в высшей степени оптимистическая идея составляет базис дискуссии «Таанит». Община должна раскаяться, люди, наиболее близкие к Всевышнему, предстать перед ним — и дождь будет. Мудрец Талмуда не похож на заклинателя дождя, умеющего нажать нужную клавишу в безличном природном механизме. На страницах (или, в соответствии с принятой терминологией, — на «листах») «Таанит» проходит череда обращений к Всевышнему о дожде, носящих подчеркнуто личный и даже интимный характер. Зачастую отношения человека и Бога столь непосредственны и близки, что на вопрос о внезапно умножившемся в амбаре зерне: «Откуда это?» — жена отвечает: «Да от твоего приятеля!» (приятель — Всевышний).

Издание трактата «Таанит» — очередной шаг в реализации проекта «русский Талмуд», следующего по пути, уже проложенному английским и французским проектами. Все они увязаны общей методологией и методикой: перед глазами переводчиков на русский результаты их коллег, переведивших на английский и французский под крышей того же Израильского института талмудических публикаций, возглавляемого раввином Адином Штейнзальцем.

Переводы на европейские языки (в том числе и на русский) сделаны с иврита — базовый перевод на иврит (Талмуд написан главным образом на арамейском) принадлежит самому Адину Штейнзальцу, который не только перевел почти весь корпус Талмуда, но — что не менее важно — подробнейшим образом его прокомментировал, построив, таким образом, интерфейс с миром Талмуда, который, в силу его культурной инаковости, без комментариев продолжает оставаться закрытым даже в том случае, когда его авторы и герои начинают говорить по-русски.

В 1993 году увидел русский свет открывающий проект общеконцептуальный том «Введение в Талмуд» — своего рода дверь всего издания, в 1995-м — одна из глав трактата «Бава меция», и вот теперь — «Таанит». Учитывая, что в Талмуде 63 трактата, при сохранении общих темпов издания через каких-нибудь двести лет океан талмудических текстов будет в значительной мере открыт для плавания под русским парусом.

Пока же приходится ограничиваться каботажным плаванием.

Михаил ГОРЕЛИК.

ГЮНТЕР ТЮРК. Тебе, моя звезда... Избранные стихотворения и переводы в редакции В. И. Каледина. Составитель Ю. В. Лихачева. Новосибирск, издательство Новосибирского университета, 1997, 303 стр.

Известный в Москве детский врач Густав Тюрк, обрусевший немец, был в числе толстовцев, проникшихся идеалами ненасилия, пацифизма, личного совершенствования, простого труда в добровольных коммунах. Он приобщил к движению своих сыновей Гюнтера и Густава. В 1931 году они переехали с коммуной в Западную Сибирь обживать но-

вые земли. Но идея основанных на ненасилии крестьянских поселений, как известно, вошла в противоречие с методами «сплошной коллективизации». И последствия стали для семьи Тюрков катастрофическими. Отец погиб на Соловках, сыновья были арестованы. 25-летний Гюнтер до конца своей недолгой жизни (1911 — 1950) уже не узнал свободы. Тюрма, лагерь, ссылка определили его жизненный путь.

Из года в год все те же нары
С ночной неволей грязных тел,
И я на них с тоскою старой
Состарился и поседел.

Из года в год глухим забором
 Всчасно скован каждый шаг,
 И ветер с яростным напором
 Рыбит в глазах, свистит в ушах.

Глаза я снова закрываю.
 Трепещут крылья слабых рук.
 Рыдает, бьется птичья стая,
 Не в силах улететь на юг, —

Туда, где волн лазурных нега,
 Где блещет неба бирюза...
 А ветер мне песком и снегом
 Сечет прикрытые глаза.

...Давным-давно не было на свете
 Льва Толстого, а советская власть все
 продолжала преследовать его последо-
 вателей. Повторный суд над толстовца-
 ми состоялся в 1940 году. Гюнтер был
 приговорен к семи годам лишения сво-
 боды, которые провел в Мариинском
 лагере «от звонка до звонка».

Я спрошу: куда идти мне можно?
 Скажут мне: куда глаза глядят!
 И пойду я робко, осторожно
 И уже не оглянусь назад.

По пустой проселочной дороге
 Вдоль межи, заросшей сорняком,
 Побреду, в пыли купая ноги,
 Как в далеком детстве, босиком.

Не найду ни в ближнее селенье,
 Ни под пыльной станции навес,
 А пойду туда, где в отдаленье
 В синей дымке проступает лес.

И когда услышу листьев шелест,
 И когда увижу веток вязь,
 Обессилю, словно рыба в нерест,
 К встретившей осинке прислонясь.

Замерев в траве, пройду по следу
 Жизнь мою. А выступит звезда —
 Я уйду на поезд и уеду,
 Чтобы не вернуться никогда.

Но уйти «куда глаза глядят» ему не
 позволили. Лагерь завершился ссылкой
 в Бийск. Этот город и стал последним
 пристанищем поэта, не увидевшего при
 жизни напечатанными ни одной своей
 строчки.

Все как полагается. И ныне
 Как вчера. И завтра будет так.
 В стынувшее марево пустыни
 Бросил луч маяк.

Все как было: день тускнеет, глохнет,
 Чайка надоедливо кричит,
 Пены мыло на граните сохнет,
 Грусть чуть-чуть горчит...

Что мне ширь немилосердного простора —
 Сон, пригрезившийся наяву?
 Но картину эту, от которой
 Глаз не оторву,

Рубленую резкость очертаний,
 Мох, кусты, обветренный гранит
 До конца моих земных скитаний
 Память сохранит.

Чуткий читатель, быть может, уловит
 связь между свободным от внешних эф-
 фектов, несуетным, вдумчивым стихом
 Гюнтера Тюрка и поэтикой позднего
 Николая Заболоцкого, близких ему ма-
 стеров; обратит внимание на культуру
 стиха; отметит переводы из Шиллера,
 Гейне... Тем более следует помнить, что
 волею обстоятельств поэт Гюнтер Тюрк
 оказался не то что на периферии лите-
 ратурного процесса, но вообще вне по-
 следнего. Можно утверждать с полной
 уверенностью, что и переводы, подобно
 оригинальным стихам, сделаны исклю-
 чительно «для себя», а вовсе не по зака-
 зу художественного издательства. Союз
 советских писателей, выдававший «ман-
 дат» на официальный профессиона-
 лизм, был для Тюрка абсолютно недо-
 сязаем. В его распоряжении не было ни
 общения с коллегами-мастерами, ни
 вольных странствий, ни библиотек, ни
 окрыляющего читательского отклика,
 ни собственного свободного от посторо-
 нних взоров приюта, а порой не было
 чем и на чем записать выплеснувшиеся
 строки. И тогда в ход шло все, что ока-
 зывалось под рукой, вплоть до косых
 щепок лесоповала. Он и сам был как
 тоненькая щепочка, отсеченная от ство-
 ла тупым ударом державного топора. В
 этом смысле мы говорим о доподлин-
 ном поэте-отщепенце, отщепенце не по
 своей воле, не только не признанном,
 но даже и никем не узанном. Однако
 именно он чистотой лирического голо-
 са, трагичностью жизненного пути не-
 сомненно заслуживает право на нашу
 благодарную память — право куда боль-
 шее, нежели некоторые из его имени-
 тых современников.

Когда речь идет о судьбе, так жестоко
 изломанной временем, понимаешь, что
 ее творческое достоинство состоит не в
 формальном совершенстве, не в литера-
 турных новациях, а в свидетельской до-
 стоверности и просто верности себе,
 своим идеалам, разрушенным реально-
 стью жизни и все же сбереженным на
 глубине души — той глубине, откуда
 сами собою поднимаются выстрадан-
 ные годами неволи слова.

Все ниже солнце, все длиннее тени.
Вот и моя простерлась на траву.
Но я далек от горьких сожалений —
Не растерял я по ветру листву.

Любовь и смерть! Вы стали ближе, проще.
Кого любил, кто умер — все со мной,
Все здесь они, в тени священной рощи,
Где я раскинул полог свой сквозной.

Тень все длинней, все бархатней, все гуще.
Последний луч вершины золотит.
Прошедшее сливается с грядущим.
Ни страха, ни печали, ни обид.

Теперь «слились с грядущим» и эти признания беззащитной, чистой души, записанные когда-то на сухих щепках вырубленного леса.

Алексей СМИРНОВ.

*

ЛЮДМИЛА ПОЛИКОВСКАЯ. Мы предчувствие. Предтеча... Площадь Маяковского 1958 — 1965. М., «Звения», 1997, 398 стр. (Издательская программа общества «Мемориал»).

Книга — необычная. Людмила Поликовская готовила ее несколько лет. И намерение ее было не столько исследовательским, скорее мемуарным, даже ностальгическим: вспомнить самой и позволить сегодняшнему читателю увидеть и пережить — через воспоминания участников — яркое явление московской жизни конца 50-х — 60-х годов по имени «Маяковка» или «Маяк». С июля 1958-го у только что воздвигнутого памятника стихийно стал собираться своего рода вольный клуб любителей поэзии, читали Блока, Есенина, конечно Маяковского. А можно было услышать и Цветаеву, Гумилева, Гиппиус. Витало общее чувство обновления и свободы. Предчувствие... Первый, самодеятельно-поэтический этап...

В 1960-м пафос свободных чтений становится более социальным и радикальным, теперь это скорее молодежный политический клуб. И значит — активное внимание властей, дружинники, для начала — милицейские задержания и побои. Кончилось арестом и сроками заключения для Кузнецова, Осипова и Бокштейна и первыми допросами в КГБ — для Буковского. В октябре 1961-го чтения официально запрещены. Предтеча...

На самом деле автор, намереваясь быть мемуаристом, книгу выстроила — так уж получилось — в иной логике. Материалы сборника (отрывки из книг, стихи, интервью, газетные статьи, документы — разножанровые описания событий) упакованы в главки: «Экспозиция», «Развитие действия», «Кульминация», «Развязка», «Вместо эпилога», и наконец — «Вместо послесловия: взгляд из сегодня». Начинает — Владимир Буковский, завершает — Андрей Зорин. Перед нами своего рода драматургия завершенного явления. А значит, есть право прочитать этот «мемуар» не только бесцельно-ностальгически, но и имея в виду вопрос: состоялось ли «предчувствуемое»?

Разница энергетических потенциалов — заметная. Если текст Буковского (соединение отрывка из его книги «И возвращается ветер...» и текста беседы с ним — 1994 года) передает атмосферу живую — надежд, вопросов и действия, то настрой первочитателя книги, автора послесловия Андрея Зорина, — скорее охлажденно-рефлексивный. Он не готов участвовать в эйфории поэтического непрофессионализма и тем более разделять наивный пафос социальных утопий. Он — над событием. Он «подводит итоги», в уверенности, что «советская эпоха с ее политическим, бытовым и языковым реквизитом... отодвинулась... в прошлое, на глазах покрывающееся замораживающей патиной истории», и что «наступило время археологов». Для него происходившее и мемуарно-запечатленное в этой книге — своего рода театр; а представляя от лица «другого поколения», можно четко различать роли и оценивать успешность судеб: «...самый ритуал чтений... очевидным образом предстает как игра, не утрачивающая своей природы оттого, что многие ее участники заплатили за эту игру искалеченными (порой бессмысленно искалеченными) судьбами...» Не всякому, конечно, дано разглядеть бессмысленность судьбы другого. И как не позавидовать ясности исторического видения чужих жизненных возможностей: «...в случае с Буковским трудно подавить в себе легкую досаду: учитывая масштаб и артистизм личности, не приходится сомневаться, что и с другой исторической задачей он справился бы получше Горбачева...»

Филолог Андрей Зорин, вопреки вдохновенным надеждам составительницы книги, продемонстрировал вариант отстраненного чтения, оказавшись то ли социальным аналитиком, то ли клиницистом... Вот такая парадоксальная получилась у книги драматургия.

Однако читатель, надеюсь, может слушаться разный. (Во всяком случае, рассчитывают издатели на 1500 человек — таков тираж книги.) Поскольку на самом деле передвигаться внутри книги можно по прихоти ли замеченного знакомого имени, из любопытства к индивидуальной судьбе или помещая в фокус извлеченную из разных воспоминаний какую-то деталь, а можно — в поисках того ли, иного ли искомого тобою лично смысла. Возможности разнообразны. Скажем, объемный аппарат книги — «Комментарии», «Краткие сведения об участниках чтений на площади Маяковского, их наставниках, друзьях и недругах, а также о самиздатских журналах и самостоятельных объединениях, упомянутых в книге» (есть еще «Именной указатель», всего более шестидесяти страниц) — я прочитала как отдельную интересную книгу.

А еще отдельно можно читать — они стоят как бы особняком — документы: Владимир Буковский. Тезисы о развале комсомола; Юрий Галансков. Письмо в Комитет государственной безопасности, — «хитрые» попытки переиграть «систему», «скрывшись» под личиной ее собственной логики...

Большая часть книги — воспоминания. В разной тональности. Игорь Волгин вспоминает, чтобы еще раз сказать себе: «...была возможность, не вступая в глобальный конфликт с властью... делать свое дело, размягчая тем самым систему...»; для Всеволода Абдулова — это романтический и живой эпизод личной биографии, как и для Алены Басиловой, и для Леонида Прихожана, и для Алисы Гадасиной; поэт Аполлон Шухт дал событию то имя, которое вынесено в заглавие книги, — «предтеча, предчувствие» гражданского правосознания; а Николай Котрелев — до сих пор раздражен «непрофессионализмом» и «советскостью» этих сборищ... Такой диапазон.

Елена ОЗНОБКИНА.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИДЕАЛИЗМ И «КОНТИНЕНТАЛЬНОСТЬ» РОССИИ

В ноябрьском и декабрьском номерах «Нового мира» за прошлый год было опубликовано сочинение Александра Паникина «Записки русского фабриканта», которое в расширенном виде вышло через некоторое время отдельным изданием под названием «Шестое доказательство» (на это отдельное издание я и буду в дальнейшем ссылаться)¹. Сочинение, способное, как мне представляется, пробудить в любом его внимательном читателе и серьезные размышления, и — что по-своему столь же важно — существенные личные переживания. Это, кстати сказать, уже подтвердил в своем кратком эссе-предисловии «Выход из гоголевской шинели» читатель, чье имя достаточно широко известно, — Андрей Битов. Притом речь идет в его отклике не столько о сочинении Александра Паникина как таковом, сколько «вообще» о жизни (включая и его собственную). Иного автора это могло бы огорчить или хотя бы смутить (как же так — о моем сочинении-то совсем немного...), но автор «Шестого доказательства», я уверен, понимает, что, если его сочинение заставляет так глубоко задуматься, оно в самом деле значительно и он, автор, потратил силы и время не напрасно.

Одно из ключевых слов Александра Паникина — слово «идеализм», употребляемое в широком жизненном, житейском (а не философском) значении. Именно в «идеализме» автор видит едва ли не самое плодотворное начало отечественного бытия, и его убеждение многократно подтверждается конкретными фактами. Так, он снова и снова доказывает, что без «идеализма», побудившего тех или иных встреченных им на жизненном пути людей на соответствующие поступки, он не смог бы сделать ничего из задуманного, да и вообще достойно жить.

Он вспоминает, как его в тринадцатилетнем возрасте собралась подмять под себя подростковая «банда» и его неожиданно спас обладавший особым «статусом» мальчик по кличке Фролик: «Поведение Фролика казалось необъяснимым... защитил новичка, *незнакомого* человека». Далее «инвалид без обеих ног» Славский, «оценив мое упорство», соглашается безвозмездно давать *незнакомому* юноше уроки профессиональной игры на гитаре. А вот начало предпринимательской деятельности: «недавний знакомец» Виктор «открыл все секреты, все тонкости... Его жест показался мне необъяснимым. Он поступил вопреки коммерческой логике... я все же становился конкурентом».

И еще менее объяснима «милая пожилая женщина», бесплатно доставившая сотню килограммов необходимого для производства вещества: «Скорее всего ей был интересен сам процесс участия в каком-то живом, человеческом деле». И «главный архитектор Москворецкого района», предоставивший начинающему фабриканту помещения площадью в 330 кв. метров, за что «ничего не просил, помог как союзник» (союзник по духу, а не по делу). И чиновник (коих автор вообще-то весьма не жалует) Лебедев, который «невероятным ухищрением добился передачи склада нам... он был не единственным официальным лицом, оказавшим бескорыстную помощь». А когда Паникин решил обзавестись подмосковным имением, директор местного совхоза «из доброго отношения... был готов нарезать участок рядом с деревней, где и газ, и вода».

И, наконец, рабочие, строящие новое здание фабрики: «...энтузиазм как на ДнепроГЭСе», а когда вспыхнул пожар, «рабочие без специальной страховки, не слушая меня... лезли наверх, резали автогеном металл, оберегая оборудование...».

И т. д. и т. п.

¹ Издательство «Панъинтер», М., 1998.

Сочинение Паникина убеждает, что без всего этого «идеализма» ему ничего не удалось бы создать, и на последней странице безоговорочно провозглашено, что вера в будущее России уместна лишь постольку, поскольку, «несмотря на все издержки и поражения... мы сохранили... стремление к идеальному».

В самом авторе «идеализм» сохранился в полной мере, что очевидно хотя бы из его процитированных (и процитированных) благодарных упоминаний о множестве в чем-то помогавших ему людей. Ведь *благодарность* — истинно «идеальное» и, кстати сказать, не столь уж часто встречающееся качество, ибо по-настоящему благодарный человек должен, по сути дела, со смирением признать *превосходство* других людей, без бескорыстной поддержки которых сам он не сумел бы осуществить собственные планы.

Итак, Россия — «страна идеалистов», которые могут и должны созидать ее будущее. Кто-либо наверняка воспримет такое утверждение в качестве непомерного и необоснованного восхваления России. Однако любое качество имеет свою «оборотную сторону», и причины, а также и последствия русского «идеализма» при ближайшем рассмотрении не дают поводов для восхваления.

Разобраться в том, из чего исходит и к чему приводит этот «идеализм», необходимо и потому, что без такого осмысления ставка на него, предлагаемая Александром Паникиным, не может быть вполне надежной и определенной.

В сочинении Александра Паникина не раз говорится о роли *государства* в России, притом — что легко заметить — говорится весьма противоречиво. С одной стороны, признается его громадная роль во всем тысячелетнем бытии страны, с другой же — оно неоднократно оценивается как нечто только «негативное» и к тому же словно бы не очень уж «нужное». Вот несколько таких противоречивых положений: «...,Какие мы” вытекает из русской культуры и традиции, столетиями связывавшей ценность человека с подчинением общему (то есть и государственному. — В. К.) делу». Но тут же: «...,общее дело” топило нас всех, и спастись можно было только в личном» (то есть, значит, нужно отбросить вековую «культуру и традицию»...). А всего через несколько страниц о сегодняшней власти: «Уничтожив государство, которое нас душило, власть ничего, в сущности, не предложила взамен» (однако «заменить» мощную государственность можно только мощной — или, пожалуй, еще более мощной, не страшщейся и потому не подавляющей «личных» инициатив — государственностью; как говорится, иного не дано). Но на следующей странице нынешняя власть несколько неожиданно «превозносится»: «...свободная экономика, существующая независимо от государства, — главный позитивный итог... в истории России (во всей ее истории! — В. К.) не было времени, когда человек... мог бы настолько принадлежать себе».

Нет никакого сомнения, что в России, в отличие от Запада, человек в очень значительной степени «принадлежал» государству. Даже для самых верхних слоев общества главное в их бытии зависело от «пожалования» (характерное русское понятие!) со стороны государства. Но если вдуматься, станет столь же несомненным, что качество, в котором Александр Паникин усматривает своего рода высшую ценность русских людей и чуть ли не единственную основу будущего России, — тот самый «идеализм» — во многом порождено именно этой ролью государства, от коей он так жаждет избавиться.

Поскольку в России люди получали нечто самое важное для их жизни из рук государства, а не в результате своей собственной борьбы за место под солнцем, между ними не возникала та постоянная и жесткая *конкуренция*, которая присуща Западу и о которой писали — нередко поражено — многие давние и недавние эмигранты из России.

Говоря об этом, я отнюдь не имею намерения объявить Запад «плохим», а Россию — «хорошей» (я вообще никогда ничего подобного не говорил); Россия не «лучше» Запада, она просто *другая*, у нее и свои достоинства, и свои пороки.

Александр Паникин, между прочим, явно не без удовлетворения написал: «За свою тысячелетнюю историю Россия не раз оказывала решающее влияние на судьбы мира». Но можно со всей убедительностью доказать, что если бы государство не играло в ней той определяющей роли, которой так недоволен автор «Шестого доказательства», Россия никогда не представляла бы в качестве великой державы.

Выше уже заходила речь о *конкуренции*, но теперь вопрос о ней встает в совершенно ином — глобальном — значении и смысле. Сразу же выскажу главное: в «игре» по тем «правилам», которые господствуют на Западе, Россия в плане экономики заведомо *неконкурентоспособная* страна.

Исходное и фундаментальное отличие России от всех так называемых высокоразвитых стран состоит в том, что она — страна *континентальная*, даже «самая континентальная» в мире, между тем как высокоразвитые страны — *океанические*, которым присущи гораздо более благоприятный для человеческой деятельности и самого существования климат и полномасштабное использование морского транспорта, во много раз более дешевого, чем сухопутный.

Чтобы понять всю значительность различия континентального и океанического климатов, достаточно знать, что в основных населенных районах скандинавских — то есть самых *северных* из высокоразвитых — стран зима не более сурова, чем в нашей южной кубанской степи! Или что в северной части России единственный незамерзающий порт — это примыкающий к Скандинавии Мурманский, а расположенные *южнее* Архангельский (на пятьсот километров) и Петербургский (на целую тысячу километров) надолго замерзают.

В России необходимо по меньшей мере полгода полноценно отапливать жилые и производственные помещения, и это, понятно, означает гигантские затраты энергии. Не менее существенно, что необходимо строить с учетом таких климатических условий. В связи с этим сошлюсь на поистине впечатляющие сведения из изданной в 1995 году в Москве книги Б. С. Пушкарева «Россия и опыт Запада». Автор — эмигрант во втором поколении, с 1949 года живущий в США и ставший там видным специалистом в области градостроительства. И говоря о том, что в США на душу населения приходится 49 кв. метров жилой площади (вместе с подсобными помещениями), а в России — всего только 15 кв. метров, то есть в три с лишним раза меньше, он как специалист счел нужным пояснить, что это превосходство США обусловлено не только (да и не столько) их собственно экономическими достижениями, но и (цитирую) «дешевизной господствующей там легкой... конструкции односемейных жилых домов из деревянных планок, фанеры и гипсового картона, в которых живет три четверти населения».

Не скрою, я впервые узнал о том, что 75 процентов (!) населения США обитает в жилищах, совершенно непригодных для климата России (исключая чисто летние домики), из цитируемой книги, хотя уже давно, в середине 80-х, был очень удивлен данными статистического сборника «СССР и зарубежные страны», согласно которым в США производилось в два раза меньше цемента, чем в СССР, но почти в десять раз (!) больше фанеры и картона; зачем им столько? — гадал я тогда.

Ясно, что «догнать» Америку по количеству жилой площади на душу населения возможно, разве только кардинально изменив климат России...

Не менее существенно различие затрат при транспортировке товаров по морю и по суше. В том «упрощенском» представлении об экономике, которое у нас господствует, эта сторона дела, в сущности, вообще не учитывается. Насколько она важна, можно понять, например, рассматривая проблему экспорта нефти. Для этого необходимо оперировать цифрами, что далеко не всех увлекает, но иначе нельзя ясно представить себе реальное положение вещей.

Сейчас в центре внимания резкое понижение мировых цен на нефть, но отвлекемся от этого нынешнего аспекта проблемы и рассмотрим ее в долговременном плане. Вопрос об экспорте нефти чаще всего ставят в чисто «идеологическом» ключе: одни авторы обличают доперестроечные власти, существовавшие, мол, только благодаря бездумной распродаже нефтяных ресурсов страны, другие бросают такое же обвинение, напротив, нынешним правителям.

Однако проблема намного сложнее. Вот цифры из справочника «СССР и зарубежные страны», изданного в 1988 году. В 1987 году в СССР было добыто 624 млн. тонн нефти, то есть 2,2 тонны на душу населения, а в Великобритании, на принадлежащих ей месторождениях в Северном море, — 118 млн. тонн, то есть 2 тонны на душу населения. И как это ни противоречит общепринятым представлениям, экспорт нефти из СССР составил в том году 137 млн. тонн, то есть около 22 про-

центов от добычи, а в Великобритании — 80 млн. тонн, то есть почти 68 процентов от добычи! Еще более впечатляющ тот факт, что стоимость проданной нефти составила всего 33,5 процента от стоимости всего экспорта СССР, а в Великобритании — около 80 процентов! (Отмечу, что экспорт Великобритании в 1970 году, когда ее морские нефтяные месторождения только начинали осваиваться, — добыча 1,2 млн. тонн в 1970-м — выразился в сумме 19,4 млрд. долларов, а в 1987-м — в сумме 130 млрд. долларов.)

И если уж ставить вопрос о распродаже нефтяных ресурсов, то и правители СССР, да и нынешние, «повинны» в таком деянии, как видим, в гораздо меньшей степени, чем правители Великобритании... Однако суть проблемы совсем в другом — в том, насколько выгоден или, если говорить о более широкой перспективе, насколько *плодотворен* для экономики страны экспорт нефти (или иного товара).

Добываемая британцами в незамерзающем (несмотря на его название) Северном море нефть тут же заливается в танкеры и без больших затрат доставляется потребителям; между тем российскую нефть надо транспортировать по суше несколько тысяч километров, что делает ее в принципе неконкурентоспособной на мировом рынке (о том, почему она все-таки продается, см. ниже).

Один из наиболее серьезных отечественных социологов, Евгений Стариков, обратил внимание на чрезвычайно показательный факт: несмотря на нынешние «благоприятные» отношения России и Германии, последняя год за годом снижает закупки российской нефти (скажем, 20,2 млн. тонн в 1994 году, 13,4 млн. тонн в 1995-м), восполняя недостающее импортом из Великобритании (а также Норвегии). Разумеется, российская нефть продается не по более высокой цене, чем британская, но германских потребителей тревожит в конечном счете именно ее неконкурентоспособность, которая может и, в сущности, даже должна привести к кризису или полному краху нефтяного экспорта из России. В связи с этим Евгений Стариков говорит о несостоятельности предположений (которые одни высказывают с негодованием, а другие — равнодушно или даже с удовлетворением), согласно которым Россия может существовать в качестве поставщика нефти (и другого сырья) для высокоразвитых стран.

Так, Россия кардинально отличается от нефтедобывающих стран Ближнего и Среднего Востока и Латинской Америки, которые, во-первых, расположены на берегах океанов и, во-вторых, не вынуждены расходовать значительную часть добываемой нефти на отопление в долгие зимние месяцы.

Нельзя не сказать и об исходной основе человеческого существования — сельском хозяйстве. На протяжении всей истории России оно в общем и целом было неконкурентоспособным в сравнении с сельским хозяйством других так или иначе действовавших на мировом рынке стран. Найдутся, конечно, читатели, которые убеждены, что до 1917 года Россия «кормила Европу», была ее «житницей» и т. п. Но это риторика, не основанная на фактах. Из вышедшего в 1995 году содержательного справочника «Россия. 1913 год» можно узнать, что хотя 43 процента стоимости экспорта России давал тогда именно хлеб, он составлял менее 30 процентов импортируемого Европой хлеба; остальные 70 процентов ввозили тогда в Европу Канада, Австралия, США, Аргентина.

При этом особенно важно следующее. Россия экспортировала в 1913 году всего лишь 11,7 процента (!) производимого ею хлеба (больше, по сути дела, было и невозможно, так как из «оставшегося» хлеба на душу населения приходилось около 295 килограммов на год — то есть 800 граммов на день, — а ведь хлеб был основной пищей для преобладающего большинства населения). Между тем Канада экспортировала (через океан) 68 процентов производимого ею хлеба, Австралия (через три океана) — 44 процента, Аргентина — 67 процентов.

Но дело, конечно, не только в этом. Почти вся территория России представляет собою так называемую *зону рискованного земледелия*, что имеет многообразные — и весьма «прискорбные» — последствия. Признаюсь, что я со всей ясностью понял это, прочитав лет двадцать назад (в виде самиздатского ксерокса) книгу одного из самых известных американских «русоведов» Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме» (в 1993-м ее издали в Москве уже «нормально»). Во вступи-

тельной главе этой книги убедительно доказано, что в силу многообразных географических и геополитических условий сельское хозяйство России никак не может соперничать с сельским хозяйством Запада.

Правда, далее Пайпс абсолютно нелогично начинает «обличать» Россию (речь идет об ее истории до 1881 года) за то, что она развивалась не так, как страны Запада, хотя совершенно иной «фундамент» экономики и не мог бы породить в России общество западного типа. К сожалению, этого рода нелогичность характерна для многих людей, рассуждающих о том, что достаточно так или иначе «перестроить» Россию на западный манер — и она «догонит» Запад по уровню жизни.

Александр Паникин, судя по некоторым его высказываниям, так не думает. Он, например, не без едкости пишет, что ныне «новые правители погнались за новыми химерами — частной собственностью, приватизацией, прибылью. Но предлагаемый рыночный набор — *не панацея* от всех бед» (выделено мною. — В. К.).

Это, кстати сказать, стало настолько очевидным, что даже крутой «монетарист» Егор Гайдар, оглядевшись вокруг, начал свою изданную в 1995 году книгу «Государство и эволюция» (все еще не мог обойтись без Ленина!) следующим «откровением»: «Несомненная правда, что *большинство* (курсив мой. — В. К.) стран с рыночной, капиталистической экономикой (точнее, с элементами такой экономики)² пребывает в жалком состоянии застойной бедности. Народ в этих странах живет куда беднее, чем в России...»³ Но вот что в своем роде замечательно: через какое-то время после издания цитируемой книги я участвовал в популярной тогда телепрограмме «Один на один» и сослался на это самое «откровение»; однако сидевший напротив меня воспитанник Академии общественных наук при ЦК КПСС, бывший депутат Госдумы от «Выбора России» А. Нуйкин с крайним возмущением заявил, что Егор Тимурович не мог написать ничего подобного!

Убеждение, согласно которому определенные «*производственные отношения*» как бы сами собой обеспечивают *благосостояние* страны, — одна из основ идеологии КПСС. Правда, до «перестройки» утверждалось, разумеется, что социализм в этом отношении далеко превосходит капитализм (так же, как тот — феодализм), но это уже, по сути дела, вторичная, более частная проблема; главное состоит в убеждении, что экономический строй решает всё и вся. Эта упрощенческая, или, употребляя более конкретное определение, *редукционистская* (то есть сводящая сложное к простому, многогранное — к одной грани), программа процветания страны продолжалась, увы, господствовать в средствах массовой информации.

Между тем объективный взгляд на историю убеждает, что уровень жизни страны обусловлен многими и многообразными факторами — от климата до исповедуемой большинством населения страны религии — в их сложнейшем взаимодействии. И призывы «догнать» (или даже «перегнать») «высокоразвитые» страны, которые звучали из уст и Ленина, и Хрущева и продолжают звучать сегодня, нередко прямо-таки курьезны. В. С. Черномырдин, который пять лет возглавлял правительство, подвел итог на страницах «Независимой газеты» (9 апреля 1998 года) так: «У нас есть историческая возможность создать систему, когда мы начнем выпускать конкурентоспособную продукцию... Чтобы костюм могли покупать не у Кардена, а у Петрова Ивана Ивановича. Вот основу этого мы и создали».

Должен признаться, что подобные суждения людей, занимающих столь высокие посты, меня даже пугают. Казалось бы, ясно, что явления типа «Карден» или «Диор» — плоды вековой и специфической *французской* деятельности, с которой в данной сфере не может соперничать *ни одна* страна мира. И, между прочим, в такого рода заявлениях нет ничего нового: лет тридцать назад, помню, официально утверждалось, что «Советское шампанское» превзошло по всем показателям то вино, которое с XVII века производят в провинции Шампань...

Конечно, это только отдельные примеры, над которыми вроде бы достаточно поиронизировать. Однако за ними — что очевидно из черномырдинского интервью — мыслится «система», «основу» которой, оказывается, «мы создали»...

² Уточнение, в сущности, излишнее, так как в *любой* стране ныне сочетаются элементы и рыночной, и государственной экономики. (Примеч. автора.)

³ Гайдар Е. Т. Сочинения в двух томах. Т. I. М., 1997, стр. 11.

Как уже говорилось, Александр Паникин признает громадную роль государства в тысячелетнем бытии России, но в то же время усматривает своего рода предел мечтаний в «экономике, существующей независимо от государства», — притом эта независимость распространяется, конечно, и на производителей, и на потребителей. Так, если отечественный товар стоит дороже, чем аналогичный зарубежный, ничто не должно мешать приобрести второй вместо первого.

Но поскольку в стоимость любого отечественного товара входят в конечном счете все те *сверхзатраты*, о которых шла речь выше и которые в принципе неустранимы, перспектива предстает в полном смысле слова тупиковая. Мне возразят, что те или иные отечественные товары все же продаются сейчас и на мировом рынке (почти исключительно сырье), и на внутреннем (соперничая с импортными) и, значит, отечественные промышленность (включая легкую) и сельское хозяйство все же конкурентоспособны.

Однако есть все основания утверждать, что эта конкуренция возможна только в силу чрезвычайно низкой *заработной платы* тех, кто непосредственно добывает нефть или выращивает хлеб (об ее задержках уже и не приходится говорить). Сегодня⁴ «приличной» (о «неприличной» умолчу) считается заработная плата в 1000 — 1200 рублей, то есть 160 — 200 долларов, что с точки зрения Запада попросту смехотворно. Но если значительно повысить ее, отечественные товары окажутся заведомо неконкурентоспособными (то есть перед нами — *мнимая* конкурентоспособность).

В наличной ситуации явно невозможны ни заметный рост уровня жизни, ни существенное развитие отечественных промышленности (в том числе легкой) и сельского хозяйства. И для меня несомненно, что только всесторонний и предельно твердый, хотя в то же время и предельно гибкий *государственный протекционизм* — то есть мощная система «защиты» отечественной экономики — может спасти страну от прозябания и деградации.

Конечно, это утверждение вызовет недовольство у людей, желающих покупать зарубежные товары по тем ценам, которые определяются гораздо более благоприятными, чем в России, условиями. Но люди могут и должны понять, что их благосостояние *в перспективе* полностью зависит от благосостояния страны в целом...

И в заключение еще раз скажу, что тот «идеализм», о котором так много и горючо говорится в сочинении Александра Паникина, порожден в конечном счете именно исключительной ролью государства в России. Мне, вполне вероятно, возразят, что «идеализм» порожден православием. Не буду с этим спорить, а только напомню, что православие в течение более чем девяти столетий было (в отличие от западного христианства) *государственной* религией, и вполне закономерна нынешняя тенденция (многими авторами осуждаемая) к возрождению этого его статуса.

Вадим КОЖИНОВ.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ — «АГЕНТ ВЛИЯНИЯ»

Текст и подтекст в переписке Горького со Сталиным

Согласно собственному признанию писателя, за свою жизнь он написал примерно двадцать тысяч писем. Они составят 24 тома эпистолярной серии Полного академического собрания сочинений, издаваемого ИМЛИ. Три первых тома, охватывающие письма начиная с 1888 года, вышли из печати.

К настоящему времени четыре тысячи опубликованных в разных изданиях писем (включая и «Новый мир») дополняются очень важными текстами, которые

⁴ Написано до августа 1998 года.

долгое время оставались недоступными исследователям. Особый интерес представляют письма к видным политическим деятелям, таким, как Зиновьев, Каменев, и другим. И конечно же к Сталину.

Внимание читателя не могут не привлечь подборки в «Новом мире» (1997, № 9; 1998, № 9), озаглавленные «„Жму Вашу руку, дорогой товарищ“. Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина». Публикация, подготовка текста, вступление и комментарии Т. Дубинской-Джалиловой и А. Чернева. Из Архива Президента на сей раз извлечены письма 1929 — 1931 и 1932 — 1933 годов.

Прежде чем характеризовать меру научной новизны публикуемых текстов и характер их комментирования, одно соображение, касающееся истории самой публикации. Читателя извещают о том, что редакции «Нового мира» предоставляется «исключительное право» обнародования писем Горького и Сталина. Кем предоставляется — неизвестно. Важнее, однако, другое. Подписчик, получивший девятый номер за 1997 год, без особого труда мог вспомнить, что где-то уже читал некоторые из писем, предлагаемых журналом. И вправду, пять из девяти горьковских писем уже увидели свет в «Литературной газете» 27 августа того же года.

Могут не без резона заметить, впрочем, что редакция журнала при всем желании не успела бы сослаться на публикацию известного горьковед И. Вайнберга в «Литературной газете». Однако и он был не первым публикатором писем Горького от 17 ноября и 2 декабря 1930 года. Их напечатала еще 18 апреля 1996 года газета «Российские вести», причем одним из двух публикаторов был... Анатолий Чернев, соавтор Т. Дубинской-Джалиловой по публикации в «Новом мире». В конечном счете получается, что из девяти писем Горького, опубликованных в журнале, впервые увидели свет только три (17 февраля 1930 и 12 ноября и 1 декабря 1931 года).

Первые сообщения о существовании переписки двух именитых персон, если не ошибаюсь, появились лет пять назад. Ясное дело, для многих они сразу явились лакомым кусочком, и претендентов на публикацию, очевидно, возникло немало. И. Вайнберг рассказывал мне, что готовит эту переписку для «Вопросов литературы». Как видим, в силу каких-то причин все сложилось иначе. Что касается меня, то, думаю, переписку надо было публиковать разом, в одном издании и — полностью.

Увы, этого не произошло. Вторая подборка в журнале появилась ровно год спустя. Но к этому времени, весной, вышел очередной, пятый том материалов и исследований «М. Горький. Неизданная переписка» («Наследие», 1998), а в нем публикация «Писатель и вождь (из истории взаимоотношений М. Горького и И. Сталина)». Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. В. Заики, Л. А. Спиридоновой, И. И. Вайнберга. Она включает горьковские письма Сталину с 12 ноября 1931 по 2 августа 1934 года (все шесть писем объединяет одна тема: попытка издания книги «Россия сегодня» и очерка о Сталине). Теперь уже том ИМЛИ дублирует журнал, публикуя три письма (12.11, 1.12.31 и 24.03.32), но зато вводит в оборот тексты еще трех (17.02, 20.02.32 и 2.08.34), которых нет в последней подборке «Нового мира».

Согласитесь, подобная расфокусированность действий затрудняет положение читателя, который захотел бы представить картину в полном объеме, в движении и уже на этом основании приходиться к тем или иным выводам.

Некоторые архивные материалы, впервые использованные публикаторами «Нового мира», дают существенный повод для дальнейших размышлений и обобщений. Остановлюсь подробнее на одном исключительно важном сюжете — над попытками создания книги о новой России.

Исходный момент: власть приняла предложение зарубежного издательства выпустить книгу о достижениях большевиков к 15-летию Октября, которая могла бы иметь большой пропагандистский эффект. Замысел осуществить не удалось, и Горький получил возможность уклониться от написания хвалебного очерка о Сталине, к чему он был расположен (хотя в этот период его отношения с вождем выглядели, пожалуй, наиболее благополучно).

Многое, однако, остается еще не проясненным. О существовании англо-американского издательства Рея Лонга и Р. Смита Горький почему-то узнал от М. Будберг. Выглядит это довольно странно. Кто такая Будберг? Человек при

Горьком. Секретарь-переводчица. В литературе — никто. Но именно ее отыскивают издатели. И именно ей предлагают первоначально сделать переводы нескольких книг об успехах в отдельных сферах социалистического строительства.

Горький одобряет идею серии. Только после этого делают второй шаг — как бы в развитие первого: предлагают выпустить книгу «Россия сегодня» («Правда о России»), в которой предполагается участие самого Сталина с рассказом о своей деятельности, а очерк о нем, в качестве предисловия, написал бы Горький.

Писатель не без настороженности отнесся к предложению издателей и уже по поводу первой идеи (серии книг) писал Крючкову, что шуметь об этом деле не следует. Как оказалось, осторожность была оправданной, так как Рей Лонг вскоре, 4 марта 1932 года, поторопится отправить ему договор (уже не на серию, а на «сборник») и, не дожидаясь подписания, аванс в 2500 долларов. Так сказать, дополнительно стимулируя авторскую заинтересованность в выполнении выгодного заказа...

В качестве переводчика выступает все та же Будберг, которая не забыла сообщить Горькому, что 500 долларов причитаются ей.

Горький сильно колебался по поводу целесообразности своего участия в книге и уже хотел вернуть чек, как вмешалась вездесущая Будберг. Она выступила в роли ни более ни менее как завязанного дипломата, предостерегая именитого писателя против опрометчивого шага. Нет, вовсе не потому, что лишалась выгодного контракта, а из куда более важных соображений — ну прямо-таки государственного масштаба. Отказ «будет иметь влияние на решение конгресса по вопросу о признании России Америкой» (С п и р и д о н о в а Л. Горький: диалог с историей. М., «Наследие» — «Наука», 1994, стр. 248).

Установление дипломатических отношений между двумя державами зависит от куда более существенных социально-экономических причин, чем выход сборника очерков об одной из сторон. Влияние Будберг на Горького в эту пору, когда дело шло к их окончательному расставанию (чего Горький не хотел), было, однако, весьма сильно, и попытку начать работу над очерком он все же сделал. Выдавил из себя какие-то строки о Сталине, но дальше общих сведений о Грузии, ее истории и природе дело не продвинулось. Имя Сталина в этом начальном фрагменте даже не упоминается.

Вся затея с книгой кончилась довольно быстро. С определенного момента события стали разворачиваться стремительно и совершенно непредсказуемо.

3 марта 1932 года. Крючков сообщает Горькому, что разговоривал о книге со Сталиным по телефону. Тот дает свое согласие на участие в ней, и вопрос только в сроках и составе участников. В тот же день Политбюро ЦК ВКП(б) выносит постановление: «...а) Принять предложение Горького насчет подготовки сборника статей о достижениях СССР для американского издательства Лонга...» (Архив Президента РФ — «Новый мир», 1997, № 9, стр. 192).

4 марта. «Нью-Йорк таймс» публикует сообщение Лонга о том, что «Сталин пишет книгу о России. Впервые она будет опубликована здесь с предисловием Горького» (С п и р и д о н о в а Л. Диалог с историей, стр. 248). «Судя по переписке, Сталин был недоволен рекламой книги» (там же, стр. 249).

Что же именно вызвало недовольство вождя? Теперь мы получаем возможность ответить на этот вопрос.

4 марта (тот же день). Другая газета, «Ивнинг стандарт», посвящает книге еще одну информацию, которая звучит несколько иначе: в книге Сталин якобы «описывает свою биографию, разъясняет свои отношения с Лениным и Троцким... а также откровенно высказывает, как СССР относится к Великобритании, Соединенным Штатам и Японии» («Новый мир», 1997, № 9, стр. 192).

14 марта. Спустя всего десять дней Политбюро принимает новое решение, отменяющее прежнее: «Ввиду попыток со стороны Р. Лонга исказить характер договора с т. Горьким об издании сборника в целях политической спекуляции и ввиду того, что нет гарантии, что не будет выкинут Лонгом новый трюк, преследующий те же цели политической спекуляции (см. сообщение „Ивнинг стандарт“), отклонить предложение Лонга, предложить т. Горькому мотивировать отказ со ссылкой на невозможность выполнить предполагаемый договор в срок, ввиду занятости товарищей» (Архив Президента РФ — «Новый мир», 1997, № 9, стр. 192).

Все понятно: только еще не хватало Сталину ворошить недавнее прошлое и давать повод высланному на Запад Троцкому, врожденному полемисту, для разоблачения сталинской политики и выпадов против Вождя лично! А уклониться в своей статье от проблемы Троцкого он теперь, разумеется, уже бы не смог...

Наверное, Сталин не без сожаления пошел на решение Политбюро от 14 марта. Отказ от книги означал и невыход горьковского очерка о нем (а очерк Горького о нем был, возможно, и поважней самой книги). Но вождь резонно полагал, что, вынужденно отказавшись от одного, он вовсе не приносит окончательно в жертву другое. И как показал дальнейший ход событий, идея очерка продолжала нависать над Горьким, а Вождь совсем скоро предпримет в высшей степени неординарные шаги, которые решительно всех приведут в состояние полнейшего изумления. Но это, как говорится, уже другой сюжет...

Итак, книга не состоялась. Но теперь не только перед биографами Горького и Сталина встает задача: разобраться, что это было за издательство, когда и при каких обстоятельствах возникло, что выпустило... А главное — когда и с каким расчетом возникли у него контакты с Россией. Л. Спиридонова в разговоре со мной высказывала предположение, что, возможно, и родилось издательство в Америке не без участия советских спецслужб и скорее всего вся история с книгой, которая была призвана утвердить авторитет Сталина в глазах Запада, была инициирована в России. Вполне резонная гипотеза. Подтверждается она и посреднической ролью Будберг, сверхсекретного агента ОГПУ, пользовавшейся большим расположением Сталина, чему не раз свидетелями были родственники писателя.

Как видим, введение в оборот всего лишь нескольких новых архивных материалов, сопутствующих переписке Горького и Сталина, позволяют существенно конкретизировать те или иные эпизоды истории нашей литературы и общественной мысли.

Увы, не всегда публикаторы «Нового мира» осмысливают тексты писем Горького с достаточной основательностью и объективностью, попадая под власть стереотипов, ветшающих на наших глазах.

Авторы преамбулы в журнале приходят к однозначному выводу: «Уже тогда он (Горький. — В. Б.) выполнял сталинскую волю, был пропагандистом режима, его „агентом влияния“, как бы мы выразились теперь. Практически социалистическая идеология Горького слилась с набиравшим силу сталинизмом». Уже тогда, в 1929-м. Ну и, как говорится, далее везде...

Комментируя письмо Горького от 29 ноября 1929 года, публикаторы лишь в самых общих чертах характеризуют отношение Горького к Бухарину: «ценил его искренность, талант, ум, неоднократно предлагал его кандидатуру на различные ответственные посты в литературно-общественной жизни».

Горький не только предлагал, но упорно добивался и в ряде случаев добился для Бухарина высоких назначений, например редактором «Известий» с января 1934 года. Горький добился, чтобы именно Бухарин выступил с одним из основных докладов на первом писательском, учредительном съезде.

Подавляющее большинство делегатов съезда восторженно встретило доклад Бухарина. Это было сверхприятной неожиданностью. Но только не для Горького: доклад его единомышленника и друга полностью отвечал представлениям Горького о направлении развития искусства. А назначен Бухарин докладчиком был вопреки сопротивлению Сталина. «Горький изнасиловал» — такое сенсационное признание диктатора засвидетельствовано И. Гронским, сталинским ставленником, одно время являвшимся председателем Оргкомитета съезда. Он же говорит, что Сталин в эту пору часто уступал Горькому, даже если был с ним не согласен. Горькому Бухарин был дорог как представитель «либерального» крыла в партийном руководстве, препятствовавшего укреплению сталинского единовластия.

Выйдем на минуту за рамки эпистолярного наследия Горького и вспомним некоторые важнейшие его публицистические выступления осени 1929 года. В сентябре в «Известиях» была опубликована статья «О трате энергии», направленная против развернувшейся по команде сверху травли Б. Пильняка в связи с публикацией повести «Красное дерево» за рубежом. Горький был единственным из литераторов, безоговорочно вставшим на его защиту.

У горьковской статьи нашлись и добровольные яростные противники — рапповцы, рьяные проводники партийной линии в искусстве. Осудила Горького и «Правда».

Что же Горький? Он пишет следом еще одну статью — «Все о том же». «Новый хозяин жизни недооценивает значение старой культуры, общечеловеческую ценность ее науки, искусства, мучительную работу ее мысли». «Я нахожу, — продолжает он, — что у нас чрезмерно злоупотребляют понятиями „классовый враг“, „контрреволюционер“ и что чаще всего это делают люди бездарные, люди сомнительной социальной ценности, авантюристы и „врачи“». Применительно к такому Горький употребляет словечко покрепче, чем «двуногий хлам»: «обозная сволочь».

Статья «Все о том же» по вполне понятным причинам была отвергнута и напечатана лишь в пору перестройки.

Подробнее обо всем этом и о многом другом, что характеризует позицию Горького, равно как и удивительно «гибкую» реакцию Сталина в интеллектуальном поединке с писателем, мне доводилось вести речь в книге «Горький без грима. Тайна смерти» (1996).

В письме Горького Сталину от 29.09.1929 года упоминается о пропаже его бумаг, связанных с поездкой на Соловки.

Вождю нужно было во что бы то ни стало вернуть Горького в Россию. И мимолетному и как бы даже случайному упоминанию о пропаже бумаг (а вместе с ними и письма самого вождя!) было уделено высочайшее внимание. По указанию Сталина на Соловки выслали специальную комиссию, которая пристрастно разобралась в ситуации на месте. В результате обнаруженных злоупотреблений лагерного начальства были предприняты решительные меры. Курилко, этот садист, издававшийся над заключенными и ярко описанный А. Солженицыным в «Архипелаге», а вместе с ним и еще несколько подчиненных были расстреляны.

Переписка Горького и Сталина — это вовсе не только обмен информацией или прямое выражение чувств. С писательской стороны ее подтекст содержит элемент полемики. Внешне все одобряя и приветствуя и отчетливо поняв, что с позиций прямого сопротивления ничего добиться невозможно, Горький в конце концов часто гнул свою линию. Да, конечно, он за «высшую меру» «вредителям». Но лучше все же оставить «негодяев» на земле — «но в строгой изоляции». Ну а сам процесс над ними «п о с т а в л е н» «замечательно, даже гениально».

Позвольте, о чем речь? — спросит читатель. О премьере спектакля или о «полной гибели всерьез»?

Ну разве не звучит плохо скрытая насмешка по поводу шпиономании, столь характерной для сталинского тоталитаризма: авантюристы охотятся за Сталиным и Ягодой: «Гуляют люди с бомбами по Лубянской площади с утра до вечера — и никто их не видит!» (17.XI.1930).

Всякий раз поддакивая Сталину, Горький выступает в добровольно принятом на себя в сталинском «театре» амплуа просителя. Не за себя, конечно. Например, за Мичурина по поводу скорейшего издания его трудов. За сына драматурга Тренева, заболевшего туберкулезом. За разрешение Вс. Иванову, А. Веселому (впоследствии репрессированному) поездки за рубеж. За назначение Карла Радека редактором журнала «За рубежом». В защиту М. Булгакова, пьесе которого «Дни Турбиных» критика приписала антисоветский характер...

И всякий раз Горькому приходится сначала прибегнуть к формуле-реверансу: «безоговорочно» соглашаться с мудрыми решениями и характеристиками великого вождя и тут же вносить смягчающе-амортизирующие формулировки.

В ряде случаев, впрочем, Горький не ограничивается частными просьбами, а в связи с ними высказывает не очень приятственные для начальственного уха соображения более широкого характера. Всячески способствуя публикации трудов Мичурина и тем самым стремясь к упрочению его научного авторитета, писатель с нескрываемой издевкой отзывается о переименовании Козлова в Мичуринск, называя подобную акцию «чепухой». Он еще не знает, какой поток переименований низвергнется вскоре на жителей городов, поселков, деревень... И уж тем более не может предположить, что всего лишь по прошествии каких-то двух лет его родной

Нижний Новгород тоже потеряет свое славное историческое наименование и превратится в город Горький.

«Агент влияния», уже не обращая ни к какому подтексту, напрямую и весьма решительно возражает против вторжения в литературно-издательские дела политиков. Когда зашла речь об издании материалов по «Истории гражданской войны», Горький с нескрываемым раздражением пишет: «...невозможно, чтобы генеральный секретарь партии и наркомы... подписывали как редактора какие-то чертовы альманахи».

Как уже говорилось, публикация ограничивается 1933 годом. Не мешало бы, однако, при этом иметь в виду, чем переписка кончилась, какова финальная стадия отношений политика и писателя. Каким гневом проникнуто, к примеру, письмо Горького вождю, посланное в марте 1936 года, за три месяца до смерти, — письмо в защиту самого талантливого композитора современности Д. Шостаковича, которого травят бездарности и тупицы. И это о компании, развязанной правдинской статьёй «Сумбур вместо музыки», появившейся с благословения самого Сталина.

Как все это согласовать с безоговорочным утверждением Т. Дубинской-Джалиловой и А. Чернева: «Ежели что-то в сталинской политике его и смущало (?), то он не давал этому смущению хода». Пример же с Шостаковичем — лишь один из множества возможных, которые в совокупности образуют последовательную систему горьковского поведения. Смысл его — нарастающее скрытое от поверхностного взгляда сопротивление сталинскому диктату, реализация своей линии в области культуры с опорой на таких политиков, как Киров, Бухарин, Каменев, Радек, журналист М. Кольцов, и другие.

Горький ценил возможность напрямую, минуя разросшийся бюрократический аппарат, обращаться к человеку, сосредоточившему в своих руках всю полноту власти. А для этого с «дорогим товарищем» надо было поддерживать соответствующие отношения.

Он искренне полагал, что в партии и вне ее найдутся силы, которые смогут повлиять на Сталина, взывая к его разуму и нейтрализуя деспотические склонности его характера. Таким путем можно будет на демократической основе организовать главную революцию, способную преобразить облик страны в глазах всего мира, — революцию культурную, без выстрелов и крови.

Он жестоко ошибся. В стране главной стала другая революция — кадровая. И всем хорошо известно, к каким колоссальным жертвам привело державу сталинское беззаконие. Одной из жертв стал и сам писатель. И об этом не следует забывать, обращаясь к документам, характеризующим в той или иной степени истоки этих сложнейших процессов.

Вадим БАРАНОВ.

Предоставляя возможность критического высказывания двум литераторам, которых трудно назвать нашими единомышленниками, мы тем самым отчасти обозначаем новую функцию традиционной новомирской рубрики «Из редакционной почты». А именно — демонстрируем готовность расширить дискуссионное пространство на страницах журнала, при одновременном и совершенно необходимом сохранении чувства собственной новомирской идентичности.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Анатолий Азольский. «Клетка» и другие повести. М., «Грантъ», 1998, 720 стр., 1000 экз.

Кроме повести «Клетка» (впервые опубликована в «Новом мире», 1996, № 5, 6; получила Букеровскую премию 1997 года) в книгу вошли повести «Женитьба по-балтийски», «Нора», «Розыски абсолюта», «Облдрамтеатр», «Окурки», «Война на море».

Андрей Белый. Крылатая душа. Стихотворения. Поэма. Составитель И. А. Курамжина. М., «Летопись», 1998, 570 стр., 10 000 экз.

А. Г. Битов. Обоснованная ревность. Повести. Предисловие И. Роднянской. М., «Панорама», 1998, 496 стр., 10 000 экз.

В книгу вошли повести 60 — 80-х годов: «Бездельник», «Сад», «Жизнь в ветреную погоду», «Образ», «Глухая улица», «Лес», «Обоснованная ревность», «Похороны доктора», «Вкус», «Человек в пейзаже», «Фотография Пушкина».

Николай Болдырев. Упавшее небо. Новеллы, истории, лирические и иные фантазии. Челябинск, «Урал LTD», 1998, 336 стр., 5000 экз.

После книги стихов «Медленное море» (1995) и сборника эссе «Ностальгия по пейзажу» (1996) уральский поэт и эссеист выпустил книгу прозы.

Брантом. Галантные дамы. Переводы с французского И. Я. Волевич, Г. Р. Зангера, П. Б. Васнецова. Общая редакция, вступительная статья и комментарии А. Д. Михайлова. М., «Республика», 1998, 463 стр., 5000 экз.

Размышления о нравах и об интимных сторонах жизни современного ему общества известного писателя эпохи Возрождения аббата де Брантома (Пьера де Бурдея; 1540 — 1614).

Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., «Вагриус», 1998, 574 стр., 15 000 экз.

Книга лирико-публицистических автобиографических новелл. Основной сюжет — поэт (я) и общество.

Николай Заболоцкий. Меркнут знаки Зодиака. Стихотворения. Поэмы. Проза. Составитель И. Ростовцева. М., «ЭКСМО-Пресс», 1998, 480 стр., 15 000 экз.

Философская лирика поэта, дополненная «шуточными стихотворениями, автобиографической прозой и, в частности, человеческим документом о пережитом — „Историей моего заключения“... Кроме того, в состав сборника включены... воспоминания писателей И. Синельникова, В. Каверина, А. Сергеева и сына поэта Никиты Заболоцкого» (от составителя).

Даур Зантария. Золотое колесо. Роман. М., 1998, 230 стр., 1000 экз.

Роман современного абхазского писателя, первая публикация — в журнале «Знамя» (1997, № 3, 4).

Франц Кафка. Дневники. Перевод с немецкого Е. А. Кацевой. М., «Аграф», 1998, 446 стр., 5000 экз.

Первое полное издание в России дневников Кафки.

И. Котляревский. Энеида. Поэма. Перевод с украинского и модернизация А. Кондратенко. Ростов-на-Дону, Ростиздат, 1998, 144 стр., 1000 экз.

Григорий Кружков. Бумеранг. Третья книга стихов. М., «АРГО-РИСК», 1998, 62 стр.

Д. Леопарди. Стих итальянский напоен слезами. Стихотворения. Перевод с итальянского, составители Д. Джелли Муреду, А. Б. Махов. Вступительное слово Ю. М. Лужкова. М., «Летопись», 1998, 220 стр., 15 000 экз.

Лео Перуц. «Шведский всадник» и другие магические романы. Перевод с немецкого К. К. Белокурова, И. Б. Мандельштама. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 1998, 656 стр., 3000 экз.

Лео (Леопольд) Перуц (1882 — 1957) — известный австрийский писатель-экспрессионист. Кроме «Шведского всадника» в книгу вошли романы «Прыжок в неизвестное», «Мастер Страшного суда», «Маркиз де Болибар». В «Послесловии» — очерк О. Мичковского и Е. Маркиной «О ком молчал Лео Перуц», справки о переводчиках Исае Бенедиктовиче Мандельштаме (1885 — 1954) и Константине Константиновиче Белокурове (1936 — 1995).

Р. М. Рильке. Избранная лирика. Перевод с немецкого, французского М. Пикель. Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1998, 510 стр., 2000 экз.

Антон Уткин. Хоровод. М., «Грантъ», 1998, 576 стр., 3000 экз.

Книжное издание романа молодого писателя, впервые опубликованного в «Новом мире» (1996, № 9, 10, 11) и вошедшего в шорт-лист Букеровской премии 1997 года.

Галина Щербакова. Отчаянная осень. Роман. Повести. Рассказы. М., «ЭКСМО-Пресс», 1998, 508 стр., 10 000 экз.



Аппиан Александрийский. Римская история. Ответственный редактор Е. С. Голубцова. Статья И. Л. Маяк. Комментарии А. С. Балахванцева. М., «Наука», 1998, 726 стр., 1000 экз.

Виталий Амурский. Запечатленные голоса. Парижские беседы с русскими писателями и поэтами. М., Издательство «МИК», 1998, 168 стр., 3000 экз.

Интервьюер — сотрудник Международного французского радио. Среди его собеседников — Бродский, Битов, Рейн, Окуджава, Маканин, Кушнер, Залыгин, Евгений Попов.

В. Е. Баглай. Ацтеки. История, экономика, социально-политический строй (ДокOLONИАЛЬНЫЙ период). М., «Восточная литература», РАН, 1998, 432 стр., 1000 экз.

Первая в отечественной историографии работа, всесторонне описывающая одну из трех древнейших цивилизаций Америки.

В. В. Бибихин. Новый ренессанс. М., МАИК «Наука», «Прогресс-Традиция», 1998, 496 стр., 3000 экз.

Новая работа известного философа. «В книге проверяется предположение, что наше время можно считать небывалым сдвигом и порогом непредставимой исторической эпохи. Прослеживаются ступени решающего восстания против исторической судьбы в раннем итальянском Ренессансе. Критически оцениваются его типичные характеристики, рассматриваются определяющие фигуры Данте, Петрарки, Леонардо да Винчи, Макиавелли, Гвичардини» (из аннотации).

Вальтер Бимель. Мартин Хайдеггер, сам свидетельствующий о себе и своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Перевод с немецкого Александра Верникова. Челябинск, «Урал LTD», 1998, 284 стр., 10 000 экз.

Выходившая в немецкой книжной серии «Биографические ландшафты» монография ученика Хайдеггера. Основное внимание автор сосредоточивает не столько на истории жизни философа, сколько на содержании его идей.

Ю. Н. Давыдов. Макс Вебер и современная теоретическая социология. Актуальные проблемы веберовского социологического учения. М., «Мартис», 1998, 510 стр.

И. Золотусский. Гоголь. 3-е издание, исправленное, дополненное. М., «Молодая гвардия», 1998, 486 стр., 5000 экз.

Переиздание известной монографии.

И. Кант. Критика разума. Перевод Н. О. Лосского с вариантами перевода на русский и европейские языки. М., «Наука», 1998, 656 стр., 1030 экз.

В. Ф. Клементьев. В большевицкой Москве (1918 — 1920). М., «Русский путь», 1998, 448 стр., 2000 экз.

Мемуары белого офицера — ветерана Первой мировой войны, ставшего соратником Бориса Савинкова, с 1918 по 1920 год — заключенного в московских тюрьмах,

ушедшего затем в Польшу, а после Второй мировой войны эмигрировавшего в США. В книге описывается «московский период его жизни».

Литературоведение на пороге XXI века. Материалы международной научной конференции (МГУ, май 1997). М., «РАНДЕВУ-АМ», 1998, 501 стр., 500 экз.

Сборник представляет более восьмидесяти докладов, сделанных на конференции литературоведами из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Болгарии, Польши, Германии, США и других стран. Тематический разброс — от общетеоретических проблем до творчества конкретных писателей, то есть обо всем.

Н. О. Лосский. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., «Прогресс-Традиция», 1998, 416 стр., 5000 экз.

Иван Солоневич. Народная монархия. Минск, «Лучи Софии», 1998, 504 стр., 4500 экз.

Итоговая книга известного в русской эмиграции публициста-консерватора и монархиста Ивана Лукьяновича Солоневича (1891 — 1954).

Томас Макловски, Мэри Кляйн, Александр Шуплов. Жаргон-энциклопедия московской тусовки. Лондон, Москва, 1997, 320 стр., 10 000 экз.

Как бы научный по форме и постмодернистский по содержанию словарь современного городского (отчасти — интеллигентского, отчасти — блатного) сленга. В словарных статьях отсутствует необходимый переход из одного языкового ряда в другой: «ВАРИТЬ — заниматься бизнесом по принципу: девушке весло, а тебе хрен в ГРЫЗЛО».

Рудольф Нуриев. Автобиография. Перевод с английского. М., «Аграф», 1998, 240 стр., 5000 экз.

Первое издание в России воспоминаний знаменитого танцовщика, надиктованных им вскоре после того, как он попросил политическое убежище во Франции в 1961 году. Перевод сделан по лондонскому изданию 1962 года.

Мария Рива. Моя мать Марлен Дитрих. В 2-х томах. СПб., «Лимбус-Пресс», 1998, 5000 экз. Том 1 — 448 стр. Том 2 — 400 стр.

Биография знаменитой актрисы, написанная ее дочерью в форме романа-воспоминания и считающаяся самой скандальной книгой о Марлен Дитрих.

Г. Риккерт. Науки о природе и науки о культуре. Перевод с немецкого, общая редакция, предисловие А. Ф. Зотова. Составители А. П. Полякова, М. М. Беляева. Подготовка текста, примечание Р. К. Медведевой. М., «Республика», 1998, 414 стр., 4000 экз.

Петер П. Роде. Сёрен Киркегор, сам свидетельствующий о себе и своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Перевод с немецкого и послесловие Николая Болдырева. Челябинск, «Урал LTD», 1998, 430 стр., 10 000 экз.

Первая на русском языке биография датского философа. Основной текст книги полностью соответствует жанру немецкой книжной серии 50 — 90-х годов, в которой она первоначально вышла, — «Биографические ландшафты». В «Приложении» — фрагменты работ Киркегора и главы из книги Льва Шестова «Киркегард и экзистенциальная философия».

Письма во власть. 1917 — 1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям. Составители А. Я. Лившиц, И. Б. Орлов. М., «РОССПЭН», 1998, 664 стр., 1500 экз.

Д. В. Сарабьянов. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., «Искусствознание», 1998, 432 стр.

Статьи, ранее публиковавшиеся в периодике, и статьи, специально написанные для этой книги, представляют размышления одного из ведущих отечественных искусствоведов о русской живописи на материале творчества Васнецова, Ге, Фалька, Кузнецова, Кандинского, Малевича, Филонова и других. Автор пытается выявить и проанализировать «внутренние глубинные национальные традиции русского искусства и в целом культуры, скрытые от внешнего взгляда, но способные проявляться на каком-либо из исторических отрезков подчас помимо воли художника и в условиях, весьма далеких от тех, в которых эти традиции складывались».

Герхард Шульц. Новалис, сам свидетельствующий о себе и своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Перевод с немецкого Марка Бента. Челябинск, «Урал LTD», 1998, 326 стр., 10 000 экз.

Перевод современной биографии Фридриха фон Гарденберга (1772 — 1801), широко известного по псевдониму Новалис. В «Приложении» представлены «Афоризмы и фрагменты» Новалиса (перевод Н. Болдырева) и послесловие Н. Болдырева «Жизнь как сновидение».

Составитель Сергей КОСТЫРКО.

ПЕРИОДИКА



«Волга», «Вопросы литературы», «Время МН», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя», «Известия», «Коммерсант-Daily», «Контекст-9», «Кулиса НГ», «Литературная газета», «Литературная учеба», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ-Наука», «Нева», «Независимая газета», «Новая Юность», «Октябрь», «Русская мысль», «Русский Телеграф», «Цифровой жук», «Юность»

Николай Александров. Философия «норы», или Андеграунд по Азольскому. Избранное лауреата Букера-97. — «Ex libris НГ», 1998, № 32, август.

О сборнике прозаических произведений Анатолия Азольского «„Клетка“ и другие повести» (М., «Грантъ», 1998, 720 стр.). В частности: «Из наиболее выразительных повестей Азольского („Нора“, „Клетка“, „Облдрамтеатр“) самой удачной и самой показательной для художественного мира и мировидения писателя (и самой личной, заметим в скобках) можно считать именно „Нору“». Здесь проявилась философия андеграунда по Азольскому (сравнивать эту вещь с маканинским „Андеграундом“ вообще любопытно). Это апофеоз „подпольного“ существования, соединенный с ротшильдовской идеей „Подростка“ Достоевского, но без рефлексии, самолюбования и обсасывания своих страданий (чего у Маканина предостаточно). „Нора“ („нора“) — это способ спасения от тошнотворных советских законов, это магический круг, ограждающий свободную человеческую индивидуальность, „отдельность“ от стадности и насилия, это опыт выживания, в конце концов».

Леонид Андреев в воспоминаниях современников. Публикация, научная подготовка, вступительная статья и примечания В. А. Александрова. — «Литературная учеба», 1998, № 3, май — июнь.

В подборку входят мемуарный очерк литературного критика Т. Я. Ганжулевич (1880 — 1936) «О Л. Н. Андрееве» (1929; публикуется впервые) и воспоминания М. К. Иорданской (1881 — 1966) «Эмиграция и смерть Леонида Андреева» (1920; в России публикуется впервые).

Сергей Антоненко. Пост-постмодерн? — «Москва», 1998, № 8.

О романах Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» и Милорада Павича «Хазарский словарь». Пелевину не дали «Букера», а Павичу — Нобелевскую премию, на которую он давно уже выдвинут. «Эпоха постмодерна стала своеобразным постскриптумом, Р. С., „после-написанным“, в культуре Нового времени. Но „прибавление“ было запечатано в то же письмо. Похоже, что сегодня дописывается Р. Р. S. этого послания, постскриптум к постмодерну, пост-постмодерн».

О «Чапаеве и Пустоте» см. рецензию Ирины Роднянской («Новый мир», 1996, № 9); о «Хазарском словаре» — рецензию Игоря Кузнецова («Новый мир», 1997, № 11).

Юрий Архипов. Мафусаил немецкой словесности. — «Москва», 1998, № 8.

Отклик на смерть скончавшегося на сто третьем году жизни «последнего немецкого хрестоматийного писателя и мыслителя» Эрнста Юнгера, писателя уникального долголетия, на целых двадцать лет превзошедшего рекорд Гёте.

Октябрь Бар-Бирюков. Расстрелянный Буревестник. Документальная повесть. — «Знамя», 1998, № 7.

Апология мятежного капитана Валерия Саблина (антибрежневский бунт 1975 года на большом противолодочном корабле «Сторожевой»), требование полной его (посмертной) реабилитации, «с учетом перемен, происшедших в стране». Можно заметить, что именно с учетом этих перемен «знамя грядущей коммунистической революции», поднятое Саблиным, ничуть не привлекательнее брежневского бюрократического застоя. И уже безотносительно личности коммунистического романтика Саблина и его намерений хотел бы я посмотреть на того, кто в наши дни осмелится официально подтвердить, что воинский мятеж больше не преступление. Автор повести — кадровый морской офицер.

Владимир Березин. Свидетель. Роман. — «Знамя», 1998, № 7.

Герой-повествователь проходит «свидетелем» сквозь войну и мир наших дней. Любовь и смерть. Мария Ремизова («Независимая газета», 1998, № 162, 3 сентября) считает роман Березина в своем роде показательным, вобравшим в себя характернейшие черты современного письма: «Современный герой, увы, разучился страдать».

См. также рассказы Владимира Березина «Кормление старого кота» в «Новом мире» (1995, № 7).

Александр Бирюков. Князь и пролетарский писатель. — «Кулиса НГ», 1998, № 14, сентябрь.

Максим Горький и Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, вернувшийся из эмиграции в советскую Россию в 1932 году. История отношений.

Леонид Бородин. Лютик — цветок желтый. Рассказ. — «Москва», 1998, № 8.

Детство, юность. Девочка, девушка Лиза — Лютик. «Через пятнадцать лет после смерти Лютика эпоха завершилась катастрофой, но в моем сознании эти пятнадцать лет спрессовались в некую безвременную плотность, и теперь, когда глотну рюмку другую, утверждаю упрямо и категорично, что как только Лютик умерла, так все сразу и рухнуло, а все прочие причины вторичны, и кажется, что, думая так, просто легче выжить...»

Василь Быков. Рассказы. — «Дружба народов», 1998, № 8.

Новые рассказы известного прозаика: «Бедные люди» (перевод с белорусского Вл. Жиженко) и «Труба» (перевод автора).

О других рассказах Василя Быкова, ранее опубликованных в журнале «Дружба народов» (1997, № 11), см. рецензия Валерия Липневича в «Новом мире» (1998, № 4).

«Все тот же, русский и ничей...». Письма Бориса Григорьева к Евгению Замятину. Вступление, публикация и комментарии В. Н. Терехиной. — «Знамя», 1998, № 8.

Письма 1922 — 1932 годов известного художника Б. Д. Григорьева (1886 — 1939) к Замятину печатаются по рукописям, хранящимся в фондах ИМЛИ РАН и Бахметевского архива Колумбийского университета.

Александр Вяльцев. Люди из ущелий. Записки бродячего человека. — «Октябрь», 1998, № 8.

Отечественные хиппи в начале перестройки. С натуры.

Анатолий Гитерман. Майский балаган в четверке. — «Юность», 1998, № 8.

Документальная повесть об израильской военной тюрьме. Автору 21 год.

Сергей Городников. Россия в поисках героя. — «Москва», 1998, № 8.

«Как только в России усиливались демократические веяния, общественный интерес устойчиво обращался к допетровской истории московской государственности, к Киевской Руси, с одной стороны, и с другой — к истории вольнолюбивого казачества. Можно не сомневаться, что ярчайшим и массово-потребительским направлением новой русской романтики станут герои этих эпох. В частности, мифологизированная история казачества и герой-казак станут столь же популярны и нарицательны, как были в США ковбой и герой вестерна...»

Юрий Гурфинкель. Анастасия. — «Дружба народов», 1998, № 9.

Мемуарные записки об Анастасии Ивановне Цветаевой.

Ольга Давтян. Драматургия чуда. — «Ex libris НГ», 1998, № 33, август.

Кроме детектива, триллера, женского романа и др. в разряд массовой литературы — по крайней мере в нашей стране — входят книги писателей-«целителей». То, как стабильно продается литература «целителей» на нестабильном русском книжном рынке, говорит, по мнению критика, о том, что образовалась очень большая группа населения, находящаяся в состоянии фрустрации. Книги «целителей» не обязательно покупаются

ради следования их советам, само чтение книги удовлетворяет определенные психологические потребности. За этим следует не изменение образа жизни, а покупка новой книги.

Олег Дарк. Руководства по эксплуатации действительности. — «Ех libris НГ», 1998, № 31, август.

Любопытные наблюдения над жанром современного русского «женского детектива»: «Убийство в „женском детективе“ становится крайним и одновременно обобщенным выражением всех вообще неприятностей, случившихся и возможных, которые нарушают приятный нам образ жизни. На них женщина, ушедшая в следовательницы (или в писательницы), как в ведьмы, знает только один ответ: самой стать воплощенной неприятностью».

Владимир Дудинцев. Мы до сих пор живем на ярмарке тщеславия. Предисловие Юрия Данилина. — «Литературная газета», 1998, № 32-33, 12 августа.

Из бесед разных лет. «Персоны, подобные Лысенко, — вечная судьба не только нашего общества, а всего человечества».

Елена Елагина. На гребне мифа. — «Ех libris НГ», 1998, № 32, август.

Беседа с питерским прозаиком и новомирским автором Александром Мелиховым — о его участии в симпозиуме (Зальцау, Германия), посвященном восточноевропейским литературам, в том числе и российской. Писатель считает, что для литературы, для развития искусства нужен человек фантазирующий, а не человек прагматический, и в этом смысле Россия является одной из самых благоприятных для писателя стран.

Георгий Жуков: в октябре 1941 года Сталин хотел мира с Германией. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 160, 1 сентября.

Не публиковавшаяся ранее беседа военного историка Виктора Анфилова с Георгием Жуковым (материал подготовил Юрий Рубцов). Люди и обстоятельства. Интересные, хотя уже и не сенсационные подробности.

Григорий Заславский. Жизнь в розовом цвете. — «Независимая газета», 1998, № 153, 21 августа.

К 85-летию Виктора Розова. Наблюдения над поэтикой. В частности — выразительные переключки с Чеховым. Но: «...много „заимствую“ у Чехова, Розов отказался от главного — он не стал заимствовать подтексты, обошелся без пауз, „межфабульного пространства“. Он как будто боится даже недоговоренности и все договаривает до конца. На все вопросы следуют ответы исчерпывающие и прямые». Подростковая прямолинейность драматурга: «только через такие „розовые очки“ все можно увидеть в таком черно-белом свете». Впрочем, считает критик, Розов все равно вошел бы в историю, останься он автором единственной пьесы — «Вечно живые».

Сергей Земляной. Писательская карьера. Интеллектуальная хохлушка как сексуально-литературный тип. — «Независимая газета», 1998, № 146, 12 августа.

По прочтении «нового украинского» романа Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса» («Дружба народов», 1998, № 3) рецензент приходит к неутешительному выводу, что во всех несчастьях хохлушки Оксаны «виноваты москали, кацапы — насильники и мужеложцы».

См. также рецензию Андрея Окары «Прогулки с Шевченко» («Ех libris НГ», 1998, № 31, август) на непривычную для традиционного шевченковедения книгу Оксаны Забужко «Шевченків міф України» (Киев, 1997).

Михаил Золотоносов. Хроника спячки. Игорь Дедков и «годы великого перерыва». — «Московские новости», 1998, № 31, 9 — 16 августа.

Читая дневники литературного критика Игоря Александровича Дедкова (1934 — 1995), публиковавшиеся в «Новом мире» (1996, № 4, 5; 1998, № 5, 6), М. Золотоносов приходит к пессимистическому выводу, что «рисунок нашей демократии (идеологической, экономической) оказался целиком предопределенным ситуацией застоя, схваченной Дедковым в самых существенных деталях», и что «технология примирения с жизнью, преодоление отвращения к ней снова актуальны».

Михаил Золотоносов. Милый, милый Бармалей... К 50-летию смерти тов. Жданова. О его жизни, смерти и значении для советской культуры. — «Московские новости», 1998, № 33, 23 — 30 августа.

В докладах и документах тов. Жданова «есть своя логика, есть строго выдержанный метод, заимствованный у Писарева, есть, наконец, множество литературных аллюзий. Иначе говоря, мы имеем дело с погромом, который выполнен средствами, содержащимися в самой русской культуре...». Интересно, что «ждановский пример явно повлиял на «Автобиографические заметки» (1950) Бунина, выдержанные в том же писаревском

стиле и направленные против Горького, Блока, Маяковского, Хлебникова, Брюсова. Это типичный ждановский доклад, в котором обвинения направлены против все тех же декадентов и футуристов, которые именуются жуликами... Жданова, однако, ругают все, а Бунина — никто». Критик лукавит: из партийного доклада проистекали *административные меры* (хотя ни Ахматова, ни Зощенко арестованы не были), а из раздраженных заметок эмигранта Бунина по адресу уже умерших писателей ничего не проистекало.

Игорь Золотусский. Портрет максималиста. — «Кулиса НГ», 1998, № 14, сентябрь.

Портрет прозаика Георгия Владимова.

Леонид Зорин. Сюжеты. — «Знамя», 1998, № 8.

«Подруга (из дневников журналиста Б.)», «Жена (из записей следователя М.)», «Роман» — лаконичные прозаические «сюжеты».

Из варяг в греки. — «Новая Юность», № 31 (1998, № 4).

В тематическую подборку материалов входят предисловие Рустама Рахматуллина, эссе Александра Гаврилова «Письмо простодушного домоседливому другу», Андрея Балдина «Константиново здание», Владимира Микушевича «Вокруг Третьего Рима», а также отрывок из трактата «классика западной русофобии» Яна Кухажевского «От белого царизма к красному» (перевод с польского, предисловие и публикация Юрия Чайникова). Цитата из Микушевича: «Новый храм Христа Спасителя становится мистическим центром евразийского мегаполиса: вместо Третьего Рима строится второй Сингапур. Если президентство в РФ остается проблематичным и даже сомнительным, то во втором Сингапуре Юрий Лужков — бесспорный президент, чуть ли не император, и ему, действительно, нет смысла баллотироваться в президенты рассыпающегося российского пространства».

Александр Кабаков. День из жизни глупца. Маленький неоконченный роман. — «Знамя», 1998, № 7.

Риторический вопрос рассказчика: «все, что происходит с нами, от рождения и до смерти, с нами со всеми, — не день ли это из жизни глупца?». А все проще: пить надо меньше.

Владимир Казаков. Из книги «Продолжение воздуха». Публикация Т. П. Авальян. — «Волга», Саратов, 1998, № 8.

С 1966 до начала 90-х — несколько публикаций в нашей стране. В 70 — 80-е — четыре книги на Западе. В 1995 году — трехтомное собрание сочинений в московском издательстве «Гилея». В саратовской «Волге» наследие В. В. Казакова (1938 — 1988) публикуется с 1995 года.

Л. Колобаева. От временного к вечному. — «Вопросы литературы», 1998, № 3 (май — июнь).

«Феноменологический» роман в русской литературе XX века, а именно — «Жизнь Арсеньева» и «Доктор Живаго».

Геннадий Копылов. Локализация инженерных миров. Наука и инженерия самим фактом своего существования опровергают тезис о единстве мира. — «НГ-Наука», 1998, № 8, сентябрь.

Наука не есть зеркало природы и не обладает монополией на истину. Необходимость антисциентизма. Демифологизация естественных наук.

Григорий Кружков. «И улетаю прочь, и оставаясь...». Письма из Нью-Йорка. — «Дружба народов», 1998, № 8.

Америка. Переводы (из Льюиса Кэрролла, Ричарда Уилбера, Чарльза Зимика).

Александр Куприн. Рассказы. Публикация и послесловие Ольги Фигурновой. — «Юность», 1998, № 8.

«Родина», «Розовая жемчужина», «Веселые дни» и другие неизвестные рассказы Куприна (отдельное издание его прозы и публицистики 1919 — 1928 годов готовится в издательстве «Согласие»).

Диакон Андрей Кураев. Встреча моря и света. О фильме «Титаник» и пророке Ионе. — «Кулиса НГ», 1998, № 14, сентябрь.

«Самое поразительное, что я увидел в „Титанике“, — это наличие в нем прочной, хотя и почти не воспринимаемой религиозной нити». Священник, уверенно выступающий в роли киноcritика, эту «нить» вытаскивает и истолковывает на языке богословия, чтобы заключительные сцены «Титаника» не казались нам сентиментальным доведением к дорожному фильму-катастрофе.

Александр Курский. Трагедия отщепенства. Современные сюжеты в мифологическом интерьере. — «Волга», Саратов, 1998, № 8.

«Мифологический потенциал» И. Яркевича, Э. Лимонова, М. Веллера, Д. Галковского, С. Гандлевского.

Андрей Левкин. Крошка Tschaad. Повесть. — «Новая Юность», № 30 (1998, № 3).

О. П. Я. Чадаеве, в письмах к некоторым людям иногда подписывавшемся *Tschaad*. Без пиетета.

И. Г. Милославский. Низкие истины об унижающем обмане. — «Знамя», 1998, № 8.

Да, современный русский язык меняется, но изменяться — не обязательно означает портиться, считает автор статьи.

Александр Михайлов. Человек покоя. — «Ex libris НГ», 1998, № 31, август.

Беседа с интересным владимирским прозаиком Анатолием Гавриловым: «...как только я сажусь писать, то чувствую себя под знаком беды. Во мне бродят какие-то неприятные предчувствия, не покидает ощущение угрозы». И еще: «Я редко дочитываю что-то до конца. Так же, как и пишу — осколками какими-то».

О прозе Анатолия Гаврилова см. рецензию А. Василевского «Почтальон, или Песимизм» («Новый мир», 1998, № 8).

Ольга Морозова, Юлия Полякова. Почему Пушкина нельзя считать святым. — «Время МН». Ежедневная газета. 1998, № 43, 5 августа.

Губернатор Нижнего Новгорода Иван Скляров предложил Православной Церкви канонизировать Пушкина к 200-летию со дня рождения. Председатель комиссии по канонизации святых митрополит Ювеналий так прокомментировал инициативу губернатора: «Политик, называющий себя православным, должен знать, что вносить предложения о канонизации — прерогатива только священнослужителей».

Анатолий Найман. «Если звучит без меня в городе имя мое». Фотостихотворение Михаила Лемхина об Иосифе Бродском. — «Время МН», 1998, № 61, 31 августа.

В книге фотографа Михаила Лемхина «Иосиф Бродский. Ленинград. Фрагменты» (New York, «Farrar, Straus and Giroux») 186 черно-белых снимков, из них 57 — портреты Бродского, «не считая связанных с ним мест в Ленинграде, домов, улиц, окон, подъездов, сигареты в его руке, повисшей над лежащими на столе его очками». Предисловие написал Чеслав Милош, послесловие — Сюзан Зонтаг. По мнению Наймана, «сколь-то выпадают из общего курса книги линии, условно говоря, — „разоблачительная“ (поэт — и тюрьма, поэт и лозунг „Слава Советскому Союзу“, дети на скамейке — и зловещий „Большой дом“); „назидательная“ (вывеска „Отдел организации строительства“ на керамике под античную, поэт, „глядящий“ на племя младое); и „прямолинейная“ (открытые рты Медузы — и Бродского, ангел с крестом — и задумавшийся Бродский). Эти редкие выступления против вкуса несут на себе печать „антисоветского канона“, неизбежно включенного в таковой же „советский“. То, чего не найти ни в поэзии Бродского, ни в поэзии города».

См. также эссе Анатолия Наймана о поэзии Дмитрия Бобышева «Паладин поэзии» («Октябрь», 1998, № 8).

Неизвестный перевод Анны Ахматовой: Станислав Балинский. Варшавская коляда 1939 года. Предисловие и публикация Евгения Ефимова. — «Знамя», 1998, № 7.

Ташкент, 1942. Стихотворный перевод (хранится в РГАЛИ), сделанный Ахматовой для коллективно подготовленного, но неизданного сборника современной польской поэзии.

Андрей Немзер. «Языком вишневого киселя». Анатолий Королев предпринял очередную попытку стать модным писателем. — «Время МН», 1998, № 62, 1 сентября.

Саркастическая рецензия на «бестселлер года» (так простодушно обозначено на книжной обложке) — триллер Анатолия Королева «Охота на ясновидца» (М., 1998). Вердикт критика: «Перебор. Селедка с вареньем». Мораль: «Успеха в массовой литературе достигает не мастер на все руки, но знаток аудитории, тот, кто угадывает, что потребуется завтра. Королев же весь во власти собственных фантазмов, рожденных нефитско-тинэйджерским восторгом от чужих литературных и кинематографических текстов».

Павел Никитин. Бродячие сюжеты. — «Москва», 1998, № 8.

О том, что романс «Гори, гори, моя звезда» есть русская «версия» стихотворения немецкого поэта Теодора Кёрнера «Утренняя звезда» («Der Morgenstern»), а романс «Окрасился месяц багрянцем» — русская «версия» стихотворения немецкого поэта-романтика французского происхождения Шамиссо «Ночное плавание» («Nächtliche Fahrt»). Оба «оригинала» приводятся в русском переводе Павла Никитина. Да, очень похоже.

Вл. Новиков. Деноминация. Литераторы в плену безымянного времени. — «Знамя», 1998, № 7.

Писатель сегодня. Имя и безымянность. Необходимость литературных «политиков» — сеятелей имен.

См. также статью Георгия Давыдова «Московские литераторы. Физиологический очерк конца второго тысячелетия» («Ех libris НГ», 1998, № 30, август). Типы: «старорежимщики», литературные редакторы, литераторы-поденщики, «массовики». К давыдовскому поношению института советских редакторов стоило бы добавить, что часть приносимых писателями полуфабрикатов редакторы действительно доводили до ума, создавая ложные литературные репутации.

Олег Павлов. Моя виртуальная реальность. — «Цифровой жук». Литературно-художественный журнал. Тираж 10 000 экз. 1998, № 2.

Олег Павлов купил компьютер: «Однажды я включился и обнаружил, что вместо директории ROMAN возникла директория ANTIHRIST...»

В этом же номере нового цветного литературного журнала (главный редактор Владимир Зайковский) можно прочесть Жюль Делёза «Актуальное и виртуальное», Адольфо Бьой Касареса «Изобретение Мореля» и другие материалы. Держать в руках приятнее, чем читать. Отпечатано в Австрии.

Сергей Потылицын. Ум и безумие. — «Знамя», 1998, № 8.

Карательная психиатрия в СССР.

Александр Проханов. Чеченский блюз. Роман. — «Наш современник», 1998, № 8, 9.

Чечня. Война.

Мария Ремизова. Мусорный ветер. — «Независимая газета», 1998, № 147, 13 августа.

О повести Юрия Кувалдина «В садах старости» («Дружба народов», 1998, № 6) — с яростью, сарказмом, неприязнью. «В целом „В садах старости“ оставляет ощущение самого дурного бреда, и если в задачу Кувалдина входило воспроизвести характерные черты старческого слабоумия: бессвязность мысли и речи, неспособность отличать главное от второстепенного, нарушение логики, тягу к псевдосинонимическим рядам, ненаправленность высказывания, ложную аффектацию, размывание нравственных ориентиров и прочая, и прочая, то эту задачу он выполнил блестяще».

Михаил Рошин. Мой друг О. Н. — «Известия», 1998, № 165, 4 сентября.

Портрет Олега Ефремова. Драматург — о режиссере. Объяснение в любви.

Евгения Ряковская. Хильда Дулитл и Эзра Паунд: движение по линиям судьбы. Биографический очерк. — «Контекст-9». Литературно-философский дайджест-альманах. Редакция альманаха: Евгения Ряковская, Алексей Ярцев. Тираж 500 экз. Москва, 1998, № 3.

Драматическая история литературно-эротических отношений двух американских писателей-модернистов. Они познакомились совсем юными (Хильде — 15, Эзре — 16 лет) осенью 1901 года на празднике Хэллоуин, а к 1913 году расстались (Хильда вышла замуж за Ричарда Олдингтона, чуть позже женился Паунд). Хильда Дулитл у нас практически неизвестна.

Семидесятые годы. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 8.

Июльский номер «Звезды» за прошлый год целиком был посвящен 60-м годам. В очередном тематическом выпуске, посвященном годам 70-м, напечатаны стихи Александра Кушнера 70-х годов; «ненаписанный роман» Андрея Битова «Япония как она есть, или Путешествие из СССР»; повесть Владимира Губина «Бездорожье до сентября»; главы из книги Бориса Вахтина «Этот спорный русский опыт»; давний отзыв Олега Волкова об альманахе «Метрополь»; фрагменты воспоминаний Юлии Эйдельман «Печаль моя светла»; статья Константина Иванова «Отец Сергей (Желудков) и А. А. Ванеев»; статья Эдуарда Шнейдермана «Пути легализации неофициальной поэзии в 1970-е годы»; статья Леонида Жмудя «Студенты-историки между официозом и „либе-

ральной» наукой» и другие интересные материалы. Особого внимания заслуживает обстоятельная статья Дмитрия Травина «Светлая годовщина мрачного переворота» — к 25-летней годовщине прихода к власти Пиночета.

Л. И. Сворцов. Был ли Федор Тютчев небрежен в стихах? Poleмические заметки о чтении стихотворения «Silentium!» в связи с историей орфоэпических норм. — «Литературная учеба», 1998, № 3, май — июнь.

Нет, поэт не был небрежен в стихах.

Никита Соколов. Еретик на исходе классического смысла. — «Время МН», 1998, № 56, 24 августа.

К 80-летию Михаила Гефтера, он трех с половиной лет не дожид до юбилея. «Гефтер писал на своем языке, не задумываясь, как сказанное прочитывается на общеупотребительном русском. Оттого он частенько, по собственному его любимому выражению, оказывался „невыпазд“...»

Владимир Сорокин: мы не встанем ни под каким памятником. Беседу вел Михаил Новиков. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 161, 2 сентября.

Интервью в связи с выходом в издательстве «Ad Marginem» двухтомника Владимира Сорокина. Прозаик удивляется: «А культура-то вообще никак не изменилась. Все культурные биографии продолжаются. Справляют юбилеи этих монстров, Розова например. Объявляют вдруг его величайшим драматургом XX века. Георгий Свиридов оказывается величайшим композитором XX века, Зиновий Гердт — великий артист XX века, Вознесенский — великий авангардист. И в литературе то же самое: все ценности сохранились, те люди, которые что-то сделали для русской словесности, расширили это поле, они здесь по-прежнему никто. Некрасов (Всеволод Некрасов. — А. В.), Пригов — они здесь никто».

Арсений Тарковский. «И это мне еще когда-нибудь приснится...». Публикация Ирины Кленской. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4223, 21 — 27 мая.

Обработанный текст беседы, состоявшейся в 1986 году на московской квартире поэта. «Однажды на нас шли немецкие танки. Я прыгнул в окопчик, на меня свалился другой человек и от ужаса стал меня душить...»

Евгений Тетушкин. Американцы хотят запатентовать человекозверя. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 149, 15 августа.

В США подана патентная заявка на не воплощенные на практике, но осуществимые методы создания «химер человек-животное» — организмов, состоящих из мозаики человеческих и нечеловеческих клеток. Цель акции двух американских ученых — *блокировать* работы по созданию человекоподобных чудовищ. Для справки: в США патентные заявки не должны обязательно быть основаны на реальных опытах, достаточно придумать *в принципе осуществимый* мысленный эксперимент.

Арина Тешкина. Радость моя. Повесть. — «Литературная учеба», 1998, № 3, май — июнь.

Сцены монастырской жизни. По традиции журнала «Литературная учеба» повесть молодого автора сопровождается критическим разбором, в данном случае — сразу тремя (Татьяна Сурганова, Всеволод Сурганов, Надежда Горлова).

Татьяна Толстая. Кина не будет. — «Русский Телеграф», 1998, № 141, 21 августа.

«Клинтон признался, и сразу стало скучно и пусто, и решительно нечем заняться».

Семен Файбисович. Сотвори себе кумира. — «Знамя», 1998, № 7.

Скульптурная и архитектурная вакханалия, ее *языческая* природа. Адаптационные возможности Москвы безграничны.

Владимир Шаров. Старая девочка. Роман. — «Знамя», 1998, № 8, 9.

Новое сочинение автора романов «Репетиции», «До и во время» («Новый мир», 1993, № 3, 4), «Мне ли не пожалеть».

Виктория Шохина. Фокус свободы. — «Кулиса НГ», 1998, № 14, сентябрь.

О поэте Юрии Кублановском и его стихах. Цитата: «Один из немногих эмигрантов Третьей волны, он вернулся сюда сразу и навсегда, без сожаления оставив „священные камни Европы“ — европейцам». Еще цитата: «Юрий Кублановский принадлежит к числу тех редких поэтов, кто возгоняет поэзию до вершин, на которых ей и пристало обретаться».

Геннадий Шпаликов. Предисловие к празднику. Страницы дневника. Стихи. Публикация Дарьи Шпаликовой. Подготовка текста Ларисы Омелькиной. — «Октябрь», 1998, № 8.

Записи конца 50-х. Об открытии Хемингуэя: «Было чувство прерванного разговора, когда начал «Фиесту». Так, словно все сначала. Я лежу в пустом номере в Кронштадте и читаю в который раз желтенькие страницы. Там, где они ехали вместе с басками на крыше автобуса по белой дороге, задевая пыльные ветки, у меня закружилась голова — от подробностей. У меня появился писатель, коего я всегда бы хотел иметь на столе, в чемодане, всюду. Очарование, непонятное, как опиум».

Н. И. Шубникова-Гусева. «Была бы душа жива...». Новое о есенинской поэме «Анна Снегина». — «Литературная учеба», 1998, № 3, май — июнь.

См. другие статьи того же автора о Есенине в «Литературной учебе»: «Волшебная странность» (1992, № 5-6), «Тайна черного человека» (1995, № 5-6) и «Открытие „Страны Негодяев“» (1997, № 3).

Михаил Шульман. Газданов: тяжелый полет. — «Дружба народов», 1998, № 9.

«Эта работа начиналась с чисто литературоведческого анализа, но постепенно, по мере преследования авторской индивидуальности, сдвигалась в смежные области, с той же плавностью и непереносимостью, с какой идущий по героиновому следу фэбээровец перебирается в соседний штат, — пока вовсе не вышла на околосемные, холодноватые, орбиты». Названия некоторых глав: «Косноязычие», «Холод», «Фатум», «Убогое зло», «Синтаксис», «Газданов и Набоков: разность».



ДАТА: 23 ноября (5 декабря) — 195 лет со дня рождения Ф. И. Тютчева (1803— 1873).

Составитель **Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.**



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Декабрь

5 лет назад — в № 12 за 1993 год напечатана статья А. Солженицына «Черты двух революций».

10 лет назад — в № 12 за 1988 год напечатана повесть Михаила Кураева «Ночной дозор».

20 лет назад — в № 12 за 1978 год напечатан роман Федора Абрамова «Дом».

35 лет назад — в № 12 за 1963 год напечатан рассказ Вас. Гроссмана «Несколько печальных дней».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1998 ГОД

Сергей Аверинцев. «Глубокочитимый Александр Исаевич!..». К 80-летию А. Солженицына. XII — 3.

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Анатолий Азольский. Лопушок. Роман. VIII — 8.

Армен Асриян. Поход эпигонов. Хроника. VIII — 144.

Виктор Астафьев. Веселый солдат. Повесть. V — 3; VI — 3.

Георгий Балл. Камень и жажда. Короткие рассказы. II — 112.

Юрий Буйда. Живем всего два раза. Рассказы. VI — 120.

Эдуард Бурмакин. Дверь. Повесть. I — 19.

Светлана Василенко. Дурочка. Роман-жизнe. XI — 9.

Андрей Волос. Дом у реки. Маленькая повесть. VII — 84; Первый из пяти. Рассказ. X — 77.

Теодор Вульфович. Три главы про Матвея. Рассказ. VI — 96.

Александр Генис. Довлатов и окрестности. Главы из книги. VII — 109.

Нина Горланова. Рассказы о чудесах. XII — 146.

Борис Евсеев. Баран. Рассказ. III — 115.

Борис Екимов. Житейские истории. III — 3; Два рассказа. X — 103.

Евгений Елизаров. Реквием. Предисловие Ренаты Гальцевой. VIII — 114.

Олег Ждан. В небеса, за счастьем. Путешествия. IV — 84.

Сергей Залыгин. Предисловие. Рассказ. II — 70; Клуб Вольных Долгожителей. Рассказ. IV — 111.

Фазиль Искандер. Поэт. Повесть. IV — 3.

Анатолий Ким. Стена. Повесть невидимок. X — 3.

Павел Лаврëнов. Косиножка. Рассказ. Вступительное слово А. Солженицына. I — 84.

Олег Ларин. Блудное лето. Сцены из захолустной жизни. XII — 119.

Григорий Петров. Два рассказа. V — 117.

Ирина Поволоцкая. Сочельник. Скрипичный квартет. IX — 8.

Вячеслав Пьепух. Жена Фараона. Рассказы. IX — 24.

Евгений Рейн. Призрак в коридоре. Опыт фантастических воспоминаний. III — 78.

Александр Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть первая (1974 — 1978). IX — 47; XI — 93.

Лидия Сычева. Деревенские рассказы. I — 76.

Владимир Тучков. Смерть приходит по Интернету. Описание девяти безнаказанных преступлений, которые были тайно совершены в домах новых русских банкиров. V — 67.

Людмила Улицкая. Зверь. Рассказ. IV — 98; Веселые похороны. (Москва — Калуга — Лос-Анжелос). Роман. VII — 8.

Алексей Усалко. Крым. Конец столетия. Рассказы. I — 9.

Антон Уткин. Самоучки. Роман. XII — 4.

Семен Файбисович. Три истории из жизни одного дома. II — 92.

Сергей Цветков. Аполлон разоблаченный. Рассказ. XI — 83.

Евгений Шкловский. Переулочек. Рассказы. IV — 132.

Галина Щербакова. Армия любовников. Роман. II — 3; III — 21.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Алексей Алехин. Женщины, дети, мужчины. VIII — 108.

Сергей Алиханов. В саду, а не в раю. XII — 110.

Максим Амелин. Элегии начало. VI — 115; За Сумароковым с победною оливою. XI — 78.

Татьяна Бек. Девочка с бантом. VII — 102.

Марина Бородинская. Три ключа. I — 68.

Ян Гольцман. По воде земной. V — 133.

Леонид Григорьян. Без родства. III — 74.

Ольга Дмитриева. Крыша и окно. IV — 109.

Елена Елагина. Вечер детских вопросов. IV — 125.

Леонид Завальнюк. Что там на третьем? II — 88.

Риталий Заславский. Кончилась великая империя. XII — 115.

Владимир Захаров. О чистой математике. V — 59.

Ольга Иванова. Чужая жизнь. XI — 74.

Из Книги псалмов Давидовых. Перевел с древнееврейского Сергей Аверинцев. *Сергей Аверинцев*. Два слова о том, до чего же трудно переводить библейскую поэзию. I — 90.

Виктория Иноземцева. У меня есть молодость, вокруг проходит война. XI — 3.

Борис Камянов. Пацан и девка. III — 76.

Евгений Карасев. В беспредельном космосе обочины. VII — 74.

Виктор Коллегорский. На воздушном океане. III — 111.

Владимир Корнилов. Зачем единый утрачен смысл? IX — 3.

Эльмира Котляр. Зимние тетради. V — 105.

Юрий Кублановский. Бесшумные шлюпки. VI — 135.

Марина Кудимова. Поворот ключа в замке. VII — 3.

Вячеслав Куприянов. Исчезновенья. IV — 128.

Ольга Кучкина. Письмо. XII — 144.

Александр Кушнер. С серебряной изнанкой. I — 3.

Александр Леонтьев. Совпис. XI — 90.

Семен Липкин. Я видел. VI — 92.

Инна Лиснянская. The time kills me, but I kill time. II — 65.

Александр Межиров. Вавилонские реки. VIII — 3.

Олеся Николаева. Флейтистки бродят по оврагу. IX — 40.

Елена Николаевская. Ни днем, ни ночью. IV — 107.

Сергей Новиков. Беспризорная вода. X — 115.

Зинаида Палванова. Зимний зной. VII — 106.

Дмитрий Полищук. Любовные метры. XI — 91.

Ольга Постникова. Разлука. III — 17.

Сергей Преображенский. Сгустился снег. IV — 79.

Леонид Рабичев. Иней на окне. X — 97.

Александр Ревич. Пыльца в луче. X — 100.

Евгений Рейн. Через окуляр. II — 104.

Генрих Сапгир. Вот и спросят завтра нас. II — 85.

Михаил Синельников. Из благодатной темноты. VIII — 137.

Лев Смирнов. Под водою. XII — 113.

Роман Соляцев. Что будет. XII — 117.

Александр Сорокин. Невидимые спицы. XII — 142.

Илья Фалikov. На сухой реке. X — 72.

Евгений Храмов. Радуга, дождь, туман. XII — 140.

Глеб Шульпяков. Пирог остыл. Дальше школа. XI — 88.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Витольд Гомбрович. Из «Дневника». Перевод с польского и примечания Ю. В. Чайникова. II — 116.

Анджело Мария Рипеллино. «Я играю, потому что не хочу умирать». Стихи. Перевод с итальянского и предисловие Евгения Солоновича. XII — 159.

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Михаил Ардов. Возвращение на Ордынку. *Евгений Рейн*. На пиру Мнемозины. I — 154.

Вера и неверие Льва Толстого. Беседа писателя Вячеслава Репина с епископом Вашингтонским и Сан-Францисским Василием (Родзянко). VII — 150.

Юрий Глазов. Адаптация. Фрагменты воспоминаний. III — 143.

Игорь Дедков. Обессоленное время. Из дневниковых записей 1976 — 1980 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой. V — 146; VI — 139.

Екатерина Крашенинникова. Этюд о Юдиной. Предисловие Евгения Пастер-

нака. Приложение: письмо М. В. Юдиной к Е. А. Крашенинниковой. Публикация и послесловие А. Кузнецова. IV — 162.

Алла Марченко. «С ней уходил я в море...». Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования. VIII — 201; IX — 179.

П. П. Перцов. Воспоминания о В. В. Розанове. Публикация, подготовка текста, вступительная статья и комментарии Виктора Сукача. X — 146.

Изабелла Ф. Хэпгуд. Прогулка по Москве с графом Толстым. Перевод с английского, вступительная статья и примечания Валерия Александрова. VII — 164.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Юрий Кублановский. Поверх разборок. II — 159.

А. Солженицын. Из «Литературной коллекции»: Приёмы эпосей. I — 172; Четыре современных поэта. IV — 184; Иван Шмелёв и его «Солнце мёртвых». VII — 184; Окунаясь в Чехова. X — 161.

ИЗ НАСЛЕДИЯ

Елизавета Кузьмина-Караваева. Тишина, огонь и Слово. Публикация и предисловие Т. Емельяновой. IX — 126.

Священник Павел Флоренский. Изречения Дарьи. Публикация В. П. и П. В. Флоренских. VIII — 148.

ПУБЛИЦИСТИКА

Л. Айзерман. Совопросник века сего. I — 115.

Диана Видра. Психоанализ и воспитание. I — 134.

Рената Гальцева. Это не заговор, но... I — 126.

Игорь Михайлов. Вытеснение. II — 147.

Надежда Молчанова. Прощание с Грузией. II — 153.

Марк Фейгин. Чужая война. III — 125; Закавказский узел. IX — 134.

ЭКОЛОГИЯ РОССИИ

Анатолий Грешневиков. Гибель вод. Послесловие Сергея Залыгина. I — 98.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Татьяна Браткова. Русское Устье. IV — 143.

Борис Екимов. Возле старых могил. V — 137.

Марк Костров. Житие на Кармянной. VIII — 164.

Олег Ларин. «Югид ва». VII — 137.

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

Валентина Иванова. Болезнь. XI — 154.

Вл. Новиков. Ноблесс оближ. О нашем речевом поведении. I — 139.

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

Сергей Житомирский. Платон и Атлантида. X — 138.

Ю. Каграманов. «Жестоких опытов собирая поздний плод». Кое-что о роли знания в истории. X — 119.

Дмитрий Харитонович. Феномен Фоменко. III — 165.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«Жму Вашу руку, дорогой товарищ». Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина. Публикация, подготовка текста, комментарии Т. Дубинской-Джалиловой и А. Чернева. IX — 156.

«Не верю в пространство, не верю во время, разделяющие нас». Письма Л. Ю. Бердяевой к Е. К. Герцык. Публикация, вступительная заметка и примечания Т. Н. Жуковской. VII — 172.

Виталий Шенталинский. Осколки серебряного века. V — 180; VI — 168; Охота в ревзаповеднике. Избранные страницы и сцены советской литературы. XII — 170.

А. С. Пушкин. 1799 — 1999

Ирина Сурад. Биография Пушкина как культурный вопрос. II — 177.

ОПЫТЫ

Сергей Боровиков. В русском жанре. VII — 194.

Михаил Горелик. История одного грехопадения. VIII — 215.

Никита Елисеев. Олеша и наследник. VIII — 217.

Марина Новикова. «Мы» и «я». IV — 196.

Рустам Рахматуллин. Три монумента. XII — 197.

ПОЛЕМИКА

Марина Новикова. Время и вечность. XII — 163.

С. Ломинадзе. Вольными мазками. VIII — 188.

В. Попов. 1941: тайна поражения. Послесловие Юрия Кублановского. VIII — 172.

МИР ИСКУССТВА

Сергей Яковлев. Внимающий молчанию. IV — 176.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Сергей Аверинцев. Так почему же все-таки Манделштам? VI — 216.

Дмитрий Бак. Обретенное время Евгения Федорова, или *А* лагерь *сотте* à лагерь. V — 208.

Михаил Бутов. «Вселенная подтолкнула меня локтем в бок!». V — 198.

Алена Злобина. Драма драматургии. В пяти явлениях, с прологом, интермедией и эпилогом. III — 189; Закон правды. X — 196.

Юрий Каграманов. Что бредится и что сбывается. XI — 192.

Татьяна Касаткина. Сверстники Ноя. VIII — 220.

Андрей Немзер. Когда? Где? Кто? О романе Владимира Маканина: опыт краткого путеводителя. X — 183.

Вл. Новиков. Бедный эрос. Неподъемная тема современной словесности. XI — 180.

Владимир Славецкий. Обратная перспектива. «Амелинский сезон» в поэзии конца века. IX — 197.

Ольга Славникова. Я самый обаятельный и привлекательный. Беспристрастные заметки о мужской прозе. IV — 202; Старый русский. Поздняя проза Сергея Залыгина. XII — 204.

Борьба за стиль

Алексей Смирнов. Две часовни. IV — 207.

По ходу текста

Никита Елисеев. Гамбургский счет и партийная литература. I — 191; «Памяти одного стукача» — статья тайн. III — 208; Московский пленник и другие. V — 221; Что не дозволено ученому. Просто напоминание. VII — 200; Последняя черта. IX — 208; Наивный читатель и образованный автор. XI — 198.

А. С. Пушкин. 1799 — 1999

В. Непомнящий. Феномен Пушкина в свете очевидностей. VI — 190.

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Владимир Абашев. Заресничная страна (В. О. Кальпиди. Ресницы. Книга стихов). V — 240; Между телом и текстом (В. Павлова. Небесное животное. Стихи). VII — 215.

Дмитрий Бавильский. Екатеринбургские тайны (Валерий Исхаков. Екатеринбург. Роман). III — 216; Более странно, чем рай (Олег Ермаков. Транссибирская пастораль). V — 232.

Павел Басинский. Сквозь шум (Роман Солнцев. Дважды по одному следу. Проза последних лет). III — 213; Белый Гайдар (Игорь Гергенредер. Комбинации против Хода Истории. Повести). VIII — 231; Люди лунного света (Александр Титов. Полночная свадьба. Повесть). IX — 214.

К. Белоцкий. Всплывающая Атлантида (А. И. Серков. История русского масонства 1845 — 1945). IX — 229.

Сергей Боровиков. Неизвестная заря (Марина Палей. Месторождение ветра. Повести и рассказы). XII — 222.

Андрей Василевский. Аксенов есть Аксенов (Василий Аксенов. Новый сладостный стиль. Роман; Василий Аксенов. Негатив положительного героя. Рассказы). I — 204; Почтальон, или Пессимизм (Анатолий Гаврилов. К приезду Н. Рассказы). VIII — 229.

Рената Гальцева. Новая встреча со старым Бердяевым (Николай Бердяев. Истина и Откровение. Прологомены к критике Откровения). II — 213.

Юрий Глазов. «Так где же мы ошиблись?» (Владимир Буковский. Московский процесс). I — 220.

Михаил Горелик. Моление о дожде (Вавилонский Талмуд. Трактат Таанид). XII — 232.

Евгений Ермолин. Рагамопов: глазами клоуна (Борис Парамонов. Конеч стиля). VI — 226.

Алексей Зверев. «...не вне нас, а внутри» (В. В. Зеньковский. Русские мыслители и Европа). II — 219; Пилигрим в море (Пер Лагерквист. Сочинения. В 2-х томах). V — 248; Пуговицы для сюртуков (В. П. Руднев. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты). XI — 219.

Алена Злобина. Писательская артель «Три Шекспира» (И. Гиллилов. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса). VI — 232.

Юрий Иванов. «Трудным росчерком пера...» (Александр Межиров. Бормотуха. Стихи и поэмы; Александр Межиров. Поземка. Стихотворения и поэма). XII — 226.

Ольга Иванова. «Небо в субтитрах» (Юлия Скородумова. Сочиняя себе лицо). V — 238.

В. К. Авантюристы как зеркало эпохи (Александр Строев. «Те, кто поправляет фортуна». Авантюристы Провсвещения). XI — 227.

Татьяна Касаткина. Искусственный венок (Виктор Ерофеев. Русские цветы зла). I — 200; «То, что знают в себе слова...» (А. В. Михайлов. Языки культуры: риторика и история искусств. Ключевые слова культуры. Самоосмысление гуманитарной науки. Учебное пособие по культурологии). III — 225; «Люди человеческие» (Юрий Арабов. Механика судеб. Опыт драматургии «действительной жизни»). V — 244.

Александр Коган. Факультет нужных вещей (Юрий Домбровский. Меня убить хотели эти суки). XII — 229.

Алексей Козырев. Частная жизнь «взыскующих» (Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках). IX — 216.

Юрий Кублановский. Социальное веховство Петра Струве (П. Б. Струве. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм). IV — 219; О публицистических мыслях Льва Тихомирова (Лев Тихомиров. Критика демократии). XI — 223.

Игорь Кузнецов. Памяти Литинститута (Владислав Дорошенко. Приходи ко мне вчера... Рассказы и повести). II — 196; В лабиринтах традиции (Рене Генон. Символы священной науки; Клод Сеньоль. Матагот). III — 222; Под черным знаменем свободы (Василий Голованов. Тачанки с Юга. Художественное исследование махновского движения). VII — 222.

Евгения Ливантовская (Воробьева). Жизнь как анкета и как сюжет (Алексей Слаповский. Анкета. Тайнопись открытым текстом. Роман). II — 198; Марсель и Обломов (Алексей Макушинский. Макс. Роман). VII — 211.

Валерий Липневич. Ночная правда (Василь Быков. Два рассказа). IV — 216; Одинокое пронизанное счастьем (Игорь Шкляревский. Стихотворения). VII — 219.

Александр Люсый. К опознанию Макса (В. П. Купченко. Странствие Максимилиана Волошина. Документальное повествование). II — 207.

Ольга Майорова. «Простым рожден я быть певцом...» (А. К. Толстой. Против течения). I — 213.

Николай Мельников. Злодеяния Джона Апдайка (Джон Апдайк. Иствикские ведьмы. Роман). XI — 216.

Лариса Миллер. «Прессуя страдальческий опыт» (Татьяна Бек. Облака сквозь деревья. Новая книга стихотворений; Татьяна Бек. В произвольном порядке. Стихи). III — 218.

Сергей Новиков. Бойня в Крыму (А. Г. Зарубин, В. Г. Зарубин. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму). III — 232.

Александр Носов. Echo du temps passé (Василий Шукин. Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование по русской классической литературе). VI — 238.

Елена Ознобкина. «...Громадная задача философского обживания русского языка...» (Мартин Хайдеггер. Бытие и время). I — 216; ...на край возможности человека (Наум Ним. Оставь надежду... или душу). IV — 213; Порыв к трансцендентному (П. П. Гайденко. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века). VIII — 236; Библия для женщин? (Симона де Бовуар. Второй пол). IX — 223.

Мария Ремизова. Невыносимая хрупкость бытия (Анатолий Бахтырев. Белая уточка. Рассказы). XI — 206.

Ирина Роднянская. Здесь и там (Олеся Николаева. Amor fati. Стихотворения. 1989 — 1996). XI — 209.

Елизавета Руднева. «И смерть, и жизнь, и правда без покрова...» (Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского). VIII — 234.

Владимир Славецкий. Голошение (Геннадий Русаков. Разговоры с богом. Стихи). I — 208.

Ольга Славникова. В поисках оригинала (Владимир Леонович. Хозяин и гость. Книга стихов; Владимир Леонович. За уходящим светом). VI — 221.

Алексей Смирнов. Духовный дар (Аркадий Штейнберг. К Верховьям. Собрание стихов. О Штейнберге. Материалы к биографии...). II — 201; Оппозиции в истории и языке: конфликтность культуры (Б. А. Успенский. Избранные труды. В 3-х томах). VII — 224.

С. Файбисович. Экстаз принадлежности как тип мышления (Екатерина Дёготь. Террористический натурализм). IX — 226.

В. Хализев. Нравственная философия Ухтомского (А. Ухтомский. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях). II — 222.

Бронислав Холопов. Некрасов у ярославцев (Н. А. Некрасов. «Да, только здесь могу я быть поэтом!...». Избранное; Б. В. Мельгунов. «Всему начало здесь...». /Некрасов и Ярославль/). III — 229.

Глеб Шульпяков. Лазик Ройтшванец в жанре эссе (Илья Эренбург. В смертный час: статьи 1918 — 1919 гг.). II — 210.

Вл. Юданов, Г. Лятив. «Левый» марш? (Е. Разумов. Крушение и надежды. Политические заметки; Ф. Волков. Великий Ленин и пигмеи истории). I — 224.

Владимир Абашев. — I. И. Гурвич. Русская лирика XX века. Рубежи художественного мышления. II. София Парнок. Собрание стихотворений. III. М. Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. XI — 230.

Юрий Говорухин. — Варианты реорганизации сельскохозяйственных предприятий. I — 232.

Михаил Горелик. — Э. Л. Лаевская. Мир мегалитов и мир керамики. Две художественные традиции в искусстве доантичной Европы. III — 242; Российская Еврейская Энциклопедия. VII — 233.

Татьяна Касаткина. — I. С. И. Фудель. Наследство Достоевского. II. Сергей Земляной. Улыбающийся Иисус. Русская литература и новозаветное Благовестие. Статья первая. IX — 233.

Владимир Коробов. — Крымский альбом. Историко-краеведческий и литературно-художественный альманах. IV — 224.

Сергей Костырко. — Павел Мейлахс. Беглец. V — 254; Вячеслав Курицын. Журналистика 1993 — 1997. X — 221.

Юрий Кублановский. — Александр Сопровский. Правда поэта. Стихотворения и статьи. III — 235; I. Георгий Флоровский. Из прошлого русской мысли. II. Александр Быханов. Николай II. VII — 229.

Анатолий Кузнецов. — I. Дмитрий Шостакович. Леди Макбет Мценского уезда. (Возрождение шедевра). II. Нина Берберова. Чайковский. III. В. Корганов. Бетховен. Биографический этюд. IV. Духовная среда России. Певческие книги и иконы XVII — начала XX века. I — 228.

Олег Ларин. — Александр Соболев. Русский дом. Книга-альбом. IV — 228; В. С. Елистратов. Язык старой Москвы. Лингвоэнциклопедический словарь. XI — 237.

Валерий Липневич. — Вячеслав Куприянов. Башмак Эмпедокла. VI — 241; I. Александр Тимофеевский. Песня скорбных душ. II. Леонид Григорьян. Вниз по реке. Стихи. X — 215.

Александр Люсый. — В. И. Славецкий. Русская поэзия 80 — 90-х годов XX века: тенденции развития, поэтика. X — 219.

Г. Лятив. — Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918 — 1932 гг. IX — 237.

Ольга Майорова. — В раздумьях о России (XIX век). III — 236.

Олег Мраморнов. — **И. П. А. Флоренский:** pro et contra. Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. **П. Ф. Н. Козырев.** Испытание и победа святого Иова. **III — 238.**

Елена Ознобкина. — Людмила Поликовская. Мы предчувствие. Предтеча... Площадь Маяковского (1958 — 1965). **XII — 236.**

Валентин Оскоцкий. — Исторические сборники «Мемориала». Выпуск первый. Репрессии против поляков и польских граждан. **VII — 235.**

Ирина Роднянская. — **Вл. Новиков.** Заскок. Эссе, пародии, размышления критика. **X — 217.**

Юлия Скородумова. — **Татьяна Вольтская.** Тень. Стихотворения. **XI — 236.**

Владимир Славецкий. — **Иван Громов.** На перекрестке времени. Повесть. **V — 253.**

Ольга Славникова. — **Юлия Кокошко.** В садах... Повесть. Рассказы; **Юлия Кокошко.** Чаши и вазы в свободном полете. Из цикла «Между ангелами». **V — 256;** **Людмила Петрушевская.** Маленькая Грозная. **X — 213.**

Алексей Смирнов. — **Гюнтер Тюрк.** Тебе, моя звезда... Избранные стихотворения и переводы в редакции **В. И. Каледина.** **XII — 234.**

Ирина Сурат. — Пушкин в прижизненной критике. 1820 — 1827. **IV — 223.**

Е. Тихомирова. — **И. «Студия».** Независимый русско-немецкий литературный журнал. **II. «Зеркало загадок».** Культурно-политический журнал на русском языке. **III. Г. Лич-Анспах.** Мои встречи с русскими. **II — 230.**

Андрей Углицких. — **Сын Гипербореи.** Книга о поэте. **IV — 227;** **Нора Галь.** Воспоминания. Статьи. Стихи. Письма. Библиография. **VI — 243.**

С. Файбисович. — **Е. И. Кириченко,** **Е. Г. Щеболева.** Русская провинция. **X — 222.**

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Вадим Баранов. Максим Горький — «агент влияния». Текст и подтекст в переписке Горького со Сталиным. **XII — 243.**

Георгий Василевич. «...Приют задумчивых дриад...». **X — 226.**

В. Елисеева. О «вкусе к подлинности» и «реставрации» Михайловского. **X — 224.**

Вадим Кожинов. Идеализм и «континентальность» России. **XII — 238.**

Г. Разумов. Большие надежды на малую энергетику. **I — 235.**

Александр Рубашкин. Глеб Шульпяков против Ильи Эренбурга. **VIII — 239.**

Читатели — о «Новом мире». **IV — 230;** **VII — 243.**

А. В. Яблоков. Этот опасный мирный атом. **II — 234.**

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

Евгений Добренко. «Скромное обаяние» ранней советской культуры. (Эрик Найман. Секс в русле ответственности. Воплощение ранней советской идеологии). **IV — 235;** Ты записался добровольцем? (Виктория Боннель. Иконография власти: советские политические плакаты при Ленине и Сталине). **IX — 240.**

Алексей Зверев. Письма швейцарского путешественника (Жорж Нива. Взгляд на Россию в год VI). **VII — 237.**

Татьяна Николеску. — **И. Карло Риччо.** Материалы для критического издания «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. **II. Мария Кьяра Пезенти.** Арлекин и Гаер в русском любительском театре XVIII века. **II — 238.**

АНКЕТА

«Буржуазность» — что такое? Отвечают Рената Гальцева, Алена Злобина, Александр Кушнер, Олеся Николаева, Вячеслав Пьецух, Татьяна Чередниченко. **X — 230.**

ПРЕМИЯ

Цузаммеишпилен — играем вместе! **VI — 245.**

НЕКРОЛОГ

Юз Алешковский. Последний урок. **VII — 241.**

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка. **XI — 240;** **IV — 239;** **II, VIII — 240;** **X — 242;** **I, IX — 243;** **III — 245;** **VI, VII — 247;** **XII — 249;** **V — 259.**

Периодика. **XI — 244;** **IV — 241;** **II — 242;** **VIII — 243;** **I, IX, X — 245;** **III — 246;** **VI, VII — 249;** **XII — 252;** **V — 261.**

Авторы этого года

Абашев В. (V, VII, XI), Аверинцев С. (I, VI, XII), Азольский А. (VIII), Айзерман Л. (I), Александров В. (VII), Алехин А. (VIII), Алешковский Ю. (VII), Алиханов С. (XII), Амелин М. (VI, XI), Ардов М. (I), Асриян А. (VIII), Астафьев В. (V — VI), Бавильский Д. (III, V), Бак Д. (V), Балл Г. (II), Баранов В. (XII), Басинский П. (III, VIII, IX), Бек Т. (VII), Белоцкий К. (IX), Бердяева Л. (VII), Боровиков С. (VII, XII), Бородицкая М. (I), Браткова Т. (IV), Буйда Ю. (VI), Бурмакин Э. (I), Бутов М. (V), Василевич Г. (X), Василевский А. (I — XII), Василенко С. (XI), еп. Василий (Родзянко) (VII), Видра Д. (I), Волос А. (VII, X), Вульфович Т. (VI), Гальцева Р. (I, II, VIII, X), Генис А. (VII), Глазов Ю. (I, III), Говорухин Ю. (I), Гольцман Я. (V), Гомбрович В. (II), Горелик М. (III, VII, VIII, XII), Горланова Н. (XII), Горький М. (IX), Грешневиков А. (I), Григорьян Л. (III), Дедков И. (V — VI), Дедкова Т. (V — VI), Дмитриева О. (IV), Добренко Е. (IV, IX), Дубинская-Джалилова Т. (IX), Евсеев Б. (III), Екимов Б. (III, V, X), Елагина Е. (IV), Елизаров Е. (VIII), Елисеев Н. (I, III, V, VII — IX, XI), Елисеева В. (X), Емельянова Т. (IX), Ермолин Е. (VI), Ждан О. (IV), Житомирский С. (X), Жуковская Т. (VII), Завальнюк Л. (II), Залыгин С. (I, II, IV), Заславский Р. (XII), Захаров В. (V), Зверев А. (II, V, VII, XI), Злобина А. (III, VI, X), Иванов Ю. (XII), Иванова В. (XI), Иванова О. (V, XI), Иноземцева В. (XI), Искандер Ф. (IV), В. К. (XI), Каграманов Ю. (X, XI), Камянов Б. (III), Карасев Е. (VII), Касаткина Т. (I, III, V, VIII, IX), Ким А. (X), Коган А. (XII), Кожинов В. (XII), Козырев А. (IX), Коллегорский В. (III), Корнилов В. (IX), Коробов В. (IV), Костров М. (VIII), Костырко С. (I — XII), Котляр Э. (V), Крашенинникова Е. (IV), Кублановский Ю. (II — IV, VI — VIII, XI), Кудимова М. (VII), Кузнецов А. (I, IV), Кузнецов И. (II, III, VII), Кузьмина-Караваева Е. (IX), Куприянов В. (IV), Кучкина О. (XII), Кушнер А. (I, X), Лаврёнов П. (I), Ларин О. (IV, VII, XI, XII), Леонтьев А. (XI), Ливантовская (Воробьева) Е. (II, VII), Липкин С. (VI), Липневич В. (IV, VI, VII, X), Лиснянская И. (II), Ломинадзе С. (VIII), Люсый А. (II, X), Ляги-

ев Г. (I, IX), Майорова О. (I, III), Марченко А. (VIII — IX), Межиров А. (VIII), Мельников Н. (XI), Миллер Л. (III), Михайлов И. (II), Молчанова Н. (II), Мраморнов О. (III), Немзер А. (X), Непомнящий В. (VI), Николаев О. (IX, X), Николаевская Е. (IV), Николеску Т. (II), Новиков В. (I, XI), Новиков С. (III, X), Новикова М. (IV, XII), Носов А. (VI), Озобкина Е. (I, IV, VIII, IX, XII), Оскоцкий В. (VII), Палванова З. (VII), Пастернак Е. (IV), Перцов П. (X), Петров Г. (V), Поволоцкая И. (IX), Полищук Д. (XI), Попов В. (VIII), Постникова О. (III), Преображенский С. (IV), Пьецух В. (IX, X), Рабичев Л. (X), Разумов Г. (I), Рахматуллин Р. (XII), Ревич А. (X), Рейн Е. (I — III), Ремизова М. (XI), Репин В. (VII), Рипеллино А. (XII), Роднянская И. (X, XI), Рубашкин А. (VIII), Руднева Е. (VIII), Сапгир Г. (II), Синельников М. (VIII), Скородумова Ю. (XI), Славецкий В. (I, V, IX), Славникова О. (IV — VI, X, XII), Смирнов А. (II, IV, VII, XII), Смирнов Л. (XII), Солженицын А. (I, IV, VII, IX — XI), Солнцев Р. (XII), Солоневич Е. (XII), Сорокин А. (XII), Сталин И. (IX), Сукач В. (X), Сурат И. (II, IV), Сычева Л. (I), Тихомирова Е. (II), Тучков В. (V), Углицких А. (IV, VI), Улицкая Л. (IV, VII), Усалко А. (I), Уткин А. (XII), Файбисович С. (II, IX, X), Фаликов И. (X), Фейгин М. (III, IX), Флоренский В. (VIII), Флоренский П. А. (VIII), Флоренский П. В. (VIII), Хализов В. (II), Харитонович Д. (III), Холопов Б. (III), Храмов Е. (XII), Хэпгуд И. (VII), Цветков С. (XI), Чайников Ю. (II), Чередниченко Т. (X), Чернев А. (IX), Шенталинский В. (V — VI, XII), Шкловский Е. (IV), Шульпяков Г. (II, XI), Щербакова Г. (II, III), Юданов В. (I), Юдина М. (IV), Яблоков А. (II), Яковлев С. (IV).

Произведения, получившие отражение в статьях, обзорах и рецензиях этого года

Аксенов В. Негатив положительного героя; Новый сладостный стиль (I, 204 — 208; XI, 187 — 190); Алданов М. Истоки (I, 172 — 177); Амелин М. Стихи (IX, 196 — 202); Апдайк Д. Иствикские ведьмы (XI, 216 — 219); Арабов Ю. Механика судеб (V, 244 — 248); Басинский П. Московский пленник (V, 221 — 231); Бахтырвев А. Белая уточка (XI,

- 206 — 209); Бек Т. В произвольном порядке; Облака сквозь деревья (III, 218 — 222); Берберова Н. Чайковский (I, 229 — 231); Берг М. Гамбургский счет (I, 191 — 199); Бергман И. Картины (IV, 176 — 183); Бердяев Н. Истина и Откровение (II, 213 — 219); Бовуар С. де. Второй пол (IX, 223 — 226); Богданов В. Все ли дозволено гению? (VII, 200 — 210); Боннель В. Иконография власти (IX, 240 — 242); Боханов А. Николай II (VII, 231 — 233); Буковский В. Московский процесс (I, 220 — 224); Бунин И. Часовня (IV, 207 — 212); Быков В. Два рассказа (IV, 216 — 219); В раздумьях о России, XIX век (III, 236 — 238); Вавилонский Талмуд (XII, 232 — 234); Варианты реорганизации сельскохозяйственных предприятий (I, 232 — 234); Взыскующие града (IX, 216 — 223); Висоцька Н. На перехресті цивілізацій (IV, 196 — 201); Владимирова Л. Переходы летящих мгновений; Среди неназванных дорог (IV, 192 — 195); Воденников Д. Стихи (IX, 202 — 204); Волков Ф. Великий Ленин и пигмеи истории (I, 224 — 227); Вольтская Т. Тень (XI, 236 — 237); Гайдар Е. Дни поражений и побед (II, 165 — 168); Нора Галь. Воспоминания. Статьи. Стихи. Письма. Библиография (VI, 243 — 244); Генон Р. Символы священной науки (III, 222 — 225); Гилилов И. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса (VI, 232 — 238; X, 196 — 197); Голованов В. Тачанки с Юга (VII, 222 — 224); Голос народа (IX, 237 — 239); Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом (IV, 196 — 201); Горький М. Переписка с И. Сталиным (XII, 243 — 248); Григорьян Л. Вниз по реке (X, 216 — 217); Громов И. На перекрестке времени (V, 253 — 254); Гроссман В. За правое дело; Жизнь и судьба (I, 177 — 190); Гурвич И. Русская лирика XX века (XI, 230 — 232); Даррелл Л. Александрийский квартет (V, 198 — 207); Дёготь Е. Террористический натурализм (IX, 226 — 229); Дмитрий Шостакович. Леди Макбет Мценского уезда. Возрождение шедевра (I, 228 — 229); Довлатов С. Зона; Компромисс (VII, 109 — 136); Домбровский Ю. Меня убить хотели эти суки (XII, 229 — 232); Дорошенко В. Приходи ко мне вчера... (II, 196 — 198); Духовная среда России. Певческие книги и иконы XVII — начала XX века (I, 232); Дяченко М. и С. Ведьмин век (XI, 195 — 197); Елистратов В. Язык старой Москвы (XI, 237 — 239); Ермаков О. Транссибирская пастораль (V, 232 — 238); Ерофеев В. Русские цветы зла (I, 200 — 204); Жухрай В. Сталин: правда и ложь (I, 224 — 227); Залыгин С. Свобода выбора; Экологический роман; Клуб Вольных Долгожителей; Предисловие; Уроки правнука Вовки; Однофамильцы (XII, 204 — 221); Записные книжки Анны Ахматовой (I, 154 — 171); Зарубин А., Зарубин В. Без победителей (III, 232 — 235); Земляной С. Улыбающийся Иисус (IX, 235 — 237); Зеньковский В. Русские мыслители и Европа (II, 219 — 222); Зеркало загадок. Культурно-политический журнал на русском языке (II, 231 — 232); Иванова Ольга (Полина). Стихи (IX, 205 — 206); Исторические сборники «Мемориала» (VII, 235 — 236); Исхаков В. Екатеринбург (III, 216 — 218); Кабаков А. Последний герой (XI, 187 — 188); Кальпиди В. Ресницы (V, 240 — 244); Карлайл О. Солженицын и Секретный Круг (XI, 99 — 117); Кириченко Е., Щеболева Е. Русская провинция (X, 222 — 223); Козырев Ф. Испытание и победа святого Иова (III, 240 — 242); Кокошко Ю. Чаши и вазы в свободном полете; В садах... (V, 256 — 258); Коляда Н. Пьесы (III, 192 — 194); Корганов В. Бетховен (I, 231 — 232); Коржавин Н. Сплетения (IV, 188 — 192); Красная книга ВЧК (V, 184 — 185); Крымский альбом (IV, 224 — 227); Куприянов В. Башмак Эмпедокла (VI, 241 — 243); Купченко В. Странствие Максимилиана Волошина (II, 207 — 210); Курицын В. Журналистика (X, 221 — 222); Курносенко В. Евангелий (I, 143); Лаевская Э. Мир мегалитов и мир керамики (III, 242 — 244); Лагерквист П. Сочинения (V, 248 — 252); Леонович В. За уходящим светом; Хозяин и гость (VI, 221 — 226); Лимонов Э. Последние дни Супермена (IV, 203 — 204); Линецкий В. О пошлости в литературе, или Главный парадокс постмодернизма (XI, 198 — 205); Липкин С. Воля; Избранное (IV, 184 — 187); Липскеров Д. Пространство Готлиба (XI, 190); Лиснянская И. Дожди и зеркала (IV, 187 — 188); Лич-Анспах Г. Мои встречи с русскими (II, 232 — 233); Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени (X, 183 — 195; XI, 187 — 190); Макушинский А. Макс

- (VII, 211 — 215); Малецкий Ю. Люблю (IV, 204 — 205); Матвеев А. Случайные имена (IV, 205 — 206); Межиров А. Бормотуха; Поэмка (XII, 226 — 229); Мейлахс П. Беглец (V, 254 — 256); Мельгунов Б. «Всему начало здесь...» (III, 229 — 232); Михайлов А. В. Языки культуры: риторика и история искусств (III, 225 — 228); Михайлов В. Вариант «И» (XI, 192 — 195); Найман Э. Секс в русле общественности (IV, 235 — 238); Нежный А. Допрос Патриарха (XII, 163 — 169); Некрасов Н. «Да, только здесь могу я быть поэтом!..» (III, 229 — 232); Нива Ж. Взгляд на Россию в год VI (VII, 237 — 240); Николаева Олеся Amor fati (XI, 209 — 216); Ним Н. Оставь надежду... или душу (IV, 213 — 216); Новиков Вл. Заскок (X, 217 — 219); Носовский Г., Фоменко А. Империя; Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима (III, 165 — 188); Павлова В. Небесное животное (VII, 215 — 219; XI, 182 — 183); Палей М. Месторождение ветра (XII, 222 — 226); Паникин А. Записки русского фабриканта (XII, 238 — 243); Парамонов Б. Конец стиля (VI, 226 — 232); Парнок С. Собрание стихотворений (XI, 232 — 234); Пастернак Б. Письмо Елене Орловской (XII, 194 — 195); Пезенти М. Арлекин и Гаер в русском любительском театре XVIII века (II, 239); Пелевин В. Чапаев и Пустота (I, 143); Переяслов Н. У последней черты (IX, 208 — 213); Петрушевская Л. Маленькая Грозная (X, 213 — 215); Платон. Тимей; Критий (X, 138 — 145); Платонов А. Технический роман; Путешествие в 1921 году (XII, 174 — 175); Поволоцкая И. Разновразие (VI, 245 — 246); Поликовская Л. Мы предчувствие. Предтеча... Площадь Маяковского 1958 — 1965 (XII, 236 — 237); Попов В. Разбойница (XI, 186 — 187); Пушкин в прижизненной критике (IV, 223 — 224); Разумов Е. Крушение и надежды (I, 224 — 227); Риччи К. Материалы для критического издания «Поэмы без героя» Анны Ахматовой (II, 238); Российская Еврейская Энциклопедия (VII, 233 — 235); Руднев В. Словарь культуры XX века (XI, 219 — 223); Русаков Г. Разговоры с богом (I, 209 — 213); Рыбаков А. Роман-воспоминание (I, 151 — 152); Сахаров А. О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Союза» (IX, 64 — 67); Сеньоль К. Матагот (III, 222 — 225); Серков А. История русского масонства (IX, 229 — 233); Скородумова Ю. Сочиния себе лицо (V, 238 — 240); Славецкий В. Русская поэзия 80 — 90-х годов XX века... (X, 219 — 221); Слаповский А. Анкета (II, 198 — 201); Смирнов И. П. Памяти одного стукача (III, 208 — 212); Соболев А. Русский дом (IV, 228 — 229); Солнцев Р. Дважды по одному следу (III, 213 — 216); Сопровский А. Правота поэта (III, 235 — 236); Сорокин А. Стихи (IX, 204 — 205); Степанцов В. Стихи (XI, 182); Строев А. «Те, кто поправляет фортуна» (XI, 227 — 230); Струве П. Patriotica (IV, 219 — 222); Студия. Независимый русско-немецкий литературный журнал (II, 230 — 231); Сын Гипербореи (IV, 227 — 228); Тимофеевский А. Песня скорбных душой (X, 215 — 216); Титов А. Полуночная свадьба (IX, 214 — 216); Тихомиров Л. Критика демократии (XI, 223 — 227); Толстой А. К. Против течения (I, 213 — 215); Тюрк Г. Тебе, моя звезда... (XII, 234 — 236); Успенский Б. Избранные труды (VII, 224 — 229); Ухтомский А. Интуиция совести (II, 222 — 230); Федоров Е. Жареный петух; Илиада Жени Васяева; Одиссея; Умерла насыкая; Бунт (V, 208 — 220); Ферапонтовский сборник (II, 169 — 170); Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между надеждой и травмой (I, 134 — 138); П. А. Флоренский: pro et contra (III, 238 — 240); Флоровский Г. Из прошлого русской мысли (VII, 229 — 231); Фоменко А. Методы статистического анализа нарративных текстов и приложения к хронологии... (III, 165 — 188); Фудель С. Наследство Достоевского (IX, 233 — 235); Хайдеггер М. Бытие и время (I, 216 — 219); Цветаева М. Неизданное (XI, 234 — 236); Черняев А. Шесть лет с Горбачевым (II, 162 — 164); Чехов А. Рассказы и повести (X, 161 — 182); Шкляревский И. Стихотворения (VII, 219 — 222); Шмелев И. Солнце мертвых (VII, 184 — 193); Штейнберг А. К Верховьям (II, 201 — 207); Щукин В. Миф дворянского гнезда (VI, 238 — 241); Эрдман Н. Сатирические произведения (XII, 184 — 192); Эренбург И. В смертный час (II, 210 — 212).

THE NEW REVIEW Новый Журнал

«Новый Журнал» был основан в Нью-Йорке в 1942 году как продолжение парижских «Современных Записок» и с тех пор выходит без перерыва четыре раза в год. Средний объем номера — 336 страниц. Журнал распространяется в 32 странах. Основатели журнала — писатель М. Алданов и поэт, критик, писатель и меценат М. Цетлин. В 1945 — 1959 годах редактором журнала был известный историк проф. М. Карпович, в 1959 — 1986 годах — писатель и общественный деятель Р. Гуль. До 1994 года журнал редактировал писатель Ю. Кашкаров. С 1995 года главный редактор — поэт, историк литературы и поэзии Серебряного века проф. В. Крейд.

В «Новом Журнале» были впервые напечатаны многие произведения И. Бунина, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, М. Осоргина, А. Ремизова, В. Яновского и других писателей первой эмиграции. Из представителей второй волны, а также диссидентского движения в СССР в «Новом Журнале» были опубликованы произведения Л. Ржевского, Н. Ульянова, А. Солженицына, А. Белинкова, Л. Чуковской, В. Шаламова.

В журнале печатались стихи Г. Иванова, З. Гиппиус, М. Цветаевой, И. Северянина, М. Волошина, Вл. Ходасевича, И. Чиннова, Ю. Иваска, Н. Моршена, И. Елагина, О. Анстей, И. Бродского.

«Новый Журнал» уделяет много места публикации воспоминаний и документов. Среди них — воспоминания выдающегося актера М. Чехова, художника М. Добужинского (журнал выходит в обложке его исполнения), композитора А. Гречанинова, З. Гиппиус, Ф. Степуна, Ю. Анненкова, Н. Евреинова, П. Милюкова, Е. Кусковой.

В недавних номерах журнала были опубликованы дневники писателя В. Яновского, письма П. Флоренского, Г. Иванова, Б. Пастернака, З. Гиппиус, Д. Кленовского, воспоминания В. Розанова, Э. Голлербаха, М. Волина, А. Даманской, В. Лурье.

Исторические материалы, опубликованные в «Новом Журнале», представляют большую ценность для всех интересующихся историей России, русской революции, сталинизма и послесталинского периода. Среди историков, писавших для журнала, можно назвать М. Карповича, Н. Тимашева, Б. Николаевского, А. Авторханова.

В критическом разделе журнала печатались статьи П. Милюкова, П. Сорокина, А. Керенского, В. Чернова, Ю. Денике, Д. Чижевского, Н. Бердяева, Н. Лосского, Л. Шестова, Г. Федотова, В. Вейдле, В. Ильина.

«Новый Журнал» продолжает оставаться ценным источником информации для всех, кто изучает Россию или интересуется прошлым и настоящим русской культуры.

Подписная цена в год на 4 книги — \$40.00
(пересылка в США — \$7.00, за границу — \$14.00)

В 1998 г. выйдут номера 210, 211, 212, 213

Заказы адресовать в редакцию «Нового Журнала»:

The New Review, 611 Broadway, Room 842, New York, NY 10012

Phone/Fax: (212) 353-1478;

e-mail: nreview@idt.net

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «НОВОГО МИРА»!

Наш индекс 70636 в Объединенном каталоге «Подписка-99» (стр. 172; спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы также можете оформить *льготную* подписку на 1999 год непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. *Особые льготы* предусмотрены для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также для ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The issue begins with Sergey Averintsev's word of congratulation on the occasion of the eightieth birthday of Alexander Solzhenitsyn, a well-known writer, public figure and Nobel prize winner.

The poetry section presents new poems by Sergei Alikhanov, Lev Smirnov, Ritaly Zaslavsky, Roman Solntsev, Yevgeny Khramov, Alexander Sorokin and Olga Kuchkina, as well as by poems by famous Italian poet Angelo Maria Ripellino in translation by Yevgeny Solonovich.

We are publishing the novel «The Self-Taught Men» by Anton Utkin, the narrative «The Prodigal Summer. Scenes from Out-of-the-Way Life» by Oleg Larin and «Short Stories about Wonders» by Nina Gorlanova, a writer from the city of Perm.

The section «Polemics» presents the article «Time and Eternity» by Marina Novikova; the section «Publications and Reports» contains the material «Hunting in the Revolutionary Preserve» by Vitaly Shentalinsky concluding his series of publications based on the documents from the KGB's archives and dealing with the fortunes of literature and literary men in the time of Stalin.

In the section «Les Essais» we are publishing the essay «The Three Monuments» by Rustam Rakhmatulin on the elements of the metaphysical landscape of Moscow.

Literary criticism of the issue is presented by the article «The Old Russian» by Olga Slavnikova on the late prose by prominent Russian writer Sergei Zalygin who will mark his eighty-fifth birthday in December.

In the section «Editor's Mail» we are publishing letters by Vadim Kozhinov and Vadim Baranov entering into polemics with the materials previously published in the «Novy Mir».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов,

И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,
для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

**Сдано в набор 20.08.98 г. Подписано к печати 22.10.98 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.**

Тираж 14 580 экз. Зак. 4627. Цена договорная.

**Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.**

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>**

Уважаемые читатели!

В декабрьском номере «Нового мира» за прошлый год было напечатано обращение к читателям с просьбой письменно ответить на ряд интересующих нас вопросов.

Отклики начали поступать незамедлительно, некоторые из читательских писем были напечатаны в журнале в рубрике «Из редакционной почты» (1998, № 4, 7). И сейчас нам хотелось бы вновь предложить вам высказаться, каким, по вашему мнению, был наш журнал в уходящем году.

С какого года вы читаете наш журнал? Каким образом получаете «Новый мир»: по подписке, берете в библиотеке, покупаете в розницу, берете у знакомых?

Какие новомирские публикации 1998 года вам запомнились? Почему? Каких авторов, не печатающихся пока в нашем журнале, вы хотели бы видеть на его страницах?

Считаете ли вы оптимальным нынешнее соотношение между художественной литературой, актуальной публицистикой, историко-архивными материалами и литературной критикой?

До какой степени текущая политика должна отражаться на страницах «Нового мира», или журналу следует стать чисто литературным органом, оставив злобу дня другим, более оперативным средствам массовой информации?

Считаете ли вы достаточным разнообразие точек зрения, представленных у нас? Следует ли чаще передавать слово нашим оппонентам?

Нравится ли вам традиционное полиграфическое оформление журнала или хочется увидеть его в новом обличье?

Изменился ли за последние полгода привычный образ журнала? Если да, то в чем именно?

Каким вам представляется будущее «Нового мира» и других литературных изданий в условиях финансово-экономического кризиса? Готовы ли вы к возможному увеличению подписной цены на журнал? Или вы будете вынуждены отказаться от подписки?

Ваши мнения, замечания и предложения очень важны для нас. Наиболее интересные письма будут опубликованы.

Пишите нам по адресу: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир». Не забудьте указать ваш возраст, образование, место жительства, профессию.

Редколлегия журнала «Новый мир».